

Краткая ИСТОРИЯ СТРАН БАЛТИИ

Андрейс Плаканс



НАЦИОНАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ

Краткая
ИСТОРИЯ
СТРАН БАЛТИИ

Краткая
ИСТОРИЯ
СТРАН БАЛТИИ

Андрейс Плаканс

ВЕСЬ
МИР
ИЗДАТЕЛЬСТВО

Москва 2016

УДК 94(474.3) + 94(474.5) + 94(472.2)
ББК 63.3(4Лат) + 63.3(4Лит) + 63.3(4Эст)
П 37

Перевод с английского
О.В. Когтевой

Редакторы:
к.и.н. О.А. Зимарин,
к.и.н. Ю.Л. Михайлова

Куратор серии «Национальная история»
к.и.н. Л.М. Троцкая

Перевод книги на русский язык осуществлен по изданию:
Andrejs Plakans. A Concise History of the Baltic States.
Cambridge: Cambridge University Press, 2011,
и публикуется на основании соглашения
с Синдикатом издательства Кембриджского университета,
Англия (the Syndicate of the Press of the University
of Cambridge, England).

Все права охраняются законодательством
об охране интеллектуальной собственности.
Любое воспроизведение текста настоящего издания
в печатной или электронной форме возможно лишь с разрешения
ООО Издательство «Весь Мир».

На обложке: Гора крестов (возле г. Шяуляй, Литва),
памятник (1970) на площади Латышских стрелков в Риге,
маяк Кыпу (1531) на острове Хийумаа (Эстония).

Отпечатано в России

ISBN 978-5-7777-0645-4

© Andrejs Plakans, 2011
© Перевод на русский язык,
Издательство «Весь Мир», 2016

Имонну и Александру

Содержание

Предисловие	9
1. Народы восточного побережья Балтики	15
Происхождение	17
Признание	22
Племенные общества Балтийского региона: основные характеристики	28
Верования и системы верований	34
Интерес к восточному побережью Балтики	40
2. Новый порядок (1200–1500)	48
Христиане, торговцы и крестоносцы	50
Литовцы и Тевтонский орден	61
Ливонская конфедерация	67
Великое княжество Литовское	74
Хрупкая амальгама	79
3. Новый порядок меняет очертания (1500–1700)	90
Крушение Ливонской конфедерации	94
Республика двух наций: Польша и Литва	103
Эстония и Ливония под управлением Швеции	109
Манориальная система и крепостное право	115
Религия и мир печатного слова	121
Конфликтующие амбиции после 1650 года	128
4. Установление гегемонии: побережье и царская Россия (1710–1800)	135
Россия как либеральное автократическое государство ...	137

Россия как навязчивый сосед	144
Отголоски Просвещения и крестьянское большинство	152
Окончание формирования гегемонии и правительственные нововведения	162
Социальные порядки и языковые сообщества	169
5. Реформы и контроль на Балтийском побережье (1800–1855)	180
Исследования побережья Балтики	182
Поместья, господа и крепостные	185
Реформирование крепостного права	192
Отмена крепостного права в Балтийских губерниях ...	200
Восстание 1830–1831 гг. в литовских землях	208
Патронат и клиентская зависимость в сфере культуры ..	215
6. Пять десятилетий преобразований (1855–1905)	223
Незавершенное дело: отработочная рента и крепостничество	225
Пробуждение наций: Балтийские губернии	232
В поиске нации: литовские земли и Латгалия	241
Трансформация городской жизни	247
Искушения национальной идентичности: русификация и социализм	261
7. Обретение государственности в трудные времена (1905–1940)	272
1905 год на Балтийском побережье	275
Расхождения и совпадения после 1905 года	284
Первая мировая война на землях побережья	293
<i>Carpe Diem</i>	300
Войны за независимость	307
Образование государств и парламентаризм	314
Три авторитарных президента	326
Выжить во что бы то ни стало	335
8. Возвращение империй (1940–1991)	343
СССР расширяется	345
«Остланд» и немецкая оккупация	356
Возвращение к социализму	366

После Сталина	375
Перемены и стагнация, разногласия и уступки	381
Авангард в замешательстве	393
«Свалка истории»	405
9. Новое вхождение в Европу (1991–...)	410
Население в движении	413
Правительство и общественное мнение	419
Национальные государства или государства всеобщего благосостояния	427
Налаживание новых связей и его последствия	438
Открытие прошлого	447
Трудности «нормальной жизни»	453
Послесловие издателя	463
Карты	466
Именной указатель	473

Предисловие

Историю современных Эстонии, Латвии и Литвы надо начинать отсчитывать не с того времени, когда на карте Европы появились страны, носящие эти названия, а когда народы, еще не имевшие государственности, избрали в V—VI вв. н.э. местом своего постоянного поселения восточный берег Балтийского моря. К тому времени на юге Европы Римская империя уже перестала существовать, а на территориях, которые позже станут Францией, меровингские и каролингские короли стремились создать государство, которое могло бы стать ее преемником. Много позже, в Средние века, лишь один из народов, населявших Балтийское побережье, — литовцы смогли сформировать собственное государство, тогда как два других — эстонцы и латыши не сохранили политических лидеров, подобных тем, которые были у них в конце XIII в., и, соответственно, до XX столетия оставались подчиненными германо-, шведо- и русскоговорящей землевладельческой аристократии. Литовцы также потеряли государство, которое было у них в Средневековье, добровольно объединившись с Польшей, в результате чего возникло содружество, в котором поляки играли доминирующую роль как с политической, так и с социальной точки зрения. Только после Первой мировой войны картографы внесли изменения в карты Европы, нанеся на них новые независимые

национальные государства — Эстонию, Латвию и Литву. Двадцать лет спустя им пришлось снова изменить свои карты, поскольку три этих государства в 1940 г. были абсорбированы Советским Союзом и стали советскими социалистическими республиками. Потребность в новых изменениях карт не возникала до 1991 г., когда распался СССР и три государства Балтии восстановили свою независимость. Таким образом, политическая история восточного побережья Балтики содержит весьма мало периодов преемственности и последовательности, значительно больше — периодов войны, чем мира; смены режима происходили здесь гораздо чаще, чем наступали периоды стабильного правления; здесь также было значительно больше разрушения, чем непрерывного роста. Задача сформировать последовательное повествование из этой достаточно фрагментарной истории чрезвычайно трудна, и такая последовательность, какова бы она ни была, скорее всего, будет отражать не столько реальную историческую преемственность, сколько видение историка, взявшего на себя этот труд. Другие авторы, возможно, увидели бы подобную последовательность иначе.

Хотя отсутствие исторической последовательности представляется единственным наиболее важным признаком истории стран Балтии, несколько тем проходят через все периоды, создавая все-таки некоторую преемственность. Это — местоположение, язык, государственность, проблема лидера и фрагментарность; данные темы появляются в различных вариантах и проходят через весь тысячелетний период, описываемый в представленной читателю книге. Не в каждой главе они рассматриваются одинаково подробно — больше всего им отдано должное в главах, описывающих период, близкий к сегодняшнему дню. Настоящая книга — ограниченный по объему обзор очень длинного исторического отрезка; при этом несколько последних столетий дают более полезную и надежную информацию о народах, создавших в XX в. три Балтийских государства. Как мы увидим, на протяжении большей части своей истории эстонцы, латыши и в значительно меньшей степени литовцы оставались скрытыми от взоров. После них остались лишь редкие письменные источники, а свидетельства современников, писавших для тех, кто на тот момент управлял указанными регионами, часто обозначали подвластные им народы побережья различными общими названиями («сельские жители», «крестьяне», «негерманцы»). Таким образом, за многие столетия лишь не-

которые представители этих народов нашли отражение в источниках как индивидуальности, с именами и полностью документированными биографиями. «Демократизация» исторических свидетельств началась в XVIII в.; к XIX столетию свидетельства о людях, находящихся на нижних ступенях социальной лестницы, встречаются уже в изобилии, а в XX в. люди любого происхождения потенциально могут становиться частью исторического повествования в качестве полноправных действующих лиц. Последние главы книги, таким образом, охватывают более короткий временной промежуток, потому что эти столетия предоставляют более полезные и детальные свидетельства обо всех жителях побережья.

Первая глава охватывает длинный отрезок истории — с конца ледникового периода на восточном побережье Балтики и первых поселений человека в этом регионе до приблизительно 1000 г. н.э., когда население здесь достаточно стабилизировалось, чтобы в хрониках появились упоминания о постоянных жителях. *Вторая глава* начинается с появления в регионе крестоносцев и купцов из Западной Европы, а повествование сосредоточивается на христианизации и территориальных захватах, происходивших в рамках процесса, который некоторые историки называют «европеизацией» региона. Тогда, в Средние века, регион распался на две части — северную (позже здесь появятся Эстония и Латвия), ставшую Ливонской конфедерацией, управляемой германоязычной политической элитой, и южную (литовские территории), превратившуюся в объединенное, стремившееся к экспансии государство, где изначально правили сами литовцы. *Третья глава* посвящена восточному побережью Балтики в период раннего Нового времени (1500–1800). Этот период охватывает секуляризацию остатков орденов крестоносцев, протестантскую Реформацию и католическую Контрреформацию, а также изменения, вызванные тем, что регион стал (в хронологическом порядке) частью польско-литовского объединенного государства, Шведской империи и Российской империи. *Четвертая, пятая и шестая главы* описывают регион в качестве «западного пограничья» Российской империи с середины XVIII в. до Первой мировой войны. Различные признаки модернизации: сельскохозяйственная реформа, урбанизация, индустриализация, национализм и рост населения — появились здесь благодаря возможностям и ограничениям, являвшимся следствием политики Российской империи, стремившейся достичь западного уровня развития. В *седьмой главе* анализируются поли-

тические, экономические и культурные последствия национальной независимости, обретенной тремя народами во время Первой мировой войны, когда Союз Советских Социалистических Республик пришел на место Российской империи. В межвоенные десятилетия (1920 — 1940) парламентская демократия в республиках Балтии уступила место авторитаризму и схожие политические трансформации наложили свой отпечаток почти на все новые государства Восточной Европы. *Восьмая глава* посвящена Прибалтийским республикам как составным частям СССР (1940 — 1991) после их оккупации и аннексии Советским Союзом во время Второй мировой войны*. Здесь же рассматривается кратковременная оккупация региона войсками гитлеровского Третьего рейха во время войны; одним из последствий этого эпизода стало упрощение национальной структуры населения Балтийского региона вследствие насильственной эмиграции и геноцида. *Девятая глава* описывает постсоветский период, то есть время после 1991 г., когда вслед за распадом СССР к странам Балтийского побережья вернулась независимость и Эстония, Латвия и Литва стали членами международных структур новой Европы. Последняя часть книги представляет собой список рекомендуемой к прочтению литературы, преимущественно англоязычной**.

Автор хотел бы выразить благодарность многим людям, которые помогли ему написать эту книгу. Барбара С. Плаканс не только дала глубокие советы относительно содержания, но и внесла важные улучшения и изменения в структуру первого варианта книги благо-

* Оценка событий 1940 г. и последующего периода является предметом дискуссий в научной литературе и публицистике. Об этом см. подробнее: *Симонян Р.Х.* Оккупационная доктрина в странах Балтии: содержательный и правовой аспекты // Государство и право. 2011. № 11. С. 106 — 114 и след. Что касается официальной позиции России по этому вопросу, то она была четко сформулирована МИД РФ еще 4 мая 2005 г.: «И ввод дополнительных частей Красной Армии, и присоединение прибалтийских государств к Советскому Союзу не вступали в противоречие с нормами действовавшего в то время международного права. [...] Для правовой оценки ситуации, сложившейся в Прибалтике в конце 30-х годов прошлого века, термин "оккупация" не может быть использован, поскольку между СССР и прибалтийскими государствами не было состояния войны и вообще не велось военных действий, а ввод войск осуществлялся на договорной основе и с ясно выраженного согласия существовавших в этих республиках тогдашних властей — как бы к ним не относиться». (http://archive.mid.ru/bdomp/brp_4.nsf/106e7bfcd73035f0432569990055bcbbb/15d712290d745332c3256ff70061d84e!OpenDocument). — *Здесь и далее примечания редактора русского издания.*

** Об этом см. Послесловие издателя, с. 464 — 465 наст. изд.

даря редакторскому мастерству. Сотрудники межбиблиотечного абонемена библиотеки Роберта Паркса в Университете штата Айова помогли получить материалы из других библиотек. Подбор многочисленных иллюстраций, характерных для серии «Краткая история»*, в которой вышла книга, облегчили коллеги и друзья: Тойво Раун (Университет штата Индиана); Вита Зельче (Латвийский университет); Альфред Е. Сенн (заслуженный профессор Университета штата Висконсин); Янис Креслиньш (Национальная Шведская библиотека, Стокгольм); Петер Фюрстер (Институт Гердера, Марбург, Германия). Автор благодарит их всех. В Риге помощь с иллюстрациями оказали Улдис Нейбургс из Музея оккупации, Виестурс Зандерс из Центральной балтийской библиотеки, Гунтис Земитис из Института латвийской истории Латвийского университета, Анита Мейнарте из Латвийского национального музея, З. Циематнице из Морского музея города Риги. Эта книга была бы хуже без их помощи. Наконец, хотелось бы выразить особенную признательность моим редакторам из Кембридж Юниверсити Пресс Майклу Уотсону, Хелен Уотерхаус и Хлое Хауэлл за общее руководство и особенно за терпение на протяжении нескольких лет, пока книга обретала свой облик.

*Андрейс Плаканс
Эймс, штат Айова*

* На английском языке книга была опубликована издательством Кембриджского университета в серии «Кембриджские краткие истории» (Cambridge Concise Histories).



1

НАРОДЫ ВОСТОЧНОГО ПОБЕРЕЖЬЯ БАЛТИКИ

Обзор истории народов восточного побережья Балтики можно начинать с первого упоминания о них в письменных источниках, что позволяет последовательно описывать события в соответствии с общепризнанной хронологией. Чтобы начать с существенно более раннего времени, в данной главе нам придется использовать временную шкалу, отличную от используемой большинством историков, исчисляющих время в десятках и сотнях тысяч лет. Решение начать с таких давних времен частично основывалось на желании подчеркнуть, что в то время, когда на Ближнем Востоке и в Средиземноморье появлялись, процветали и угасали великие цивилизации, побережье Балтики тоже не было пустым местом, а также указать на то, что передвижение людей изначально являлось неотъемлемой частью долгой истории Балтики. В те века,

когда названия народов, населяющих этот регион, начали появляться в письменных исторических источниках, — то есть, грубо говоря, примерно в I в. н.э. — люди, населявшие на тот момент побережье, были лишь последними из сотен поколений мигрантов; некоторые из них оставили после себя вполне различимые фрагменты материальной культуры, в то время как другие исчезли почти бесследно.

Все эти появления и исчезновения, несомненно, представляли собой поворотные моменты самого различного свойства, о которых мы вряд ли сможем узнать что-либо существенное. Один из них, крайне важный для соединения непрерывной истории Балтийского побережья с историей остальной части европейского континента имел место тогда, когда авторы, принадлежавшие к существовавшим тогда цивилизациям, начали называть по именам народы побережья — впрочем, весьма неточно и неинформативно. Процесс присвоения имен являлся актом признания экономических связей, которые уже существовали между побережьем Балтики и другими частями Европы. Но в то же самое время использование специфических обозначений для этих северных народов вызвало по отношению к ним любопытство, которое больше уже никогда не утихало; с каждым столетием после приблизительно 800 г. н.э. источники сообщают о Балтийском побережье все более подробную информацию, которую можно сочетать с находками археологов, чтобы уменьшить потребность строить догадки.

Отсутствие каких-либо письменных источников собственно с самого побережья Балтики ставит под сомнение описания этих народов, сделанные извне, поскольку сами балтийские народы не записывали информации о себе в какой-либо фиксированной форме. Следовательно, во всем сказанном о жизни в эти «дописьменные» столетия будут звучать нотки неопределенности. Такие описания основываются на редких упоминаниях в письменных источниках, принадлежащих другим народам, на выводах, сделанных из изучения сохранившихся предметов материальной культуры, и на спорных интерпретациях образа мышления, отразившегося в идентифицируемых обычаях и практиках (например, на положении тел в раскопанных захоронениях). Таким образом, побережье ничем не отличается от многих других регионов Европы и иных континентов, хотя в некоторых отношениях тщательные реконструкции образа жизни прибрежных народов, производимые современными археологами, основываются на более надежном мате-

риале, чем тот, которым мы располагаем в других регионах. Так или иначе, необходимо осмотнительно относиться к любой информации; по крайней мере, до тех времен, когда народы Балтийского побережья начинают свидетельствовать сами.

Происхождение

Ледник, покрывавший большую часть Северной Европы, начал отступать 14 тыс. лет назад, оставляя за собой рельеф и очертания восточного побережья Балтики, почти не изменившиеся до наших дней. Процесс таяния льда шел медленнее, чем ползет улитка, — сначала от слоя льда освободилась территория современной Литвы, затем — Латвии и, наконец, Эстонии. Ледник отступил примерно до Северного полярного круга, где сейчас находится Финляндия, и к тому времени, как его таяние прекратилось, в Северной Европе возникли человеческие поселения. То, что изначально было огромным озером в середине вновь появившейся, свободной ото льда территории, постепенно стало морем, позже названным Балтийским, и языки отступающего ледника оставляли за собой очень разные ландшафты. Однако на восточном побережье такие ландшафты не очень различались — там были крупные речные системы, включающие многочисленные притоки, озера — небольшие и средних размеров, — болота, значительные равнинные территории и немногочисленные — холмистые (однако не гористые) и пористые почвы с вкраплениями камней. Постледниковая растительность представляла собой значительные лесные массивы, состоящие из ели, дуба, березы и бука; в конце концов здесь установился достаточно влажный и умеренно теплый климат, с относительно суровыми зимами и коротким периодом роста растений.

Судя по костным останкам, первыми крупными животными восточного побережья Балтики были, вероятно, древние подвиды северного оленя, мигрировавшие на север с южного берега Балтийского моря и из районов к юго-востоку от Балтики. За этими животными последовали люди, вероятно, из тех же регионов, и их останки свидетельствуют о том, что первые человеческие поселения на территории современной Литвы появились около 11 тыс. лет назад. Неудивительно, что первые поселения располагались на берегах рек и озер; археологи, исследуя сохранившиеся там древние останки, предположили, что первые жители этих мест

приходили сюда группами по десять-двадцать человек. В ту эпоху человеческие поселения не были постоянными — изначально охотники и собиратели следовали за мигрировавшими северными оленями по мере того, как поблизости истощались запасы пищи. Большинство предположений о древнем населении региона основывается на информации, полученной в результате анализа нескольких дюжин раскопок, произведенных в разных местах побережья, причем наиболее ранние из них — расположенные на территории Литвы — датируются временем примерно в 11 тыс., а самые поздние — в 10 тыс. лет назад.

Для этих древних народов было характерно постоянное перемещение; относительно постоянные поселения появились во множестве лишь в период, который археологи определяют как поздний неолит (около 6—4 тыс. лет назад). Материальные свидетельства позволяют предположить, что с течением времени поселения становились более многочисленными и располагались возле рек или озер. На протяжении очень долгого времени оседлые общины земледельцев, пришедших из района реки Вислы на территории современной Польши, делили побережье Балтики с охотниками и собирателями. Несомненно, не обходилось без трений. Охотники и собиратели сохраняли древние традиции перемещения на большие расстояния, тогда как оседлые земледельцы защищали свои поселения, на обустройство которых уходило немало времени и труда.

Свидетельства деятельности людей в эти тысячелетия и анализ остатков их материальной культуры (не важно, насколько тщательный) в значительной степени основаны на научных догадках. К примеру, возьмем захоронение. Можно ли на основании присутствия в нем определенных видов семян делать обобщения о преобладавших сельскохозяйственных культурах? Или является ли некоторое отдаление друг от друга мужских и женских погребений в местах массовых захоронений действительным свидетельством существования патриархата? Перейти от изучения материальных предметов к идеям, которые могут за ними стоять, все еще очень трудное дело — для давнего периода нашего прошлого оно находится почти на грани возможного, так что речь в большей степени идет о догадках и предположениях, пусть и осуществляемых на научной основе.

До того, как оседлое земледелие стало доминировать (то есть до эпохи, начавшейся около 5 тыс. лет назад), археологи дифференцировали мобильное население восточного побережья в соот-

ветствии с различиями, проявляющимися в предметах материальной культуры, и особенно в погребениях. Среди так называемых археологических культур побережья (традиционно получающих названия по месту обнаружения предметов материальной культуры) — Кундская культура, представители которой населяли северную часть побережья, и Неманская культура, распространенная на юге, причем в центральных районах они пересекались. Более того, восточные границы этих культур располагались на территориях, которые относятся к современной России, а южная граница Неманской культуры достигает современных Польши и Белоруссии. Несколько позже эти культуры вошли в третью — культуру ямочно-гребенчатой керамики, получившую название по принятому в ней стилю украшения гончарных изделий. Позже на авансцену истории вышли носители культуры шнуровой керамики (название также основано на типе гончарных изделий), иногда называемой культурой боевых топоров (по принятому типу оружия), не заменившие, кажется, полностью носителей иных культур, но принесшие в регион новые сельскохозяйственные практики. Постулированные внешние границы этих культур никоим образом не соответствовали границам современных стран Балтии, так что носители их лишь фигурально могут считаться предками позднейшего населения упомянутых стран. Эти культуры были на много тысячелетий и сотни поколений отделены от более поздних эпох — в том числе благодаря культурным следам многих других внешних народов, на протяжении своих странствий оказывавшихся на побережье Балтики. Однако было бы ошибочно воспринимать эти культуры как бусины, нанизанные на нить времени через одинаковые интервалы. Разумеется, они должны были хронологически перекрывать друг друга, да и кросскультурное взаимодействие имело место — практики заимствовались и переходили из культуры в культуру, так как все это происходило на относительно небольшом участке Европы.

Тем не менее можно говорить о том, что после первого появления человека на востоке Балтийского побережья человеческое присутствие в этом регионе было непрерывным. Адаптация к окружающей среде была очевидно успешной большую часть времени, и нам известно многое о том, как жили эти народы. Когда они оседали на одном месте, они либо строили небольшие деревянные дома с вертикальными стенами и крышей, либо создавали постройки (напоминающие *типи* коренного населения Америки), в которых

бревна были наклонены друг к другу в качестве основы для внешнего покрытия из шкур. Люди охотились и рыбачили с помощью орудий из кости или дерева, украшали себя амулетами из тех же материалов и изготавливали керамику с геометрическим рисунком. Частое повторение сходных мотивов украшения ювелирных и гончарных изделий предполагает присутствие эстетических устремлений у анонимных мастеров, тем более что данные украшения никак не влияют на полезность этих предметов. Оружие использовалось как для охоты, так и для самозащиты, хотя применительно к тем периодам у нас очень мало прямой информации о существовавших конфликтах, территориальных или каких-либо еще. Возможно, плотность населения была так низка, что подобные конфликты возникали лишь в экстраординарных обстоятельствах.

Таким образом, изменения всякого рода происходили постоянно, но большей частью не имели всеобъемлющего технологического значения. Несомненно, происходили незначительные улучшения оружия, орудий труда и жилищных условий, но большинство перемен такого рода были малозначимы в долгосрочной перспективе. Лишь один тип изменений действительно стал решающим и имел величайшие последствия для истории — появление и распространение оседлого земледелия, а вместе с ним культивирование сельскохозяйственных культур и разведение скота. Появление этих практик связывается с культурой шнуровой керамики и датируется поздним неолитом. Основным орудием труда земледельцев в тот период была деревянная мотыга. Затем последовало тысячелетие, когда одновременно с оседлым земледелием существовали охота и собирательство, но приблизительно 4 тыс. лет назад появляются свидетельства использования металлов — бронзы и железа — в основном для изготовления оружия и украшений. Откуда пришло знание об этих технологиях, неясно, но очевидно, что с течением времени использование металлов и практика оседлого земледелия стали взаимно поддерживать друг друга. Были обнаружены поля, относящиеся к указанному периоду и составляющие от 18 до 36 метров в длину; они устраивались на открытых пространствах или же на полянах, очищенных от деревьев. Домашний скот (козы, овцы, коровы, свиньи), который разводили представители этих культур, использовался в большинстве своем в различных целях: для получения молока, мяса, а также шерсти, шкур и крупных крепких костей. Такие сельскохозяйственные знания, очевидно, распространились по всему восточному побере-

жью Балтики, чему есть немало подтверждений в археологических находках. Инструментом распространения этих знаний, очевидно, были люди, учитывая, что географические перемещения разного рода продолжались даже среди народов, в массе своей оценивших выгоды оседлого образа жизни.

Свидетельства времен позднего неолита показывают, что в данный период совершенствовались строительные навыки, поскольку наличие постоянно используемых полей требовало долгосрочного пребывания на одном месте и достаточного времени, так необходимого, чтобы научиться чему-либо методом проб и ошибок. Дерево оставалось основным материалом для строительства домов, а камень использовался для других целей: поля часто отделялись друг от друга изгородями из нагроможденных камней, камнями покрывали захоронения, иногда их оформляли геометрическими орнаментами. Иногда обнаруживаются укрепления, построенные для охраны домашних животных. В тот же период — поздний неолит — появились первые свидетельства строительства деревянных городищ на холмах, то есть групп жилищ, напоминающих деревни и окруженных высоким деревянным частоколом. Однако поселения такого типа гораздо чаще встречаются в более поздние периоды. Потребность во всякого рода металлических инструментах, несомненно, приводила к более частым контактам с внешним миром; восточнобалтийские погребения этого периода нередко содержат металлические изделия центральноевропейского или скандинавского происхождения.

Длительное использование металлов привело в конце концов к тому, что железо сменило бронзу. Этот переход произошел в то время, когда далеко на юге, в Средиземноморье, Римская империя стала величайшей державой Европы того времени. Некоторые свидетельства показывают, что еще до того, как римская экспансия достигла своего зенита (III — IV вв. н.э.), существовали спорадические торговые контакты между миром Балтики и Средиземноморья: балтийский янтарь был востребованным товаром у римлян, как и шкуры, доставлявшиеся из этого региона, а прибалтийские народы всегда стремились к доступу на рынок изделий из металла. Возможно, наиболее активными в таком товарообмене были народы *южного* побережья Балтики; принадлежащие им различные изделия из металла находили путь и к *восточному* побережью.

Если процессы изменений, происходивших на побережье в более ранние эпохи, измерять и описывать в категориях тысячелетий,

то около 2 тыс. лет назад экономические и социальные изменения в регионе ускорились, и их стало проще датировать. Можно предположить, что оседлое земледелие увеличило пищевые ресурсы; это, в свою очередь, привело к сокращению младенческой смертности и повышению ожидаемой продолжительности жизни. В результате увеличилась плотность населения. Повышение плотности населения в свою очередь, оказало давление на сельское хозяйство, что привело к увеличению размеров существующих полей и расчистке новых, а также к более быстрому распространению всякого рода новшеств. Сходные изменения происходили и в регионах, соседствующих с восточным побережьем Балтики, что вызывало интерес их жителей (принадлежавших к более многочисленным народам), находившихся в поиске новых территорий для расширения среды обитания.

Признание

Мы предполагаем, что в те самые столетия, когда Римская империя на юге управляла всем известным цивилизованным миром, народы восточного побережья Балтики жили своей обычной жизнью, устанавливая правила личного, общественного и политического поведения в соответствии со своими представлениями о том, что является правильным и надлежащим. Каковы были эти правила, мы не знаем. Описания тех столетий, перенесенные археологами и на более поздние времена, однако, используют выражения, предполагающие, что распределение населения по Балтийскому региону достигло большей стабильности, чем когда-либо ранее. Данные описания не отрицают перемещений населения, но эти перемещения приобретают новый контекст; речь теперь идет о народах, живущих в определенных областях побережья. Такое изменение в описании, характерное для позднейших авторов, пишущих о прошлом, частично связано с географическими трудами античных авторов: в первые века «христианской эры» Римской империи появляются письменные свидетельства о народах Балтийского побережья. Эти свидетельства весьма неопределенны, не демонстрируют глубоких знаний предмета, но они, по крайней мере, говорят о признании современниками того факта, что народы за границами Империи более не считались анонимной массой варваров, сменяющих друг друга.

Римский историк Тацит в I в. н.э., например, говорит о *Aesti*, народе, жившем на южном берегу «северного моря». Сходные упоминания, содержащие термин *Aesti*, появляются в трудах Кассиодора и Иордана в VI в. и Эйнхарда в IX столетии; другие же греческие и римские авторы, писавшие как раньше, так и позже указанных, давали имена местам и рекам, соседствующим с Балтийским морем, а само море называли «Свевским». Подобные упоминания использовались этими авторами как для того, чтобы удовлетворить желание описать экзотические уголки Европы, так и с целью указать на источник происхождения янтаря, ценимого в Средиземноморье и импортировавшегося из северных земель. Хотя термин *Aesti* всегда появляется в этих описаниях вместе с обозначениями других малоизвестных северных народов, сам факт наименования как таковой имел большое значение и показывал рост знаний об этом народе.

К сожалению, термины, используемые античными авторами, не очень помогают глубже понять ситуацию на побережье в те времена. Мы можем перестать обозначать народы Балтики археологическими терминами, такими, как «производители шнуровой керамики» или «культура боевых топоров», но при этом возникнет вопрос, чем же заменить эти наименования. Используя такие термины, как *Aesti*, Тацит и другие античные авторы скорее всего основывались на информации, полученной из вторых и третьих рук на основе рассказов путешественников, известных образованным людям того времени, или же заимствовали их из работ более ранних авторов. Да, это было в некотором роде признание. Однако нет свидетельств, что обозначаемый таким названием народ действительно называл себя *Aesti*, или о том, как же именно он сам себя называл. В этом было различие между имевшими и не имевшими письменности народами, причем последние составляли на то время большинство. К тому же появление терминов, связывающих народ и место его расселения, подразумевает, что перемещения населения прекратились. Было бы более разумным допустить, что характеристики процессов, свойственных для численно небольших народов, борющихся за территории (ассимиляция, слияние, исчезновение, вытеснение, переселение), имели место в действительности, даже если мы ничего не знаем ни о них, ни о результатах подобных процессов. Однако после 500 г. н.э. появляется все больше свидетельств о народах побережья и местах их расселения: скандинавские саги IX в. содержат описания с такими же названиями, что

и русские летописи этого периода. Увеличение числа таких упоминаний позволяет сделать вывод, что в регионе происходила определенная стабилизация расселения.

Много столетий спустя, особенно в XX в., ученые, писавшие о Балтийском побережье, достигли определенного консенсуса в вопросе, как именно следует обозначать народы, населявшие его в этот период, используя терминологию, заимствованную из двух исторических дисциплин — исторической лингвистики и исторической этнографии. Лингвистическая методология привнесла общие термины, касающиеся развития и распространения языков, используя свидетельства языков как таковых, но то, что говорится в этом дискурсе о социальной истории людей — носителей языка, приходит из других близких дисциплин, таких, как этнография. Историческая этнография занимается преимущественно природой и развитием существующих групп людей; она рассматривает неязыковые свидетельства и стремится идентифицировать различия между группами, которые могут быть и не видны на исключительно языковом поле. Применительно к Балтийскому побережью обе дисциплины смыкаются и предлагают некоторое количество наименований, частично основанных на групповых языковых различиях, частично — на существовании различных групп населения. Ни в том, ни в другом случае нам недоступны прямые свидетельства, и потому принципы формирования групп всегда до некоторой степени надуманы в лучшем случае гипотетические.

Категории историко-лингвистической традиции являются наиболее общими; таким образом, начать следует с них. Историки европейских языков определяют две широкие категории, актуальные для данной темы, — индоевропейские и финно-угорские языки, и каждая из этих групп состоит из множества языков. Носители языков, относящихся к указанным группам, пришли в Европу с юго-востока. Каждая из групп имела более раннюю версию — так называемые протоиндоевропейские и протофинно-угорские языки. К 500 г. н.э. каждая большая группа оказалась связанной с определенным местом расселения: носители финно-угорских языков располагались к северу от носителей индоевропейских. В Центральной Европе середине I тысячелетия н.э. движение населения носило постоянный характер (его иногда называют «переселением народов»), и другие народы, особенно славянского происхождения (носители индоевропейских языков), пришли в этот регион с востока и юга, оттеснив существующее население к северу. Соответст-

венно, ранее обитавшие там носители индоевропейских языков также отодвинулись к северу, вытеснив финно-угров еще дальше. В результате последние заняли территорию современных Финляндии и Эстонии, тогда как индоевропейцы расселились в оставшейся части восточного побережья Балтики (на территории современных Латвии и Литвы), а также в южной части побережья (сегодняшняя Северная Польша и Калининград) и, судя по гидронимам (названиям рек), на значительной части современной Белоруссии и Западной России. Говоря об этих веках, современные историки европейских языков обычно используют термин «балтийские», характеризуя индоевропейские языки, используемые на восточном и южном берегах Балтийского моря, и «финские», говоря о языках более северных народов.

Терминология исторической этнографии относительно того же периода чаще всего описывает группы, говорящие на «балтийских» и «финских» языках, используя более дифференцированные названия, часто восходящие к названиям, используемым римскими авторами, скандинавскими бардами, составителями древнерусских летописей и авторами более поздних хроник XIII и XIV столетий. Эти этнографы пишут с определенной уверенностью, что в период с 500 до 1000 г. н.э. народы восточного и южного побережий Балтики жили на достаточно четко определяемых территориях, чтобы их можно было нанести на карту, обозначив границы (см. карту 1).

Самым северным народом восточного побережья были эсты, занимавшие примерно ту же территорию, на которой сейчас находится Эстония, включая бесчисленные острова у берегов Балтики. Эсты говорили на языке, родственном языку финнов, которые переселились еще севернее, за Финский залив, а также языкам многочисленных финно-угорских групп, живших на территории сегодняшней России. Также он был лингвистически близок к языку сету, которые жили юго-западнее и южнее озера Пейпус (Чудское озеро), ограничивающего с востока современную Эстонию, то есть на территории сегодняшней России. Ливонцы (или ливы) — также финно-угры — расселились на землях, непосредственно примыкающих к Рижскому заливу (как он теперь называется); их язык, очевидно, отличался от тех наречий, на которых говорило эстонское или финское население. Другие балтийские группы, говорящие на финских языках, — такие, как ингры (ижора), карелы, вепсы и вотяки, — проживали на территории современной

России за пределами побережья Балтики и рассматриваться здесь не будут.

К югу, востоку и западу от эстов, ливов и сету лежали территории народов, говоривших на балтийских языках. Рядом с эстонскими и ливскими землями жили латгалы, территория которых начиналась на восточном берегу реки Даугава и, судя по всему, простиралась глубоко на земли, входящие в современную Белоруссию. К западу от них жили селы, чьей восточной границей был западный берег Даугавы. Западнее селов и прямо под землями ливов, живших вдоль Рижского залива, расселились земгалы, чья территория достигала пределов современной Литвы. К западу от земгалов находилась земля куршей, ограниченная Балтийским морем и также доходившая на юге до территории нынешней Литвы. К югу от куршей и селов в пределах балтоязычных территорий жили жемайты, занимавшие большую часть земель Северной Литвы. Юго-восточнее жемайтов находились земли аукштайтов, располагавшиеся вдоль верховий Немана. Западнее их расселились скальвы (среднее течение Немана), а к югу от них — ятвяги, или судовы, — их земли лежали между нижним Неманом и Мазурскими озерами. Сразу к западу от ятвягов жили пруссы (иногда называемые «древними» пруссами) — центром их территории был современный Калининград, и они также говорили на языке балтийского происхождения. Рядом с пруссами (на территории современной Северной Польши) начинались земли племен, говоривших на славянских языках. Фактически, славяноговорящие племена ограничивали ятвягов с юга и аукштайтов — с юга и востока. Судя по топонимам и другим медленно меняющимся прямым свидетельствам, относящимся к первым векам этого «переселения народов», территории носителей балтийских языков простирались далеко в современную Россию, но позже пришедшие славянские племена вытеснили их на запад, ограничив ареал расселения балтийских народов побережьем Балтийского моря.

К этому перечислению народов были бы уместны некоторые комментарии. *Во-первых*, в рассматриваемый период (с V по X вв. н.э.) те, кого мы здесь называем «носителями славянских языков», также могли подразделяться на более мелкие образования, каждое со своим собственным именем. Но мы здесь не будем углубляться в эту тему, поскольку предметом нашего рассмотрения являются балто- и финноговорящие жители побережья Балтики. *Во-вторых*, названия, используемые для обозначения народов этого времени,

в позднейшие столетия станут официальными названиями современных государств (Эстония, Литва) или их частей (регионы Латвии — Курземе, Земгале, Латгале). Однако мы не станем предполагать, что древние народы, носящие эти названия, последовательно распространились и поглотили все другие соседствовавшие с ними этнические образования. История наименования территориальных объединений в восточной части побережья Балтики значительно отличается от истории изменения национального состава этого региона. *В-третьих*, остается неизвестным, кем же все-таки являлись упомянутые группы — народами, племенами, этническими группами, языковыми группами, национальностями, нациями? Использование коллективных обозначений крайне различается у разных ученых, рассматривающих данный регион, и поэтому имеет смысл некоторым образом дистанцироваться от обозначений, подразумевающих значительное общее сознание единства среди этих народов, во многом вследствие характера доступных нам свидетельств. «Границы», представленные на карте 1, являются результатом исследования археологических источников и лингвистических данных и не обязательно отражают реальную картину разделения территорий, которые их жители готовы были защищать как «свои». Термины «народы» и «племенные объединения», таким образом, более оправданны, чем другие, поскольку являются более нейтральными с точки зрения группового самосознания.

Проблема обозначения народов побережья имеет еще один важный аспект — можно ли судить о них как о политических объединениях, то есть государствах? Трудности усугубляются тем, что нынешние историки трех стран Балтии используют иногда еще более тонкие различия, описывая территорию побережья. Они говорят, что «Древняя Эстония» состояла из сорока пяти «округов», образовавшихся, в свою очередь, восемь отдельных «регионов»: Вирумаа, Равала, Ярва, Харью, Ляэнемаа, Сааремаа, Уганди и Сакала. Латвийские историки говорят о землях латгалов, селов, куршей, земгалов и ливов и, согласно позднейшим документам, заявляют, что каждая из этих «земель» включала многочисленные отдельно управляемые территории. Литовские историки говорят о «четырех традиционных этнографических регионах», а именно о Дзукии, Аукштайтии, Жемайтии и Сувалкии, и намекают на существование их более мелких подразделений. Существование подобных образований в древности часто выводится

всего лишь из наличия позднейшего топонима. Иногда топоним подкрепляется археологическим свидетельством, а иной раз источник содержит некое описание, из которого можно сделать вывод, что автор имел в виду что-то похожее на государственное образование. Продолжаются дебаты ученых по поводу действительной природы этих образований в период до 1000 г. н.э., а также о том, насколько централизованными и могущественными они были в действительности. Часто историки прибегают к терминам развития, используя такие выражения, как «протогосударства» или «протонации», подразумевая, что с течением времени они становятся полноценными, четко определяемыми политическими объединениями со своими правящими элитами, центральным управлением, признанными границами и законами, на основании которых можно было войти в их состав. Если к этому смешанному набору определяющих характеристик добавить еще и этническую принадлежность, рассуждения такого рода почти не дают возможности поверить, что до 1000 г. народы Балтики значительно продвинулись на пути к национальным государствам, которые и в остальной-то Европе возникнут лишь много столетий спустя. Имеющиеся свидетельства, так или иначе, слишком скудны, чтобы продемонстрировать для начала существование эволюционных процессов какого-либо рода. Единственный вывод, который можно сделать с достаточной определенностью, заключается в том, что восточное побережье Балтийского моря после 500 г. н.э. стало территорией значительной дифференциации и потому должно описываться гораздо подробнее, чем это делали античные авторы и более поздние путешественники. К чему привела такая дифференциация через несколько веков — вопрос, на который следует отвечать с помощью более поздних источников.

Племенные общества Балтийского региона: основные характеристики

Существующие данные о населении восточного побережья Балтики в X в. основываются в большинстве своем на подсчете количества людей на квадратный километр. Сегодняшние приблизительные подсчеты таковы: Эстония — 150 тыс., Латвия — 220 тыс., Литва — 280 тыс. человек. Не существует методологии, позволяющей разбить приведенные цифры на более мелкие структуры — племен-

ные объединения — для каждого региона. Таким образом, в сравнительной иерархии три эти страны занимают те же места, что и сегодня: Эстония является наименьшей, а Литва наибольшей по численности населения. Данные общества были полностью сельскими и не имели городских центров в истинном смысле слова, хотя преобладали поселения деревенского типа, с вкраплениями одиночных домохозяйств. Общая плотность населения была низкой, и незаселенные территории покрывали леса.

Пищу добывали, возделывая зерновые культуры, занимаясь охотой, пчеловодством, рыболовством. Широкая распространенность инструментов, оружия, украшений и шитой одежды указывает на наличие всякого рода ремесленников. Жилища по-прежнему строились из дерева, а защитные сооружения, окружавшие их, позволяют говорить о постоянном страхе перед набегами соседей или других внешних врагов. Городища стали самой распространенной и наиболее серьезной формой защиты, причем некоторые из них были достаточно велики, чтобы в трудные моменты принять большое количество людей. Некоторые укрепленные поселения строились на озерах, и вода служила естественным препятствием для врагов. Освобождение земли от леса стало постоянным видом деятельности, обеспечивающим людей новыми полями для обработки. Колесные повозки еще не использовались, а дороги в большинстве своем представляли собой постоянно используемые тропы. Самым быстрым и эффективным способом передвижения внутри страны было плавание по судоходным рекам.

Чтобы понять, как происходило в описываемый период развитие населения, и не имея прямых данных, обратимся к моделям, предлагаемым исторической демографией для обществ подобного типа. Естественный рост населения в этих племенных обществах был низким: смертность среди взрослых и детей была высокой, к тому же периодические эпидемии, войны и недостаток пищи уничтожали прирост населения, достигнутый в относительно спокойные периоды. Вследствие этого ожидаемая продолжительность жизни была достаточно низкой, на уровне 35–40 лет. Однако те, кто не умер в детские годы, соответственно, могли дожить до шестого и даже седьмого десятка. Быстрый рост населения в любой конкретной области в течение жизни одного поколения мог произойти только благодаря иммиграции, если новые поселенцы были приняты и интегрированы в существующую популяцию.

В то время как археологи настолько доверяют своим находкам, что строят на их основании предположения о том, какими могли быть границы древних племенных обществ, у нас возникает вопрос о том, насколько эти «границы» были фиксированными с современной точки зрения. Вероятно, они все же не были таковыми, поскольку люди, жившие в их пределах, не имели ни постоянных армий, ни пограничной стражи, чтобы защищать их. Получается, что границы в значительной степени созданы учеными, переносящими современные реалии в прошлое, и не являлись той реальностью, с которой должны были считаться современники. Более чем вероятно, что эти территории имели центральные поселения, однако районы, удаленные от центра, населенные или нет, всегда были открыты для набегов и, возможно, даже для оккупации. Опасности подобного рода подтверждаются широкой распространенностью на побережье Балтики различного рода фортификационных сооружений, а также тем, что в источниках того времени описываемые общества почти всегда упоминались либо как объекты, либо как инициаторы набегов. Таким образом, население данных территорий постоянно жило в страхе набегов, при этом носители внешней угрозы совершенно необязательно говорили на каком-то ином языке. Иными словами, не существовало гарантии от нападения агрессивно настроенных групп, говорящих на том же языке, что и их жертвы. Однако, невзирая на опасности, актуальные для населения побережья тех времен, мы не должны приходить к выводу, что племенные объединения региона были особенно воинственными; в действительности только некоторые из них современные им источники характеризовали как особенно агрессивные. Так, курши использовали Балтийское море для пиратства и набегов на остров Готланд и даже на материковую Швецию; «свирепыми» называли в древнерусских летописях литовские племена. Однако дихотомия мы — они отличалась значительной гибкостью. Если какое-то племя говорило на «балтийском» языке, это не обеспечивало ему безопасности от набегов других «балтоговорящих»; более того, «балты» как таковые не проявляли какой-либо особенной враждебности к финноговорящим или славянским соседям. Доблесть, сила и алчность демонстрировались не в соответствии с языками, на которых говорили соседи, но просто по отношению к любым соседям — кем бы они ни были.

Мы не можем говорить о «децентрализации» власти на побережье, поскольку эта концепция предполагает представление о том,

что прежде существовал обратный порядок. На побережье никогда не было короля Альфреда (как в Англии), который бы объединил в каком-то смысле все племенные группы против внешнего врага; эта территория была фрагментарной начиная с того момента, когда мы можем назвать ее отдельные компоненты, однако и на этой территории мы найдем лидеров и некоторую степень общественной стратификации. В хрониках XIII в. подобные факты отражаются с помощью таких терминов, как *seniores* («старшины») и *rex* («король»), что позволяет с определенной вероятностью предполагать, что такая дифференциация в обществе существовала в регионе и до начала II тысячелетия. Хроники чаще всего используют эти термины при описании переговоров или военных действий, но они обычно не останавливаются на том, какими правами пользовались названные упомянутыми терминами люди внутри возглавлявшихся ими сообществ и какую ответственность они несли. Также источники не описывают никаких инструментов, с помощью которых эти лидеры могли бы осуществлять свою власть на территории, которая могла бы считаться подвластной им по географическому признаку. Помимо всего, в последние столетия I тысячелетия н.э. вожди остаются в источниках безымянными: их имена появляются в хрониках лишь несколько столетий спустя. Таким образом, лидеры представляют собой некую тайну; они существовали, но невозможно сказать, то ли они избирались (как это происходило у германских племен), то ли обретали свой статус благодаря происхождению или успешно осуществленным актам устрашения.

Прямые свидетельства, полученные при археологических раскопках погребений, указывают на наличие социальной стратификации в этих обществах. Некоторые тела были захоронены с гораздо большим количеством материальных ценностей, чем обнаружено в других погребениях; отдельные захоронения делались в стороне от других. Не столь прямым свидетельством являлось расположение жилищ: часть домов в поселении была построена на холмах, тогда как другие располагались ниже. Хотя слово «стратификация» предполагает незавершенный процесс, а доступные археологические свидетельства относятся к прошлому, тем не менее версия, согласно которой разделение по уровню материальной обеспеченности имело место, выглядит достаточно убедительной. Строго говоря, свидетельства, получаемые путем изучения погребений, где мы видим, что в некоторых захоронениях присутствова-

ли оружие лучшего качества и украшения, говорят только о том, что на момент смерти эти люди располагали большим количеством имущества, чем другие. Однако подобная практика была столь повсеместно распространенной, что это позволяет воспользоваться более общими выводами и применительно к Балтийскому побережью. Свидетельства, касающиеся жилья, могут толковаться двояко, поскольку не все археологические раскопки поселений демонстрируют разный — и высокий, и низкий — уровень качества жилья: некоторые из племенных обществ характеризуются значительной дифференциацией по этому признаку, тогда как другие различаются меньше.

Социальное разделение, основанное на материальном благосостоянии, не могло быть значительным, поскольку нет никаких свидетельств того, что в этих обществах, функционировавших лишь на уровне обеспечения выживания, существовало сколько-нибудь значительное накопление каких бы то ни было богатств. Тогда не было разделения населения на городское и сельское и, соответственно, не существовало поселений городского типа, где богатства могли бы аккумулироваться быстрее. Материальные различия между отдельными индивидами не влекли за собой немедленной социальной стратификации, поскольку высокий статус — то есть статус вождя, шамана, старейшины или богача — сохранялся лишь на протяжении жизни конкретного человека. Мы ничего не знаем о практиках наследования в этих обществах и, соответственно, о том, могли ли богатство и высокий статус концентрироваться на протяжении нескольких поколений в пределах одной семьи. Помимо этого, долгосрочная и фиксированная социальная стратификация могла легко стать жертвой внезапных перемен в обществах, которые были столь численно невелики, — неблагоприятное стечение обстоятельств могло легко свергнуть все общество в относительную бедность.

Подобные замечания относительно социальной стратификации, однако, не являются аргументом в пользу утверждения, что социальная структура этих обществ была полностью однородной. Существует множество свидетельств наличия специализации ремесленного труда, присутствия людей, обладавших особенными способностями в таких сферах, как работа с металлами, строительство, ювелирное дело, — короче говоря, тех, чьи навыки были необходимы для создания вещей, которые мы находим в погребениях. Эти навыки передавались в семье из поколения в поколение.

Однако значительная дифференциация в сфере занятости, скорее всего, была для подобных обществ непозволительной роскошью; большинству людей приходилось и успешно справляться с крестьянским трудом, и демонстрировать навыки умелого кузнеца, отличного пчеловода, а если того требовала ситуация — хорошего воина или даже военачальника. Мера, в которой подобные маркеры высокого статуса и титулы признавались на протяжении всего периода жизни поколения, неизвестна, так же как и степень авторитета, которую сохраняли военные лидеры с течением времени.

Наконец, можно ли считать, что изменения в этих племенных обществах происходили на некой определенной траектории? Доступные нам археологические свидетельства того времени говорят лишь о конкретных моментах в прошлом: скелет человека, захороненного в определенном месте в определенное время, со всеми украшениями, принадлежавшими покойному/покойной; раскопанные остатки деревянных укреплений, которые могли некогда быть городищем; упоминание в летописи названия некоего народа. Чтобы идентифицировать изменения, каждый из этих случаев необходимо приблизительно датировать и привязать к временной шкале. В итоге любые свидетельства изменений имеет смысл принимать во внимание лишь при условии, что мы можем со значительной долей вероятности предположить, как питались члены этих обществ и на кого они охотились, сколько людей было в племени, из чего они строили дома, как украшали себя, какое оружие и орудия труда использовали, с кем торговали, какие культуры выращивали и меняли ли они место жительства. Используя максимально протяженную временную шкалу, мы можем обозначить наиболее долгосрочный вектор перемен, через которые проходили эти общества: от охоты и собирательства — к оседлому земледелию, от использования деревянных орудий труда — к бронзе и железу. Рассмотрение менее длительных периодов времени представляют собой более серьезную проблему, если пытаться наметить вектор изменений в пределах двух-трех столетий в районе рубежа I—II тысячелетий н.э. Создается впечатление, что в эти века изменения носили в большей степени накопительный, чем эволюционный характер: то есть за указанный период возросли общее количество населения и его плотность, увеличилось количество городищ, однотипного оружия и украшений, одних и тех же сельскохозяйственных культур, а также возрос объем торговли определенным типом товаров. Говоря в общем, в некоторых отношениях количественные социально-

экономические изменения могут способствовать переходу общества в иное качество — оно становится таким, каким не было до сих пор. Произошло ли это уже на рубеже I и II тысячелетий или процесс только шел, мы можем не узнать никогда. Мы знаем точно только одно: что подобные количественные изменения происходили задолго до того в других частях Европы и они привели к развитию общества в определенном направлении. Эти общества становились более многочисленными, лучше организованными экономически и политически, они вырабатывали систему взглядов, согласно которой значительные территории и владение землей воспринимались как абсолютное благо. Такие системы взглядов также поощряли экспансию, направленную на достижение различных целей: поиск приключений, стремление к доминированию, обращение других народов к определенным системам верований, накопление богатства посредством торговли или соперничества. Эти общества отличались определенной воинственностью, позволявшей выходить за пределы простого открытия новых земель, ведения торговли и грабежей; иногда тем, кто будет успешно выполнять свой долг, обещали вознаграждение на небесах.

Племенные общества восточного побережья Балтики имели незначительное количество подобных верований или иных представлений, которые могли бы привнести в их поведение сколь угодно значительные экспансионистские мотивы. Они могли нападать на соседей, но лишь для того, чтобы вернуть свои поселения и получить какие-то трофеи; некоторые из них могли продвигаться на новые территории, нарушая таким образом сложившиеся представления о границах. Однако повторяющиеся действия подобного рода не приводили к росту территорий конкретных племенных объединений. При этом на протяжении нескольких столетий перед и в самом начале II тысячелетия восточное побережье Балтики являлось объектом растущего интереса тех европейских обществ, для которых экспансия была нормой поведения.

Верования и системы верований

Извечная проблема недостатка источников оказывается лишь немного менее острой в сравнении с проблемой поиска прямых данных о системах взглядов и верований племенных обществ Восточ-

ной Балтики на рубеже I и II тысячелетий н.э. По определению, верования не оставляют материальных следов после того, как прекращается их власть над воображением людей; они просто исчезают. Помимо этого, системы верований также меняются с течением времени. Все, что нам известно о верованиях народов побережья, почерпнуто из более поздних хроник и летописей христианских авторов, стремившихся продемонстрировать абсурдность прежних языческих воззрений племен, перешедших под покровительство христианских народов, а также из трудов священнослужителей, писавших еще позже и выражавших сожаление по поводу «пережитков» язычества среди своей паствы. Соответственно, эти данные проецировались и на более ранние времена.

Еще один пласт информации (возможно, сомнительной ценности) стал доступным для нас благодаря убежденным националистам XIX – XX столетий (об этом см. гл. 6). Эти авторы замещают обличительный пафос христианских авторов восхвалениями дохристианских систем верований, дополняя их представлениями о пантеоне богов и жреческом сословии и предполагая, что центром данной системы верований было место под названием Ромува на территории современной Литвы. Такие экстравагантные националистические взгляды были особенно популярны среди некоторых латвийских и литовских интеллектуалов, находившихся под впечатлением от масштабов территории, на которой можно найти топонимы и гидронимы балтийского происхождения. Они полагали логичным, что столь обширное пространство, населенное «балтийскими культурами», должно было обязательно иметь общую и пользующуюся значительным влиянием философскую и религиозную систему. Устная традиция — дайны, включающая литовские *dainos* и латвийские *dainas* как образцы народной поэзии — считалась собранием заслуживающих полного доверия образцов верований «древних балтов». Несколько подобных претензий были сделаны и эстонскими националистами на протяжении XIX столетия и позже; хотя даже голос средневековых христианских авторов по поводу языческих воззрений эстонского населения звучит гораздо более приглушенно, чем по отношению к балтоязычному населению побережья.

В силу этого стремление избегать подобных неисторических притязаний оставляет довольно мало прямых данных о религиозно-философских взглядах обитателей побережья в те века, что предшествовали 1000 г. н.э. При этом следует признать, что таковые

имели место. Было бы странно, если бы племена, у которых существовали различные (и идентифицируемые) занятия населения, существовала определенная экономическая организация и возможность защитить себя, не имели собственных представлений по поводу дуализма в самой природе всех обществ и соответствующих парных понятий: добро/зло, священное/мирское, жизнь/смерть, справедливость/несправедливость, естественное/сверхъестественное, болезнь/здоровье, мы/другие, друзья/враги.

Оглядываясь назад, специалисты приходят к выводу, что подобные верования и системы воззрений, возможно, имели в своей основе анимизм: убеждение, что каждый видимый и невидимый объект содержит в себе присущую лишь ему духовную силу, добавляющую к его природе некое измерение, не воспринимаемое человеческими чувствами. Анимизм предполагает благоговейное отношение к природе и проявляет себя в различных актах поклонения природным объектам: деревьям, животным, рекам — с использованием приношений в виде продуктов питания или других небольших, но ценных даров. Предполагается, что духи природы в результате таких актов поклонения становятся менее грозными, в результате чего усилия людей имеют шанс увенчаться успехом с большей вероятностью. Мир духов вездесущ, наполняет собой всю природу и — через нее — мир людей, поскольку те контактируют с миром природы. Духи иногда уподоблялись родительским фигурам: перед тем как начать пахоту, пахарь благодарил «мать-землю» за то, что она защищает его дом от разрушения в бури, происходившие с соизволения «отца-грома». Благоговейное отношение к отцам и матерям мира природы, очевидно, вело к появлению культа некоторых из них, поскольку предполагалось, что мир духов имеет собственную иерархию. Духи могли быть свободными от материальной оболочки, но время от времени могли обретать телесную форму. Предполагалось наличие духов — хранителей дома и очага, а некоторые животные — например, змеи — могли воплощать в себе силу духов. Считалось, что после смерти душа выходит из тела; в хрониках содержатся отдельные упоминания о расчленении тел врагов; это делалось для того, чтобы их души никогда уже не могли вернуться в свои тела.

Поздние летописные источники также повествуют о людях, способных играть роль посредников между миром духов и людьми, но маловероятно, что они являли собой некую организован-

ную жреческую касту, как это представляли националисты XIX в. Людей, обладавших особыми способностями, чтили персонально, но не как представителей некой касты. Вполне достоверно предположение, что в этих обществах присутствовали шаманы, колдуны и целители, — они были и в других анимистических племенах. Также существовали и специальные места для поклонения и жертвоприношений — священные рощи и большие камни посреди полей. Люди верили, что эти рощи — постоянные обиталища духов. Однако не существует никаких археологических свидетельств, позволяющих предположить, что эти места поклонения и жертвоприношений когда-либо представляли собой закрытые сооружения, такие, как храмы, а также о том, что поклонение в них приобретало когда-либо постоянные коллективные формы.

Выше всего в этом мире сверхъестественного находились боги; некоторые из них сохраняли связь с отдельными природными явлениями, тогда как другие воплощали более абстрактные понятия, такие, как «рок» или «судьба». Этим божеств, имевших возможность вмешиваться в жизнь людей, можно было умиловить соответствующими ритуалами и, соответственно, убедить повлиять позитивно или, по крайней мере, не навредить. Однако подобные вмешательства, очевидно, оставляли достаточно пространства для принятия решений самими людьми и давали немало вариантов выполнения явленной им воли. Остается в значительной степени открытым вопрос, включала ли эта вера в богов представление о некоем едином сверхъестественном существе или же древние жители побережья были политеистами. Гораздо более поздние литовские народные верования, несомненно, включали представления о главном боге — *Диевас* (*Dievas*), тогда как на территории Латвии — и снова значительно позже рассматриваемого времени — существовала подобная фигура со схожим именем, к которому почти всегда обращались, используя уменьшительную форму имени — *Диевиньш* (*Dieviņš*). Верили, что это божество имеет вид сутулого старца, благожелательно обзревающего поля. Хотя националисты XIX в. и воображали существование некоего «балтийского пантеона» богов — почти Олимпа! — у нас нет никаких данных, позволяющих предположить, что боги народов побережья обладали собственными характерами, хоть чем-то напоминавшими резвящихся божеств Древней Греции. Возможно, население, проживавшее на территории современной Эстонии, вообще не имело никаких божеств, поскольку единственное эстонское «божество»,

упомянутое в позднейших летописях, — *Taranuma* (*Tarapitha*) — остается неясной фигурой с неопределенными функциями.

Также остается открытым вопрос, насколько вера в мир духов и во всевозможных божеств трансформировалась в нравственные нормы, на личном или коллективном уровне. Правила, определяющие, какое поведение является плохим, а какое — хорошим, могли быть привязаны к миру богов и духов, или же быть выработаны на основании опыта поколений: мы не знаем, что из этого имело место на самом деле, или же поведенческие нормы закладывались на основе того и другого источников. Также ничего не известно о санкциях, которым подвергались нарушители общественных нравственных норм. Хотя предполагается, что в рассматриваемый период на этой территории не существовало концепций «ада» или «вечного проклятия», погребальные обычаи свидетельствуют о том, что вера в некую загробную жизнь имела место. Погребения часто включают материальные объекты: оружие, украшения, продукты питания, которые должны были служить своим владельцам после смерти. В регионах, где говорили на «балтийских» языках (в отличие от «финских»), боги, по всей видимости, не имели карающих или устрашающих ипостасей. Даже несмотря на то, что считалось, что эти божества отвечали за различные аспекты природного мира, их ответственность, очевидно, не предполагала прямого контроля за отношениями людей. Возможно, поведенческие нормы на личном и коллективном уровне выросли в основном из признания того, что нужно для личного и коллективного выживания в окружающем относительно суровом мире.

Среди многих неясных вопросов, касающихся верований народов побережья в период смены I и II тысячелетий, есть и относящиеся к их распространению и передаче от поколения к поколению. Иными словами, верования должны быть помещены непосредственно в меняющийся социальный контекст, о котором мы также знаем чрезвычайно мало. Наиболее часто верования и системы верований населения побережья исследовались как обобщенные признаки двух значительных культур — балтийской и финской, при этом и тот и другой комплексы рассматривались в отдельности от конфликтов ежедневной общественной жизни. В качестве исследовательской стратегии такой подход имеет преимущества, ибо упрощает задачу, но он мало объясняет, как именно верования могли накладывать отпечаток на действия. Побережье Балтийского моря было регионом, где сосуществовали различные племенные

сообщества, объединения, находившиеся в постоянном процессе изменений, и некоторые из них вели к значимым трансформациям, а другие — нет. Вне всякого сомнения, народы из этих сообществ не были герметично отгорожены от посторонних влияний и общались друг с другом.

Означает ли это, что народы черпали из общих источников верований и поведенческих норм: балтийские народы из одного, финские — из другого? Это не кажется вероятным, учитывая отсутствие распространенной по всему побережью Балтики касты жрецов, которая могла бы систематизировать верования, и каких-либо религиозных институтов, способных распространить их по всему региону. Информация, доступная нам из летописных источников, показывает, что верования были в достаточной степени индивидуализированными, хотя, возможно, и не уникальными для каждого поселения. Некоторые деревья, такие, как дуб, судя по всему, почитались всеми балтийскими народами, но многие другие природные объекты наделялись священными качествами лишь применительно к конкретным местам. Балтийские народы, как было замечено выше, имели множество богов, тогда как финские — относительно немного. Позднейшие источники оставляют отчетливое впечатление, что племенные объединения конфликтовали друг с другом скорее из-за материальных причин, таких, как территория или добыча, а не с целью распространить на соседей свои верования.

Мы предполагаем, что эти верования и системы верований менялись с течением времени, что предполагает проблему передачи информации и знаний следующим поколениям в дописьменных обществах. Побережье не имеет никаких собраний священных текстов, из которых последующие поколения могли бы черпать представления о верованиях; это означает, что в регионе существовал некий механизм устной передачи информации. Очевидно, так оно и было — в противном случае мы должны предположить, что каждое следующее поколение изобретало для себя новых богов и новые верования. Мир природы оставался неизменным; сказанное позволяет считать, что характеристики и объяснения сил природы также оставались более или менее неизменными на протяжении поколений. Однако позднейшие хроники также изображают священное знание как прерогативу неких отдельных личностей; то есть подобное знание не было достоянием масс. Некоторые верования передавались через обычные процессы социализации: дети узнавали от своих родителей о мире духов,

наполнявшем все видимые и невидимые явления, и о том, как следует с ним взаимодействовать.

Однако заговоры, заклинания и прочие подобающие формы повиновения и умиротворения духов представляли собой более специализированную информацию, которая передавалась от одного человека к другому. В позднейших источниках нет сведений о подобном обучении; даже если упоминаются некие мудрецы, наделенные особыми способностями, совершенно неизвестно, имели ли они учеников. Свод информации и знаний, передаваемых устно, несомненно, претерпевал изменения при смене поколений. Некоторые верования уходили как старомодные, другие просто забывались, третьи передавались в измененном виде. По мере необходимости возникали новые верования, а новые явления нуждались в объяснениях, исходя из существующих представлений. Таким образом, верования народов Балтийского побережья, описанные в хрониках XIII—XIV вв., не могут считаться бесспорно присущими населению этого региона восемь-десять поколений назад.

Интерес к восточному побережью Балтики

Участившиеся упоминания о народах Балтийского побережья у античных и более поздних авторов, а также археологические находки указывают на тот факт, что на рубеже VI—VII вв. у современников вырос интерес к этому региону. Римские монеты попадали на балтийские берега из Империи благодаря торговцам или посредникам; наиболее значительные их клады были найдены на южном побережье Балтики — в регионе, впоследствии названном Восточной Пруссией, а не на *востоке*. Южный берег был источником балтийского янтаря — товара, высоко ценимого греками (которые называли его «электрон»), римлянами и византийцами. «Янтарные пути» торговцев простирались по будущим территориям России и Польши, а также шли вверх по рекам до морского побережья.

Однако было бы неточным изображать эту торговую деятельность как первые контакты побережья с «внешним миром», поскольку к концу V в. н.э. народы Балтики должны были привыкнуть к разного рода вторжениям «чужестранцев» со всех сторон, учитывая специфику миграционной активности региона. Торгов-

цы были лишь одним из многих видов «пришельцев», и главное различие состояло в том, что некоторые «чужаки» не только приходили, но и оседали, тогда как торговцы неизменно покидали эти земли. Возможно, было бы преувеличением говорить о постоянных «торговых отношениях» между побережьем и внешним миром, поскольку появление торговцев бывало скорее спорадическим и непредсказуемым, чем систематическим и регулярным.

Торговля не была заметным аспектом в жизни побережья на рубеже I и II тысячелетий; то же можно сказать и о вооруженных набегах с целью грабежа. В сагах скандинавских викингов, относящихся к IX в., упоминается о набегах, коснувшихся главным образом народов, чьи территории напрямую выходили на морской берег, — куршей, ливов, эстонцев, и в меньшей степени живших дальше от моря земгалов. Саги утверждают, что целью некоторых из этих набегов было подчинение побежденных народов; в действительности же они были ориентированы в первую очередь на захват добычи, и никаких сколько-нибудь постоянных поселений викингов на этих территориях не возникло. Более того, завоевание территорий — ранняя форма колонизации — потребовало бы соответствующих административных структур, создавать которые у викингов не было ни желания, ни человеческих ресурсов. Гораздо более выгодной схемой было взимание дани, что являлось целью и первых русских княжеств, расположенных восточнее. Небольшие государственные образования: Полоцк, Псков и Новгород — осуществляли набеги на территории эстонцев, латгалов и ливов, устанавливая долгосрочные трибутарные отношения между правителями балтийских земель и государствами Руси. Конечно, это не мешало торговле, но отношения такого рода являлись своего рода заменой прямой аннексии и, следовательно, требовали впоследствии регулярного поддержания и управления. Викинги с запада, по-видимому, не имели подобных планов. Однако они использовали реки восточного побережья Балтики в качестве путей, по которым проникали дальше на восток, что и делали без затруднений, не инициируя конфликтов с племенами, проживавшими по берегам этих рек. Напротив, Русь не проявляла интереса к рекам как связующему звену и, возможно, не обладала достаточными ресурсами, чтобы пытаться проникнуть на берег Балтийского моря с востока.

Сложно установить точную хронологию всех событий, связанных с торговлей и набегами на прибалтийские территории, но со-

вершенно определенно можно говорить о том, что частота их росла с каждым столетием после V в. н.э. К IX—X вв. народы восточного побережья Балтики должны были включить в свою картину мира понимание того, что их собственные общества существуют наряду со множеством других подобных структур, населенных людьми с разными обычаями, поклоняющимися разным богам и говорящими на разных языках. Также вполне очевидно, что эти «чужаки» в гораздо большей степени намеревались распространить свое влияние на побережье, чем ее население — на другие территории. Хотя курши и отправлялись в набеги на остров Готланд в Балтийском море и даже доходили до прибрежных поселений на Скандинавском полуострове, а эстонцы нападали на славянские территории на востоке, ни одна из этих акций не преследовала использования военной стратегии, предполагающей постепенное установление территориального контроля или планирование дальнейших вторжений. Излюбленной стратегией народов побережья была схема «набег — грабеж — отступление», тогда как в окружающих обществах — особенно располагающихся к западу и юго-востоку — к концу тысячелетия наблюдались отчетливые тенденции к тому, чтобы конвертировать результаты набегов в нечто более постоянное.

Чтобы понять, почему это было именно так, следует посмотреть, что происходило после V в. н.э. в Скандинавии и Западной Европе. «Эпоха викингов» закончилась примерно к рубежу тысячелетий. В своих походах скандинавы доходили вплоть до Северной Америки; викинги достигли западного побережья Европы и — через побережье Балтики — земель Руси. Причины их «внезапного» появления были многочисленными и определенно включали внутренние конфликты скандинавских народов и их любовь к приключениям и захвату добычи. Но, помимо всего прочего, важнейшую роль сыграл быстрый рост населения, — это означало, что массовый исход викингов с родных земель носил в значительной степени экспансионистский характер. Корабли норвежских викингов пошли так называемым «внешним проходом» — они нападали на Шотландию, Ирландию, Францию и даже достигали берегов Северной Америки. Даны оставили за собой «средний проход» — Британские острова, Францию и современные территории Нидерландов, Бельгии и Люксембурга; набеги шведов концентрировались в основном в Балтийском море («восточный проход») — через Балтийское побережье на восток и далее вплоть

до Византийской империи. Конечный результат всех этих экспедиций, продолжавшихся с VI по X в., оказался неоднозначным: были заселены новые территории (особенно на Руси); коренному населению земель, испытавших вторжения, был внушен страх перед пришельцами с севера; однако колонии — в смысле, захваченные территории под управлением викингов — не возникали. Там, где викинги основывали поселения, они в конечном итоге смешивались с местным населением. К X в. демографическое давление на Скандинавском полуострове уменьшилось, и внешние экспедиции прекратились.

Влияние этих походов не было односторонним, поскольку именно благодаря им народы Европы узнали, откуда именно пришли на их земли викинги. Стало понятно: это были земли язычников, что вызвало активный интерес церкви, — первые прочные связи с христианской Европой были установлены в Швеции в IX столетии. К этому времени политика скандинавских королевств стала более стабильной, и местные династии породили ряд сильных правителей, способных защитить свои земли от вторжений и выработать некую национальную политику. Обращение в христианство на территории Дании особенно продвинулось при Харальде II Синезубом и Свене I Вилобородом в X в., а крещение Кнута II Великого в первой половине XI в. завершило процесс. В Швеции Олаф Скутсконунг, чье правление охватывало конец X — начало XI в., стал первым христианским правителем, и его преемники сохранили приверженность христианству. В Норвегии полная христианизация завершилась только в XI в. с помощью Олава II Святого.

Следует отметить два важных момента: во-первых, Скандинавия присоединилась к христианской Европе без всяких вооруженных нападений извне и насильственного насаждения новой веры; и, во-вторых, христианизация Скандинавии, с точки зрения существующих христианских государств и церкви, являла собой пример успешного распространения веры и усиливала интерес к оставшимся «языческим» народам севера Европы. Однако включение скандинавских земель в христианскую Европу не способствовало умиротворению этих народов, но дало обратный эффект: сами скандинавы, особенно датчане и шведы, как и раньше, продолжали интересоваться восточным побережьем Балтики, но теперь они приобрели еще и дополнительный мотив для своих экспансионистских устремлений. Внутренняя консолидация и сильные монархические лидеры в Скандинавских странах способствовали борьбе

этих государств друг с другом в стремлении к расширению контролируемых ими территорий. Помимо этого, им приходилось противостоять усилиям стран Западной Европы, стремившихся на север, и сочетать христианизацию с попытками установления политического контроля. К концу XI столетия Скандинавские страны стали похожи на остальные государства Западной Европы: внутренне консолидированные, со сформировавшимися монархическими династиями, стремившимися поднять государственный доход для расширения полномочий национальной государственности и сохранить свои позиции в противостоянии жаждущей власти знати. Экономика этих стран находилась в процессе развития торговли на короткие и длинные расстояния.

Христианизация Западной Европы, разумеется, произошла значительно раньше; Галлия, например, являлась частью Римской империи и как таковая была обращена в христианство, когда христианской стала Империя. Падение Рима, который был самой успешной экспансионистской державой в античном мире, не уменьшило привлекательности той идеи, что распространение контроля на новые территории является для страны абсолютным благом. Появившиеся в Европе государства, наиболее заметным из которых была империя Каролингов, продолжали экспансионистскую политику, но после смерти Карла Великого империя была разделена между его сыновьями, в результате чего возникли три меньших по размеру, однако вполне активных государства. Королевские династии этих стран сформировали впоследствии Францию и Священную Римскую империю германской нации. Хотя обе эти страны номинально являлись христианскими (воспринявшими западную ветвь христианства), они жестоко конкурировали друг с другом, и в обоих государствах росло недовольство по поводу усилий римских пап поставить себя выше всех светских правителей.

Однако развитие этих стран в X в. шло не вполне гладко. Постоянный страх внушали набеги викингов с севера, а на востоке соперницей оставалась Византийская империя (восточная половина прежней Римской империи), пока она не пала под ударами мусульман. После значительных территориальных приобретений, приведших их на Иберийский полуостров, мусульмане в определенной степени преуспели в превращении Средиземного моря в «мусульманское внутреннее озеро». К X столетию Западная Европа действительно вступила в «темные века» по сравнению с тем, что было раньше, и тем, что произошло позже, и положение в Европе

резко контрастировало с поразительными достижениями цивилизации на мусульманских территориях. Внутри западноевропейских государств королевские династии все больше и больше вынуждены были уступать власть могущественным семьям, из которых формировалась землевладельческая знать, — монархи же, в свою очередь, нуждались в ее поддержке и в управлении страной, и при организации военных походов. Абсолютным победителем в этой ситуации упадка светской власти стало папство, которое, будучи международным институтом, было заинтересовано не столько в территориальных притязаниях той или иной династии, сколько в распространении христианства. Усилия церкви, направленные на скандинавские территории, были лишь одним из проявлений этой заинтересованности.

Одиннадцатый век стал началом поворота в судьбах Западной Европы. Столетие слабой (хотя и никогда не прекращавшейся) экономической активности сменилось веком экономического роста; постоянным стал также и рост населения. В регионах, находившихся ранее в упадке, начали возрождаться города и стала восстанавливаться присущая им экономическая и торговая деятельность. Королевские династии постепенно утверждают свои права в борьбе с крупными феодалами в собственных государствах, борются с навязыванием папской власти, а также друг с другом. Несколько столетий децентрализации сложно преодолеть быстро, но тенденция была очевидной. Феодалные связи — привязывающие крупных землевладельцев к королю и друг к другу в соответствии с иерархической лестницей — оставались сильными, но не нерушимыми; казавшая вечной манориальная система с ее зависимыми крестьянами не могла быть отменена за один день, но могла способствовать развитию новых форм экономической деятельности, особенно ближней и дальней торговли.

Даже несмотря на то, что масштабы коммерческой деятельности продолжали увеличиваться, контроль над землями (и доходами с этих земель) оставался основным мотивирующим фактором отношений между государствами. Такой контроль мог быть достигнут напрямую — посредством завоевания — или косвенным путем — с помощью династического брака, — и монархи новой, пробуждающейся Европы использовали оба метода. Поскольку папство не могло напрямую использовать ни тот, ни другой способ, оно стремилось расширить свой контроль, используя монополию на спасение душ — как королей и знати, так и простых людей. Оно

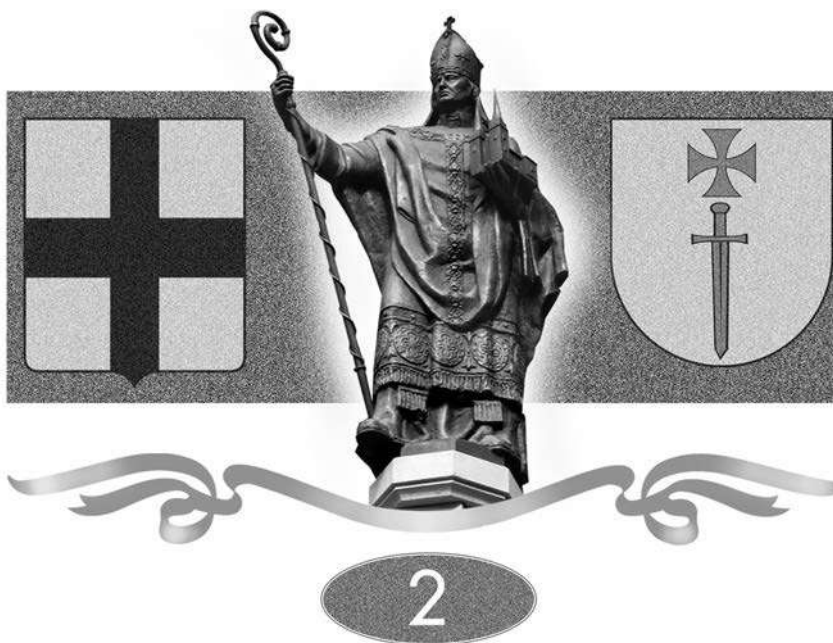
было вынуждено терпеть присутствие целой империи «неверных» мусульман непосредственно к югу от себя, но мириться с существованием языческих народов где бы то ни было на самом европейском континенте у него не было необходимости.

К югу и востоку от Балтийского побережья жили славянские народы. Они стали постоянным населением данных регионов в течение двух столетий, непосредственно последовавших за падением Римской империи (традиционно датируется 476 годом н.э.). О политической истории этих народов в последующий период известно немногим более, чем о финских и балтийских народах, проживавших к северу и западу от них. В описываемое время славяне не отличались от населения побережья — они представляли собой небольшие племенные объединения, боровшиеся за территории; какие-то из них имели сильных лидеров, а другие — слабых. Один такой сильный лидер появился в IX в. среди скандинавских викингов, попадавших на славянские территории по рекам, пересекающим побережье Балтики. В позднейших летописях их называли «варягами»; некоторые из пришельцев оседали, селились здесь и даже начинали доминировать над местным населением. Наиболее успешным вождем был Рюрик, который стал править Новгородским княжеством в 60-е годы IX в., и он стал считаться основателем сильнейшей династии Древней Руси. Династия Рюрика обеспечила Новгород чередой сильных и активных правителей: в начале X в. следует отметить Олега, а несколько позже — Святослава; на рубеже XI и XII вв. — Владимира и потом — Ярослава. Однако никто из этих правителей не преуспел в объединении восточных славян в единое государство, хотя каждый внес свой вклад в развитие земель, которыми непосредственно управлял. При Олеге центр политической активности Руси переместился в Киев; Святослав, возможно, был наиболее успешным военным лидером, распространившим свою власть на юг; Владимир способствовал обращению восточных славян в христианство по образцу Византийской империи. В целом русские княжества ориентировались на Византию и, таким образом, выросли вне влияния западноевропейских держав и папства.

Однако признаки сходства народов побережья и Руси имеют меньшее значение, чем их различия. *Во-первых*, русские княжества были больше по размеру, и около 1000 г. н.э. они могли находиться на стадии значительного роста населения. *Во-вторых*, их лидеры были экспансионистски настроены и активно стремились к конт-

ролю над новыми территориями, вели почти постоянные битвы друг с другом и с народами к югу и востоку. В-третьих, они смогли установить правление династий, в рамках которых политическая власть передавалась из поколения в поколение, сохраняя таким образом легитимность. И даже в таком случае эти народы могли избегать унифицированной государственности; существовавшие династии были не более чем отдельными семьями, добившимися власти на какой-то период и при потере могущества заменявшимися другими. Даже сильные правители были вынуждены постоянно вступать в соглашения с относительно состоятельными и стремившимися к власти соперниками на своей территории, которые уже начали формировать класс *бояр*, всегда готовых сменить существующих властителей. Объединенное Русское государство не появилось естественным путем; за него пришлось бороться, и образовалось оно существенно позже описываемого времени.

Остается загадкой, почему русские княжества, соседствовавшие с народами побережья, не стремились к неуклонному расширению своего влияния на западе. Возможно, одновременная экспансия в трех направлениях (на восток, юг и запад) находилась за пределами их возможностей, и, возможно, три балтийских народа, живших прямо за восточными границами Руси, — эсты, латгалы и литовцы — были вполне готовы защитить себя. Таким образом, княжества Руси (и, в свою очередь, народы побережья) сохранили статус-кво, что предполагало и периодические рейды друг против друга (некоторые из которых изначально выглядели как попытки экспансии, но предположительно не были таковыми). Латгалы на протяжении определенного времени платили дань полоцкому князю. На протяжении этого периода постоянных военных междоусобиц существовали и отношения другого рода; например, латгалы получили первый опыт соприкосновения с христианством благодаря миссионерам из русских княжеств; и торговая деятельность, хотя и периодически прерывающаяся, никогда не исчезла полностью. Когда к концу XII в. с запада пришли иностранцы с более определенными целями, народы Балтийского побережья не имели никаких причин рассматривать их как-то иначе, чем еще одну беспокойную группу чужаков.



НОВЫЙ ПОРЯДОК (1200–1500)

Во второй половине XII в. несколько связанных между собой цепочек событий привели к значительным изменениям в восточной части Балтийского побережья, в результате которых здесь воцарился «новый порядок». Эта трансформация, в ходе которой европейцы с запада пришли и остались на побережье, не произошла за один день; фактически она растянулась на полтора века. Чтобы правильно понять сущность данного процесса, мы должны отойти от упрощенных моделей происходящего и рассмотреть события во всей их сложности. Народы побережья были знакомы с чужаками в своей среде, по меньшей мере, с IX в., когда викинги

На заставке: крест Тевтонского ордена, епископ Альберт (копия скульптуры К. Берневича в Риге), эмблема Ордена меченосцев.

использовали прибалтийские водные пути, чтобы путешествовать далее на восток, на территорию Руси. Торговцы с запада и востока приходили и уходили, как и христианские миссионеры из русских земель. Как эти «чужаки» воспринимались народами побережья, мы точно не знаем, однако появление здесь германских крестоносцев и торговцев вряд ли являлось чем-то необычным. Их воинственность также нельзя считать нетипичной, — по крайней мере, таковой она не могла казаться изначально. В конце концов, сами племена побережья вряд ли можно назвать совершенно мирными земледельцами: на протяжении столетий они совершали набеги на соседние территории и грабили их, захватывая пленников и рабов. Ни один из этих набегов не был примером продуманной экспансионистской политики, за исключением, возможно, походов литовцев на их восточных соседей. Но стало бы ошибкой считать насильственные действия местного населения исключительно оборонительными или лишь ответными на внешнюю агрессию; судя по всему, они были частью повседневной жизни на побережье Балтики. В конце концов, укрепленные городища на холмах являлись излюбленной формой поселений в регионе.

Один тот факт, что население побережья Балтики в это время все еще не было христианским, нельзя считать достаточной причиной притягательности региона для чужаков. Хотя христианская церковь в Западной Европе и побуждала представителей всех классов общества отправляться в крестовые походы, папство и светские западноевропейские правители постоянно боролись за власть друг с другом. Желание «обратить язычников в христианство» лишь часть более значительного конфликта. К XI в. христианский запад был окружен исповедующими «ложные» религии — на востоке это «еретики»-православные, декларировавшие приверженность Константинополю, а не Риму; на юге — исламские государства Иберийского полуострова, Северной Африки и Ближнего Востока. Более того, каждый из пап и номинально христианских правителей государств Западной Европы постоянно сталкивался с территориальными притязаниями со стороны других; в западноевропейском обществе стали возникать опасные секуляристские элементы в форме городов, где возникали и ценились новые формы богатства (деньги, а не земля); и те же христианские правители были нацелены на расширение собственных территорий за счет соседних властителей, непрерывно играя друг с другом в гигантскую игру с нулевой суммой.

Если сохранявшееся присутствие местного языческого населения в северо-восточном углу Европы и было раздражающим фактором для убежденных христиан, то они, скорее всего, имели иные планы, в том числе и личные, относительно Балтийского побережья и населявших его народов.

Христианские правители видели здесь вакуум власти. Ко второй половине XII в. ни одно из местных племенных сообществ не стало доминирующим; ни одно не являлось ни достаточно многочисленным, ни настолько хищным, чтобы выступить в роли захватчика и претендовать на подобный статус в ближайшем будущем. Не было там и могущественных лидеров, стремившихся к объединению своего народа, что могло бы стать первым шагом к доминированию над остальными. Прибрежные общества нельзя назвать беззащитными, хотя они являлись при этом заманчивой мишенью для тех чужаков, которые уже поняли, как добывать власть и как ею пользоваться в личных, династических и политических целях. Когда во второй половине XII в. на Балтийское побережье прибыли первые христианские миссионеры из Западной Европы, они, возможно, невольно вдохновили на это тех, для кого территориальные захваты и спасение душ были двумя сторонами одной медали.

Христиане, торговцы и крестоносцы

Вторая половина XII в. ознаменовалась не только началом постоянного притока чужестранцев из Центральной Европы на восточное побережье Балтики. С этого же времени становится возможным излагать историю региона в виде повествования, предполагающего последовательность событий, подтвержденные даты и узнаваемых персонажей. Чужестранцы и способствовали появлению исторического нарратива — особенно те немногие из них, кто желал сохранить в истории память о своей победе над язычниками Балтийского региона: Генрих Латвийский с его «Хроникой», охватывающей период примерно до 1230 г.; анонимный автор «Ливонской рифмованной хроники», излагающей события вплоть до конца XIII в.; те вожди победителей, что подписывали соглашения, в которых уточнялось, как именно должна быть распределена добыча. Соответственно, многое из того, что мы знаем, — это история, написанная победителями, у которых теперь имелась твердая уверенность в том,

что Бог на их стороне. Голоса потерпевших поражение не звучат в этих рассказах, поскольку они не писали историю, и их реакцию можно только подразумевать, исходя из поведения во время долгих десятилетий вынужденной покорности завоевателям.

С точки зрения чужестранцев, начало истории не предвещало ничего хорошего. Изолированные случаи сравнительно ограниченных миссионерских усилий западных церковников отмечаются довольно рано: в Литве это имело место в начале XI в., на земле куршей — в конце того же столетия, на территории Эстонии — в 60-е годы XII столетия. Однако в конечном итоге все эти действия не имели видимых последствий. Почти то же самое произошло с усилиями двух монахов, решивших водным путем — по известной всем Даугаве — попасть на побережье, а также с трудами августинца по имени Мейнард в 80-е годы XII в. и цистерцианца по имени Бертольд в 90-е годы XII в. Оба они проповедовали среди ливов, которые были почти невосприимчивы к их миссионерской деятельности. Мейнард, который долго пробыл среди ливов, по крайней мере, построил церковь в Икшкиле, в 60 км выше устья Даугавы. Бертольд же был убит в стычке с ливами вскоре после своего прибытия. Оба первопроходца получили от пап, одоббивших их миссии, титул епископа Ливонского. Титул ясно подчеркивает серьезность предпринятых усилий, поскольку на тот момент у церкви не было в описываемом регионе ни паствы, на которую она могла бы опереться, ни территории, на которую можно предъявить права. Эти две попытки проникновения церкви на побережье Балтики больше напоминают предшествовавшие неудачные опыты, чем все, что происходило в дальнейшем. Они даже менее успешны, чем усилия православных миссионеров по обращению язычников на востоке Латгалии, где были крещены несколько местных племенных вождей; впрочем, это обращение тоже не носило устойчивого характера.

Направленность западных усилий стала очевидной в 1199–1200 гг., когда на берегах Даугавы высадился Альберт фон Букгевден. Альберт, уроженец немецкого города Бремен, получил от папы Иннокентия III титул третьего епископа Ливонского вместе с правом осуществлять деятельность под прикрытием крестового похода. В отличие от своих предшественников Альберт, очевидно, обладал стратегическим мышлением. Его миссионерскую деятельность охраняли сначала 23 саксонских воина, впоследствии их число выросло до пятисот. Осознавая стратегическую уязвимость плацдарма в Икшкиле, Альберт смог убедить ливов,

живших возле устья Даугавы, разрешить ему (в 1201 г.) построить город, получивший название Рига, лишь в 15 км от устья реки. Там немедленно началось строительство некоего подобия его штаб-квартиры. Рига стала укрепленным пунктом и местом, из которого можно развивать экспансию в любых направлениях. Вторым по важности человеком после Альберта был брат Теодорих — столь же энергичный, как и его начальник. Благодаря его усилиям военный контингент Альберта (воины, приехавшие вместе с ним, и те, что прибыли позже) превратился в крестоносный Орден меченосцев (более точно — Орден рыцарей Христа — *fratres militiae Christi*), который должен был следовать уставу тамплиеров. Очень скоро этим воинам-монахам стали жаловать земли, отнятые у ливов.

Папа Иннокентий III позволил небольшой группе купцов в составе населения Риги установить монополию на торговлю по Даугаве на значительном протяжении. Короче говоря, Альберт и его окружение, состоявшее из церковных, военных и торговых элементов, изначально вели себя так, как если бы они уже были хозяевами территории, на которую лишь недавно прибыли. Ответная реакция ливов — а на этих ранних стадиях чужестранцы имели дело только с ними — оказалась неопределенной. Возникшее с их стороны вооруженное сопротивление было легко подавлено. Среди ливов не наблюдалось единства в отношении захватчиков. А окружение Альберта использовало любые способы — включая захват заложников, угрозы, подкуп и ложь, — чтобы закрепить свое присутствие.

Закрепившись в этом связующем пункте, пришельцы могли выбирать: продвигаться ли во всех направлениях, поскольку их плацдарм Рига со всех сторон был окружен землями язычников и языческим населением, или же осуществлять пошаговую стратегию завоевания. Они выбрали второе и приступили к полному подчинению ливов. Силы Альберта уже преуспели в обращении некоторых ливских вождей, ставших союзниками крестоносцев в действиях против других племен ливов. Продвигаясь в глубь страны по Даугаве, крестоносцы захватывали их поселения и городища и к 1206 г. уже контролировали оба берега реки. Каждая победа сопровождалась обращением язычников, постройкой храма в завоеванной местности и присоединением ее к владениям епископа. Наступление крестоносцев продолжалось на восток, северо-восток и юго-восток. Они постепенно подавили сопротивление на оставшихся ливских территориях на севере, успешно захватили земли селов к югу от Даугавы и затем двинулись на территории латгалов непо-

средственню к востоку от земель ливов, а также на север, к эстам. Реакция местного населения была разной: несмотря на сопротивление, которое крестоносцы преодолевали вооруженным путем, они успешно рекрутировали воинов из числа побежденного местного населения для дальнейших сражений с их братьями-язычниками. По меньшей мере, один из вождей селов бежал в поисках защиты на Русь. К началу 1208 г. папа Иннокентий III объявил о христианизации всех ливов, а также значительной части других племенных обществ к востоку от Риги.

Эти победы расчистили путь для дальнейшего продвижения, целью которого было стремление обезопасить для немецких торговцев путь вверх по всей Даугаве, вплоть до подступов к русскому Полоцкому княжеству. После достижения данной цели начались точно такие же, но имевшие смешанные мотивы действия, направленные на северные русские княжества, Новгород и Псков. По мере того как население территорий, подвергшихся вторжению, переходило под власть оккупантов, местные вожди и население переходили в христианство западного толка. В первые годы после завоевания территориальный вопрос оставался запутанным; местные вожди и подвластное им население, разумеется, теряли все права владения завоеванными землями, однако завоеватели, разделенные, в свою очередь, на две группы с различными интересами — церкви и Ордена меченосцев, — конкурировали между собой за окончательный контроль над вновь обретенными землями. Оба института по-своему участвовали в завоевании, и при этом орден номинально был создан церковью. В какой-то момент удалось удовлетворить противоборствующие стороны формулой, придуманной, чтобы решить проблему: половина новых земель переходила под прямой контроль Альберта, а другая половина подчинялась ордену. Позже формула изменилась, и большинство земель, находившихся ранее под контролем церкви, последняя стала раздавать воинам ордена в качестве фьефов. Однако жадность, проявляемая обеими сторонами на ранних этапах завоевания, оставалась основной причиной трений и даже глубокого конфликта, длившегося нескольких столетий; это чрезвычайно затрудняет определение религиозных, экономических и политических мотивов действий каждой стороны. К началу 20-х годов XIII в. церковь и орден полностью контролировали территорию побережья к востоку от Риги вплоть до русских княжеств.

Хроники, написанные триумфаторами, видели в происходящем року Божью и на этой основе представляли победы крестоносцев

неизбежными. К сожалению, мы мало знаем о видении ситуации побежденными народами и их лидерами в момент перехода власти. Конечно, имело место сопротивление, часто яростное; и в большинстве случаев обращение в христианство происходило лишь после военных поражений язычников, причем остается открытым вопрос, насколько полным было такое обращение. Племенные армии, создаваемые еще не покоренными народами, даже предпринимали превентивные нападения на чужеземцев: например, в 1210 г. Ригу атаковало сильное войско куршей, которое, однако, не смогло ее взять. Крестоносцы придерживались тактики постоянного давления до той поры, пока не сталкивались с сильным и решительным сопротивлением; но за отсутствием такого сопротивления они продолжали завоевание. В большинстве случаев решающую роль играли воинское искусство захватчиков, превосходство их войск и решимость. Кроме того, некоторые язычники демонстрировали определенный оппортунизм, выступая на стороне крестоносцев против своих еще не покоренных соседей. Существует гораздо больше свидетельств о неразберихе, об отступлении местных жителей или о соображениях расчета, чем о существовании слаженного и организованного сопротивления.

Продвижение крестоносцев в эстонские земли подчеркивает необходимость пересмотра простой модели завоевания: «мы против них», то есть «народы побережья против немецких крестоносцев», — поскольку, воюя с эстонскими племенами, крестоносцы смогли привлечь в свои войска множество ливов и латгалов. Каковы же были мотивы последних? Трудно предположить, что они тоже считали себя исполняющими волю Божью, даже если являлись вновь обращенными христианами. Хроники предполагают, что в данном случае имело место желание отплатить эстонцам за прежние набеги на земли латгалов и ливов. В любом случае для эстов в число врагов входили не только немецкоговорящие пришельцы из Центральной Европы, но и финно-угры (ливы) и балты (латгалы). Продвижение в Эстонию началось в 1208 г. с атаки на крепость Отепя, расположенную к северу от уже завоеванных латгальских земель. За неудавшимся нападением эстов на крепость крестоносцев Цесис (нем. Венден) в Латгалии в 1210 г. последовала их победа над орденом и его союзниками на реке Юмера в том же районе. Контратака крестоносцев состоялась в 1211 г. и была направлена на крепость Вильянди, расположенную в глубине Эстонии, с чего и начались победы ордена на этих землях. Эсты вновь ответили,

углубившись далеко на юг ливских земель и дойдя до замка Турайда, намереваясь после этого снова атаковать Ригу. План провалился, эстов остановили, и было заключено перемирие. Одновременно эсты были вынуждены столкнуться еще с одним врагом, на этот раз — с востока. Вожди русских княжеств, Новгорода и Пскова, стремясь то ли помочь немцам, то ли, напротив, опередить их (летописные источники не дают точного ответа), то ли просто захватить эти земли, пока эсты заняты другими проблемами, в 1210 – 1211 гг. вторглись в эстонские земли, одновременно пересекая южный конец Чудского озера и обходя его.

После примерно четырехлетней передышки, в 1215 г., столкновения такого рода на землях эстов возобновились. Ни одна сторона не одерживала решающих побед, однако орден захватил значительную территорию, где основал постоянные поселения, способствовавшие еще более глубокому продвижению на север. Некоторые из походов включали в себя морскую составляющую: части сил эстов перемещались с острова Сааремаа на большую землю на лодках, пока другие пытались блокировать устье Даугавы, топя там большие корабли. В это время орден и его местные союзники осуществляли и завершали христианизацию Уганди и Сакалы, двух значительных районов Эстонии к северу от латгальских и ливских земель. Это массовое обращение в христианство в конце концов продемонстрировало масштаб потенциальной немецкой угрозы Пскову, который также предпринял военный поход в земли, примыкающие к Уганди. Крестоносцы отреагировали, в этот раз действуя вместе с (номинально) крещеными южными эстами, и остановили вторжение Руси в Отепя в 1217 г.

Даже после десятилетия вооруженной борьбы северная часть земель эстов оставалась вне контроля немцев, что позволило попытать удачи двум другим претендентам на присутствие в регионе. Сначала, в 1219 г., это были датчане, которые и ранее проявляли определенный интерес к территории Эстонии; они прибыли морем на место, где позже будет построена крепость Таллин. После жестоких битв с эстами, сопротивлявшимися вторжению, они, в конце концов, создали укрепленный плацдарм и стали пытаться обратить в христианство живущих поблизости эстов, стремясь таким образом опередить немецких крестоносцев. В течение какого-то времени датское присутствие в этих местах казалось утвердившимся. Затем, летом 1220 г., шведское войско вторглось в Лаанемаа, эстонский район Балтийского побережья, и потерпело

там фиаско; шведский флаг на этом берегу не развевался и года. Победа над шведами придала эстам сил, и они смогли успешно противостоять датчанам под Таллином; те же, в свою очередь, переоценили свои возможности, вторгшись на остров Сааремаа. Эти две победы над скандинавами, вероятно, внушили вождям эстов мысль, что совершенные ранее территориальные захваты ордена также можно обратить вспять, и 1223 год был отмечен повсеместными выступлениями эстов против ордена и его союзников. Предпринимая данную попытку, эсты вели переговоры о помощи с Владимиро-Суздальским княжеством и Новгородом; однако вооруженные силы княжеств, вступив в борьбу, сочли более выгодным грабить эстонские земли, а не помогать местному населению изгнать крестоносцев. К лету 1224 г. сопротивление эстов — осуществлявшееся с помощью русских союзников или без таковой — прекратилось. Лишь одно городище в районе Тарту оставалось на тот момент неподвластным ордену.

Тарту и его окрестности были покорены лишь к концу лета, после чего крестоносцы и их союзники двинулись на большой остров Сааремаа, где эстонские силы были готовы продолжать борьбу. Вторжение на Сааремаа состоялось в январе 1227 г., когда материковая часть соединилась с островом благодаря толстому льду, покрывавшему Балтийское море. К концу весны Сааремаа был также захвачен, и усилия крестоносцев по покорению земель к северу и востоку от Риги увенчались успехом. Теперь они могли обратить внимание на племена к западу и югу от своего города — то есть на земли куршей, земгалов, а также на литовские территории.

Однако перед тем, как описывать эти походы, было бы полезно подвести некоторые итоги успехам крестоносцев на данном этапе. Как отмечалось выше, хроники рассказывают о неизбежном исполнении воли Божьей, добавляя к этому несколько лестных наблюдений о военном искусстве язычников. Христианские хроники могли позволить себе проявить великодушие в подобных описаниях, поскольку их авторы полагали, что все кампании такого рода неизбежно должны прийти к закономерному финалу. Был ли этот финал действительно неизбежным, была ли это Божья воля? Введение «нового порядка» не обошлось без некоторых жертв для крестоносцев; большинство языческих обществ так или иначе оказывали сопротивление, и в хрониках на протяжении тридцати лет вплоть до конца 20-х годов XIII в. упоминается, по меньшей мере, семьдесят пять более или менее кровавых вооруженных столк-

новений. Победы крестоносцев лишь в какой-то мере можно объяснить военным превосходством, поскольку противники в процессе борьбы перенимали некоторые из их приемов.

Окончательные поражения ливов, латгалов, селов и эстов можно объяснить другим аспектом этого противоборства — крестоносцы действовали под влиянием идеологии (очевидно, весьма неоднозначной), в соответствии с которой конечной целью борьбы провозглашался контроль над всем побережьем, тогда как местные народы большую часть описываемого времени защищали лишь собственные территории. Даже относительно скоординированное сопротивление эстов в 1223—1224 гг. было краткосрочным: до него совместные действия эстонских племен являлись минимальными, и фрагментарность усилий не способствовала долгосрочным общим действиям даже против очевидного врага. Более того, народы побережья демонстрировали тенденцию к тому, чтобы привносить в эту борьбу и давнюю взаимную вражду; вспомним легкость, с которой крестоносцам удавалось вербовать ливов и латгалов против эстов, а также набег эстов на южные земли. Крестоносцы знали, как эксплуатировать подобные тенденции, и использовали их для достижения своих целей. Язычники обращались к другим чужестранцам — в частности, к русским княжествам, — которые должны были видеть в окончательной победе крестоносцев опасность и для себя. Однако эти потенциальные союзники демонстрировали большую заинтересованность в расширении собственных территорий или, по крайней мере, в грабеже соседних земель. Датчане и шведы — выходцы из стран, уже принявших христианство, — также обнаружили корыстные намерения, хотя в конечном итоге их усилия на землях эстов и не увенчались успехом. Наконец, ни один из вождей язычников не был в состоянии командовать вооруженными силами, превосходящими его собственные, и это играло на руку таким лидерам, как Альберт, а также военной стратегии меченосцев. Крестоносцы имели долгосрочный план по приведению побережья под эгиду христианства; у язычников же никаких долгосрочных планов не было. Даже если бы народы побережья смогли напугать крестоносцев или вышвырнуть их из их оплота — Риги, по меньшей мере, сомнительно, что это как-то изменило бы организацию жизни в регионе. Более чем вероятно, что данные племенные сообщества вернулись бы к *status quo ante** и собственным внутренним противоречиям.

* Прежнее положение (лат.).

Епископ Альберт умер в 1229 г., когда христианизация побережья еще не была завершена. Однако под его руководством она была осуществлена в значительной части региона, и хроники того времени, еще при жизни епископа Альберта, начинают распространять термин «Ливония» на всю территорию, допуская, что подчинение и христианизация оставшихся язычников лишь вопрос времени. Как выяснилось, на это ушла, как минимум, жизнь еще одного поколения, поскольку победить куршские, земгальские и литовские племенные объединения оказалось труднее. С запада куршские вожди постоянно угрожали, в том числе с моря, землям, захваченным крестоносцами, и сначала казалось, что подчинить куршей можно не столько посредством военных действий, сколько в результате переговоров. В начале 30-х годов XIII в. использовались оба метода, однако переговоры вызвали соперничество среди оккупантов: один договор, заключенный орденом, объявлялся недействительным представителями папской власти, желавшими заключить собственный, после чего орден проводил точнее нацеленные и успешные кампании против куршей. Куршские земли на тот момент являлись, возможно, самыми ценными, поскольку они простирались на юг по всему побережью на территорию современной Литвы. Здесь, на юге, меченосцы потерпели решающее поражение при Сауле в 1226 г., когда вторглись со своим войском и с только что обращенными куршами на литовские земли. Население Литвы, возможно, проанализировало успехи ордена на севере, смогло достичь определенного единства целей и договориться об общем руководстве (чего не смогли сделать более северные народы), что и привело его к победе над орденом при Сауле.

В связи с этим отметим появление двух новых воюющих сторон — Литовского государства и Тевтонского ордена. Битва при Сауле качественно отличалась от более ранних конфликтов из-за способности литовцев объединиться. После поражения значительно ослабевшие меченосцы перешли в подчинение Тевтонскому ордену, укрепившему свои позиции в прусских землях (южное побережье Балтики) с 20-х годов XIII в.; организационно меченосцы превращаются в Ливонский орден — подразделение более могущественного Тевтонского ордена. Усилившись таким образом, Ливонский орден продолжил борьбу с куршами, и к 1253 г. церковь и орден практически справились с этой задачей, согласившись разделить завоеванные земли между собой. Однако опыт, полученный при Сауле, убедил Ливонский орден не продвигаться юж-

нее в литовские земли, а оставить эту возможность находящимся в лучшем положении тевтонцам, которые периодически совершали набеги в приграничную Литву из своих прусских крепостей. Курши на южных рубежах периодически продолжали восставать против своих новых хозяев, что давало литовцам из Жемайтии возможность ослаблять Ливонский орден. Жемайты еще раз разбили орден в битве при Дурбе в 1260 г., когда курши отказались помогать оккупантам. Лишь после 1267 г. Ливонский орден получил возможность распространить свою власть на всю территорию куршей, заключив с ними договор об окончательном подчинении.

Земгалы, сталкиваясь со всех сторон с вооруженной борьбой, не оставались в бездействии. Хроники фиксируют их походы сначала против меченосцев, затем против Ливонского ордена, а начиная с 20-х годов XIII в. — против Риги. Эти действия дали земгалам выигрыш во времени, но не безопасность. В 50-е годы XIII в. Ливонский орден сосредоточивает усилия на завоевании Земгале, используя проверенную временем тактику подчинения отдельных частей новой территории и постройки там укрепленных замков, откуда можно развивать дальнейшие военные действия. Наиболее важным из них был замок, возведенный в 1256 г. на реке Лиелупе, там, где сейчас находится город Елгава. Борьба между орденом и земгалами продолжилась и в 80-х годах XIII в. — последнее земгальское городище было взято орденом в 1290 г. Значительное число земгалов бежало на юг и присоединилось к литовцам в их продолжавшейся борьбе против христианизации. После захвата Земгале церковь, Ливонский орден и город Рига стали основными политическими силами к северу от литовских земель. Сражаясь с язычниками, все три эти силы объединяли усилия по контролю над своими новыми владениями, становившимися независимыми центрами ревностно охраняемой политической власти. Таким образом, с победой над язычниками севера военные действия на побережье не прекратились. Конфликт в Ливонской конфедерации, как впоследствии стало называться вновь образованное государство, не прекратился — просто раньше противостояние существовало между христианами и язычниками; теперь же между собой постоянно боролись за власть три христианские (по названию) структуры.

«Хроника» Генриха Латвийского, «Ливонская рифмованная хроника» и договоры, в соответствии с которыми распределялись завоеванные земли, являются основными документами, по которым

можно судить о длительном процессе, называемом «христианизацией» или «европеизацией» северной части Балтийского побережья. Неудивительно, что в них пришельцы из Центральной Европы изображались основными действующими лицами «балтийской драмы», и действительно, они выходят на центральное место. Но в то же время хроники также говорят об отступающих на задний план племенных обществах северной части побережья, — ирония истории заключается в том, что лишь в данный момент эти общества — и особенно их лидеры — выступили, как живые люди из плоти и крови, носившие имена и совершавшие поступки. Однако их явление из мира теней на страницы записанной истории было кратким и незначительным. Хроники пытаются воздать этим побежденным народам должное за их храброе сопротивление, хотя и упоминают значительно меньше балтийских вождей, чем существовало в действительности. Мы можем узнать в них о Каупо, вожде ливов из Турайды, объединившемся с крестоносцами, а также о Дабреле, другом ливском лидере, о котором известно лишь имя. На страницах «Хроники» Генриха Латвийского присутствует краткое упоминание о Висвалдисе, латгальском вожде из Ерсики; считается, что его преемники ассимилировались с немецкоязычным населением. Известно, что еще один латгальский лидер — Виесцекис из Кокнесе бежал в Новгород, когда его земля была захвачена. Среди других латгальских вождей можно отметить Таливалдиса из области Талава, убитого эстами в 1244 г.; Русиньша из Сатекле, погибшего в бою в 1212 г.; Варидотса из Аутине, который не вернулся из набега на земли эстов. Среди эстов, упомянутых в «Хронике» Генриха Латвийского, наиболее выдающимся вождем являлся Лембит — единственный, кто смог объединить местные племена против крестоносцев; известны также его брат Уннепева и Витамес из Сакалы. Среди вождей куршей в «Хронике» упоминается лишь одно имя — Ламекин, хотя, разумеется, были и другие; а среди земгалов — Виестартс и Намейсис. В 1281 г. после поражения, за которым последовало бегство многих земгалов, Намейсис присоединился к ним в литовских землях.

Хроники не указывают точно, какие титулы носили эти лидеры. Слова «король» (*rex, konic, regulus*), «герцог» (*princeps*), «старейшина» (*senior terre*), «вождь» (*houbetman*) и «военный вождь» (*dux exercitus*) были лишь неумелыми попытками хронистов подогнать не вполне понятные им концепции лидерства под западноевропейские стандарты. Здравый смысл позволяет предположить,

что эти вожди и их предшественники должны были получать свой статус, добившись доверия соплеменников, но как конкретно они это делали, остается неизвестным. То же касается и территорий, которыми они «правили», — в хрониках почти не дается географических деталей. Представляли ли границы этих земель рубежи, которые правители готовы были охранять любой ценой? Или они просто обозначали территории, на которые притязали эти лидеры? Хроники предполагают, что вожди были способны собрать вооруженные отряды с целью набегов, намекая таким образом, что их последователи время от времени могли подчинять личные интересы коллективным. Но насколько широко и глубоко простиралась эта лояльность, остается загадкой, как и вопрос, как передавалась власть от одного поколения лидеров другому. К XII в. династический принцип стал главным признаком успешных государств из числа западноевропейских монархий; он обеспечивал преемственность власти и государства как такового. Однако, судя по всему, в обществах Балтийского побережья династии правителей отсутствовали или, по крайней мере, были так редки, что никогда не упоминались в источниках. В любом случае, если там и существовали местные династии, они внезапно прекратили свое существование во время войн XIII в., когда и вожди, и их сыновья погибли или были вынуждены покинуть регион. Возможно, власть, которой обладали эти лидеры, и их личностные качества быстро вынудили их стать либо противниками, либо союзниками крестоносцев.

Литовцы и Тевтонский орден

После того как Орден меченосцев в 1237 г. был поглощен Тевтонским орденом и переименован в Ливонский орден, племенные сообщества юга Земгале по понятным причинам почувствовали еще большую угрозу. Литовские земли, непосредственно примыкавшие к Земгале, — Жемайтия и Аукштайтия — отреагировали на эту новость продолжением набегов далеко в пределы территорий, контролируемых теперь Ливонским орденом; с другой стороны, два ордена — Тевтонский к западу от литовских земель и его ливонское подразделение на севере склонялись к тому, чтобы считать эти и другие территории, расположенные еще дальше на юг, такими же языческими землями, как и те, что они уже завоевали.

Однако в действительности литовские земли оказались куда более трудной добычей для крестоносцев. Туда было гораздо сложнее отправиться с войском, поскольку там было меньше равнин, но больше болот и лесов. Литовцы четко обозначили, что они с большей вероятностью, чем их северные соседи, могут организовать жесткое и последовательное сопротивление внешним вторжениям. Такое сопротивление было результатом развития, которого не знали северные племена, то есть формирования государства, населенного и управляемого литовцами. Здесь подчинить и христианизировать местных политических лидеров и поддерживающую их элиту было гораздо более проблематично.

Становление государства — длительный процесс, и хроники, описывающие события XII и XIII вв., не предлагают точной информации, как это происходило на литовских землях. Стартовая точка была той же, что и на севере: здесь существовали взаимно антагонистичные племенные сообщества, возглавляемые политическими лидерами, способными время от времени организовать военные операции друг против друга и уязвимых соседей. Не вполне ясно, сколько именно было подобных объединений; помимо наиболее крупных обозначаемых в источниках регионов, Жемайтии и Аукштайтии, в их пределах и за ними существовали меньшие объединения. В 1219 г. договор в Вольнюю — землей, примыкавшей к Литве с юга — был удостоверен двадцатью одной подписью литовских князей. Историки позже назвали их «главнейшими литовскими князьями» и никто из них в договоре не был обозначен как главный по отношению к остальным. По существующим свидетельствам, наиболее успешная попытка объединить территории, контролировавшиеся этими лидерами, в нечто напоминающее государство была предпринята аукштайтским вождем по имени Миндовг (1253 — 1263), который сыграл в этом регионе роль объединителя, исполненную в Англии королем Альфредом Великим тремя столетиями ранее. Считается, что усилия Миндовга принесли плоды в третье и четвертое десятилетия XIII в., когда меченосцы закончили покорение эстов на севере и начали решать проблемы с куршами и земгалами.

Методы, которыми Миндовг осуществлял это объединение, порой были жестокими: убийства и изгнание соперников, вторжения на земли менее значительных вождей и превращение их в своих вассалов. Также он значительно преуспел в организации династических браков родственников с потенциальными сопер-

никами, создав таким образом сеть лидеров, связанных с ним как узами родства, так и договоренностями о верности. К 1245 г. Миндовг был провозглашен «Великим» и «верховным вождем» литовцев; в 1251 г., без всякого завоевания его земель крестоносцами и невзирая на то, что ранее сам он сопротивлялся христианизации, он принял христианство и был крещен; и в 1253 г. Миндовг принял литовскую корону с благословения самого папы Иннокентия IV. Очевидно, по расчетам Миндовга, христианизация была одним из способов уберечься от угроз Ливонского ордена и, возможно, способом прекращения рейдов Тевтонского ордена с запада. Принятие христианства дало ему возможность и время провести комплекс мер, связанных с построением государства: создать собственный двор, бюрократический аппарат центральной администрации, организовать систему воинской повинности и даже ввести общую валюту. Однако на этом пути были и потери. В обмен на то, чтобы считаться «христианским королем», Миндовг был вынужден уступить контроль над Жемайтией (северо-западной частью литовских земель) Ливонскому ордену и церкви. Его жесткие методы объединения озлобили других известных литовских лидеров (и их семьи), полагавших, что они имеют столько же прав на главенство, сколько и Миндовг. Соответственно, их лояльность была в лучшем случае временной. Русские княжества на востоке особенно не одобряли принятия Миндовгом христианства от римского понтифика, а не от константинопольского патриарха. Помимо этого, сомнительно, что обращение в христианство Миндовга и его двора сколько-нибудь значительно сказалось на основной массе населения Литвы; очевидно, смена веры в данном случае являлась больше политическим, чем духовным актом. Осознавая, насколько папство заинтересовано в новообращенном христианине такого статуса, Миндовг провел несколько лет, играя с папой в кошки-мышки, то обещая обратиться, то передумывая, а тем временем папа был вынужден откладывать провозглашение против него крестового похода.

В любом случае карьера Миндовга как христианского правителя продлилась лишь около десяти лет — и все из-за жемайтов. Они не вполне приняли тот факт, что Миндовг своевольно «передал» их во власть ордена и церкви; продолжая бороться с орденом, в конце концов они вновь обратились к Миндовгу за помощью. Он прислушался к жемайтам, вновь вспомнив о своем прежнем статусе противника христианизации или, по меньшей мере, о тех

ее методах, которые практиковал орден. Однако коалиция, которую он помог сформировать против Тевтонского ордена и его ливонской ветви, не имела военных успехов. Миндовг был убит в 1263 г., очевидно, обиженными литовскими вождями. Остается открытым вопрос, стал ли он отступником в последние годы жизни, и поэтому папы продолжают ссылаться на Миндовга как на «христианского короля». Однако государство, которое он основал, продолжало существовать даже несмотря на то, что непосредственно после смерти правителя возникли проблемы с наследованием. Тройнат, предводитель жемайтов, на короткий период наследовал Миндовгу как верховный вождь; затем его сменил сын Миндовга Войшелк, который через некоторое время обратился в православие. Цепь менее значимых лидеров, наследовавших Миндовгу, невозможно проследить точно за отсутствием адекватной информации в источниках, но очевидно, что наследство Миндовга не включало важнейшего элемента, способного укрепить Литовское государство, а именно стабильной династии. Существование Литовского государства как жизнеспособного образования на протяжении нескольких десятилетий после смерти Миндовга кажется чудом, учитывая множество претендентов на его титул из других знатных семей и внешние угрозы, которые нигде не исчезли. Однако к началу XIV в. политическая ситуация стабилизировалась, поскольку притязания на трон были высказаны семьей, которая стала впоследствии династией Гедиминовичей. Как именно Гедиминовичи смогли отстоять свои права, сегодня точно неизвестно: Гедимин (ум. 1341), давший свое имя династии и правивший с 1316 по 1341 г., был третьим среди правителей из этой семьи. В определенном смысле он стал истинным преемником Миндовга благодаря своему таланту правителя.

Одним из поводов для беспокойства для первых Гедиминовичей был Тевтонский орден, постоянно демонстрировавший экспансионистские устремления в восточном направлении. До того как этот орден крестоносцев появился на южном побережье Балтики в конце 20-х годов XIII в. по приглашению мазовецкого князя и создал там свой плацдарм, он некоторое время функционировал на Святой земле. Основные цели ордена заключались в том, чтобы создать собственное государство, а также христианизировать пруссов-язычников, окружавших территории ордена; и ко второй половине XIII в. обе эти цели были близки к осуществлению. Когда в состав ордена вошел Ливонский орден (бывший

Орден меченосцев, в 1260 г.), у тевтонцев появились необходимые для достижения этих целей ресурсы. Пока Ливонское ответвление ордена продолжало борьбу с язычниками на восточном побережье, основные силы Тевтонского ордена стремились к тому, чтобы расширить границы своего государства на восток, в литовские земли, и испытали на этом пути как победы, так и поражения. Однако с ростом сил Литовского государства перспективы ордена относительно расширения на восток становились все менее реальными; литовцы успешно блокировали попытки такого расширения, так же как и попытки ливонцев продвигаться на юг. В то же время растущая мощь государства Тевтонского ордена и его политика, направленная на расширение внешних границ, блокировали любые попытки продвижения на север польских князей (в том числе мазовецких), стремившихся к максимальному приближению границ своих владений к южным берегам Балтийского моря.

Таким образом, баланс сил в Балтийском регионе в начале XIV в. выглядел следующим образом: на севере располагалась Ливонская конфедерация, где церковь и орден крестоносцев подчинили себе местные племенные объединения, однако это объединение не имело возможностей для дальнейшей экспансии; на юге находилось новое и активное государственное образование — Литовское государство, во главе которого стояла могущественная княжеская династия с растущими возможностями, стремящаяся расширить свои владения; на востоке же было государство Тевтонского ордена — сильное с военной точки зрения, но со специфической системой власти — это был скорее орден крестоносцев, чем династия. В этих условиях наиболее слабые территории находились на востоке и юге, что давало литовцам отличную возможность реализовывать собственные экспансионистские устремления.

Жестокий XIII век, на протяжении которого сменилось около четырех поколений, на восточном побережье Балтики был отмечен сокращением числа значимых политических образований от примерно дюжины до двух — Ливонской конфедерации и Литовского государства. Перед тем как приступить к более детальному их рассмотрению, мы можем задать вопрос, что же еще произошло за эти сто лет. В целом в северной части побережья усиление военной мощи и идеологический подъем восторжествовали над слабостью, склонностью исключительно к оборонительным действиям и фрагментации; на юге же, где противники были более-менее

равными, ситуация зашла в тупик. Но в более общем смысле восточное побережье Балтики европеизировалось, если применять этот термин не для обозначения прогресса или регресса, но только лишь в качестве характеристики происходящей трансформации. К началу XIV в. этот процесс не был завершен — Литва лишь номинально являлась христианской страной, однако изменения происходили в течение достаточно долгого периода, чтобы фундаментальные признаки нового положения вещей приобрели необратимый характер. На севере европеизация способствовала реструктуризации власти в политическую и социально-экономическую иерархию, сходную с теми, которые преобладали в западных районах Европы. Церковь и ее слуги занимали высшие ранги; военные вассалы (организованные как орден крестоносцев) добивались контроля над большинством земель и не стремились подчиняться своим номинальным сеньорам; большинство же остального населения (принадлежавшее к балто- и финноязычным племенным группам) стало держателями земли низшего порядка и крестьянами, права которых ограничивались и уменьшались с каждым поколением. Города — то есть поселения среднего размера, где концентрировались купцы, торговцы и чиновники, — также стремились к независимости, идя, таким образом, по стопам городов Западной Европы, начавших такую борьбу в XII столетии. Подобные структуры, воплощающие основные принципы феодализма, а также способствующие развитию манориальной системы землепользования, были знакомы всему населению Западной Европы, за двумя исключениями. Верховные сюзерены новых хозяев побережья — папа Римский и император Священной Римской империи — были далеко, и в новой иерархии власти существовало этническое разделение между немецкоязычной и использующей латынь верхушкой и подчиненным ей теперь простым народом, до сих пор говорившим на своих родных языках балтийского и финского происхождения. Нечто подобное имело место и в Англии с ее разделением на норманнов и англосаксов, однако на территории восточного побережья Балтики социально-политическая верхушка продолжала считать себя миссионерами, несущими цивилизацию, что не было присуще норманнам в Англии.

В южной части побережья эта трансформация привела к появлению Литовского государства, с легкостью признанного визитерами с запада. Это было государство во главе с правящей династией, чьей основной задачей являлось объединение амбициозных,

но крайне важных с военной точки зрения лидеров второго уровня и при этом удовлетворить римских пап — территориально далеких, но при этом стремящихся к верховному главенству на этих землях. Здесь иерархия власти не имела четкого этнического разделения: по крайней мере, на литовских землях правящие династии и простой народ могли общаться между собой на языке предков. Одной из примет нового государства, характерной и для Западной Европы, было то, что его политические лидеры продолжали быть экспансионистски настроенными, в данном случае по отношению к более слабым и территориально небольшим славянским землям к востоку. Тем не менее и здесь европеизация привела к воспроизведению тех же элементов, что и в более старой части континента.

Короче говоря, век спустя после прибытия Альберта в 1200 г. восточное побережье Балтики представляло собой весьма пеструю картину. Остается сугубо теоретическим вопросом, на что бы оно было похоже, если бы туда не пришли жители Западной Европы. Однако совершенно ясно, что события XIII в. вовлекли народы побережья в исторические процессы, в значительной степени параллельные происходившим на остальной части континента и изменившие судьбу этих народов непредсказуемым образом. Изначально вовлечение в подобные процессы не было добровольным, но с каждым поколением население все более адаптировалось к новым реалиям. Хотя эти макропроцессы не являлись неотвратимыми, также весьма маловероятно, что народы восточного побережья Балтики могли остаться полностью не затронутыми ими. Социально-политические и экономические изменения, которые принесло христианство, уже распространились на север в Скандинавию и вдоль южного побережья Балтики начиная с X в., и не было никаких причин, почему эти процессы должны остановиться на границах последнего языческого уголка Европы.

Ливонская конфедерация

Говоря о Балтийском побережье в начале XIII столетия, папство часто обозначало эту территорию как «землю Марии» (*terra Mariana*), но с течением времени всеми стал использоваться термин «Ливония» («земля ливов»). Ливония в конечном счете стала конфедерацией территориальных сил: Ливонского архиепископства,

нескольких епископств, земель Ливонского ордена и города Риги. Никакого центрального правительства не существовало, однако ливонцы при этом продемонстрировали способность к совместным военным действиям при наличии внешней угрозы. В большинстве своем, однако, эти «государства в государстве» конкурировали друг с другом за контроль над территориями, что часто приобретало характер насильственных действий. В принципе, конфликты такого рода не должны были происходить, поскольку наиболее могущественные из этих государственных образований — архиепископство и орден — признавали своим верховным сюзереном римского папу, а многие из крупных землевладельцев были их вассалами. С точки зрения теории феодализма вассалы одного и того же сеньора должны были жить в мире друг с другом и со своим сеньором. Однако в период позднего Средневековья везде в Европе порядок, который поддерживался феодальными отношениями, в массе своей разрушался, и стремление к власти и богатству заменило собой такие добродетели, как верность и преданность сеньору. Наряду со многими другими вещами европеизация принесла на восточное побережье Балтики запутанные конфликты среди правящей элиты, на долгий срок ставшие характерными для Западной Европы.

Вслед за подчинением каждого из местных племен и еще до завершения конфликта крестоносцы заботились о том, чтобы контроль над захваченными территориями перешел к одной из структур, участвующих в их завоевании. К концу XIII в., таким образом, Ливонский орден (изначально Орден меченосцев) контролировал около 18 400 кв. км земель, принадлежавших ранее ливам и латгалам. Епископ Сааремаа контролировал весь остров и часть эстонских территорий на побережье, епископ Тарту — территорию к юго-западу от Чудского озера, а епископ Курляндии — три небольшие территории, не граничившие друг с другом, расположенные в западной части побережья и ранее принадлежавшие куршам. Эти епископы, конечно же, подчинялись архиепископу Риги. Город Рига был самым небольшим среди этих государственных образований — под его контролем находились лишь сама территория города, огороженная стенами, а также земельные владения вокруг него. Его действительное могущество и влияние являлись результатом обширной деятельности Риги как торгового и административного центра. В самом деле, в описываемое время Рига располагала собственным городским правительством, являлась местопребыванием архиепископа, а также штаб-квартирой Ли-

вонского ордена. Здания, где размещались центры этих конкурирующих структур, находились в пределах полукруга ходьбы друг от друга. В конце XIII в. население Риги составляло примерно 10 тыс. человек, что делало ее крупнейшим городским центром всего Балтийского побережья.

За исключением Риги, которая стремилась (и зачастую успешно) устанавливать контроль над торговой и коммерческой деятельностью вдоль Даугавы, другие корпорации — архиепископство (то есть церковь), орден и епископства основывали свою власть на контроле над землями. Когда сопротивление местных племен новым властителям заканчивалось завоеванием или заключением договора, завоеватели распределяли земли между теми, кто сражался на их стороне. Передаваемая таким образом земля считалась отданной в «держание», а не в бессрочное «владение». Концепция частного владения землей в том, что касалось именно земли нигде во всей средневековой Европе не действовала в полном объеме. Получившие землю вассалы взамен должны были быть готовы оказать военную поддержку сеньору, от которого получили эту землю в держание. Разумеется, местным народам выделялась земля для проживания, и они никак не относились к феодальной системе. Несложно догадаться, что одним из основных источников конфликтов после завоевания было то, что вассалы предпринимали попытки сделать контроль над управляемыми ими землями перманентным, чаще всего — добиваясь у сеньоров прав на наследственное держание. Во время существования Конфедерации многие семьи землевладельцев не только получили земли в бессрочное держание, но и держали одновременно различные участки земли от разных сеньоров, что являлось фундаментальным нарушением принципов феодализма. Неудивительно, что к XV в. корпоративный принцип — согласно которому властными полномочиями облакались несколько корпоративных образований — сменился процессом социальной стратификации: семьи землевладельцев, считавшиеся лояльными сеньорам, стали осознавать свои общие экономические интересы и самих себя как новую группу — знать. Властные отношения сместились с вертикальной оси на горизонтальную. Разумеется, изменения затронули только членов доминирующих корпораций и не коснулись простых земледельцев.

В Ливонской конфедерации, как и во всех средневековых обществах, права и обязанности относились в большей степени

к группам, а не к личностям, и, таким образом, корпоративная концепция нуждается в некоторых объяснениях. Появление самой этой идеи на побережье Балтики стало еще одним аспектом европеизации, и в течение XIII в. она стала более актуальной, чем какие-либо другие принципы организации групп, существовавшие в коренных обществах. Помимо наиболее важных корпоративных структур — церкви и ордена, — по мере того как Ливония стала стабильным политическим образованием, появились и другие. Рига добивалась прав «вольного города»; внутри этого города купеческие и ремесленные гильдии в течение XIII в. также развивались как корпорации. Неравенство было ключевым элементом этой базовой общественной философии: различные корпорации имели различные права, и то, какие именно права принадлежат какой корпорации, являлось предметом постоянных споров. Поскольку право участвовать в управлении имели лишь определенные корпорации, не все группы могли требовать представительства в каких-либо существующих властных структурах. Аналогично оспаривалось и право владения землей. Обладавшие наибольшим могуществом требовали больших прав и могли лучше их защитить, а гарантировать это могли церковь и орден как самые могущественные корпорации в Конфедерации. Более того, права были специфическими и конкретными: их необходимо было получить от высшей власти, согласовать в договоре, зафиксировать в документе или кодексе законов, или, по меньшей мере, они должны были быть освящены традицией. Всё XIII столетие, таким образом, стало в Ливонии периодом, во время которого права и свободы приспособлялись к новому распределению власти, и в результате проигравшими оказались местные жители. Факт их подчинения, в конце концов, стал основываться не на праве сильного, как это было сразу же после военной победы над ними, но на новом распределении прав, свобод и ответственности, зафиксированном во множестве различных (и иногда конфликтующих между собой) сводов законов. Еще одним усложняющим фактором стало то, что распределение прав могло различаться в разных регионах; ни одна конфигурация прав не относилась в равной мере ко всем местностям. Идея сепаратизма в сфере законов шла рука об руку с представлением об обществе, построенном на корпоративном принципе.

Малочисленность источников не позволяет понять не только то, как распределялись права, свободы и ответственность, прежде чем

новый порядок был установлен в полном объеме, но и то, как подчиненные народы реагировали на это новое распределение. Установления, в соответствии с которыми они жили, были по большей части неписаными; у этих народов существовало множество местных систем «обычного права» и традиций. Хроники упоминают мелких землевладельцев, имевших особые права и, очевидно, происходивших из верхнего слоя старых племенных сообществ, что позволяет предположить, что не все представители подчиненных народов были немедленно ввергнуты в полное бесправие. Однако в долгосрочной перспективе их определенно ожидало уменьшение имевшихся ранее прав и свобод. Хотя этот процесс шел на протяжении жизни четырех-пяти поколений, наиболее сильно потери должны были ощущаться первым поколением, лично испытавшим изменение системы. Последующие поколения уже принимали новый порядок как естественное положение вещей, поскольку существовавшие ранее общества изгладились из памяти. Разумеется, возмущение массой требований, налагаемых на коренные народы новым порядком, никуда не исчезло. Однако претензии в основном базировались скорее на представлениях о справедливости, чем на идее, согласно которой представителям коренного населения следует вернуть свободы, которыми пользовались некогда их предки.

На всем протяжении существования Ливонской конфедерации ее политическую жизнь определяли корпорации, способные заявить о своих правах и достаточно сильные, чтобы отстоять эти декларации силой оружия, — то есть церковь, Ливонский орден и города. В численном измерении эти объединения были самыми незначительными, поскольку наибольшую долю населения (80–90%) составляли крестьяне. Они держали пахотные земли, выделенные им их непосредственным господином, возделывали их, платили ренту в денежном или ином виде, отдавали господину часть урожая, платили налоги, и прежде всего именно их трудом обрабатывалась земля, непосредственно принадлежавшая семье господина. Права на леса, озера и другие непахотные угодья, в конце концов, также были отданы местным или региональным господам. Совокупность прав, которыми пользовались крестьянские семьи, зависела от региона и хозяина-землевладельца. Крестьянство как социальная группа не имело права голоса в политике государственного уровня и очень незначительно могло влиять на решение вопросов местного значения; оно не имело права участвовать в управлении.

Держатель земли имел полную свободу расширять обязанности своих крестьян, чтобы обеспечить себе возможность располагать ими в качестве доступной рабочей силы. Права держателей земли по отношению к крестьянам включали все элементы системы крепостного права. Однако в XIII и XIV вв. эти обязанности еще не сложились в такую систему; крестьянство в Конфедерации оставалось достаточно дифференцированным, что позволяло сохранять некоторые региональные особенности, присущие старому порядку. Существовало слишком много вариантов восприятия законов, чтобы какая-либо система могла успешно функционировать.

Однако отсутствие в Конфедерации центральной власти не означало, что конкурирующие корпорации не могли эффективно управлять контролируемыми ими территориями. Административный аппарат не создавался с нуля. Архиепископство и епископства уже являлись частями структуры, существующей на всем континенте и испытанной временем, а именно церкви, чей опыт в обсуждаемых вопросах следовало применить на землях побережья. Архиепископство и епископства были лишь частью иерархии, на вершине которой находился римский понтифик, и в рамках этой иерархии подчинение нижестоящих вышестоящим было обязательным. На местном уровне архиепископ имел в Риге совет духовных лиц (*capitulum sancte Rigensis ecclesiae*), дававший ему рекомендации в сфере управления; епископы также располагали аналогичными советниками, а власть высших церковных иерархов утверждалась сотнями священников в местных приходах. В зависимости от размера и благосостояния эти приходы и конгрегации могли располагать более чем одним священником. Доходы церкви передавались «снизу вверх», и в конце концов часть их отправлялась в Рим.

Ливонский орден, будучи частью Тевтонского ордена, располагавшегося на прусских землях, также мог пользоваться всем богатым управленческим опытом последнего. Ливонский орден функционировал на основе свода статуты (базирувавшихся на монашеских правилах св. Бенедикта), которым неукоснительно следовал. Магистр (*magister*) возглавлял иерархию ордена; его заместителем был ландмаршал (*marsalcus terrae*), который, помимо прочих функций, являлся военным предводителем. За ним шли комты (*commendatore*), управлявшие замками ордена (которых было около сорока четырех в латвийской части Ливонии). Еще ниже стояли братья-рыцари (*fratres*), которых было не менее двенад-

цати в каждом из замков (поскольку у Иисуса было двенадцать апостолов). Для исполнения десятков других функций, необходимых для управления замками и землями ордена, нанимались люди со стороны, которым не нужно было соблюдать принятый в ордене обет безбрачия. Доходы ордена также передавались снизу вверх, поступая от крестьян, живущих на землях ордена. Орден также мог получать доходы от церкви за оказанные ей военные услуги.

Город Рига имел собственные органы управления, состоявшие из совета (*consulatus*), в котором было двенадцать (позже двадцать) членов; некоторые из них избирались в качестве исполнительного комитета (*proconsules*). Глава этого комитета был первым лицом в городе (нем. *borger meister*). Другие члены совета выполняли функции казначея (*camerarii*), главы правоохранительных структур (*advocatus*), а также главного секретаря и архивариуса (*sindicus*). По мере роста населения города, его торговой деятельности, а также по мере того, как город обретал контроль над все большим количеством земель за пределами своих стен, каждая из этих должностей требовала все большего количества чиновников. На протяжении XIII в. наиболее активную борьбу город вел с архиепископством. В конце концов, именно архиепископ Альберт основал город. Местопребывание архиепископов также было в Риге, и эти церковные иерархи не хотели отказываться от формального и неформального влияния на лидеров купеческих и ремесленных гильдий города. Борьба Риги за независимость от контроля церкви представляла собой местную вариацию активной борьбы, которую вели в XII – XIII вв. новые города, появившиеся по всей Западной Европе и стремившиеся к независимости от светских землевладельцев и церковных структур, на землях которых они возникали. Среди постоянных стычек между церковью и орденом Рига и другие растущие города конфедерации (Цесис, Валмиера, Вентспилс, Кулдига, Валка, Лимбажи, Кокнесе, Страупе, Тарту, Таллин) укрепились благодаря престижу и колоссальным экономическим выгодам, приобретенным благодаря членству в Ганзейской лиге, союзе городов Северной Европы, с XIII столетия контролировавшей торговлю и торговые пути в этом регионе.

Постепенно увеличивая возможности влияния и контроля благодаря постоянному росту числа приходов и замков, церковь и орден к концу XIII в. были в состоянии справляться с большинством

проблем, связанных с населением, не принадлежавшим к вышеописанным группам новой элиты. Эта сеть влияния как магнит притягивала иммигрантов из Западной и Центральной Европы — людей, обладавших воинской доблестью, ремесленным или литературным мастерством, управленческими талантами или предприимчивым умом. Церкви и ордену были постоянно нужны люди для выполнения разнообразных обязанностей как в административных центрах, так и в поместьях, становившихся основным способом организации сельскохозяйственной деятельности. Рига и другие развивающиеся города могли обеспечить занятость для многих, причем конкуренция за эти должности лишь незначительно усиливалась за счет энергичных претендентов из числа коренного населения — то есть из числа крестьян, — если только они не были готовы к ассимиляции с новыми немецкоязычными элитами. В любом случае процесс ассимиляции занимал несколько поколений, прежде чем крестьянское происхождение забывалось. То, что новые элиты оставались в численном меньшинстве — возможно, их было не более 10–15% общего населения Конфедерации, — не воспринималось как политическая угроза. В конце концов, такой же баланс между элитой и остальным населением существовал и в других королевствах Западной и Центральной Европы, а именно из этих источников правящие силы Конфедерации черпали представления о правильном и надлежащем.

Великое княжество Литовское

К XIV в. ситуация в Ливонской конфедерации с ее соперничающими составными частями уже резко отличалась от того, что происходило в литовских землях на юге. Там также происходило распределение властных функций, однако этот процесс затрагивал лишь местное население, а не пришлых чужаков. Под властью династии Гедиминовичей Литовское государство быстро приобрело облик западноевропейского государства: его правитель обозначался термином «великий князь» (лит. *kunigaikštis*, лат. *magnus rex*), ниже его на иерархической лестнице располагалось несколько ступеней подчинившихся ему «аристократов», а потом — множество «простого народа», состоявшего из горожан, ремесленников, купцов и крестьян. Гедимин и его преемники завершили трансформацию потенциальных политических соперников в страту *бояр* — мест-

ных правителей, связанных узами верности с великим князем и получивших от него земли в соответствии с феодальной моделью. Этот процесс в центре Литвы — в Аукштайтии и Жемайтии — коснулся почти исключительно тех, кто говорил на литовском языке. В конце концов, Литовское княжество (также иногда определяемое как «Великое княжество») распространилось на юг и юго-восток, причем в процессе социально-политического роста в него вошли менее значительные славянские княжества. К концу XV в. Гедиминовичи и их преемники Ягеллоны (от имени князя Ягайло, по-польски Ягелло, правившего в 1377–1387 гг.) смогли создать полиэтничное могущественное государство, граничившее на востоке с Великим княжеством Московским, а на юго-востоке достигавшее земель татарской Золотой Орды и Черного моря. В правление Миндовга население Великого княжества Литовского оценивалось приблизительно в 300 тыс. человек, при этом около 270 тыс. из них проживали на исконно литовских территориях; к 1500 г. великие князья литовские уже правили территорией, где проживало около 1,5 млн подданных, лишь треть из которых жила в литовских землях. Благодаря своему положению в столь значительном и сложном политическом образовании литовская правящая элита достигла вершин, которых не удалось достичь никаким другим народам восточного побережья Балтики; в результате эта группа также стала важной силой, имевшей значение для геополитических процессов, происходивших как в Центральной Европе, так и на Руси. Однако, чтобы удерживать внимание именно на народах побережья Балтики, следует сконцентрироваться не столько на государстве, созданном Миндовгом и его преемниками, сколько на литовцах, живших в этом государстве. Как мы увидим, история Литовского государства не идентична истории литовцев как народа — ни в Средневековье, ни в последующие эпохи.

Вопрос, почему коренное население северной части побережья подчинилось пришельцам извне, а литовцы этого не сделали, до сих пор остается загадкой и предметом споров историков. У всех была одна и та же точка отсчета — небольшие племенные общества в XI в., и ничто не позволяло предположить, что эсты, латгалы, курши, земгалы и ливы были изначально менее способны отразить вторжения извне (то есть были менее воинственными, более склонными к междоусобным спорам или менее дальновидными), чем литовские племена. Частично дело было во времени: стратегия крестоносцев заключалась в том, чтобы сначала подчи-

нить языческие народы северной части побережья и лишь потом двинуться на юг, что дало Миндовгу — великому князю, объединившему литовцев, — двадцать-тридцать лет, чтобы организовать эффективное сопротивление до того, как намерения крестоносцев стали очевидными. Многие могли зависеть от особенностей конкретных лидеров: очевидно, что Миндовг и его преемники были достаточно убедительны и безжалостны, чтобы одолеть внутреннюю оппозицию и создать государство, в отличие от вождей северных народов, ни один из которых не смог добиться устойчивой власти, имея время для решения этой задачи; кажется, только эстонский правитель Лембит обладал необходимым для этого потенциалом. Главенство этих вождей являлось кратковременным; они не были заинтересованы в том, чтобы распространить свою власть территориально (а возможно, и не способны на это). Еще один частичный ответ может касаться географического положения: покрытые лесами и болотами литовские земли были далеко не так доступны для вторжения, как северные земли, что ясно показали неоднократные неудачные попытки тевтонцев проникнуть в Жемайтию. К концу XIII в., когда захватчики закончили завоевание северной части побережья Балтики под знаменем христианизации и смогли обратить все свое внимание на оставшихся язычников — литовцев, сопротивление этого народа уже могло опираться на могучую основу в виде государства, способного обеспечить защиту. Когда великий князь Ягайло принял христианство в 1387 г., он поступил так потому, что нашел такой шаг выгодным для государства, а не потому, что его землю завоевали крестоносцы.

Даже несмотря на то, что Литовское государство, в конце концов, стало могущественным и влиятельным, его постоянная склонность к расширению делала оборонительные задачи весьма сложными в перспективе. Изначально это было территориально компактное государство; но по мере того, как оно расширялось в восточном и юго-восточном направлении, ему стали требоваться вооруженные силы, находящиеся в постоянной боевой готовности, появилась потребность в дипломатии высокого уровня, в растущем административном аппарате и механизмах подавления нормальных для феодального общества центробежных процессов. В правление Миндовга литовцы справились с задачей защиты своих земель от иностранных оккупантов, но по мере того, как процесс территориальной экспансии государства продолжался,

расширение этой задачи стало весьма обременительным. Конфликт, в котором, с одной стороны, участвовали с севера и северо-запада Тевтонский и Ливонский ордены, а с другой — организованное литовское сопротивление, выразился в сотне вооруженных столкновений, происшедших на протяжении XIV столетия. Наконец Литовское государство справилось с орденом — но ценой значительных потерь, как материальных, так и человеческих. На востоке находились княжества Руси, ни одно из которых до конца XV в. не было настолько сильным, чтобы представлять серьезную угрозу могуществу Литвы. Тем не менее многие из них постоянно предпринимали набеги на славянские «приобретения» Литвы. На самом юге лежали территории Золотой Орды — земли татаро-монголов, которые к XV в. более не являлись теми блистательными завоевателями, какими были раньше, но все же представляли некоторую угрозу. Непосредственно на юго-запад от Великого княжества располагалась Польша, с X в. управляемая династией Пястов и выражавшая ясные намерения распространить свое влияние на близлежащие регионы. Этим стремлениям Польши мешало существование государства, созданного Тевтонским орденом на ее северных рубежах, а также активно развивавшаяся Литва на востоке.

Враждебное и полувраждебное окружение потребовало от Великого княжества создания практически постоянной армии, которая могла бы служить целям как экспансии, так и защиты. Это было сделано тем же образом, что и в других средневековых государствах. Великие князья давали в держание свои земли, а также жаловали вновь приобретенные земельные владения членам других потенциально полезных семейных групп в обмен на военную службу. Они также привлекали наемников и заключали временные военные союзы с правителями других регионов, чьи интересы совпадали на тот момент с интересами княжества. Изучая военную историю Великого княжества Литовского этого периода, можно предположить, что оно было успешным при достижении своих целей и крайней редко терпело поражения на поле битвы.

Другим способом сокращения внешней угрозы была аннексия — посредством завоевания или договора — прилегающих княжеств, притязавших на литовские территории. Этот метод весьма удавался Литовскому княжеству. Усилия великих князей в XIV—XV вв. были направлены в основном на относительно слабые славянские

княжества, располагавшиеся на востоке и юго-востоке. К концу XV столетия. Литва контролировала практически все территории современных Украины и Белоруссии. Великие князья умело использовали слабости ближайших соседей с военной точки зрения, даже если успех немедленно создавал новые проблемы, связанные с управлением этими землями. В результате экспансии Великое княжество оказалось в центре очень разнообразного по составу государства, поскольку практически все присоединенное население было славянским и православным. После того как в 1387 г. династия Ягеллонов стала христианской, она правила многоязычным, полиэтническим и мультикультурным государством, во многих отношениях замечательным, хотя и несшим в себе очевидные центробежные тенденции.

Цели, которых нельзя было достичь с помощью аннексий, достигались благодаря дипломатии и династическим бракам. Литовские династии оказались способными к выстраиванию родственных и брачных связей, необходимых для того, чтобы поддерживать лояльность подданных и связать руки потенциально опасным соседям. Наиболее важным браком такого рода стала Кривская уния 1385 г., когда великий князь Ягайло женился на Ядвиге — дочери польского короля Людовика (ум. 1382) — и стал королем Польши. Территории, которые контролировало Великое княжество на тот момент, были в три раза больше Польши; польская знать, выбиравшая монархов и, таким образом, имевшая право предлагать корону, верила в то, что личная двух государств определенно послужит на благо Польши, и убеждала, что это будет полезно обоим странам. Ягайло согласился, и узы между польскими и литовскими землями не разрывались до конца XVIII столетия. Изначально соглашение предполагало, что трон Великого князя Литовского будет продолжать существовать. Его должен был занимать либо польский король, либо другой человек, назначенный польским монархом и одобренный литовской аристократией. Ягайло совмещал оба статуса. Изначально этот альянс между Литвой и Польшей был полезен для обеих земель: Литва обезопасила свои западные границы и получила постоянного союзника в борьбе против Тевтонского ордена, а Польшу больше не беспокоил литовский экспансионизм; баланс сил *vis-a-vis* с тевтонцами также говорил в пользу этого союза. Оба государства оставались номинально независимыми и сохраняли независимые государственные структуры, но были объединены «на самом верху».

Личная уния, заключенная Великим княжеством с Польшей, а также его экспансия по отношению к восточным славянским территориям являются ясными показателями отношения литовских монархов к территориальному вопросу. Их никогда не беспокоил вопрос этнической или языковой унификации на своих землях; также не видели они проблемы и в том, что, предпринимая очередную экспансионистскую попытку, они часто не представляли себе, как управлять присоединенными территориями. Опыт обеих династий — Гедиминовичей и Ягеллонов — показывает, что ни один из этих вопросов не создавал для них серьезных проблем, поскольку до XVI столетия. Великое княжество, судя по всему, успешно справлялось с их решением. Таким образом, этническое и лингвистическое разнообразие становилось основной социокультурной характеристикой растущего государства, даже несмотря на то, что центр его — изначальная территория — оставался литовским и в том, и в другом отношении. Даже когда Литва была языческим государством (до 1387 г.), Гедимин не только допускал, но и приглашал туда представителей католической церкви, чтобы те могли окормлять католическое население, уже имевшееся на литовской территории; однако миссионерство строго запрещалось и сурово наказывалось. Такая открытость оставалась признаком политики Великого княжества, несмотря на обращение Ягайло в христианство в результате его брака с польской наследницей (Польша на тот момент уже стала католической страной), — никто не потребовал немедленного обращения остального населения. Последующие династии вполне допускали на своих землях восточное христианство, языческие практики и даже иудаизм.

Хрупкая амальгама

Образование европейских государств в позднем Средневековье нельзя привязать к какой-то конкретной схеме. Некоторые из них складывались как империи (например, Священная Римская империя германской нации), некоторые — как города-государства (Венеция), а другие (Швеция, Франция) приняли промежуточные формы, в какой-то степени напоминающие европейские национальные государства более поздних эпох. Очень немногие из них образовались в результате *естественного* роста — то есть мирного

процесса, представлявшего собой медленное увеличение изначального населения посредством естественного прироста населения и систематической ассимиляции иммигрантов. Самые крупные из этих государств расширялись территориально, аннексируя близлежащие земли (посредством завоевания или династических браков), и потому сталкивались с необходимостью управлять разнообразным (как лингвистически, так и культурно) населением. Хотя по этим критериям большинство европейских государств были в некотором роде композитными соединениями — амальгамами, — некоторые из них оказались более хрупкими, чем другие. Два средневековых государства побережья Балтики — Ливонская конфедерация и разросшееся Литовское государство отличались именно средневековыми, а не современными чертами и обладали качествами, позволяющими разместить их ближе к наименее прочным в данной последовательности. Как выяснилось, это хрупкое равновесие могло поддерживаться в течение длительного времени — формально Ливонская конфедерация просуществовала до 1567 г., а Литовское государство (после унии с Польшей) — до конца XVIII столетия. Однако с самого начала в обоих государствах существовали внутренние проблемы, которые к концу Средневековья (примерно к 1500 г.) стали препятствием для полной внутренней консолидации.

С политической точки зрения и Ливонская конфедерация, и Великое княжество Литовское каждое по-своему содержали в себе линии разлома. Частично проблемой являлась организация эффективного управления. В Конфедерации чрезвычайно много времени уходило на то, чтобы послания и представители верховных правителей в Риме, Центральной Европе и даже Пруссии (где находился штаб Тевтонского ордена) достигали побережья. Та же проблема стала значительно более серьезной для Великого княжества по мере того, как оно расширялось на славянский восток и юго-восток. В Конфедерации отсутствие единого правителя способствовало расцвету амбиций всех значительных корпоративных объединений, особенно Ливонского ордена и городов. Это приводило к конфликтам — например, таким, как борьба между Ригой и орденом в 1297–1330 гг. в попытках определить, кто кому должен подчиняться. Однако победа ордена в данном случае не стала гарантией долгосрочного мира, и столкновения продолжались на протяжении следующего столетия. Или другой пример: сами крестоносные ордены, состоящие из братьев, при-

нявших обет безбрачия, не были защищены от глубоких внутренних конфликтов. В 30-х годах XV столетия Тевтонский орден, располагавшийся в Пруссии, стремился к установлению контроля над Ливонским орденом (его северным подразделением); последний же сопротивлялся такой централизации, в результате чего между ними произошло столкновение. Только в начале XV в. борющиеся друг с другом корпорации в составе Ливонской конфедерации осознали, что их споры могут быть разрешены в региональном подобии парламента (нем. *Landtag*), в который вошли представители церкви, Ливонского ордена, наиболее крупных вассалов этих двух структур и городов. Однако ландтаг, собиравшийся спорадически, оказался в целом неэффективным; подозрительность, зависть и обиды каждой из составных частей Конфедерации имели слишком глубокую основу, чтобы можно было разрешить все вопросы с помощью обсуждения.

Линии политического разлома в Великом княжестве Литовском отличались от проблем Ливонской конфедерации и проявляли себя медленнее. Процесс консолидации Литовского государства при Миндовге начался в восточном районе страны — Аукштайтии. Другой важный регион — Жемайтия, — расположенный между Аукштайтией и прусскими землями Тевтонского ордена, приобрел статус «бедного родственника» и часто именно так рассматривался великими князьями при их непрекращающихся конфликтах с орденом. Хотя крупные держатели земли в Жемайтии также являлись вассалами великого князя, их позиция по отношению к централизации если и не выражалась в сопротивлении, то, по крайней мере, отличалась крайней подозрительностью, и их постоянно приходилось улаживать и успокаивать. Более того, династический принцип, ставший ключом к долгосрочной успешности Великого княжества, особенно во времена Гедиминичей, периодически подвергался сомнениям: серьезные конфликты на грани гражданской войны возникали в связи с преемственностью власти в конце XIII в., в XIV в., и затем снова — в начале XV столетия. Витовт Великий, бывший великим князем в 1392 – 1430 гг. и получивший свое прозвание за завершение восточной экспансии княжества, пришел к власти именно в результате борьбы за власть, в которую были вовлечены его дядя (предшественник в статусе великого князя) и двоюродные братья. Очевидно, что могущественные магнаты не всегда с легкостью уступали трон великого князя претенденту просто потому, что тот

апеллировал к династическому принципу: среди правящей группы родственников всегда существовало несколько конкурирующих ветвей, чье происхождение восходило к общему основателю, при этом каждый считал свои притязания легитимными.

В течение XV столетия в литовских землях возникли две новые неочевидные линии разлома. Значительные славянские территории на востоке и юго-востоке, чье население в целом обозначалось термином «русские»*, требовали внимательного и творческого управления, и с этой задачей справлялись как Гедиминовичи, так и Ягеллоны. Тем не менее присоединение новых территорий к исконно литовским землям не влекло культурной или языковой ассимиляции: вследствие толерантности, проявляемой великими князьями по отношению к различным религиям, этническим группам и местным культурам, данные территории были присоединены, но не интегрированы. В краткосрочной перспективе это было мудрым политическим решением, тогда как в долгосрочном отношении эффективный контроль был возможен лишь пока управление справляется со своими функциями и никакие примыкающие государства не претендуют на славянские территории, находящиеся под властью Литвы. К сожалению, не все великие князья были в равной степени способны управлять удаленными районами, и, по меньшей мере, одно возвышавшееся государство на востоке — Московия — имело собственные планы относительно расширения на запад. Более того, Кревская уния 1385 г. и слияние титулов великого князя литовского и короля польского означали, что либо один и тот же человек будет носить обе короны и, соответственно, притязания на эту «двойную должность» удвоятся, либо на каждую из этих позиций появятся отдельные претенденты. Самая большая путаница возникла на вершине политической иерархии в то время, когда «польский вопрос» стал одним из наиболее актуальных в европейских геополитических стратегиях. Теперь великие князья литовские, как и польские монархи, должны были изощряться в сложных внешнеполитических решениях, направленных на территориальные притязания государств Центральной Европы, помимо того что им приходилось нести бремя управления русскими землями.

* В английском оригинале книги автор употребляет термин *Ruthenian*, что соответствует *rutheni* латинских источников. Великие князья литовские имели наименование «русский» в своей титулатуре.

Хотя другая заметная линия разлома в обоих государствах пролегла в языковой сфере, большая часть того, что можно сказать по данному вопросу, остается в сфере научных догадок. Новые правители Ливонской конфедерации принесли на побережье два новых языка — нижненемецкий и латинский, которые затем использовались для письменного общения и делопроизводства. Они не обнаружили никакого желания использовать в сфере управления на любом из уровней какой-либо из языков народов побережья. Такое отношение означало, что до последних столетий Средневековья простой народ, населявший Конфедерацию, — особенно крестьяне — был вынужден мириться с тем, что существует некий пласт культуры, из которого он исключен. Вдобавок к этому языки, на которых говорили прибрежные народы до начала «нового порядка», сами по себе значительно изменились. Диалекты, существовавшие среди эстонцев, были в достаточной степени схожи, чтобы их различия не становились препятствием для эффективных межрегиональных коммуникаций и дальнейшего формирования языкового единства. На юге, у ливов, возможно, были лучшие возможности для общения с эстами (поскольку у обоих народов языки были финскими), чем с их балтоязычными соседями (латгалами, селами, земгалами и куршами). Фактически ничего не известно о языке селов; латгальское население занимало достаточно большую территорию, чтобы его язык имел несколько диалектов, и некоторые специалисты по исторической лингвистике полагают, что земгалы и курши говорили на родственных языках. Но по мере смены поколений и их пребывания внутри Конфедерации языки, существовавшие до ее возникновения, стало все труднее различать. Письменные источники — разумеется, написанные немецко- и латиноязычными авторами — продолжали проводить различие между этим крестьянскими народами (в основном на основе языков) спустя долгое время после их завоевания. Однако в XV в. резко возросло использование по отношению ко всем этим народам термина *Letten* («латыши») или его вариантов. Данный термин, очевидно, произошел от самоназвания латгалов. Также источники использовали термины *deutsch* и *undeutsch* («германский» и «негерманский»), поскольку все остальные языковые различия в Конфедерации имели меньшее значение. Рассматривая этот период много веков спустя, латвийские историки предположили, что в течение XIV и XV вв. покоренные народы, жившие к югу от эстонцев, «слились друг

с другом» (латышск. *saplūda*) в результате чего возникло *латышское* население и нечто вроде уникального *латышского* языка. Эта яркая и наводящая на размышления метафора, подразумевающая динамику слияния и взаимной ассимиляции сельского населения, может быть, в самом деле описывала реальное положение вещей. Однако единственный очевидный раздел, существовавший тогда, пролегал именно между правящими элитами Конфедерации и сельским населением.

Такое разделение не было ни неизбежным, ни естественным. Норманнское вторжение в Англию в 1066 г., всего через несколько десятилетий после появления крестоносцев на побережье Балтики, также повлекло за собой социальное, языковое и культурное расслоение общества (на норманнов и саксов). Однако несколько столетий спустя все слои населения страны объединились в единое целое под названием *англичане*, которые говорили на общем *английском* (по крайней мере, англо-нормандском) языке. Ничего подобного не произошло на побережье, и единственной языковой связью между немецко- и латиноязычными высшими классами и языковыми общностями подчиненных им сельских жителей были лишь языковые смеси, которые должны были возникнуть на уровне бытового общения.

В Великом княжестве Литовском существовали совершенно иные языковые проблемы: правительство и двор на исконно литовских землях продолжали использовать литовский язык, но в то же время толерантно относились к славянским языкам, вошедшим в употребление в стране по мере присоединения восточных и юго-восточных территорий. Более того, одна из форм церковнославянского в конце концов стала в Литовском государстве официальным языком делопроизводства, в то время как латынь и другие западноевропейские языки использовались в официальной корреспонденции. Так литовский язык терял свою силу в государстве, носящем имя Литва. Маргинализация этого языка продолжалась и после Кревской унии, когда для представителей высших классов, озабоченных собственным статусом, польский язык стал казаться более привлекательным. Однако среди крестьян исконно литовских земель, особенно Жемайтии, различные диалекты литовского языка оставались основным способом коммуникации, несмотря на то что лингвистический портрет расширяющегося Литовского княжества стал гораздо более сложным.

В Ливонской конфедерации языковая стратификация влекла за собой еще одну проблему: разделение культурной жизни побережья на «высокий» и «низкий» компоненты основывалось главным образом на языке. То обстоятельство, что правящие круги Ливонии поддерживали тесные контакты с местами своего происхождения в Центральной Европе, откуда к тому же шел постоянный приток приезжих и переселенцев, стало причиной продолжения европеизации местной культуры, тогда как крестьяне — говорившие на эстонском и латышском языках — ощущали постоянное обесценивание своей культуры. Процесс европеизации не ослабевал на протяжении всего позднего Средневековья, что происходило в значительной степени вследствие абсолютной убежденности ливонских правящих кругов в том, что они «просвещают» местное население. С другой стороны, бывшие язычники реагировали на это различными способами, включавшими сохранение некоторых традиционных обычаев, а также принятие, подражание и поглощение новых. Хотя Римско-католическая церковь стала официальной, глубины этой религии достигали сердец и умов лишь правящей верхушки, а мировоззрение простых людей значительно отличалось. К XV в. нигде на Балтийском побережье не наблюдалось полной лояльности по отношению к церкви. Рижские купцы, чьи возможности и «светский» настрой неуклонно росли, боролись против какого бы то ни было контроля со стороны церкви, а Ливонский орден постоянно демонстрировал нежелание подчиняться архиепископу Рижскому и даже папе. Все это говорит о том, что спасение души (что относилось к компетенции церкви) становилось менее актуальным мотивирующим фактором в обществе, и крестьяне следовали этому примеру. Приходское духовенство постоянно жаловалось и осуждало продолжающееся соблюдение языческих ритуалов и практик. Такие жалобы стали постоянным компонентом отчетов клириков о своей пастве на протяжении столетий. Мессы на латыни в сочетании с использованием духовенством просторечных диалектов для ежедневного общения подчеркивали дистанцию между пастырями и паствой, как и «иностранное происхождение» духовенства. Постоянное осуждение духовенством «предрассудков» и языческих практик — таких, как захоронения за пределами кладбищ, священные рощи, жертвоприношения прежним богам и вера в магические обряды, — означало, что все вышеупомянутое должно было если не прекратиться, то хотя бы храниться в тайне.

В Ливонской конфедерации христианство продолжало ассоциироваться с властью, а старые традиции — с бесправием, и некое взаимопроникновение «старых» и новых практик было неизбежным. Некоторые из почитаемых церковью святых стали неотличимы от священных фигур язычества, а какие-то из языческих праздников сохранились в церковном календаре под другими названиями.

Однако южнее, в литовских землях, христианство значительно меньше, чем в Ливонской конфедерации, воспринималось, как навязанная религия. В конце концов, сами литовские великие князья приняли крещение добровольно, и потому христианство не ассоциировалось с властью иноземцев в той же степени, что и в Конфедерации. Поэтому нам и не очень ясно, какие линии разлома наметились здесь именно в культурном поле. С самого начала на этих землях всегда было мало приходского духовенства, говорящего по-литовски, поэтому церковь нанимала, а великие князья позволяли заполнять эти «вакансии» польскими и немецкими клириками; литовское же происхождение в это время не являлось препятствием для церковной карьеры. Однако для простого народа латинская месса была не понятнее, чем для крестьян Ливонской конфедерации. К последним столетиям Средневековья языческое прошлое не было для Литвы чем-то далеким, и потому старые традиции оставались прибежищем для сельских жителей, даже если они участвовали и в христианских ритуалах. Жалобы приходского духовенства на подобные проявления весьма напоминают аналогичные осуждения ливонских священников. После Кревской унии в течение XV в. растущее сближение литовского и польского королевских дворов и постепенное предпочтение литовскими правящими кругами польского языка не вызвали у простого народа Литвы ощущения, что им правят чужаки, как это определенно имело место в Конфедерации.

Граница между «высокой» и «низкой» культурой также проводилась по критерию грамотности как в Конфедерации, так и в Великом княжестве. Европеизация привела в культуре побережья к чрезвычайному увеличению значимости умения читать и писать. Раньше люди в племенных сообществах знали о существовании грамоты и книг, поскольку некоторые из них контактировали с православными миссионерами, вероятно располагавшими некими текстами; также они могли быть знакомы со скандинавским руническим письмом. Однако эти модели коммуникации и сохра-

нения знаний не играли никакой роли, по крайней мере в той форме, в которой они использовались во вновь появившихся европейских институтах. Теперь же эти инструменты стали чрезвычайно важны среди новых правящих классов Конфедерации и Великого княжества — в таких формах, как священные книги, дипломатическая корреспонденция, реестры и списки всякого рода, договорная документация, счетные книги купцов, налоговые ведомости и другие инструменты делопроизводства. Неясно, как простые люди реагировали на этот новый компонент их культурной жизни: церковь не поощряла распространения грамотности среди простонародья в своих приходах, за исключением тех немногих случаев, когда кого-то планировалось подготовить к духовной карьере; и более чем вероятно, что землевладельцы также боялись, что развитие подобных навыков может уменьшить количество рабочей силы, от которой они зависели.

Сфера чтения и письма не была полностью недоступной для простого народа, однако до конца Средневековья грамотность обозначала границу между правящим и управляемым классами точно так же, как такой границей служили и архитектура зданий (церквей, монастырей, замков) и их интерьеры, виды одежды и украшений, оружие. Города, с которыми грамотность ассоциировалась в значительной степени, также были одним из таких маркеров. Городские центры побережья с их стенами и ограничениями прав на жительство отделяли горожан от сельских жителей, и было ясно, что городской образ жизни является «высшим» по отношению к сельским обычаям. Свидетельством тому были рост благосостояния горожан по сравнению с сельским населением, а также развитие сетей торговли и снабжения, созданных городскими купцами для получения продукции, производимой в селе. Город все больше и больше становился источником денег, даже несмотря на то, что монетизация Ливонии шла медленно. С самого начала города — крупные поселения людей, не обрабатывающих землю, — были новым явлением для жителей побережья, но с каждым новым поколением наличие таких центров казалось все более и более нормальным, вплоть до того, что устная традиция начала замечать существование городов (особенно Риги в Конфедерации) как объектов восхваления и прославления, даже несмотря на то, что городские жители отличались от сельских как культурой, так и языком, а также невзирая на тот факт, что городских купцов при этом считали обманщиками и мошенниками.

В целом к XV в. эти два средневековых государства — Ливонская конфедерация и Великое княжество Литовское (в его расширенном виде) стали могущественными и важными действующими лицами на политической арене земель нового, европеизированного побережья Балтики. Они поглотили коренные народы и изменили их положение, а также маргинализовали язычество. Как и другие средневековые государства, эти государства не отличались внутренней сплоченностью. Процессы поглощения, установления новых связей и интеграции населения не были там ни целостными, ни завершенными. Слабые стороны их структуры сохранялись из-за корпоративного принципа Конфедерации и толерантности Великого княжества к разнообразию, а также к последствиям этих явлений. Общая цель в основном была там побочным продуктом воли сильного лидера, склоняющего своих последователей к совместным действиям. Если личные амбиции лидера снижались, то же происходило и с общими усилиями. Классовое сознание (в современном смысле) встречалось редко. Восстание Юрьевой ночи (1343—1345) в Эстонии, когда Ливонский орден пытался выгнать из страны датчан, а множество эстонских крестьян попробовали избавиться и от тех, и от других, было аномальным явлением. Фактически, подобных восстаний не было в Средневековье ни в Литве, ни в Латвии; недовольство крестьян выражалось чаще всего в побегах, а не в каких-либо насильственных действиях. Население этих государств защищало свое положение: верхушка — свой статус и земли, а крестьяне — местные общины и традиции. Перемещения населения были постоянными, но масштаб их незначителен. Занятия торговлей и коммерческой деятельностью вынуждали некоторых покидать родные места. Рост городской экономики породил потребность в работниках, выполняющих многочисленные функции по ее поддержанию, то есть занятых строительством, изготовлением транспортных средств, уборкой, ремонтом, — и наниматели при этом не интересовались, откуда родом их рабочая сила. Те, кому принадлежала власть, продолжали вовлекать друг друга в военное дело и нуждались в армии для отражения вторжений и набегов. Большая часть пехоты рекрутировалась из крестьян, невзирая на их происхождение. Землевладельцы также переселяли своих крестьян, чтобы обеспечить лучшее распределение рабочей силы. Общие результаты этих незначительных передвижений сельского населения состояли в том, что некоторые крестьяне приходили и уходили,

селились в новых местах, принося с собой новые языки и диалекты и в конечном итоге разрушая изоляцию, характерную для немобильных общин. Тем не менее партикуляризм оставался основной характеристикой Ливонской конфедерации, а усилия литовских великих князей, направленные на то, чтобы создать великую державу путем территориальной экспансии и династических браков, просто привели к появлению более значительной территории, на которой также процветал партикуляризм.



3

НОВЫЙ ПОРЯДОК МЕНЯЕТ ОЧЕРТАНИЯ (1500–1700)

Европа, частью которой с XIII столетия вынужденно стало восточное побережье Балтики, сама переживала значительные перемены. Великая борьба между светскими правителями и папством за верховную власть завершилась в пользу монархий, и к XV в. монархи начали осознавать важность династий и эффективного внутреннего управления. Поскольку старые феодальные связи между сеньорами и вассалами слабли, сеньоры не могли более надеяться на сохранение лояльности подданных лишь на основании личных связей. Служилые люди, получавшие земельные пожалования, стали превращаться в землевладельческую аристократию, одновременно открывая для себя все выгоды передачи владений по наследству и пре-

На заставке: Тракайский замок (XIV в.) в Литве (современный вид).

имущества прикрепления «своих» крестьян к земле. Города превращались во все более и более могущественную и независимую политическую силу по мере того, как торговля с дальними странами и предпринимательство создавали новые формы личного обогащения.

Западная церковь по-прежнему (по крайней мере, номинально) несла ответственность за спасение душ человеческих, но, поскольку она активно вмешивалась в светские дела, ее деятельность стала критически оцениваться реформаторами — такими, как Джон Уиклиф и Ян Гус, — крайне обеспокоенными коррумпированностью духовенства и громадными богатствами церкви. Вселенские соборы в Констанце (1414 – 1417) и Базеле (1431 – 1449) предпринимали попытки утихомирить реформаторов, но волнения продолжались. Богатство стало цениться больше, чем земля, но стремление к территориальному контролю оставалось сильным как на государственном, так и на личном уровне. На самом деле экспансионистские тенденции стали даже нарастать, поскольку европейские государства продолжали соревноваться в могуществе посредством территориальных захватов и выказывали стремление к подчинению соседних и даже удаленных территорий. Государства восточного побережья Балтики — Ливонская конфедерация и Польско-Литовский союз — теперь являлись частью этой европейской системы и потому ощущали на себе влияние всех этих изменений и вынуждены были на них реагировать. Но простой народ Балтийского побережья, особенно в сельской местности, почувствовал их далеко не сразу; его повседневная жизнь, состоящая из повторяющихся циклов сельскохозяйственного года и обязательств, накладываемых низким социальным статусом, шла в более медленном темпе, и потому они сталкивались со сменой обычаев лишь тогда, когда их вынуждали к этому господа.

Само расположение Балтийского побережья на краю западного христианского мира делало его в XV в. уязвимым в контексте территориальных амбиций нескольких будущих могучих держав. На востоке одной из них было Великое княжество Московское, которое стремилось к доминированию на землях Киевской Руси; другой была турецкая Османская империя, взявшая в 1453 г. Константинополь и положившая конец долгой истории Византийской империи. Из всех народов побережья Балтики наибольшие основания для беспокойства были у Польско-Литовского государства, поскольку предпринятая ранее успешная экспансия Великого княжества Литовского на восток и юго-восток привела к глубокому

продвижению в глубь тех территорий, на которые теперь претендовала Москва. Если бы продвижение Османской империи продолжилось в северном направлении и привело к захвату Венгрии, Трансильвании и Молдавии, то турки оказались бы опасным южным соседом. Таким образом, угрозы с юга и востока в то время казались намного более опасными, чем с запада; Германская империя казалась удовлетворенной существующими границами, по крайней мере на конкретный момент.

Даже в этих условиях западноевропейские страны никоим образом не стремились к мирным способам укрепления государства, располагая значительными территориями и населением. К середине XV в. Европа восстановилась после эпидемии чумы («Черной смерти»), постигшей ее веком ранее, и в крупнейших государствах отмечался значительный прирост населения. В этот период население Англии составляло 3–5 млн человек, Германской империи — около 20 млн, Швеции — около 750 тыс. человек. По сравнению с этим цифрами население стран восточного побережья Балтики выглядит крохотным. Пользуясь методом подсчета населения на квадратный километр, можно увидеть, что на 1500 г. население Ливонской конфедерации составляло примерно 654 тыс. человек — включая 360 тыс. говорящих на латышском языке и 250 тыс. носителей эстонского языка. Для Литовского княжества потребовался тройной подсчет: в границах Великого княжества проживало около 500 тыс. литовцев; тогда как во всем Великом княжестве Литовском насчитывалось около 1,3 млн жителей, а на объединенных территориях Польши и Литвы в 1500 г. проживало несколько менее 4 млн человек. Разумеется, эти цифры в значительной степени являются умозрительными, так как переписей населения в те времена не проводилось, однако и они полезны с точки зрения сравнительной оценки. Они также позволяют предположить, что трудности, с которыми столкнулась Европа в период 1200–1500 гг., затормозили рост населения. Оценки на середину XIII в. указывают нам такие цифры, как 150 тыс. человек населения для «эстонской» территории, около 220 тыс. — для «латвийской» и около 280 тыс. человек — для «литовской».

Быть может, даже более важной вещью, чем абсолютные цифры, в данном случае является внутренняя динамика прироста населения в Средние века, наиболее заметной тенденцией которой является постоянная смена депопуляции вторичным притоком населения. Данная ситуация никогда не была статичной, даже при-

нительно к сельскому населению, и при ее рассмотрении очевидна тенденция к приросту в долгосрочной перспективе. Однако в рамках этого медленного увеличения периоды быстрых потерь населения сменялись временами ускоренного роста. Постоянные военные действия, описываемые средневековыми хронистами, вели к множеству смертей и опустошению значительных территорий побережья Балтики; однако эти деструктивные действия сменялись периодами относительно быстрого восстановления — обычно в рамках жизни одного поколения. Даже несмотря на то, что письменные источники часто описывали целые обезлюдившие местности, эти земли не оставались безлюдными надолго: их заселяли крестьяне, переместившиеся (или перемещенные) из менее пострадавших регионов. Другой механизм возобновления населения — внутренняя миграция, которая, судя по всему, была постоянным явлением на всем побережье. Великий князь литовский Гедимин совершенно точно рекрутировал новых жителей для своего княжества с помощью этого метода, уже используемого германскими правителями на восточных территориях, — предлагая новым поселенцам снижение налогов и норм отработки. Как церковь, так и Ливонский орден в Конфедерации постоянно рекрутировали новых поселенцев и солдат из германских земель Восточной Европы, и торговая деятельность рижских купцов также привлекала на побережье амбициозных людей, многие из которых оставались здесь навсегда.

Происходил также и процесс ассимиляции: земгалы, по сообщениям источников, покинувшие родные места в XIII в. и отправившиеся в Литву, чтобы избежать христианизации, вероятнее всего, слились с литовским населением. Позже крепостные крестьяне-латыши часто бежали на север, а эстонские крестьяне — на юг, то есть на покинутые теми территории, с одной и той же целью — в поисках лучших экономических условий; в большинстве случаев и те и другие ассимилировались с населением той местности, где поселялись. Имел место также постоянный приток в Конфедерацию поселенцев из славянских земель, поскольку экономические условия в этом государстве имели репутацию более легких. Невозможно определить, какие именно из этих различных этнолингвистических групп оказывались в выигрыше, а какие — в проигрыше, поскольку изначальные цифры численности населения точно неизвестны. Незначительный рост населения в долгосрочной перспективе — больше рождений, чем смертей, — все-

гда присутствовал, и новоприбывшие, как бы мало их ни было в каждый конкретный год, увеличивали естественный прирост в долгосрочной перспективе.

Итак, если оперировать демографическими критериями, то начиная с XIII в. земли побережья Балтики ни разу не испытали демографического бума, однако постоянная внутренняя миграция всегда обеспечивала прирост населения в конце каждого столетия. Одной из демографических характеристик побережья было достижение некоторой стабильности в распределении сельского и городского населения. Хорошо организованные города, такие, как Рига, заботились об обеспечении строгого контроля населения — частично из соображений сохранения пригодного для жилья пространства, а частично из-за того, что город не мог предоставить работу каждому, кто хотел бы пользоваться возможностями городской жизни. Несмотря на наличие всех структур средневекового государства: городов, замков, придворной жизни, церквей и монастырей, — Конфедерация и польско-литовские территории продолжали оставаться странами с преимущественно сельским населением (до 90%) — как в отношении состава населения, так и в том, что касалось его основных занятий, — несмотря на то что современные источники чаще описывали ту (более интересную) часть жизни страны, которая не имела отношения к деревне.

Крушение Ливонской конфедерации

Хотя 1500 год как таковой не отмечен какими-либо событиями, значимыми для Конфедерации, внутренняя история государства стала меняться как раз в это время. На протяжении XV столетия Конфедерация продолжала сохранять чреватую постоянными конфликтами систему, где Ливонский орден контролировал около 67% территории, Рижское архиепископство — около 17%, и 16% приходилось на долю четырех епископств: Курляндского, Тартуского, Сааремааского и Ревельского. Система управления в ордене основывалась на сети из 58 укрепленных замков, разбросанных по северной (эстонской) и южной (латвийской) частям Конфедерации. Церковь же распространяла свое влияние на этих территориях, создав сходную сеть из 80 приходов. В результате было совершенно неясно, кто кому должен подчиняться, и поэтому обе конкурирующие корпорации постоянно спорили на самом высоком уровне

по поводу схем притока доходов, собираемых с основного населения. Орден держал земли с позволения церкви, но постоянно стремился к большей автономии; церковь же, не имея собственных независимых вооруженных сил, полагалась на орден в вопросах защиты и в то же время отстаивала свое право на духовную власть. Три наиболее крупных города Конфедерации: Рига (около 12 тыс. жителей), Ревель (эст. Таллин, около 6 тыс. жителей) и Дерпт (эст. Тарту, около 4 тыс. жителей) — сохраняли вассальный статус по отношению к ордену или церкви, однако постоянно (и безуспешно) стремились уйти из-под их юрисдикции, как это уже сделало бесчисленное множество городов Западной Европы в истекшем столетии. Периодически представители наиболее крупных корпораций собирали *ландтаги*, чтобы обсудить общие проблемы, однако эффективность этих собраний зависела от достижения общего согласия; к тому же их решения не имели законодательной силы. Затем произошли три события, оказавшие решающее влияние на расстановку сил: в 1494 г. магистром Ливонского ордена стал Вальтер фон Плеттенберг; в 1517 г. Мартин Лютер вывесил свои 95 тезисов на двери церкви в Виттенберге, начав таким образом протестантскую Реформацию; и в 1557 г. началась серия вооруженных конфликтов, получившая известность как Ливонские войны, и положившая конец Конфедерации как политическому субъекту на побережье Балтики.

Когда фон Плеттенберг (1449 – 1535) принял на себя руководство орденом в 1494 г., ему было 45 лет. За 41 год пребывания у власти он столкнулся с тремя важнейшими задачами. *Во-первых*, ему необходимо было урегулировать отношения с прусским Тевтонским орденом, учитывая тот факт, что номинально Ливонский орден являлся его подразделением. *Во-вторых*, он удерживал контроль над все более и более стремящимися к независимости комтурами (управляющими орденовыми замками и соответствующими регионами вокруг них). Наконец, он предотвращал атаки Московского княжества, которое стало всерьез предпринимать такие попытки с 1501 г. Первую задачу фон Плеттенберг решил в 1513 г., выкупив у Тевтонского ордена право Ливонскому ордену самому назначать своего магистра, и убедил императора Священной Римской империи признать эту привилегию. Примерно сотня ливонских «братьев» (рыцари, принявшие обет безбрачия, количество которых несколько увеличилось по сравнению с прошлым веком) получили право выбирать своего лидера, что стало важнейшим шагом

навстречу полной независимости. Но фон Плеттенберг мало что мог поделать с растущей независимостью братьев от *его* собственного контроля, кроме как использовать свой личный (значительный) авторитет, чтобы удержать их вместе. Они стремились к «свободе», то есть к праву пользоваться плодами распоряжения крупными владениями, которые они «держали», и этот импульс подпитывался аналогичными тенденциями среди прусских братьев Тевтонского ордена, также находившегося в процессе распада.

Если фон Плеттенберг чем-то и выделялся, так это руководством военными операциями. С армией, включавшей множество латышских и эстонских пехотинцев, он смог защитить Ливонию от нападений, которые москвиты начали без особого успеха предпринимать уже при царе Иване III, в 80-е годы XV в. В 1501 г. началась еще одна московско-ливонская война, которая зашла в тупик в 1503 г. и закончилась перемирием. Перемирие периодически возобновлялось на протяжении следующих пятидесяти лет; москвиты осознавали, что захватить Ливонию — нелегкое дело, и переключали внимание на литовские территории, давая Ливонской конфедерации передышку для решения внутренних проблем. Среди этих проблем было проникновение из Германии протестантизма, весьма значительно менявшего природу Конфедерации.

Возникнув в Германии, вызов власти церкви и папства, брошенный Мартином Лютером, изначально был лишь одним из вариантов идеи реформы, которая незадолго до этого обсуждалась на церковных соборах XV столетия. Но то, что стало результатом этих обсуждений, не удовлетворило реформаторски настроенные силы внутри церкви, а скандальная деятельность римских пап в Италии эпохи Возрождения лишь резче подчеркнула необходимость намного более существенных перемен. Церковь оказалась слишком приверженной мирским ценностям, папство чрезмерно стремилось к централизации, а церковные иерархи были гораздо больше озабочены ростом доходов церкви, чем спасением душ. Особенно раздражала реформаторов продажа индульгенций. Если бы те изменения, призывы к которым раздавались, были осуществлены в полном объеме, то это сыграло бы решающую роль в жизни Ливонской конфедерации, где церковь пользовалось значительной политической и экономической властью.

Эти изменения могли также влиять и на другое объединение в составе Конфедерации, тесно связанное с церковью, — на Ливонский орден. К концу XV в. существование ордена на этих зем-

лях потеряло *raison d'être**, поскольку побережье Балтики, включая Литву, более не населяли язычники в каком бы то ни было смысле и, соответственно, не нуждалась в орденах крестоносцев. Также влияние перемен могло быть значимым и для будущего города Риги, чей светски настроенный патрициат уже давно искал способы избавления от контроля как церкви, так и ордена. Лютер отстаивал мнение, согласно которому Римско-католическая церковь не имеет монополии на спасение душ, выдвигая концепцию «священства всех верующих», и утверждал, что отношения между Богом и каждым верующим «оправдываются одной лишь верой», не нуждаются в посредничестве специально созданных структур и не требуют сложных ритуалов. Это учение являлось открытым вызовом самому институту церковной организации, а также всем связанным с ней корпоративным объединениям (таким, как ордены крестоносцев и монастыри), чье существование оправдывалось ссылкой на верховную власть церкви.

К середине XVI в. импульс религиозного реформаторства распространился намного дальше, чем изначально предполагал Лютер; он приобрел множество политических контекстов и повсеместно изменил расстановку сил. В германских землях в Центральной Европе началась так называемая Шмалькальденская война (1546 – 1547), где столкнулись протестантские и католические германские государства во главе с императором Священной Римской империи Карлом V, отстаивавшим единство церкви. В других местах тоже усиливалось стремление к реформированию, что породило радикально мыслящих мыслителей, подобных Жану Кальвину во Франции, и такие радикальные группировки, как движение швейцарских анабаптистов. Тридцать шесть лет религиозных войн раздробили Францию; в Англии сильный монарх — Генрих VIII — использовал свои матримониальные затруднения, чтобы полностью порвать с Римом и создать Англиканскую церковь. Реформистский импульс, дошедший до Ливонии в начале протестантского периода — в 20-х годах XVI в., был в большей мере «лютеранским», хотя и кальвинизм несколько позднее в том же столетии нашел сторонников в польско-литовских землях. Как и везде, в Ливонской конфедерации протестантизм гораздо больше влиял на духовную сферу; существующая церковь в виде Рижского архиепископства и трех епископств была

* Смысл (фр.).

глубоко вовлечена в светскую жизнь и контролировала внутреннюю политику. В Риге первый публичный «диспут» между представителями церкви и приверженцами новых протестантских доктрин состоялся в 1522 г. Через несколько десятилетий большинство рижского патрициата перешло в лютеранство, а церковь отступила на оборонительные позиции. Ответ Ливонского ордена на лютеранское учение был менее однозначным. Несмотря на то что даже Тевтонский орден перешел на сторону протестантов в 1525 г., Ливонский орден под руководством фон Плеттенберга поначалу оставался защитником католической церкви, хотя и не очень рьяным. Существовали значительные различия во взглядах на новые доктрины у верхушки ордена и в среде братьев, державших значительные земельные наделы. Количество новообращенных протестантов постепенно росло, но магистр ордена (теперь это был Генрих фон Гален) вместе с девятью высшими иерархами до 1551 г. не посещал первую евангелическую лютеранскую службу в Домском соборе Риги. В 1554 г. ливонский *ландтаг* провозгласил в Ливонии «свободу религии», что означало в краткосрочной перспективе, что в Конфедерации могут сосуществовать как католический, так и лютеранский варианты христианской религии. Годом спустя, в 1555-м, Аугсбургский мир положил конец религиозному конфликту в Священной Римской империи, после того как был признан принцип *cujus regio, ejus religio**, означавший, что каждый правитель имеет право определять религию, которую будут исповедовать его подданные. С этого времени лютеранство и католицизм имели одинаковый статус в правящих кругах Конфедерации; прямого конфликта удалось избежать, но ни одна сторона не восприняла правоты другой.

Сложно измерить, насколько глубоко лютеранство проникло в основную массу населения Конфедерации, то есть затронуло крестьянство. Статус сельского населения делал его аполитичным; его мнение никого не интересовало, в том числе и в вопросах религии; крестьянство должно было подстраиваться под своих господ и следовать их примеру. В Ливонии не происходило ничего подобного Крестьянской войне в Германии (1524 – 1525), хотя в некоторых эстонских землях имели место отдельные инциденты, когда крестьяне предпринимали прямые атаки на церковь, и, возможно, совсем не по духовным соображениям. Более чем ве-

* Чья земля, того и вера (*лат.*).

роятно, что в большинстве своем крестьяне Конфедерации даже не знали, кто такой Мартин Лютер, несмотря на то что могли понять, что теперь их религиозные обязанности в разных приходах стали больше отличаться друг от друга. Тем не менее один аспект учения Лютера начал менять религиозную сторону крестьянской жизни, хоть и спорадически: Лютер настаивал на том, что христианские конгрегации должны получать слово Божье на своих родных языках. Для священнослужителей, во всяком случае для тех, кто воспринял новое учение, это означало внедрение в постоянную практику систематического использования языков народов побережья. Впервые с момента христианизации появились печатные издания на эстонском и латышском языках того времени — в форме переводов катехизиса и другой религиозной литературы. Также впервые источники упоминают об обучении нескольких представителей духовенства (как католического, так и лютеранского) из числа коренного населения побережья. (Культурное значение письменного слова на местных языках будет рассматриваться в этой главе ниже.)

Приверженцы протестантизма и католицизма в Конфедерации не могли примириться друг с другом всё XVI столетие, и конфликт усилился благодаря католической Контрреформации, которую подхлестывали длительные (хотя и постоянно прерывающиеся) заседания Тридентского собора (1545 – 1565). Но религиозная борьба вернулась к истокам благодаря другому стечению обстоятельств — запутанной и продолжительной серии вооруженных столкновений, начавшейся в 1557 г. и известной под названием «Ливонские войны». В них участвовали Дания, Московия, Швеция и Польско-Литовское государство, тогда как правящие круги Ливонии отчаянно искали наиболее надежных союзников. Военные действия на землях побережья и вокруг них продолжались до 1583 г., когда воцарился относительный мир, продлившийся до 1600 г., — в этом году война возобновилась и продолжалась до 1629 г. Ливонские войны начались с возобновления атак на территорию Конфедерации со стороны Московского княжества, посягавшего на восточные границы Ливонии (и Литвы) с середины XV в. С приходом к власти Ивана IV Грозного, провозглашенного царем в 1547 г. и правившего до 1584 г., эти действия приобрели характер постоянной военной кампании, в рамках которой русская армия, используя в качестве предлога неуплату дани епископом Тартуским, вторглась в Ливонию и стала контролировать земли Тартуского епископства.

Успехи московитов, пусть и временные, вынудили правящие круги Ливонии к отчаянному поиску защитников. Епископы Курляндии и Сааремаа продали часть своих территорий датскому королю Фридриху II, который, таким образом, стал соперником Швеции в борьбе за влияние на побережье. Тем временем Ливонский орден искал защиту себе и своим территориям у союзного Польско-Литовского государства уже в 1561 г., когда последний магистр ордена, Готтхард Кеттлер, поклялся в верности королю Сигизмунду II Августу. Швеция в том же году получила собственный плацдарм на ливонских территориях, когда город Таллин с сопредельными землями в поисках защиты и покровительства перешел под власть шведского короля Эрика XVI. Триумф имперских амбиций над кровными узами стал реальностью, когда на польско-литовский престол взошел Сигизмунд III (1587 — 1632), сын короля Швеции Юхана из династии Ваза. Во время Ливонской войны Сигизмунд III успешно защищал интересы Польско-Литовского государства от притязаний со стороны страны его предков — Швеции. Патрициат Риги, как и раньше, стремился сохранить независимость города от всякого контроля, но справлялся с этой задачей только до 1682 г. К концу первой фазы борьбы (1582 — 1583 гг., закончившейся мирным договором) контроль над отдельными частями Ливонии был поделен между монархами Дании, Швеции, Польско-Литовского государства, тогда как Московское государство удержало лишь незначительную часть завоеванных им ранее земель. Московские вооруженные силы в этот период возвращались домой, поскольку там возник конфликт, связанный с престолонаследием*.

Соглашение 1582 — 1583 гг. привело к семилетней мирной передышке, однако сторонам, борющимся за ливонские земли, не было достаточно той их части, которую они уже получили. В 1600 г. шведские войска под водительством короля Карла IX высадились на эстонской земле на севере Ливонии и начали продвижение на юг, к польско-литовским территориям и оставшимся русским владениям. На этот раз конфликт (называемый иногда Шведско-польской войной, но здесь рассматриваемый как продолжение Ливонских войн) длился около 29 лет — период жизни целого поколения, — хотя война не велась постоянно на протяжении всего этого времени.

* После смерти Ивана Грозного (1584) трон мирно наследовал его сын Федор, правивший до 1598 г.

К 1629 г. стало ясно, что ни Швеция, ни Польско-Литовское государство не могут одержать решающую победу, даже несмотря на то, что Россия была (временно) изгнана с территории побережья. Альтмаркский мир 1629 г. положил войне конец, и в результате Швеция получила контроль над северной частью бывшей Ливонской конфедерации; эти земли с тех пор стали называться Шведской Ливонией. Польско-Литовское государство сохранило контроль над землями, которые стали Курляндским герцогством, а также над восточными ливонскими территориями, называвшимися с тех пор Польской Ливонией (латыши именовали ее Латгалией). Дания сохранила за собой два острова — Сааремаа и Куресааре до 1645 г., когда те перешли под власть Швеции. Дания еще в 1585 г. продемонстрировала снижение интереса к ливонским землям, когда за деньги передала свои права на западную часть Курляндии (район Пилтене) Польско-Литовскому государству.

Если рассматривать эту ситуацию снизу, то есть с позиции эстонско- и латышскоговорящего крестьянства, эти новые договоренности о разделе территории не принесли значительных структурных изменений, поскольку непосредственные господа этих крестьян — крупные немецкоязычные вассалы прежних ливонских хозяев, ставшие аристократами-землевладельцами, — оставались на своих местах, всего лишь перенаправив политическую лояльность на новых хозяев, монархов Швеции, Польши и Литвы. Точно так же не отмечалось резкого разрыва с прошлым в религиозном и культурном аспектах. Курляндское герцогство, находившееся теперь под контролем Польско-Литовского государства, становилось все более и более лютеранским, и новое правительство не стремилось препятствовать этой тенденции. Однако в Польской Ливонии (Латгалии), значительную часть населения которой составляло крестьянство, говорившее на латгальском диалекте латышского языка, продолжался процесс окатоличивания, поскольку здесь польско-литовское правительство проводило политику Контрреформации. Помимо этого, здесь медленно, но неуклонно появлялись новые польско-литовские землевладельцы. Шведская и датская части прежней Ливонии — уже принявшие лютеранство и теперь находившиеся под властью лютеранских монархов — не имели никаких оснований ожидать перемен религиозного уклада. Подводя итоги, можно сказать, что, если в повседневной жизни крестьян и появлялись значительные структурные изменения, они происходили лишь благодаря

политике королей, транслируемой через посредство крупной землевладельческой аристократии, которая, в свою очередь, также все более осознанно защищала собственный привилегированный статус.

Хотя продолжающиеся военные действия на территории прежней Ливонии и вокруг нее и назывались Ливонскими войнами (или Ливонской и Шведско-польской войной; оба термина предполагают одно или два отдельных события), простые жители этих земель воспринимали данные конфликты как длительный период тяжелых и разрушительных битв, перемежающихся перемириями. Продвижение любых вооруженных сил на ливонские территории не приносило населению ничего, кроме страданий, связанных с потерей урожая, конфискацией имущества, горящими усадьбами и всеми видами насилия над гражданским населением. Основные воюющие стороны постоянно вербовали (или привлекали силой) сельское население в пехоту или в транспортные службы, в результате рекрутированные таким образом солдаты проникали на новые территории и иногда оседали там. Физические потери от военных действий сочетались с периодическими эпидемиями, последствия которых усугублялись неурожаем даже в периоды относительного мира. Не существует статистики населения этих регионов на первую половину XVII в., однако к началу этого столетия сельское население прежней Ливонии, вероятно, численно упало до уровня, существовавшего на момент начала конфликта. Конечно, население могло восстановиться, однако Ливонская конфедерация исчезла с политической карты Европы, и политическая принадлежность ее бывших территорий полностью изменилась. Высшие круги прежней Ливонии изменили вектор своей политической лояльности, что автоматически произошло и с их землями (вместе с населением), которые, согласно заключенным договорам, перешли к разным монархам. Когда в 1629 г. военные действия закончились, центры политической власти, важные для местного населения, переместились за пределы побережья. Даже в Польско-Литовском государстве, как мы увидим, власть перешла от Вильнюса (литовская территория) к Кракову (Польша). Народы побережья стало жителями имперской периферии.

Республика двух наций: Польша и Литва

В то время, когда Ливонская конфедерация расплачивалась за то, что была столь хрупкой амальгамой, Великое княжество Литовское все теснее сближалось со своим структурным партнером — Польским королевством. Результатом такого сближения стало государство, ушедшее в сторону от централизованной модели, которую стремились реализовать такие западноевропейские монархи, как Елизавета I в Англии и Генрих IV во Франции, и еще дальше — от модели абсолютизма, возникшей во Франции в XVII столетии, в правление Людовика XIV, вызывавшей у современников столько восхищения и попыток подражания. Унификация территорий в этих землях замедлилась; вместо усиления монархии возросло влияние национального сейма (парламента) и региональных сеймов, контролируемых землевладельческой аристократией. «Выборы» монарха знатными и могущественными землевладельцами входили в противоречие с принципом династической преемственности. Также оставался дискуссионным вопрос о взаимоотношениях двух партнеров в составе федерации — Польского королевства и Великого княжества Литовского. Король (Польша) превосходил по статусу князя (Литва), но как это могло проявляться в государстве, которое считалось состоящим из двух равных структурных частей? Если каждый из этих титулов станет принадлежать разным людям, то какова должна быть их родословная? По традиции оба трона должен был занимать один и тот же человек, происходящий из литовского княжеского дома, но в XVI в. становилось все яснее, что право называться *Польским* королем в полном культурном и лингвистическом смысле этого слова давало обладателю такого титула возможность занять более блестящее и величественное положение в среде коронованных особ Центральной Европы.

Эти вопросы окончательно решились Люблинской унией 1569 г., покончившей с формальным разделением Польского королевства и Великого княжества Литовского и создавшей новое государственное образование, объявленное содружеством, — Речью Посполитой (польск. *Rzeczpospolita*). Соглашение, достигнутое знатью обеих земель, стало последним шагом в процессе слияния, начатого в 1386 г. Кривской унией и за два столетия обернувшего все внутренние договоренности о партнерстве преимущественно в пользу Польского королевства. После 1569 г. население содружества считало себя

жителями единого государства, состоящего из двух частей — республики двух наций, — где каждая из них сохраняла многие из своих традиций. Такую двойную политическую идентификацию было нелегко поддерживать, особенно для литовской стороны. Магнаты и дворянство (*бояре*) княжества видели, что статус их родины постепенно снижается почти до уровня провинции в государстве, где правят поляки. С точки зрения численности населения литовцы становились меньшинством в крупном государстве, все еще носившем имя Литва, но все больше и больше воспринимаемом со стороны как Польша. Монархи объединенного государства вскоре перестали рассматривать Вильнюс как столицу, равную Кракову, и управляли делами государства из польской столицы. Их поездки в Вильнюс приобрели характер путешествия в провинцию.

Подобная ситуация повлекла за собой искушения, которым не могло сопротивляться большинство представителей литовского дворянства, охотно ступивших на путь полонизации самих себя и своих семей. Однако этот социолингвистический и культурный процесс не был отличительной чертой лишь XVI в., поскольку начался — возможно, в меньших масштабах — еще с конца XIV столетия и с Кревской унии. Последним Великим князем литовским, точно говорившим на литовском языке, был Казимир (1440 — 1492), сын Ягайло. Сеть институтов, созданных католической церковью после унии и христианизации Литвы, привлекла в литовские земли множество польских священнослужителей, которые вели службы и управляли делами церкви на латыни и на польском, а не на литовском языке. Для получения высшего образования сыновья литовских магнатов и дворян отправлялись на запад, в польские университеты, и неудивительно, что потом они часто женились на представительницах польских семей равного себе и более высокого положения. Растущий престиж Кракова как центра объединенного государства был для энергичных и мобильных жителей литовских земель ясным признаком, что им необходимо держаться Польши — как с языковой, так и с культурной точки зрения. Результатом этих процессов стало то, что в течение XVI в. литовскоговорящее сообщество в Литве продолжало терять наиболее выдающихся членов, несмотря на то что эти же самые люди в политическом отношении отстаивали определенный уровень удаленности от Польского королевства.

В высших кругах литовского общества этот культурный и языковой сдвиг в сторону Польши сохранялся несмотря на то, что маг-

наты и дворянство поддерживали обособленность Литвы на уровне институтов: министерств, военных подразделений, казначейства, законодательства, а также сохраняли контроль над королевскими землями на территории Литвы. Однако для всего внешнего мира высокопоставленное знатное семейство литовского происхождения, выглядевшее поляками, с фамилией, напоминающей польскую, являлось польским независимо от воззрений самих членов этой семьи. Процесс культурной стратификации в объединенном государстве осуществлялся в пользу «высокой» культуры, основанной на одном из славянских языков, тогда как язык балтийского происхождения — литовский — почти полностью ассоциировался с крестьянством, особенно в Жемайтии. Аналогичный процесс, начавшийся раньше и занявший существенно меньше времени, происходил и на землях северной части побережья Балтики, где немецкий язык приобрел статус престижного, а эстонский и латышский стали языками сельских окраин и немногочисленной части трудящегося населения городов.

То, что при ретроспективном взгляде кажется предательством, в те времена не воспринималось как таковое, поскольку для «ополчающихся» литовских дворян подражание полякам в культурной сфере вполне могло сосуществовать со стремлением защищать родную землю. Подражание польским институтам привело к появлению в Литве практики регулярного созыва территориальных представительных собраний — сеймов (польск. *sejm*, лит. *seimas*); этот обычай вырос из нерегулярного созыва княжеского совета, имевшего совещательные полномочия. Появились также региональные и местные собрания подобного рода — *сеймики* (лит. *seimiki*). Их значение как институтов, с которыми монарх должен был советоваться по политическим вопросам, росло на протяжении всего XVI столетия; фактически, они становились центрами оппозиции, если были не удовлетворены существующей политической линией. Литовское дворянство стало требовать тех же прав, какими пользовалось польское, и это давление привело к кодификации литовского обычного и писаного права в Литовском статуте (1529)*. В 1556 г. этот документ был усовершенствован и дополнен (Второй статут) в соответствии с пожеланиями дворянства, а в 1588 г. был исправлен снова (Третий статут), чтобы

* Литовский статут во всех редакциях был составлен на «руськом», точнее, старобелорусском языке.

включить новые принципы Люблинской унии. Каждый из этих документов все больше отдалял отношения между носителями власти и землевладельцами в Литве от обычного права и «неписанных» практик, приводя их в область писанных законов. Все три статута также налагали дополнительные ограничения на монарха в сфере его отношений с литовскими подданными.

Количество литовцев в Польско-Литовском государстве еще больше сократилось вследствие политики толерантности, принятой правительством по отношению к населению, оказывающемуся под его контролем. Эта политика подразумевала в том числе отношение, продемонстрированное еще Гедимином два века назад. К 1500 г. приблизительно 7,5-миллионное население Польско-Литовского государства включало (если использовать современные названия) литовцев, поляков, белорусов, украинцев, русских и евреев; около 52% этого разнообразного населения проживало на землях Великого княжества. Многие представители этих народов стали постоянными жителями востока Польско-Литовского государства и не испытывали в массе своей потребности переселяться в другие регионы. Евреи, изгнанные из других стран, часто обретали дом именно в Великом княжестве; по оценкам, количество еврейского населения возросло здесь с 10–15 тыс. человек в 1500 г. до 80–100 тыс. в 1600 г. То, что литовские высшие классы стали отказываться от языка и культуры родной страны, частично можно объяснить в том числе и многоязычностью Великого княжества и всего объединенного государства. Будучи частью многоязычного общества, они не воспринимали язык как важный признак личной или коллективной идентичности — настолько же важный, как другие институты, служащие этой цели.

В долгосрочной перспективе такое развитие сделало объединенное государство более нестабильным, но в краткосрочном отношении оно не повлияло на эффективность построения государства и даже на экспансию, продолжавшуюся в XVI в., хотя темп ее в этот период существенно замедлился из-за контрэкспансии Московии по отношению к восточным рубежам Польско-Литовского государства. Однако длительные войны, в которые была вовлечена Ливонская конфедерация, оказались выгодными для сообщества. Во время военных действий польско-литовские монархи проводили оппортунистическую, хотя и всегда антимосковскую внешнюю политику, доходившую даже до союза со старым врагом — Ливонской конфедерацией, чтобы вместе бороться

с врагами с востока. Однако безрезультатная борьба между Швецией и Польско-Литовским государством в конце концов, была признана таковой обеими сторонами, что привело к заключению в 1629 г. Альтмаркского перемирия. После прекращения военных действий Речь Посполитая должна была лишиться самых крупных своих приобретений — части Ливонии вплоть до северных эстонских территорий, оставшихся за Курляндским герцогством (много веков назад это были земли куршей и земгалов), расположенным прямо за северной границей Польско-Литовского государства, — и сохранить контроль за восточными ливонскими землями, которые в дохристианские времена были населены латгалами. Мирное соглашение означало, что впервые один из коренных народов побережья (литовцы) получил контроль над значительной территорией другого (латышей).

С другой стороны, переговоры и начертание новых границ, завершившие ливонские конфликты, вообще никак не вовлекали коренное население (теперь в массе своей крестьянское). Эстонцы и латыши больше не имели права голоса в вопросах, где именно должны проходить границы — вокруг ли их территорий или прямо по ним, и к началу XVII в. литовцы стали играть значительно меньшую роль в государстве, которое продолжало называться Литвой. В любом случае новые территории Речи Посполитой носили названия герцогства Курляндии и Земгале, а также Польской Ливонии (Инфлянты). Окончательное решение о разделе территорий между Швецией и Речью Посполитой привело к двухсотлетнему периоду, когда эстонско- и латышскоговорящие крестьяне северного побережья жили в различных государствах с разными типами управления и культурами.

Курляндия-Земгале (далее — Курляндия) стала герцогством в 1562 г., во время Ливонских войн, когда Готхард Кеттлер, последний магистр Ливонского ордена (1559 – 1561) секуляризовал орден, превратив его в объединение крупных титулованных землевладельцев, и стал первым герцогом курляндским. Династия, основателем которой он стал, просуществовала до 1737 г. Кеттлер искал покровительства у Речи Посполитой и в 1561 г. признал себя вассалом ее короля, Сигизмунда II Августа. Как было принято в таких случаях, достигнутые договоренности были оформлены в виде документа под названием *Pacta Subjectionis*, регламентирующего отношения между правительством герцога и королевским правительством в Кракове. Пакт детально структурировал сеньориально-

вассальные отношения между королем Речи Посполитой и герцогом курляндским, а также признавал религией курляндского населения лютеранство. Управление герцогством отдавалось напрямую в руки герцогской династии и лояльной ей земельной аристократии — в обоих случаях немецкого происхождения. Это изменение политических ориентиров (переход лояльности от Священной Римской империи — сюзерена Ливонского ордена — к королю Речи Посполитой) было выгодным для правящих классов Курляндии, поскольку подчинение Польше давало им защиту от шведских грабительских набегов — рудиментов ливонских конфликтов. Соглашение также закрепило сложившийся баланс социополитической власти в Курляндии в пользу магнатов-землевладельцев, как это было и в Речи Посполитой.

К счастью для герцогов курляндских, на территории их владений не было крупных городов, боровшихся с их властью (господство над Ригой перешло к Швеции), так что во многих отношениях Курляндия была сельской провинцией, управляемой в основном герцогской семьей и земельной аристократией, которая предсказуемо часто оказывалась в напряженных отношениях с герцогами. Правительство располагалось в небольшом городе Митава (*латышск.* Елгава), где и оставалось до превращения Курляндии в российскую провинцию (1795). Делегированное земельной аристократии право управления на местном уровне дало ей возможность ужесточить условия труда зависимых крестьян и наложить ограничения на их передвижение, что являлось характерными признаками крепостного права.

Управление еще одной новой территорией, Польской Ливонией (Инфлянтами), осуществлялось совместно королевством Польским и Великим княжеством Литовским, так что каждое правительство вносило свой вклад в назначения местной администрации. Хотя изначально в Польской Ливонии в значительном количестве были представлены немецкоязычные землевладельцы, с течением времени их число уменьшилось из-за переселения на их земли польских (и ополяченных литовских) аристократов; помимо этого, некоторые из немецких аристократических семей ополячивались сами. Земельная аристократия здесь не имела выраженного интереса к коллективной защите своих прав, как это происходило в Курляндии, что сделало северо-восточные земли в значительной степени открытыми влиянию с юга. К середине XVII в. крестьянство Польской Ливонии также столкнулось с ужесточением норм

подневольного труда и ограничениями на передвижение и, таким образом, оказалось закрепощенным в той же степени, что и курляндское. Поскольку Польская Ливония управлялась напрямую (здесь не было местного герцогского дома, как в Курляндии), она испытывала более значительное и свободное влияние других культур и сталкивалась с большей мобильностью населения, характерной в целом для Речи Посполитой. В значительно большей степени, чем в Курляндии или Шведской Ливонии, здесь имело место смешение латышских крестьян, земельной аристократии различного этнического происхождения и мобильных этнических групп (например, евреев); в результате язык латышского крестьянства Польской Ливонии приобрел черты, отличающие его от латышского языка западных ливонских земель.

Эстония и Ливония под управлением Швеции

В конце XVI — начале XVII столетия все население восточного побережья Балтики прямо или косвенно испытывало на себе влияние предприимчивости и авантюризма своих правителей. Среди наиболее бесстрашных из них следует отметить шведских королей из династии Ваза. Начиная с 20-х годов XVI в. они стремились сделать Швецию державой, доминирующей в Северной Европе, и добивались этой цели, положив конец торговой монополии ганзейских городов (30-е годы XVI в.), вступив в Ливонские войны (60-е годы XVI в.) и получив контроль над северными эстонскими территориями. К началу второго десятилетия XVII в. им удалось отрезать России доступ к Балтийскому морю (Столбовский мир 1617 г.). Война с Речью Посполитой сделала Швецию хозяйкой земель, оставшихся от Ливонии (20-е годы XVII в.), но воинственный пыл ее правителей не угас. В 30-е годы XVII в. Швеция под властью Густава II Адольфа (1594 – 1632) участвовала на стороне протестантов в чрезвычайно разрушительной Тридцатилетней войне, раздробившей Священную Римскую империю. Приобретение Ливонии было всего лишь частью грандиозных колониальных планов монархов династии Ваза, в рамках осуществления которых появилась недолго просуществовавшая шведская колония в Новом Свете (ныне американский штат Делавэр). Восточное побережье Балтики стало, фигурально выражаясь, ареной колониальных захватов, где местным высокопоставленным администраторам часто

приходилось следить, чтобы их решения не вступали в противоречие с большой политикой Стокгольма и Кракова. Но даже в этом контексте было бы преувеличением сказать, что Ливония стала полностью шведской. Между далекими монархами и простым народом побережья существовал огромный, стремящийся к привилегиям и оппортунистически настроенный слой немецкоговорящих землевладельцев и городского патрициата, чья лояльность текущему сюзерену оставалась под вопросом.

Территория к северу от Даугавы, контролируемая Швецией, перешла под ее власть постепенно, по частям: провинция Эстония — во время Ливонских войн, а остаток Ливонии — по Альтмаркскому миру 1629 г. Эстонскоговорящее население, в основном крестьянское, оказалось разделенным на две части административной границей, разделявшей провинцию Эстония и Шведскую Ливонию; латышскоговорящее, тоже главным образом сельское, население было разделено границами между Шведской Ливонией и Курляндией на юге и Шведской и Польской Ливонией (Инфлянты и Латгале) на востоке. Город Рига формально подчинился Швеции в 1621 г.; его статус рассматривался отдельно. В каждой из территорий, находившихся под контролем Швеции, управленческий аппарат имел некоторые отличия, но и Эстония, и Шведская Ливония управлялись генерал-губернаторами, назначаемыми королем Швеции, — один имел резиденцию в Ревеле (Таллине), а другой — в Риге. Изначально задачей генерал-губернаторов была интеграция этих «колоний» и «реформирование» их в соответствии с принципами шведской политики, культуры и экономической системы. Но до того, как усилия в данном направлении дали результат, генерал-губернаторы столкнулись с оппозицией земельной аристократии и городского патрициата. В намерения землевладельцев (несколько менее выраженные, чем желания городского населения) входило сохранить статус-кво и абсолютный контроль над своими владениями и живущими в них крестьянами (теперь главным образом крепостными).

Шведская монархия нашла способ сосуществовать со своей собственной аристократией на шведской земле. Однако продолжающиеся оппозиционные настроения ливонской и эстонской знати по отношению к пожеланиям Стокгольма были, мягко выражаясь, раздражающими, и шведским правителям необходимо было быть внимательными. Как показал недавний опыт, местные власти не сохраняли явно выраженной лояльности шведской короне: хотя и шведские короли, и их прибрежные колонии были протес-

тантскими, последние легко могли перенести свою лояльность на католических монархов Речи Посполитой или даже в крайнем случае русских православных царей. Ни одна из упомянутых держав не смирилась с долгосрочным присутствием Швеции в восточной части Балтики.

Насколько нелегко было установить в шведских ливонских владениях режим абсолютной власти короля Швеции, настолько же проблематично было вести там соответствующую экономическую политику. Такая политика была ближе всего к тому, что позже будет названо общим термином «меркантилизм», хотя на протяжении XVII столетия в разных странах политика такого рода была весьма различной и нигде не применялась как единая доктрина. Основной идеей меркантилизма является представление, что центральное правительство должно быть глубоко вовлечено в процесс содействия экономического роста. Это, в свою очередь, означало поощрение коммерческой деятельности, государственный протекционизм и поддержку предприятий путем предоставления им монопольных прав, учреждение колоний ради эксплуатации их растущего населения, а также увеличение налоговых сборов, поступающих из всех источников в распоряжение центрального правительства. Однако ни одно из правительств, участвовавших в управлении побережьем в XVII в., включая шведскую монархию, не соответствовало в полной мере критериям аппарата, способного эффективно направлять подобную экономическую деятельность. Земельная аристократия и города с подозрением относились к любым видам централизации, исходившим от королевского двора, а деятельность отдельных состоятельных людей была чаще направлена на личное обогащение, чем на процветание государства. Меркантилизм требовал веры в то, что сильная центральная власть является благом для страны, а облеченные властью жители побережья с легкостью признавали, что деятельность в интересах центральных правительств в Кракове и Стокгольме может уменьшить их собственный контроль на местном и региональном уровнях.

Однако центральные правительства не могли отказаться от своих попыток. Например, один из представителей курляндской герцогской династии Кетлеров, Якоб (1638 – 1658), пытался сделать свою страну колониальной державой посредством обретения небольшой подконтрольной территории в Западной Африке под названием Гамбия и острова Тобаго в Карибском море; он надеялся,

что эти земли принесут герцогству выгоду. Экономическая деятельность Якоба проявлялась также в финансировании небольших мануфактур в Курляндии. С помощью протекционистских мер Якоб стремился, чтобы экспорт превышал импорт; также он пытался чеканить собственную монету и приглашал на жительство в провинцию искусных ремесленников. Существуют некоторые разногласия относительно того, что именно этот правитель пытался обогатить подобными мерами — Курляндское герцогство как государство или же свою собственную семью, однако в любом случае его политика находилась в меркантилистском русле. К несчастью, все эти меры оказались неустойчивыми. К концу правления Якоба Курляндия была развита экономически не более, чем другие территории побережья.

Хотя шведская экономическая политика в Эстонии и Ливонии отличалась теми же характеристиками, что и политика герцога Якоба в Курляндии, с точки зрения шведского правительства, его собственные действия имели больший потенциал для обогащения государственной казны. Все предприятия облагались налогами в пользу короны, в дополнение к чему была разработана система лицензий и монополий. Курляндия рассматривалась как конкурент, и контроль над торговыми потоками, идущими как в Эстонию и Ливонию, так и через них, был направлен на то, чтобы изменить вектор с Курляндии на эстонские и ливонские города. Города в целом пользовались поддержкой как центры активной деятельности, способной пойти на пользу шведской короне. Река Даугава была признана главным торговым путем, ведущим к русским землям, и в этом качестве защищалась и охранялась. Государство финансировало и поддерживало кораблестроение и мелкотоварные мануфактуры. Были стандартизированы меры веса и измерения на всех территориях под контролем Швеции, а также прекращены бесконечные некогда споры о сферах деятельности между гильдиями. Морская торговля на Балтийском море (которая шла с эстонскими и ливонскими портами и через них) осуществлялась благодаря портам на основной территории Швеции. Рост населения, ожидаемый за экономическим развитием, считался благом для государства, так как большее количество населения приравнивалось к усилению государства. Однако местная реакция на подобное вмешательство государства была неоднозначной. Города побережья и их торговая элита воспринимали тесную связь между собственными интересами и го-

сударственной политикой и в целом подчинялись указаниям правительства; землевладельческая аристократия возмущалась вмешательством правительства в то, что происходит в сельской местности, и видела в росте могущества городов угрозу своим собственным возможностям. Не существует надежной статистики экономического развития на территориях, принадлежавших Швеции в XVII в., однако есть вероятность, что большую часть этого столетия все показатели были позитивными.

Шведская администрация Эстонии и Ливонии, проводя меркантилистскую экономическую политику в интересах городов, добилась расширения их роли в регионе, для чего в противном случае могло потребоваться значительно больше времени. Коммерческая деятельность Шведской Ливонии была сконцентрирована в Риге, хотя и портовые города Эстонии — например, Таллин и Нарва — также расширили круг своей деятельности на протяжении XVII столетия. Рижские купцы, все еще организованные в гильдии, действовали в качестве посредников в импортных операциях, осуществлявшихся по Даугаве. Товары прибывали как с самого побережья, так и из восточных русских княжеств, а также из Великого княжества Литовского, с которым Рига еще со времен Гедимины имела хорошие, хотя и часто прерывающиеся торговые отношения.

К середине XVII в. торговый патрициат Риги не хотел более терпеть ограничений, которые накладывало на него членство в Ганзейской лиге, и принял у себя голландские корабли, чтобы развивать торговлю с Западной Европой. Удерживая баланс между лояльностью и отстаиванием своих интересов (не забывая оказывать должное уважение центральному правительству в Стокгольме), рижские купцы настаивали на том, чтобы все экспортные товары проходили через их руки. Такая политика противоречила интересам землевладельцев, имевших свои коммерческие интересы и начавших выращивать зерно на экспорт, — они стремились иметь дело с иностранными купцами напрямую. Такое кажущееся лицемерие — сопротивление внешнему контролю над торговлей и усиление контроля на местном уровне — было повсюду типичным для городов с доминирующим торговым элементом, но городской патрициат преподносил это как реализацию своих традиционных прав. В Риге и других городах под властью Швеции пышно расцвел местный контроль над производством на уровне гильдий, гильдейских организаций и братств. Предпринимательская активность

в городе и на прилегающих подчиненных ему территориях считалась незаконной, если не была разрешена специальной лицензией или предоставлением монопольного права. Разумеется, все эти дающие и использующие подобные разрешения городские корпорации находились под управлением людей немецкого происхождения, которые, тем не менее, допускали проникновение «негерманцев» в различные сферы, носящие вспомогательный характер и хуже организованные (транспорт, кораблестроение, поддержание городской инфраструктуры). Хотя укрепленная стенами Рига с архитектурной точки зрения выглядела как немецкий ганзейский город и языком делового общения там был преимущественно немецкий, общее его население (12 тыс. человек) было полиэтничным, и доля латышей, по оценкам, составляла 40 – 50%.

Другим важным в долгосрочной перспективе успехом, достигнутым за период шведского правления в Эстонии и Ливонии, было улучшение системы основных путей сообщения. Аналогичные усилия по улучшению внутренних коммуникаций и транспорта начали прилагаться на литовских землях при Гедимине; Ливонский орден также предпринимал шаги в данном направлении, в основном для военных нужд. Но такие более ранние попытки давали неустойчивые результаты, частично потому, что постройка и ремонт дорог часто делегировались землевладельцам, через поместья которых проходили эти дороги, а те брались за подобные общественные работы (то есть отправляли на них собственных крестьян) с неохотой и только под давлением; также играла роль непрочность дорожных покрытий. Более того, ремонт дорог оказался гораздо более трудоемкой работой, чем предполагалось. Необходимо было расчистить землю, чтобы дорога была ровной, вырыть дренажные каналы и очистить их; построить мосты и другие средства для преодоления водных преград; позаботиться о восстановлении дорог после весенних наводнений и дождливых периодов. Существовали старые дороги, поддерживаемые в порядке: например, Тевтонский орден в XIV в. составлял карты, показывающие систему дорог, которыми следовало пользоваться в случае вторжения на литовские земли; эти дороги шли с запада на восток через Жемайтию в центральный район Литвы — Аукштайтию. Однако скоординированных усилий, направленных на создание эффективной и постоянно действующей системы дорог, не прилагало ни одно правительство, до тех пор пока Ливонию и Эстонию не получила Швеция.

Шведское правительство стремилось к созданию системы дорог, идущих с запада на восток и с севера на юг, чтобы ускорить продвижение товаров к Риге и другим торговым центрам, а также для более эффективной работы почтовой системы. Этот план должен был быть введен правительственными эдиктами на всех территориях, подчинявшихся Швеции. Чтобы обеспечить связь с основными торговыми центрами в литовских и русских землях — например, с Мемелем и Псковом, — необходимо было достигнуть соглашений с подозрительной Речью Посполитой (контролирующей территории между восточной границей Шведской Ливонии и русскими княжествами) и самими русскими княжествами. В период, когда военные конфликты между этими странами были неизбежными, такие соглашения достигались неожиданно легко, очевидно потому, что заинтересованные правительства признавали выгоды всех участвующих сторон. Усилия шведов оставались систематическими и серьезными. Шведские инженеры разрабатывали подробные инструкции, определяющие ширину дороги, дренажных канав, твердость дорожной поверхности и степень расчистки прилегающей местности по обеим сторонам, чтобы падающие (например, после бури) деревья не могли перекрыть дорогу. Сразу после того, как строительство дорог завершалось, на них появлялись станции, где можно было сменить лошадей, а также устраивались постоянные дворы. Дорожная система была создана, продолжала функционировать и активно использовалась для перемещения вооруженных сил, когда между Швецией и Россией во второй половине XVII столетия вновь разразился конфликт.

Манориальная система и крепостное право

Шведских правителей Ливонии и Эстонии особенно раздражало положение крестьянства на подведомственных им территориях — точнее, полный контроль землевладельцев над сельским населением, выводящий последнее из-под юрисдикции короля. Контраст с материковой Швецией в этом отношении был разительным. На побережье, от литовских до эстонских земель, землевладельцы боролись за нерушимость права контролировать население своих владений и на протяжении нескольких предшествующих столетий в массе своей пользовались им. В Швеции же крестьяне хотя и

находились, как и везде, в самом низу общественной лестницы, тем не менее, пользовались относительными свободами и могли минимально участвовать в управлении. На побережье Балтики обычное право, которым ранее пользовались крестьяне, было жестко урезано, а оставшиеся права легко было обойти. Короче говоря, в Швеции не существовало *крепостного права*, а на побережье оно процветало. Суть балтийского крепостного права описывалась немецкими терминами *Leibeigenschaft* («владение человеком»), *Erbuntertänigkeit* («наследственная зависимость»); латышский термин *dzimtbūšana* указывает на то, что зависимое положение было наследственным, а литовский термин *baudžiava* указывает на трудовую повинность. Общая неопределенность местных терминов происходит оттого, что весь комплекс обязанностей, прав, ограничений, привилегий, санкций и наказаний, связанных с крепостным правом, не имел местного происхождения, но постепенно импортировался в Ливонию и Эстонию из Центральной Европы начиная с XIV в. Следовательно, в Литве, где отношения между крестьянином и землевладельцем складывались в контексте Литовского государства, крепостной гнет был сравнительно менее тягостным; в Эстонии и Ливонии к XVII в. он распространялся только на местное сельское население. В Литве в правление Сигизмунда II Августа (Великий князь, 1544 — 1572) были проведены широкомасштабные сельскохозяйственные реформы. Среди прочего, в рамках этих «волочных реформ», королевские земли были отделены от частных поместий, было введено трехполье, систематизированы обязанности крестьян, и каждому крестьянскому хозяйству был определен надел (лит. *valakas*) земли. Волочные реформы способствовали увеличению государственных доходов и демонстрировали, что монарх может добиться подобного результата в своем королевстве, но не ставили целью уничтожение крепостного права, да и не могли этого сделать, не испортив отношений между великим князем и землевладельческой аристократией.

По определению порядка, обобщенно именуемые термином «крепостное право», в разных местностях и регионах Балтийского побережья различались. Две его основные черты — трудовая повинность и ограничение передвижения крестьян появились в XIV — XV вв. как побочные продукты манориальной (поместной) системы, в соответствии с которой вассалы держали землю своих сеньоров и сами могли выступать сеньорами для своих вассалов. Невозможно точно назвать количество поместий на побережье

в XVII в., но в Курляндском герцогстве в середине этого столетия было около 700 поместий, из которых герцогский дом контролировал примерно 215 из них. В латышскоязычной части Шведской Ливонии насчитывалось около 360 поместий. Землевладельцы переходили в разряд богатых, если получали доход с очень крупных поместий или с большого числа поместий либо когда получали возможность сочетать первое со вторым; курляндский герцогский дом Кеттлеров был, возможно, одним из самых богатых во всем Балтийском регионе. В литовских землях несколько иной подсчет указывает на богатство семьи Замойских: принадлежавшие им земли включали более 200 деревень и 11 городов. Существовало множество типов поместий: поместья были коронными, частными, наследственными, ненаследственными, арендованными, сдаваемыми в аренду, обрабатываемыми полностью и частично, существовали также поместья, находившиеся в собственности городов. Виды крестьянских поселений также широко варьировали по всему побережью. На одном конце этого типологического ряда находились индивидуальные крестьянские усадьбы Ливонии и Эстонии, где указания землевладельца напрямую адресовались крестьянской семье, без участия какой-либо промежуточной деревенской организации, а на другом — латгальские и литовские деревни различных типов, где деревенская община могла выступать в качестве посредника между своими членами и землевладельцем.

Повседневные внутренние правила и практики, принятые в поместьях, в течение длительного времени «надстраивались» над крестьянскими обычаями и правом, иногда замещая их или сливаясь с ними. По мере стабилизации поместной системы в XV и XVI вв. возникли различные варианты отношений между землевладельцами и крестьянами. В некоторых местах крестьяне сохраняли свободу передвижения и работали на хозяина поместья в счет арендной платы. Где-то крестьяне даже сохраняли собственные земли, свободные от всякого рода обязательств. Однако другая модель отношений представляла собой сочетание трудовых повинностей, натурального оброка и строгих ограничений на передвижение. Различные вариации этих практик существовали всегда, но, когда в XVII в. шведская администрация столкнулась с системой, сложившейся в Эстонии и Ливонии, на первый план вышли жесткие ограничения и трудовые повинности, при том, что манориальная (или поместная) система, основанная на них, была

глубоко укоренившейся. Хотя (теоретически) землевладельцы и держали свои поместья от другого, более высокопоставленного господина, практически они считали поместья своей собственностью. Обычное право крестьян теоретически все еще защищало их каким-то образом, однако эта защита легко отменялась решениями, принимаемыми землевладельцами в своих интересах. Как уже было сказано, к XVII в. землевладельцы Эстонии и Ливонии стали в некоторой степени ориентироваться на рынок. Средневековый идеал самодостаточного поместья ушел в прошлое, а материальные интересы землевладельцев диктовали, чтобы крестьяне были «привязаны» к земле как неотъемлемая от нее рабочая сила. Значительная часть рабочей недели крестьян протекала в работе на полях хозяина поместья, а остаток времени посвящался обработке собственных наделов. Взамен, и снова в теории, хозяин поместья нес так называемую «патриархальную» ответственность за «своих» крестьян: защищал их от грабителей и преступников, отправлял правосудие (что включало телесные наказания), разрешал споры на местном уровне, в голод и неурожай оказывал им помощь из своих амбаров, а также обеспечивал соблюдение традиционных обычаев, сохранение прав и привилегий.

Усилия шведов изменить распределение власти в сельской местности продемонстрировали ограниченность возможностей абсолютизма, так как шведской королевской власти приходилось во многих отношениях поддерживать сотрудничество с балтийской знатью. Тонкий слой представителей администрации, назначенной королем, не мог должным образом справиться с управлением побережьем. Лишь во времена Карла XI, правление которого началось в 1680 г., шведские короли смогли найти способ сократить власть земельной аристократии в ходе так называемого «сокращения поместий». Началась повсеместная проверка прав собственности на поместья, и, в случае если эти права не соответствовали необходимым критериям, поместье «возвращалось» шведской короне. С помощью этого метода корона приобрела право собственности на примерно пять шестых всех поместий в Ливонии и на половину — в Эстонии. Затем эти поместья вновь передавались тем же владельцам, но теперь уже они должны были платить королю значительные суммы за держание земли и за возможность изменять условия жизни крестьян. Повсюду сокращались нормы трудовых повинностей, а телесные наказания ставились под контроль. Накладывались ограничения на практику перемещения крестьян

помещиками по своему усмотрению. В то время как этот механизм увеличивал приток доходов в Стокгольм, улучшения условий жизни крестьян в долговременном отношении не происходило. Процесс сокращения перемещений крестьян и повышения норм труда начался до появления шведов в этом регионе и продолжался после их ухода. Фактически, то же самое происходило по всему востоку Европы и в России: Балтийское побережье не было исключением. В целом растущая ориентация землевладельцев на рынок означала большую производительность поместий, которые приносили большой доход. Единственным ограничением того, сколько дней можно было потребовать от крестьянина работать на землевладельца, чтобы производить излишки на продажу, являлись не правовые нормы, но только человеческая выносливость. В этой ситуации юридические меры пресечения жестокой эксплуатации крестьян даже под властью шведов не могли быть сколько-нибудь эффективными в долгосрочной перспективе, поскольку за соблюдением законов на местном уровне следил сам землевладелец, что облегчало ему возможность нарушений. Разумеется, не в интересах помещика было полностью лишить крестьян времени для работы на себя, но, пока окончательное решение по поводу норм труда оставалось за землевладельцем, качество жизни крестьян в разных поместьях различалось. Основным выходом для крестьян, чувствовавших, что с ними обходятся несправедливо, становился побег — так было до прихода шведов, и ничего не изменилось с их появлением. Ливонские крестьяне бежали через границы провинций в Курляндию и Латгалию, а также в прусские, русские и литовские земли; многие бежали в города, особенно в Ригу. Побег происходил в обоих направлениях, поскольку многие крестьяне приходили на побережье из соседних земель в надежде на лучшую жизнь. Повсеместно циркулировали слухи (часто преувеличенные или даже ложные) на тему того, где трудовые повинности менее тягостны. В первое время семьи беглых крестьян могли временно вознаграждаться на новом месте жительства меньшими нормами труда и зерном для посева. Также ходили слухи, что жизнь крестьян в коронных или герцогских поместьях несколько легче, чем в частных. Феномен крестьянских побегов был настолько распространен на протяжении всего XVII столетия, что стал причиной множества судебных дел, возбуждаемых одними землевладельцами против других, а также поводом для многочисленных осуждающих проповедей лютеранских священников.

Если описывать манориальную систему с ее крепостным правом в абстрактных терминах, создается впечатление, что крестьяне в ней были безликой анонимной рабочей силой — массой, состоящей из взаимозаменяемых компонентов, — и, несомненно, некоторые помещики думали о своих крестьянах именно так. Но усилия шведского правительства в XVII в. внесли определенные позитивные изменения в ежедневную жизнь отдельных крестьян. Попытки шведов распространить свое влияние на сельскую местность часто начинались с кадастровых описей, составление которых, в свою очередь, требовало процедур, напоминающих перепись населения и предполагающих посещение отдельных усадеб, а также составление описи крестьянских и помещичьих земель. Формы, заполненные в процессе кадастрификации, содержали имена крестьян, живущих на описываемых землях, и информацию об их семьях.

Сходные типы информации содержались в книгах посещений, которые вели лютеранские священники. В целом ни эстонские, ни латышские крестьяне XVII в. не имели фамилий — во многом потому, что подобные идентификационные маркеры не были нужны людям, почти никогда не пересекавшим границ поместий, в которых жили, и почти не имевших дела с правительственными органами; однако их усадьбы носили уникальные собственные имена. То есть в кадастровых описях или книгах посещений крестьянина могли называть, например, Ян с хутора Озолинь, что, очевидно, было вполне достаточным идентификатором для духовенства или правительственных переписчиков. Подобные записи свидетельствуют о том, что крестьяне в пределах своего круга, очерченного невысоким социальным статусом и местом проживания, представляли собой весьма иерархическое сообщество, где одни имели закрепленное обычное право на полноценное держание земли, тогда как другие располагали лишь частичным правом на землю, а третьи не имели земли вовсе. Последние, впрочем, не обязательно были самыми бедными, поскольку большую их часть составляли крестьяне, переходившие с хутора на хутор в качестве работников, обычно на основе контрактов, заключаемых в устной форме на год. Крестьяне, имевшие землю, жили семейными группами, ядром которых была супружеская пара (владелец хутора и его жена) с детьми. Нередко в таких хозяйствах мы видим и женатых братьев и замужних сестер главы семьи, а также стареющих родителей его самого или его жены. Процент таких состав-

ных семей был достаточно высоким по сравнению с крестьянскими семьями Западной Европы. Размер и состав таких групп во многом зависели от того, сколько требовалось людей, чтобы выполнять трудовую повинность на помещичьих полях. Таким образом, количество рабочих рук — мужских или женских — в конкретном крестьянском хозяйстве не обязательно служило свидетельством состоятельности этого хозяйства, но было лишь показателем существующих трудовых повинностей. Тщательное сравнительное исследование вопроса, как именно балтийские крестьяне приспосабливались к манориальной системе в различных регионах, все еще остается актуальным, а пока доступная нам информация предостерегает исследователей от всякого рода упрощений. Хотя усилия шведов, направленные на улучшение положения крестьян, сохранили в устной эстонской и латышской крестьянской традиции память о «добрых шведских временах», позиции землевладельцев остались столь прочными, что они не могли не попытаться вернуть себе потерянное, как только для этого наступит подходящее время.

Религия и мир печатного слова

В то время, когда земли побережья продолжали будоражить военные и политические конфликты, в интеллектуальной жизни региона происходили другие, гораздо менее заметные изменения: в XVI в. явилось печатное слово на местных языках. Печатные издания стали первыми звеньями в цепи подобных произведений, которые на протяжении следующих двух столетий сформировали эстонский, латышский и литовский литературные языки. Однако в XVI и XVII вв. авторы или, чаще, переводчики таких книг не преследовали подобных целей. Переводчиками книг на языки народов побережья были священнослужители, как лютеране, так и католики, причем первые руководствовались утверждением Мартина Лютера о том, что слово Божье должно быть доступно простым верующим на их родном языке, тогда как вторые следовали принципам католической Контрреформации. Как те, так и другие пользовались новыми печатными технологиями, изобретенными и популяризированными Гутенбергом. С высокой вероятностью можно утверждать, что работ этих авторов потеряно столько же, сколько сохранилось, поскольку в землях побережья

не существовало в те времена хранилищ, где можно было систематически собирать и хранить книги. Но несмотря на это, по совокупности данных, появление таких произведений стало инновационным шагом в культуре побережья.

И в Ливонской конфедерации, и в Речи Посполитой на протяжении нескольких столетий как устное, так и письменное общение успешно преодолевало границы языковых сообществ. Местные диалекты, используемые в том или ином регионе, с высокой вероятностью имели письменную форму. Правящие круги, начиная со Средних веков и позже, использовали для официальной внутренней переписки нижненемецкий, латинский, польский, церковнославянский или шведский языки, и только на литовских территориях местный литовский язык предположительно использовался для устных коммуникаций в высших кругах, возможно, даже и в XVI в. Эстонский, латышский и литовский языки вошли в данное столетие как основное средство общения в низших слоях общества. Среди этих трех языков латышский в XV – XVI вв. находился еще в процессе формирования, и, по мере того как убывали различия между куршами, ливами, земгалами, латгалами и селами, стало появляться общее определение «латыши». Списки крестьян, обязанных в Средние века платить оброк или налоги, ясно показывают, что на иерархической лестнице общества ниже носителей «высших» языков находилось значительное население, чьи имена значительно отличались от обозначений, принятых среди чиновников. Однако коллективное обозначение для них находилось в постоянном процессе изменения; к тому же правящие классы, очевидно, проявляли мало интереса к тому, чтобы точно определить разницу между различными языковыми сообществами низших классов — в научных или иных целях. Но перевод Священного Писания на местные языки, осуществлявшийся лютеранским и католическим духовенством, требовал и такого разграничения, и глубокого понимания уникальности каждого из местных языков, и это совершенно точно позволяет считать усилия духовенства заслуживающими внимания.

Совершенно очевидно, что высшим классам и чиновничеству никак не мешало незнание местных наречий. Более чем вероятно, что на побережье были широко распространены гибридные языки — вульгаризованные формы разговорной речи, возможно с усиленным использованием жестикюляции, предназначенные для облегчения взаимопонимания представителей высших и низших социальных кругов в таких языковых сообществах. Несомненно,

мненно, что имели место и посредники — люди, знавшие используемые языки настолько хорошо, чтобы выступать в роли переводчиков. Среди этих посредников были и представители духовенства, отвечавшие за местные сельские общины. В Средние века таких священнослужителей учили, что знать язык своих прихожан важно, несмотря на то что церковные обряды проводятся на латыни. Следование этим инструкциям не было повсеместным и оставалось непоследовательным. В Великом княжестве Литовском преобладало польское духовенство, которому пришлось иметь дело с литовскоязычными прихожанами. Если ранее церковь *поощряла* изучение приходскими священниками местных языков, то лютеранство (и кальвинизм в Польше) сделало такое изучение, фактически, обязательным. Соответственно, большинство раннепечатной литературы на латышском, эстонском и литовском языках имело религиозный характер; светские разновидности печатной литературы этого времени представляли собой нетипичный феномен, в любом случае вызванный преобладающими религиозными целями.

Переводы священных текстов были частью большого корпуса печатных работ, опубликованных в Балтийском регионе или посвященных ему и написанных на одном из основных языков науки того времени и данного региона, то есть на латыни, нижненемецком или польском. Эти книги отражали тенденции ренессансного гуманизма XVI в. и могли быть хрониками (например, «Ливонская хроника» Балтазара Руссова, 1578), историческими описаниями (*Михалон Литвин. О нравах татар, литовцев и москвитян*, 1615) или стихотворными произведениями (автором которых был, например, Миколюс Гусовианас*, 1475 – 1540). С течением времени таких произведений становится все больше, появляется все более широкое разнообразие жанров и предметов, как светских, так и религиозных. В XVII столетии в их число вошло такое известное описание язычества в Ливонии Пауля Эйнгорна (*Paul Einhorn. Die Wiederlegungen der Abgottterey und nichtigen Aberglaubens*, 1627), а также типичный для этого времени текст Германа Самсона, осуждающий колдовство (*Hermann Samson. Neun Auszerlesenen und Wolgegrundete Hexen Predigt*, 1626).

* *Nicolaus Hussovianus*. Имя этого уроженца Великого княжества Литовского, писавшего по латыни, польские, белорусские и литовские авторы пишут по-разному. Здесь приводится литовский вариант написания.

Молодые жители побережья с интеллектуальными наклонностями могли получить прекрасное образование в Вильнюсском университете — учебном заведении, основанном орденом иезуитов в 1570 г. и получившем статус университета в 1579 г. от польского короля Стефана Батория; в Дерптском (Тартуском) университете, созданном в Эстонии в 1632 г. по приказу шведского короля Густава II Адольфа; в Кёнигсбергском университете, прозванном «Альбертина» в честь своего основателя, прусского герцога Альберта, учредившего его в 1544 г. в противовес детищу иезуитов — Краковской академии. Интеллектуальная жизнь побережья была достаточно активной, несмотря на военные действия и связанные с ними потери, но, чтобы приобрести известность, авторы должны были писать на «культурных» языках (нем. *Kultursprachen*). Некоторые из этих авторов могли вести свой род от эстонских, латышских или литовских крестьян, но их латинизированные или полонизированные имена не позволяют определить их действительное происхождение.

Однако то, что эти авторы писали на «культурных» языках, не означает какого-либо поворотного этапа, а скорее объясняется тем, что побережье становится северо-восточным сектором общеевропейской культурной среды, отражая принятые в ней тенденции и аспекты. Что действительно символизировало разрыв со средневековым прошлым, так это появление таких книг, как лютеранский катехизис, изданный в 1535 г. на эстонском языке Йоханом Коэлем и на южножемайтском диалекте литовского в 1547 г. Мартинасом Мажвидасом в Кёнигсберге. Помимо этого, перевод молитвы «Отче наш» на латышский язык вошел в «Хронику» Симона Грунау в 1529—1531 гг. Эти публикации, появившиеся в контексте соответствующих предписаний Лютера, свидетельствовали всем умеющим читать, что балтийские местные наречия обладают потенциалом, для того чтобы стать литературными языками. Католики предпринимали аналогичные усилия, как показывает перевод Католического катехизиса (*Catechismus Catholicorum*) с немецкого на латышский, осуществленный иезуитом Эртманом Толгсдорфом в 1585 г. Труды Мажвидаса иллюстрируют также важность существования литовскоязычного анклава в Пруссии, где автор был лютеранским священником, для литовской культурной жизни. Эти труды присоединялись к другим, также количественно незначительным, а именно к переводам на латышский статутов некоторых ремесленных гильдий и псалмов (*Undeutsche Psalmen*, 1587), а также

более амбициозным переводческим проектам, таким, как никогда не опубликованный перевод всей Библии на литовский язык, предпринятый Йонасом Бреткунасом между 1575 и 1590 гг.

В течение XVII в. интерес к балтийским языкам стал проявляться шире и глубже, что, в конце концов, привело к появлению не только переводов, но и учебных пособий, а также оригинальных прозаических и поэтических произведений на религиозные темы. В 1637 г. Генрих Шталь выпустил первую эстонскую грамматику, в которой, что характерно для данного периода, эстонский был адаптирован к грамматическим правилам немецкого языка; и в 1653 г. Даниэль Кляйн опубликовал первый свод правил литовской грамматики, *Grammaticus Litvanica*. В этот период существовало также несколько словарей и грамматик: трехязычный (латинско-польско-литовский) словарь, составленный в 1629 г. иезуитом Константинасом Сирвидасом; эстонская грамматика на латыни, изданная в 1639 г. Йоханом Хорнунгом; первый словарь латышского языка, *Lettus*, опубликованный в 1638 г. Георгием Манцелием. Манцелия следует отметить как первооткрывателя в своем роде; он знал латышский настолько хорошо, что его сборник проповедей, *Langgewünschte Lettsiche Postill*, опубликованный в 1654 г., оставался излюбленным чтением для ливонских ученых и в XVIII столетии. Почти так же значимы были в тот период работы Кристофора Фюрекера (ок. 1615 – 1685), чьи переводные и оригинальные церковные песнопения можно найти в латышских лютеранских сборниках гимнов и в XX в. Церковный деятель и интеллектуал латышского происхождения Янис Рейтерс (ок. 1631 – 1695), также переводивший отрывки из Ветхого и Нового Завета на латышский, критически высказывался о латышском языке Манцелия, за что и поплатился негативным отношением ливонской лютеранской церкви.

Все эти лингвистически одаренные деятели церкви осознавали важность лютеранского перевода Библии для развития немецкого языка. Хотя они и пытались предпринять аналогичные попытки с местными языками, попытки эти завершились успехом лишь довольно поздно; ранний перевод Библии на литовский, осуществленный Бреткунасом, как уже было замечено, так и не увидел света; другая подобная преждевременная неудачная попытка была предпринята Самуилом Хилинским в 1657 – 1660 гг., что удивительно, в Лондоне. Новый Завет был опубликован в переводе на литовский лишь в 1710 г. Самуилом Битнером. Полный текст Библии на этом языке появился лишь в 1753 г., и тоже в Кёнигсберге, — он

был основан на переводе Лютера на немецкий. В 1686 г. Андреас Виргиниус перевел Новый Завет на южноэстонский диалект, однако основой литературного эстонского языка впоследствии стал полный перевод Библии на североэстонский диалект, сделанный в 1739 г. На латышский язык Библия была в полном объеме переведена лютеранским пастором Эрнстом Глюком (1652—1705), который приступил к этой работе в 1681 г., закончил ее в 1689 г. и, наконец, увидел свой труд напечатанным (и значительно откорректированным коллегами-клириками) в 1694 г. Переводы Библии во всех этих трех случаях играли примерно ту же роль для трех региональных наречий, что и перевод Лютера для немецкого языка.

Не всегда ясно, сколько из этих произведений на местных языках было создано для того, чтобы их могли читать сами крестьяне напрямую, и сколько из них создавалось более лингвистически искусственным духовенством для своих собратьев. Умение читать не было распространено среди крестьян; помимо этого, неизвестно, могли ли крестьяне идентифицировать в письменных текстах языки, на которых сами говорили. Народные разговорные наречия не были стандартизированы их носителями; также не существовало никаких стандартов того, как следовало транслитерировать те или иные звуки. Сложно говорить о существовании спроса на религиозную литературу среди крестьян, однако среди духовенства, как протестантского, так и католического, интерес к изучению местных наречий никогда не ослабевал. Хотя с каждым новым поколением количество печатных материалов возрастало, это не привело к революции в сфере грамотности: очень незначительное количество крестьян училось читать или писать. По крайней мере, в ливонских землях владельцы поместий часто выступали против обучения грамоте, опасаясь, что «образованные» крестьяне побегут в города, где их навыки будут пользоваться значительно большим спросом.

Полный список книг, написанных лютеранскими и католическими священнослужителями на местных наречиях, может выглядеть довольно значительным, однако фактически скорость их появления была достаточно невысокой, хотя и заметно нарастала на протяжении XVII в. Например, на латышском языке за первую половину этого столетия появилось около десяти книг, тогда как во второй половине века свет увидели 57—60 таких произведений. За период с 1631 по 1710 г. было опубликовано около 45 книг на эстонском языке. По сравнению с полным отсутствием чего-либо

подобного в предыдущие столетия эти цифры являются впечатляющими, но для того, чтобы сделать печатное слово повсеместно распространенным, их было недостаточно. Большинство крестьян ассоциировали письменный текст или напечатанные материалы с вышестоящими властями — как светскими, так и церковными. Навыки чтения и письма продолжали оставаться в большинстве своем исключительными и ассоциировались с социальной мобильностью, которая могла вывести обладателя этих умений из языковой общности, к которой он принадлежал по рождению, и ввести в круг «господ». В землях побережья было мало типографий, а методы распространения книг оставались примитивными. Власти могли легко предотвратить печатание книг с подозрительным содержанием; книгопечатание не могло рассматриваться как способ заработать на жизнь, поскольку читателей было просто очень мало. Наличие школы на селе являлось исключением, и, хотя церковные и светские власти, особенно в Шведской Ливонии и Эстонии, постоянно подтверждали свое намерение создать начальные школы во всех церковных приходах, реализация этой политики продолжала оставаться хаотичной из-за недостатка ресурсов и подготовленных учителей.

Вслед за распространением слова Божьего на местных языках образованное духовенство имело на повестке дня еще одну актуальную задачу: борьбу с тем, что они полагали пагубным влиянием устной традиции, распространенной среди крестьян. «Бесмысленные суеверия» сельских прихожан оставались вполне живыми, и негодующие клирики иногда ассоциировали элементы местной устной традиции — такие, как брань, пословицы и поговорки, заговоры, принятые в народной медицине, — с колдовством и поклонением дьяволу. Например, Пауль Эйнгорн в уже упоминавшейся книге о колдовстве (1627) изображает Ливонию землей оборотней и ведьм. Другие авторы, такие, как Манцелий, возможно более знакомые с устной традицией местных наречий, были менее категоричными, но, тем не менее, предполагали, что интеллектуальная составляющая устной традиции существенно ниже систематического и организованного обучения на языках высших классов.

Надежды католического и лютеранского духовенства на то, что крестьяне с легкостью отрекутся от своих верований, были несколько наивными. Пока обособленные в социальном отношении и по роду своих занятий группы населения были отделены друг от друга языками, на которых они говорили, крестьяне могли рассматривать

устную традицию как нечто принадлежащее только им и использовать ее как способ ухода от суровой повседневной реальности. Они сопротивлялись попыткам духовенства «цивилизовать» и «христианизировать» их. Однако, помимо этого, духовенство было вовлечено в действительно интеллектуально стимулирующую деятельность: клирики изучали структуру местных наречий, уделяя особое внимание звукам, расспрашивали носителей этих языков о правилах грамматики, экспериментировали с новыми словами, еще не вошедшими в эти языки, и делились друг с другом результатами своих изысканий. В процессе этого выработывался новый взгляд на местное крестьянство, отличный от прежнего, покровительственного. Хотя социальная дистанция между клириками и их паствой сохранялась, некоторые из них, например Георгий Манцелий из Ливонии, писали проповеди, занявшие после публикации почетное место на полках рядом с Библией в домах тех крестьян, кто мог позволить себе такую покупку. Разумеется, это сочувственное отношение не предполагало сколько-нибудь систематической критики социально-экономического положения крестьян. Лютеранское духовенство особенно стойко придерживалось той концепции, что иерархия в обществе установлена Богом и многочисленные представители нижних социальных ступеней должны нести свое бремя терпеливо, с истинно христианской покорностью.

Конфликтующие амбиции после 1650 года

В то время как манориальная система, крепостное право и книги на местных языках понемногу становились постоянными элементами повседневной жизни на побережье, помыслы региональных монархов снова оказались обращены к вопросам геополитики. Негативные аспекты, связанные с территориальным расположением, подчеркивали их деструктивность. Правящие династии Речи Посполитой (Ваза), Швеции (тоже Ваза) и России (Романовы) сочли себя не удовлетворенными договоренностями о разделе территорий, достигнутыми в первой половине XVII в., и начали строить планы достижения полного контроля над всем регионом. Наиболее осторожными были правители Речи Посполитой; внутренние противоречия в их государстве не позволяли им легко обеспечить военную поддержку своей землевладельческой аристократии при любой попытке упреждающей экспансии. Однако у шведских монархов

сложилась иная ситуация: получив по Альтмаркскому миру контроль над Ливонией и Эстонией, Швеция справедливо считала Речь Посполитую слабейшим среди своих потенциальных оппонентов в регионе, и при поддержке курфюрста Бранденбурга (бывшая территория Тевтонского ордена) она вторглась в Польшу в 1656 г., одержав решающую победу у Варшавы. Поводом к этому вторжению стал династический конфликт: Карл X Густав (король Швеции, 1654 – 1660) заявил, что Ян Казимир (король Польши, 1648 – 1668) отказался признать легитимность шведского монарха. Вторжения шведов на польскую территорию, однако, оказалось достаточно, чтобы Россия вступила в этот конфликт на стороне Польши, в результате чего шведская авантюра в 1657 г. закончилась крушением. Конфликт завершился Оливским (1660) и Кардисским договорами (1661), в процессе заключения которых Швеции дипломатическим путем удалось укрепить влияние над своими балтийскими территориями.

Неспособность Швеции добиться триумфальной победы стала для России признаком слабости последней в роли экспансионистской державы и внушила русским мысль (в правление царя Алексея, второго из династии Романовых, 1645 – 1676) о том, что региональный союз с Речью Посполитой может вскормить недовольство шведскими гегемонистскими планами и в конечном итоге привести к изгнанию шведов с Балтийского побережья. Потребовалась жизнь целого поколения, чтобы интриги России принесли плоды. Тем временем шведские монархи продолжали свою политику сокращения поместий в Ливонии и Эстонии. Ирония заключалась в том, что эта политика была словно специально разработанной, чтобы настроить местную земельную аристократию против шведской короны. Сочетание всех этих факторов дало толчок серии конфликтов, известных под общим названием Великой Северной войны, продолжавшейся с 1700 по 1721 г. По завершении этой войны расстановка сил на Балтийском побережье изменилась коренным образом: Швеция была изгнана из региона, границы России отодвинулись на запад — в нее вошли Ливония и Эстония, а Речь Посполитая еще в большей степени, чем раньше, показала себя слабой и все больше слабеющей региональной державой.

Побережье стало той сценой, где развернулась значительная, если не наибольшая часть военных действий. Однако первый акт Великой Северной войны происходил как на этой сцене, так и за ее пределами — в 1700 г. датчане вторглись в Шлезвиг (находившийся под контролем Швеции), а Август II, являвшийся одновременно

курфюрстом Германской Саксонии и избранным королем Речи Посполитой, ввел войска на территорию Ливонии. В 1699 г. Речь Посполитая, Дания и Россия заключили тайный союз против Швеции, и оба вторжения явились плодом достигнутых договоренностей. Дело могло ими и ограничиться, если бы к власти не пришли два очень амбициозных юных монарха — пятнадцатилетний Карл XII в Швеции (1697) и семнадцатилетний Петр I Великий в России (1689). Оба монарха, как и их советники, вынашивали далекоидущие планы. Карл хотел укрепить и даже улучшить положение Швеции в Северной Европе; Петр мечтал сделать Россию морской державой и нуждался для этого в портовых городах в Восточной Балтике. Сначала Карл показал себя более изобретательным из двух претендентов на лидерство: он быстро разрешил конфликт с Данией, затем в ноябре 1700 г. прибыл в Ливонию, чтобы сражаться с русскими, и нанес им решающее поражение под Нарвой на севере Балтийского побережья. В 1701 г. король повернул на юг и освободил Ригу от польской осады, предпринятой Речью Посполитой, вступившей в союз с Россией и вторгшейся в Ливонию с юга вместе с саксонскими войсками.

Карл отбросил на юг объединенные польско-литовско-саксонские силы и затем вступил на территорию Речи Посполитой — в результате ему в 1702 г. удалось захватить и Варшаву, и Краков. Таким образом, военные действия перекинулись на территорию Польско-Литовского государства, где и продолжались в течение следующих шести лет. Русский царь Петр временно вышел из схватки, ожидая, что затянувшаяся борьба Швеции и Речи Посполитой истощит обе страны как в военном, так и в финансовом отношении и это создаст для России наилучшие возможности для последующего вмешательства. В 1706 г. король Речи Посполитой Август II под давлением своевольных магнатов и дворянства был вынужден отречься от трона. Польский сейм избрал королем Станислава Лещинского, происходившего из знатного польского аристократического рода и принявшегося проводить прошведскую политику. Однако Август не отказался от притязаний на трон и вступил в сговор с русскими в попытках вернуть себе корону. В течение следующих четырех лет в Речи Посполитой было два короля — законный и незаконный; первый находился в союзе со Швецией, второй — с Россией. Однако отстранение Августа принесло краткую передышку в сражениях на польско-литовских землях.

Уже на этой стадии Великой северной войны стало очевидным, что, по мере того как все ее участники внутренне слабеют, Россия становится сильнее. Многие дворяне и магнаты Великого княжества Литовского находились в состоянии открытой вражды с польским монархом Августом II, считая, что его политика проводится скорее в интересах Саксонии, чем Речи Посполитой. Земельная аристократия Курляндского герцогства (номинально лояльного королю Речи Посполитой) все больше и больше опасалась, что их земли станут постоянным полем битвы сопредельных монархов — шведского и польского королей и русского царя — и что борьба эта может положить конец «исконным правам» курляндских землевладельцев. Соответственно, курляндцы пытались сохранять нейтралитет. Земельная аристократия Шведской Ливонии и Эстонии уже пострадала от политики шведской короны, направленной на сокращение поместий, и некоторые ее представители поглядывали на восток в поисках выгод, которые может принести сотрудничество с русским монархом. В находящейся между ними Польской Ливонии землевладельцы осознавали шаткость своих позиций, поскольку понимали, что их земли открыты вторжениям со всех сторон. Фактически, на эти земли вторглись сразу же, как только шведские войска вышли из Эстонии и направились в Литву. Отношение к польско-литовскому королю Августу II здесь также было далеким от восторженного. Городской патрициат Риги взвешивал, какая из сражающихся стран могла бы послужить защитой от всех остальных, тогда как большая часть крестьянского населения — эстонцев, латышей и литовцев — более всего заботилась о том, чтобы держаться от войны как можно дальше и сохранить себя и свои семьи. Некоторые из латышских и эстонских крестьян присоединялись к шведским войскам, а многие другие были рекрутированы оккупировавшими их армиями для земляных и строительных работ, перевозок и других повинностей. Наиболее важным мотивом действий для крестьян была не лояльность, а стремление выжить: на тот момент не существовало государств, лояльность которым могла быть очевидной для крестьян. Их непосредственные господа точно так же не знали, в какую сторону обратить свои взоры; помимо этого, ни один из соперничавших монархов не выглядел на тот момент потенциальным победителем.

Борьба продолжилась в 1707 г., когда шведский король Карл, воодушевленный победами в Речи Посполитой, обратил все внимание на Россию. Однако Петр смог усилить свои позиции на севере,

основав в 1703 г. свою новую столицу Санкт-Петербург в устье реки Невы; вслед за этим он в 1704 г. отвоевал Нарву и обновил свою армию. Активные столкновения шведской и русской армий продолжались в 1708 г. на территории Эстонии, несмотря на то что основная армия короля Карла располагалась на тот момент на юге и двигалась к Москве. Здесь король просчитался: он повернул на Украину и потерпел сокрушительное поражение при Полтаве в 1709 г. Шведская армия рассыпалась, а Карл бежал в Турцию, чтобы перегруппировать свои силы и спланировать возвращение. Двучинный торг между Петром и Августом II Польским завершился возвращением последнего на трон Речь Посполитой при условии, что Август будет продолжать поддерживать Россию в борьбе за окончательное изгнание шведов с побережья Балтики, получив за это территории шведской Ливонии. Карл вернулся в Швецию в 1714 г., планируя новые военные предприятия, но в 1718 г. стал жертвой покушения и погиб. На шведском троне ему наследовала сестра Ульрика Элеонора, правившая два года; преемником в 1720 г. стал ее муж Фридрих I.

В правление Ульрики шведская знать снова начала добиваться возвращения властных полномочий, отобранных у нее в рамках проведения абсолютистской политики шведской короны на протяжении всего XVII столетия. К моменту, когда к власти пришел Фридрих I, значительная часть шведской знати успела потребовать и добиться от монархии менее авантюрной внешней политики. Заключив два договора — в 1720 и 1721 гг., — Швеция урегулировала свои проблемы на Балтике, сначала с Речью Посполитой, потом с Саксонией и, наконец, с Россией. По Ништадтскому договору 1721 г. Ливония, Эстония и другие территории к северу переходили к России; Рига сдалась русским еще в 1709 г. Таким образом, шведское правление на побережье пришло к завершению. Речь Посполитая, сильно ослабевшая из-за внутренних политических противоречий и пострадавшая от того, что Россия нарушила свое обещание относительно Ливонии, смогла, однако, сохранить сюзеренитет над Курляндским герцогством и Польской Ливонией. Петр Великий добился своей цели и вытеснил с побережья самого сильного из своих соперников. Теперь его прежняя союзница — Речь Посполитая — более не представляла значительной угрозы, поскольку царь получил для себя портовые города на Балтике.

Существуют различные мнения по поводу того, была ли Великая северная война более разрушительной для региона, чем продолжи-

тельные Ливонские войны конца XVI — начала XVII столетия. Военные действия, приведшие к распаду Ливонской конфедерации, продолжались дольше и имели более длительные перерывы, когда борьба временно прекращалась, и это давало больше возможностей для восстановления. Северная война была короче; в ней участвовали более значительные армии, сражавшиеся на территории побережья. Обе войны были слишком долгими для мирного населения, особенно крестьянского, переживавшего их как бесконечную череду набегов и мародерства, когда внезапные вспышки насилия воспринимаются как элемент повседневной жизни. В обеих войнах все армии, пересекавшие побережье, предъявляли местному населению значительные требования. В Северной войне русские войска особенно часто прибегали к стратегии выжженной земли, особенно на эстонских территориях, поскольку русские стремились не оставить Швеции ресурсов для возможного возвращения, основываясь на том, что в начале войны шведская армия казалась непобедимой. Часто цитируемые доклады жестокого русского военачальника Бориса Шереметева царю Петру содержат и откровенные любования сценами грабежей, мародерства, изнасилований и убийств, а также описания депопуляции эстонских и ливонских земель посредством переселения тысяч их жителей на территорию России (среди переселенных был переводчик Библии на латышский язык пастор Эрнст Глюк).

Гибель людей, прямо или косвенно вызванная военными действиями, многим казалось недостаточной Божьей карой — во время Северной войны люди умирали также от голода и болезней. Особенно страшный голод постиг побережье еще до начала войны (в 1695 – 1697 гг.), а вот эпидемия чумы постигла этот регион в самый разгар сражений. Голод 1695 – 1697 гг. в действительности был явлением, присущим всей Северной Европе: в некоторых районах Ливонии от него вымерло до четверти населения еще до начала войны в 1700 г. Одним из последствий голода до и во время войны стал резкий рост преступности: доведенные до нищеты голодные люди и семьи скитались по сельской местности, грабя и убивая более удачливых. В 1697 г. Риге, согласно городским записям, пришлось столкнуться с вторжением 2250 нищих. Чума — наиболее опасная из эпидемий, периодически поражавших население побережья в XVII в., — на этот раз была общим восточно-европейским бедствием, сначала постигшим Турцию, Венгрию и Польшу (1707); потом, в 1708 г., — Силезию и Литву, в 1709 г.

эпидемия достигла Курляндии и в 1710 г. — Шведской и Польской Ливонии, а также Эстонии. На побережье потери от этой эпидемии были гораздо большими, чем от предшествующих. Например, в Жемайтии, по оценкам, потери составили около половины населения; такие же потери пришлось испытать как городскому, так и сельскому населению Курляндии. По некоторым оценкам, латышскоговорящее население Ливонии уменьшилось с 136 тыс. человек до эпидемии до 52 тыс. сразу после нее. В Эстонии население Таллина сократилось на три четверти, а сельское население — примерно наполовину. Разумеется, все эти оценки являются приблизительными, и не все районы пострадали в равной степени. В сельской местности резкая депопуляция в краткосрочной перспективе ухудшила отношения между выжившими крепостными крестьянами и их господами: первые часто бежали в поисках лучшей жизни под покровительство других землевладельцев, обещавших лучшие условия труда, тогда как последние стремились привязать оставшихся крестьян к своим поместьям еще более крепкими узами, в том числе насильственно. Сокращение рабочей силы в регионах, пострадавших от эпидемии, нанесло сельской и городской экономике побережья удар, последствия которого чувствовались, по меньшей мере, на протяжении жизни еще одного поколения.

В результате этих демографических катастроф в начале XVIII в. численность населения на побережье Балтики находилась на беспрецедентно низком уровне. Согласно оценкам, население Эстонии (ставшей частью Российской империи с 1721 г.) упало с 350 тыс. человек в 1695 г. до примерно 120–140 тыс. человек ко времени Ништадтского мира (1721). Население Ливонии (как латвийской, так и эстонской части, которые также перешли к России в 1721 г.) также упало — с примерно 503 тыс. человек в 1700 г. до 333 тыс. человек; население Польской Ливонии уменьшилось со 103 тыс. человек в 1700 г. до 70 тыс.; население Курляндии, которая пострадала несколько меньше, сократилось с 211 тыс. в 1683 г. до 209 тыс. человек. Наконец, население Великого княжества Литовского после Северной войны уменьшилось с 4,5 до 1,7 млн человек. С высокой вероятностью в начале прославленного века Просвещения на побережье насчитывалось меньше эстонцев, латышей и литовцев, чем в начале XVI столетия.



4

УСТАНОВЛЕНИЕ ГЕГЕМОНИИ: ПОБЕРЕЖЬЕ И ЦАРСКАЯ РОССИЯ (1710–1800)

В начале XVIII столетия Балтийское побережье было полем битвы региональных держав, однако к концу его оно стало частью западных территорий Российской империи. Швеция была изгнана с восточных берегов Балтики к 20-м годам того же века, а Речь Посполитая обнаруживала все меньшую способность препятствовать России вмешиваться в ее внутренние дела. В Западной и Центральной Европе соперничающие державы сражались в серии войн за наследство, одновременно стремясь консолидировать европейские колонии в Новом Свете. В то же время передовые мыслители Франции, Англии и германских земель выдвинули и развили идеи Просвещения, публикуя бессмертные сочинения, посвященные

На заставке: памятник Петру I в Риге (1910, скульптор Г. Шмидт-Кассель).

общественному договору, совершенствованию человека и разделению властей.

В Ливонии и Эстонии новая российская правящая элита, сменившая шведскую достигла соглашения с региональной и местной землевладельческой верхушкой в целях обеспечения общественного и политического порядка и установления эффективного управления крепостными крестьянами — эстонцами, латышами и литовцами. Были подтверждены прежние административные границы, а также созданы новые, расколовшие существующие языковые общности прежней Ливонии и поделившие эстонцев на две части. Латышское население также оставалось разделенным между Южной Ливонией, с одной стороны, и Курляндским герцогством и Латгалией — с другой; при этом Курляндия и Латгалия продолжали оставаться под юрисдикцией Речи Посполитой. По отношению к высшим классам вновь обретенных западных территорий Россия поступала по-разному — в Эстонии и Ливонии демонстрировала снисходительность, в Польше и Литве — была навязчивой. Лишь в последней четверти XVIII в. петербургское правительство Екатерины II завершило задачу, поставленную еще Петром Великим, — окончательно привести Речь Посполитую под юрисдикцию России.

В обращении с местными элитами правительству России нужно было прилагать лишь минимум усилий, чтобы добиваться политического подчинения. В Ливонии и Эстонии высшие слои общества так быстро меняли приоритеты и вместо шведского короля стали поддерживать русского царя, что происходивший процесс можно описать как исполнение планов обеих сторон. Ливония и Эстония относились к Романовым настолько же благожелательно, как и сами Романовы — к ним. К концу века, после того как был завершен гораздо более сложный процесс поглощения Речи Посполитой, Российская империя стала граничить на западе с двумя новыми соседями — королевством Пруссия и Австрийской империей Габсбургов. Такая близость к Центральной Европе оставалась важной, по крайней мере, в культурном отношении. Несмотря на то что местные правящие классы побережья перероентировались в своих политических предпочтениях на Восток и служили — как в военном, так и в государственном аспектах — русскому царю, культурные и религиозные корни тесно связывали их с Центральной и Западной Европой. В некотором смысле сами монархи из династии Романовых ориентировались на Запад — например, Екатерина была немкой по происхождению и состояла

в переписке с такими значимыми фигурами Просвещения, как Вольтер и Дидро; в российских придворных кругах все больше и больше использовался французский язык, и, таким образом, очевидно «западный» культурный облик высших классов Балтийского побережья воспринимался даже с некоторым завистливым уважением, по крайней мере до определенного момента. В XVIII столетии высокой оценке этого культурного родства соответствовало и чувство удовлетворения от установления российского контроля над старыми ганзейскими городами — Ригой и Ревелем (Таллином), поскольку предполагалось, что из этих городов западное влияние будет распространяться дальше по России, облегчая задачу вестернизации страны.

Россия как либеральное автократическое государство

В 1710 г. командование русской армии и царь Петр I приняли капитуляцию *рыцарств* (нем. *Ritterschaften** — корпорации, объединявшие знать) Ливонии и Эстонии, а также жителей Риги, Курессааре на острове Сааремаа (Эзель), Пярну, Таллина и других крупных городов побережья к северу от Курляндии. Северная война еще долго продолжалась на других театрах военных действий до заключения Ништадтского мира в 1721 г., но для основных центров побережья, истощенных военными потерями и чумой, она закончилась. Соглашения о капитуляции были составлены так, чтобы предоставить максимальную свободу действий русскому царю, аристократии и городскому патрициату, — положение крестьян, разумеется, не стало предметом переговоров. Было подтверждено, что лютеранство является основной конфессией двух балтийских территорий, теперь официально называемых *губерниями* — Лифляндской и Эстляндской (от немецких слов *Liefland* и *Estland*). Также были подтверждены права правящих классов и официальное использование немецкого языка на уровне местной администрации. Говорят, царь Петр заметил во время переговоров, что будет только справедливо использовать в этих провинциях немецкий язык, поскольку там живут только немцы.

* В тексте английского издания автор последовательно использует этот немецкий термин.

Лишь земельная аристократия (и с ограничениями — городской патрициат) была допущена в структуры управления. Притязания рыцарств основывались на документе 1561 г. под названием «Привилегии Сигизмунда Августа», где польский монарх даровал им значительные права; однако оригинал документа был утрачен. Шведское правительство в XVII в. отказывалось признавать юридическую силу этих так называемых «привилегий», поскольку не существовало их документального подтверждения, однако Петр I не колебался. Соглашения о капитуляции в полном объеме восстановили все права и привилегии, аннулированные или сокращенные шведами; среди прочего, это означало, что те земли, на которые претендовало правительство Швеции в соответствии с проведенным им процессом «сокращения поместий», теперь в полном объеме возвращались в распоряжение рыцарств. Таким образом, практическим следствием всех российских обещаний и подтверждения существующих порядков стало то, что рыцарства и городской патрициат получили в теории большую автономию, чем когда-либо имели.

Однако безобидные на вид фразы в соглашениях о капитуляции закрепляли за русским царем права и привилегии неограниченного монарха, и на практике это означало, что российское правительство могло вмешиваться в дела своих балтийских территорий всякий раз, когда ситуация того требовала. Это был умный тактический ход Петра, который стремился выглядеть исключительно либеральным, но в действительности не имел ни малейшего намерения ограничивать в действиях себя как абсолютного монарха. Российская сторона нуждалась в полной поддержке балтийской земельной аристократии, поскольку не существовало никаких гарантий, по крайней мере в краткосрочной перспективе, что Швеция не попытается вернуть утраченные территории. Царь также признавал страстное стремление местных землевладельцев к автономии, поскольку оно стало реакцией на реформы шведского периода. В то же время Петр понимал, что, поскольку земли побережья вошли в состав Империи, он и его преемники должны иметь возможность аннулировать любые права и привилегии местной знати, если ситуация того потребует, и что балтийская знать не должна иметь власти, военной или юридической, чтобы противостоять подобным решениям. В действительности на протяжении большей части XVIII в. российским монархам не требовалось в полной мере применять свою «верховную» власть, однако факт

остается фактом: новые русские властители были не чужды двуличию, что проявилось и в быстром аннулировании некоторых прав, пожалованных городу Риге, и в том, как легко и быстро Петр нарушил обещание, данное польскому королю Августу II, — что после победы над шведами Ливония войдет в состав Речи Посполитой.

Рыцарства Лифляндии и Эстляндии воспользовались возможностью, появившейся у них благодаря либерализму русского императора, чтобы формализовать статус закрытой корпорации аристократии. В 1728 г. лифляндская знать получила разрешение царского правительства создать формальный список (матрикула) членов этой корпорации и исключительное право принимать в нее новых членов. Окончательная версия матрикула была одобрена лифляндским ландтагом в 1747 г. — согласно ей, в состав знати входили 172 семьи. Количество зарегистрированных членов матрикула медленно увеличивалось на всем протяжении следующего века благодаря русским знатым семьям, которым царское правительство жаловало немецкое дворянство, — разумеется, их «добровольно» принимали в рыцарство как равных. Сходные реестры знати были составлены в Эстляндии (127 семей) и на острове Сааремаа (25 семей). Такая формализация состава высших классов повлекла за собой два следствия: во-первых, количество людей, имеющих право управлять краем, сократилось до узкого круга немецкоговорящей знати и, во-вторых, немецкоговорящие высшие классы побережья были разделены на две части: на членов рыцарств и всех остальных. Возможно, петербургское правительство отдавало себе отчет о том, что автономия провинции, с одной стороны, может помочь короне управлять этими новыми для нее территориями и, с другой — не помешает посеять, если понадобится, раскол в местной элите. Эта стратегия определенно была одним из способов решения проблем, способных возникнуть из-за присоединения новых территорий с почти полностью нерусским населением и к тому же сохранявших тесные культурные связи с Западной и Центральной Европой.

В третьем десятилетии XVIII в. власть петербургского правительства была представлена в двух прибалтийских провинциях генерал-губернаторами, резиденции которых располагались в Таллине (Эстляндия) и Риге (Лифляндия). Разумеется, царь не имел формальной власти над территориями к югу от ливонской границы — герцогством Курляндским, Инфлянтами (Латгалией) и Великим княжеством Литовским, пока они оставались частями Речи

Посполитой; однако Петербург быстро нашел другие пути диктовать этим землям свою волю. Генерал-губернаторы Эстляндии и Лифляндии назначались царем, однако в XVIII в. большинство из них проводили в своих губерниях не много времени, так что ежедневные управленческие задачи возлагались на их административных помощников из числа членов балтийских немецких рыцарств. Изначально представители короны преследовали два основных практических интереса — обеспечение войсковых частей, размещенных на побережье, а также сбор налогов в казну и их эффективную доставку в Санкт-Петербург. Управленческий аппарат каждой из губерний расширялся на протяжении века в результате присоединения представителей разнообразных департаментов (коллегий) центрального правительства, по мере того как оно обнаруживало интерес к таким сферам, как правосудие, горное дело, лесное дело, промышленное развитие и управление коронными поместьями. Часто на эти должности в Санкт-Петербурге назначали выходцев из балтийской немецкой земельной знати. Религиозные вопросы решались консисториями, представлявшими собой собрания лютеранского духовенства, сохранившиеся со времен, когда в XVII в. они были элементом шведского управленческого аппарата. Во многих отношениях российские административные структуры обеих балтийских провинций повторяли то, что уже было создано шведами, поскольку царь Петр I в действительности был поклонником централизованной системы управления, которую удалось создать его бывшему врагу. Основным отличием являлся персонал: шведская администрация Ливонии в основном была укомплектована шведами, тогда как русские в значительной мере полагались на балтийских немцев. Это и в самом деле имело смысл из-за преобладания немецкого языка в среде тех, кто управлял данными губерниями: постоянно отсутствовавшие русские управленцы с меньшей вероятностью были готовы учить немецкий, чем прибалтийские немцы — язык центрального правительства. Разумеется, такая ситуация вызывала затруднения при идентификации лояльности тех немецкоязычных представителей балтийской администрации, кому приходилось служить императору и одновременно с этим представлять интересы своей социальной группы. Количество этнических русских в административном аппарате этих губерний (в отличие от армии) на протяжении века оставалось чрезвычайно незначительным (менее 1% населения). Чтобы застраховаться от неопре-

данностей, рыцарства создали нечто вроде постоянного лобби в Санкт-Петербурге — проживающие там высокопоставленные и богатые аристократы немецкого происхождения внимательно следили за работой российского правительства, стремясь обратиться вспять или изменить те его решения, которые могли бы повредить влиянию балтийских немцев на ситуацию в регионе.

Толерантное отношение петербургского правительства способствовало тому, что некоторые представители ливонской и эстонской земельной аристократии стали весьма широко толковать свои права, особенно в отношении крестьян, живущих в их поместьях. Хорошо известен ответ ландрата О.Ф. Розена генерал-губернатору Лифляндии (1739), в котором было сказано, что «поскольку крестьяне душой и телом принадлежат их господину и подчиняются ему, то эта принадлежность распространяется и на имущество этих крестьян... В соответствии с этими правами все, что делает и выращивает крестьянин, делается не для него самого, но для его господина». Такое отношение стоит за целой серией перемен, которые в XVIII в. происходили в поместьях за счет крестьян. Трудовые повинности крестьян были увеличены с помощью различных толкований неясных мест в существующих законах (например, что конкретно понималось под «днем работы»?); повинности, существовавшие ранее только на уровне обычаев, стали фиксированными; поместья были реформированы так, чтобы уменьшить площадь крестьянских наделов и увеличить количество помещичьей земли (домена); трудовыми повинностями теперь облагалось не крестьянское подворье, а отдельные люди; были созданы новые повинности в форме частичной занятости; повинности, которые ранее приобрели форму денежных выплат, снова должны были выполняться в форме барщины. Поскольку жалобы на внутренние решения управляющих поместьями в рамках существующей юридической системы почти всегда признавались недействительными уже на самых ранних стадиях рассмотрения, у крестьян практически не было места, куда бы они могли прийти с жалобой. Лифляндский ландтаг оставался в этом отношении непреклонным, в 1765 г. провозгласив, что «крестьяне являются рабами (*servi*) своих господ в полном смысле, предусмотренном римским правом; можно требовать их возвращения [в случае побега], их можно подарить [другому владельцу], их можно продать. Даже несмотря на то, что [прежние монархи] пытались облегчить крепостное право, рыцарства опре-

делили, что это невозможно, поскольку крепостное право заложено в природе этих народов [эстонцев и латышей]. Многочисленные землевладельцы буквально воспринимали идею, что они являются владельцами душ своих крестьян. Эрудированный автор А.В. Хупель, комментировавший ситуацию в Лифляндии, писал в своей книге *Topographische Nachrichten von Lief- und Ehistland* («Топографические известия о Лиф- и Эстляндии»), опубликованной в Риге в 1770 г., что «крестьяне здесь не так дороги, как негры в американских колониях: сельскохозяйственного работника можно купить за 30 – 50 рублей, тогда как ремесленник, повар или ткач могут стоить до 100 рублей. Целая семья стоит примерно эту же сумму: кухонная прислуга редко стоит более 10 рублей, а дети продаются по 4 рубля за человека. Работники и их дети могут продаваться, покупаться или вымениваться на что-либо — лошадей, собак, курительные трубки и т.д.». В сельской местности ходили слухи, что в более крупных поместьях условия менее тяжелы, чем в малых, и в коронных поместьях — легче, чем в частных. Такие слухи становились причиной постоянных побегов крепостных крестьян на всем протяжении столетия. Постоянной причиной споров между землевладельцами стали отказы вернуть беглых крестьян. Сложно сказать, сколько именно из более чем 1100 владельцев и арендаторов поместий использовали свою власть на местах максимальным образом, однако в течение века количество земли, отданной в крестьянское пользование, сократилось, а трудовые повинности выросли — как в количественном отношении, так и с точки зрения интенсивности труда. У помещиков была масса стимулов для того, чтобы выжимать все возможное из подневольной рабочей силы, поскольку во второй половине столетия становилось все очевиднее, что для производимого ими зерна существует внешний рынок.

Ближе к концу XVIII в. уже не приходилось опасаться каких-либо реваншистских устремлений Швеции в регионе, и петербургское правительство предоставило рыцарствам большую свободу управления этими землями. Возможно, правительство и не имело никаких других вариантов, оказавшись не в состоянии наводнить присоединенные территории многочисленными российскими чиновниками. Существующая система была создана для того, чтобы транслировать вниз приказы, получаемые с самого верха — от абсолютного монарха и его советников, и справлялась с этим без проблем. Но в ней отсутствовали институты, которые

могли бы проконтролировать, что решения царя выполняются именно таким образом, как предполагалось, особенно на стыке между повсеместно закрепощенным крестьянским населением и землевладельцами или арендаторами поместий. Система правосудия, в принципе, позволяла крестьянам жаловаться, однако эти жалобы должны были подаваться на немецком языке, поскольку низшие позиции в структурах правосудия были укомплектованы балтийскими немцами. Хотя периодически представители российской администрации объезжали подведомственные им территории с инспекциями, в конце концов, точность получаемой ими информации о положении дел на новых территориях зависела от честности тех людей, чьи интересы могли пострадать от нежелательного вмешательства верховной власти. Эстонцы и латыши из-за своего низкого социального положения были по определению исключены из административного аппарата; лишь к концу столетия несколько латышских предпринимателей из Риги сумели добиться успеха в суде, защищая свои «права». Во многих отношениях в период после 1721 г. петербургское правительство оставалось в сельской местности практически невидимой силой; и лишь в некоторых городах, особенно в Риге и Таллине, присутствие русских проявлялось в том, что в казармах были расквартированы русские солдаты. Только в восточных областях побережья, неподалеку от границы с Россией, правительство предпринимало попытки заселить пустующие земли, завозя крестьян из России, но даже там их количество было минимальным.

Одной из наиболее существенных причин такого несколько легкомысленного отношения России к этому региону было опустошение, постигшее его по время Великой Северной войны. Города, представлявшие несомненный интерес для Санкт-Петербурга как источники дохода, чрезвычайно пострадали. В крупнейших городах Эстонии: Тарту, Таллине, Нарве и Пярну — осталась лишь часть населения. Тарту (Дерпт) так и не восстановил своего довоенного населения, составлявшего до последних десятилетий XVIII в. около 2 тыс. человек, а Таллин вернулся к довоенным показателям (около 11 тыс. человек) только в 1782 г. В Ливонии население Риги в 1719 г. составляло около 8800 человек, однако оно крайне пострадало от чумы, случившейся в этом году, и в 1728 г. составило около 6100 человек. Так как этот город был наиболее экономически активным на новых территориях, к 1760 г. его население составляло около 14 тыс. человек, а к 1782 г. — уже 24 500;

однако процесс восстановления занял почти два поколения. Многие сельские регионы также обезлюдели, что, разумеется, оказало негативное влияние на доходы земельной аристократии. Таким образом, Империя приобрела не столько территории, находящиеся на стадии экономического подъема, со значительной долей городского населения, сколько земли, существенно пострадавшие от депопуляции. Восстановление могло осуществиться только благодаря активным усилиям уцелевшего населения, использующего любые возможности, которые давала новая ситуация.

Россия как навязчивый сосед

Договор 1721 г. не повлиял напрямую на статус других балтийских территорий — Речи Посполитой, герцогства Курляндского и Земгальского, а также Инфлянтов (бывшей Польской Ливонии). Речь Посполитая номинально оставалась независимым политическим образованием. Герцогская династия в Курляндии и ее земельная аристократия продолжали признавать польского короля своим сувереном, а Инфлянты по-прежнему управлялись из Кракова и Вильнюса. На картах этого периода указанные земли отображались с границами, отделявшими их друг от друга внутри Речи Посполитой, а также указывались их границы с бывшими ливонскими территориями, подчиняющимися России. Однако это не отражало реального положения вещей, поскольку во время Северной войны, и еще более — в последующие десятилетия, Романовы находили различные способы вмешательства в развитие этих земель, иногда по прямой просьбе польских монархов, а иногда действуя тайно. Российские политические лидеры считали Речь Посполитую и входящие в нее земли, как минимум, частью сферы своих интересов. В то же время существующие границы уважали все; так, например, генерал-губернатор Лифляндии Георг Браун (1762 — 1792), высказывался о крепостных, переселившихся из Лифляндии в Курляндию, как о бежавших «за границу».

На протяжении десятилетий после Северной войны множество нарушений границы на побережье — беглыми крепостными, всякого рода мигрантами, менявшими место жительства по экономическим причинам, торговцами и воинскими подразделениями — лишь в редких случаях успешно контролировались правительствами соответствующих территорий. Но даже в этих условиях южные

территории побережья оставались отличимыми друг от друга, учитывая их этническую, лингвистическую и религиозную специфику. К середине XVIII в. население Великого княжества Литовского состояло в основном из полонизированных литовских магнатов, несколько менее ополяченного дворянства (шляхты) и крестьян, говоривших на литовском языке. Правящий слой Курляндского герцогства составляли немецкая по происхождению династия и класс землевладельцев, которые были балтийскими немцами, тогда как большинство его населения составляли крестьяне, говорившие по-латышски. Правящие круги Инфлянтов состояли из ополячившихся землевладельцев, происходивших из балтийских немцев, и других землевладельцев — поляков по происхождению; крестьянство же здесь говорило на диалекте латышского языка. Существовали и религиозные различия: литовские земли были в основном католическими, курляндские — в основном лютеранскими, а в Инфлянтах жили представители обеих конфессий с преобладанием католической. Среди представителей этих преобладающих религиозных групп обнаруживались вкрапления православных и иудеев — и те и другие жили в то время в особенно большом количестве в Инфлянтах и Великом княжестве Литовском, в отличие от Курляндского герцогства, Ливонии и Эстонии. Неудивительно, что количество иудеев в Речи Посполитой было значительным, учитывая то, что на протяжении долгого времени их охотно принимали (в основном из экономических соображений) как в Великом княжестве, так и по всей объединенной стране. По оценкам, ко второй половине столетия (1764 – 1766) количество иудеев в объединенном государстве составляло около 750 тыс. человек (около 5,3% всего населения), при этом около 210 тыс. из них жили в Великом княжестве Литовском (4 тыс. в Вильнюсе и около 2 тыс. в Каунасе). Эти цифры подчеркивают малое число евреев на северных землях побережья, включая Инфлянты.

После Северной войны монарх Речи Посполитой продолжал носить титул польского короля и великого князя литовского, но разделение польских и литовских территорий постепенно переставало быть столь четким на протяжении второй половины XVII в., и этот процесс продолжался в следующем столетии. Идея независимого Литовского княжества — равноправного партнера Польши — продолжала существовать среди литовских магнатов и дворянства и периодически вновь активно пропагандировалась в политических целях; концепция эта находила подкрепление в том, что в Литве

до сих пор существовали собственное законодательство и специфические, присущие только ей институты управления. Однако культурное и лингвистическое ополячивание литовских землевладельцев существенно уменьшило видимость этого разделения извне. Для других стран Центральной и Западной Европы объединенное Польско-Литовское государство стало просто Польшей, а литовский язык, на котором говорило множество простых людей в этом государстве, воспринимался как один из множества «крестьянских наречий», существовавших в Польском королевстве. Оба партнера по Люблинской унии также чувствовали разлагающие последствия отсутствия централизации — иногда обе эти территории даже назывались дворянскими республиками, — в то время как абсолютные монархии Европы были способны действовать быстро и решительно. Между польским королем, магнатами и дворянством, собиравшимися на национальное шляхетское представительное собрание — *сейм*, и аналогичные региональные собрания — *сеймики*, шли беспрерывные конфликты по таким вопросам, как военные предприятия монарха, королевские доходы и доходы отдельных регионов, а также административные назначения. Требование единогласного голосования по любому вопросу — пресловутое *liberum veto* — в этих представительных органах легко приводило к бездействию и разрушению планов монарха.

Эти внутренние конфликты продолжались и во время Северной войны, и в течение десятилетий после ее окончания. Король Польши и великий князь литовский Август II Сильный во время войны пригласил на свои земли русских, чтобы с их помощью укрепить собственные позиции в борьбе со шведскими захватчиками и своими внутренними врагами. Однако российские войска не были склонны охотно и полностью покинуть эту землю. Русский царь Петр I обещал Августу II после окончания войны власть над Шведской Ливонией, но обещания своего не сдержал. Позже, на протяжении своего долгого правления, длившегося до 1733 г., Август не раз жалел о некогда принятом им решении; аналогичные чувства испытывал и его сын и преемник Август III (как и отец, являвшийся королем Саксонии). Август III был избран на трон польским сеймом в 1733 г., после так называемой войны за польское наследство, в которой его поддерживали австрийские Габсбурги и Пруссия, тогда как Франция и Россия выступали за кандидатуру знатного изгнанника Станислава Лещинского, являвшегося на тот момент тестем французского короля Людовика XV. В завершение

многочисленных внутренних конфликтов Август III был действительно избран сеймом, но это избрание короля продемонстрировало всем заинтересованным внешним сторонам, насколько разобщенным внутри было польско-литовское объединение. В целом правление Августа III было отмечено определенным доверием к монарху и длилось до самой его смерти в 1763 г. Однако он проводил массу времени, действуя в интересах другого своего королевства — Саксонии, и, таким образом, не имел возможности проводить абсолютистскую политику по отношению к привыкшей к свободе польско-литовской знати. В 1764 г., после смерти Августа III и новой российской интервенции, сейм «избрал» на трон Станислава Августа Понятовского, который ранее был польским послом в Англии и России и, без всякого сомнения, являлся влиятельной политической фигурой. Понятовский был настроен реформаторски и немедленно после своего избрания стал стремиться к тому, чтобы навести порядок в Речи Посполитой и восстановить ее высокий статус в регионе. Реформы, которые он предложил, явственно угрожали долговременным интересам как многих магнатов внутри королевства, так и соседних государств. В результате при поддержке российской армии в 1786 г. был созван так называемый Варшавский сейм, целью которого было вернуть и закрепить ранее существовавшее в государстве положение вещей (*status quo ante*). Фактическим результатом внутренней и внешней оппозиции реформам стало приведение Польско-Литовского государства под протекторат России. Царица Екатерина II Великая — некогда бывшая любовницей Понятовского в Санкт-Петербурге — взяла на себя роль гаранта политического порядка.

Внутренние разногласия, очевидные внутри польско-литовского союза в период правления Августа III и Понятовского, представляли собой не просто борьбу за власть между амбициозными семьями, но и отражали фундаментальные различия взглядов внутри политической элиты на то, как следует управлять страной. Для государства, где магнаты и дворяне-землевладельцы были так же могущественны, как монарх, это оказалось губительным. К середине XVIII в. подобные разногласия далеко не ограничивались предсказуемыми темами — например, как должны относиться друг к другу Польша и Литва. Теперь они касались базовых вопросов — таких, как королевская и парламентская власть, роль католической церкви и ее отношение к монархии, степень вовлеченности Речи Посполитой в конфликты, происходящие в Центральной Европе,

учитывая тот факт, что польские короли были одновременно королями Саксонии, а также степень участия России в делах Польско-Литовского государства. Разумеется, эти внутренние конфликты сопровождались постоянной борьбой крупных магнатов за власть — в ней участвовали, например, семьи Чарторыйских, Радзивиллов, Потоцких, а также их многочисленные ответвления и сторонники. В зависимости от конкретных вопросов они то формировали временные союзы друг с другом или с кем-либо со стороны, то вдруг стремительно переходили к борьбе между собой. Ухудшал положение вещей тот факт, что эти враждующие группировки располагали силами, которые можно было бы охарактеризовать как «частные армии». Однако борьба знатных семей была лишь симптомом гораздо более глубоких и пагубных процессов — постепенного разрушения веры в союзное государство как коллективную структуру и родину, которую нужно защищать.

Ништадтский договор 1721 г. формально не подвергал сомнению юрисдикцию Речи Посполитой над Курляндским герцогством и Инфлянтами (Латгалией); северные границы этих земель были одновременно северными границами Речи Посполитой, но теперь эти территории вызывали все больший интерес Санкт-Петербурга. Территория Инфлянтов (ранее Польская Ливония) больше, чем Курляндия, пострадала от процессов внутреннего ослабления государства. Население Инфлянтов, находившихся на крайнем северо-востоке Речи Посполитой, составляло в 1700 г. около 107 тыс. человек (в 1800 г. — около 190 тыс.). Несмотря на удаленное расположение, Инфлянты пострадали от передвижений войск во время Северной войны, от опустошения и грабежей ничуть не меньше, чем остальные земли побережья. Находясь под контролем правительства Речи Посполитой со времен Ливонских войн конца XVI — начала XVII в., эти земли постепенно приобрели собственный характер и стали существенно отличаться от территорий, находившихся ранее под контролем Швеции, а также от литовских земель к югу и от белорусских и русских — к востоку.

Территория Инфлянтов делилась на четыре района и управлялась губернатором (воеводой), имела свое представительное собрание (сеймик) в Двинске (латыш. Даугавпилс), в котором была представлена местная землевладельческая знать, а также по два представителя от Литвы и от Польши. Правящим классом здесь было дворянство (шляхта), состоявшее из примерно 60 семей землевладельцев. Тридцать семь из них, имевшие наибольшее влия-

ние, отражали все разнообразие населения этого региона: 14 из них составляли ополяченные немцы, 7 — литовцы, 5 — поляки, 5 — белорусы, 5 имели смешанное происхождение, и только одна относилась к коренному населению Инфлянтов. Большинство населения Инфлянтов — крепостные крестьяне — вело свой род от племенных сообществ, населявших Латгалию в дохристианские времена. Их языком был диалект латышского, на котором говорили в Лифляндии и Курляндии; разумеется, ни один из его вариантов не подвергался никакой стандартизации. XVII столетие отмечено появлением письменных источников на местном диалекте в виде некоторых второстепенных религиозных трудов; однако в Инфлянтах учеными, взявшими на себя труд выпуска подобных книг, стали иезуиты, а не лютеранское духовенство. Первой печатной книгой на латгальском языке стал сборник католических гимнов, вышедший в 1730 г. в Вильнюсе; следующей (насколько нам известно) — Евангелие, рассчитанное на священнослужителей (1753), также изданное в Вильнюсе. Подобно тому как лютеранское духовенство записывало разговорную латышскую речь по правилам немецкого языка, отцы-иезуиты использовали для этой цели польский, добавив, например, букву *u*, отсутствовавшую в западном варианте латышского. С начала XVII в. иезуиты в Инфлянтах активно способствовали просвещению крестьян, а до них, начиная с XIII столетия, усилия в этом направлении прилагал орден доминиканцев. В отличие от духовенства, земельная аристократия Инфлянтов почти не имела отношения к какому бы то ни было просвещению и образованию крестьян: ее интерес к этой земле был в основном экономическим. Как и в Литве, правящий класс был положительно настроен к иммиграции иудеев, в результате чего эта территория стала располагать самой значительной (из остальных земель бывшей Ливонии) долей иудейского населения, в 1784 г. составившей примерно 3800 человек. Здесь был лишь один город сколько-нибудь значительного размера — Двинск (Даугавпилс), где в 80-х годах XVIII в. проживало около 3 тыс. человек; все остальные населенные пункты представляли собой не более чем села. В переписке с генерал-губернатором Лифляндии Екатерина Великая пренебрежительно описывает Инфлянты как территорию, которую русская армия, если ее присутствие потребуется в Лифляндии, может пройти, не встретив никакого сопротивления, и что во время марша войска обеспечат себя за счет местных жителей.

Описания современников позволяют предположить, что Инфлянты оставались некой *terra incognita* для всего внешнего мира — поляков, русских или же лифляндских балтийских немцев. Из-за соображений экономии здесь не размещалось никаких польско-литовских вооруженных сил, что и объясняло отношение Екатерины. Тем не менее в течение XVIII в. российское правительство в переговорах с Речью Посполитой продолжало подчеркивать, что Россия имеет исторические права на территорию Инфлянтов, а также утверждало, что большинство населения этой территории в действительности является белорусским и, соответственно, имеющим общие с Россией культурные корни. Утверждалось, что территория Инфлянтов была отделена от России в результате польского завоевания этих земель и теперь необходимо воссоединить ее с Россией. Разумеется, данный аргумент относительно Инфлянтов был подхвачен петербургским правительством и добавлен к еще более широкому списку притязаний России на все территории Речи Посполитой, где население говорило на славянских языках, так как все эти земли были захвачены в результате завоеваний.

Однако Петербург не мог предъявить претензии подобного рода герцогству Курляндскому и Земгальскому. Тем не менее легкомысленное отношение курляндских герцогов к управлению привело к тому, что на протяжении XVIII в. эти земли все больше попадали под влияние России. Правление изначально возникшей там герцогской династии — Кеттлеров, взявших на себя управление страной в XVI в., когда последний магистр Ливонского ордена Готхард Кеттлер секуляризовал орден, — закончилось в 1737 г. со смертью герцога Фердинанда, скончавшегося в возрасте 82 лет. Местное представительное собрание (ландтаг) под давлением России, войска которой заняли на тот момент столицу — Митаву (Елгаву), избрало герцогом Эрнста Бирона (изначально его фамилия писалась Бюрен или *Bühren*) — сына мелкого чиновника администрации герцога, которому удалось стать фаворитом русской царицы Анны Иоанновны.

Последние Кеттлеры и Бирон находили причины не проводить много времени в столице Курляндии Митаве, предпочитая более интересные места, например Петербург. К счастью, в XVII в. на этой земле были созданы относительно хорошо функционирующие административные структуры, так что отсутствие верховного правителя не делало ситуацию в герцогстве бесконтрольной. Однако это означало, что после Северной войны влияние земельной аристократии (особенно старинных фамилий) на данной территории оставалось

наиболее значительным. В отличие от Ливонии, где до 1721 г. не было официального реестра аристократических фамилий (матрикула), список курляндского рыцарства был создан в начале XVII в. и включал условие, что новые члены могут появиться в этом списке лишь после трех поколений «государственной службы». В значительной степени власть в герцогстве принадлежала элите, состоявшей из примерно 110 семей аристократов-землевладельцев, таких, как Фирксы, Ганы, Кофы, Медемы, Тизенгаузены, Нольде и Виттенгофы. Герцогская власть держалась на их поддержке, поскольку именно им, в попытках защитить свои права землевладельцев, приходилось выдерживать давление со стороны польских королей и русского правительства в условиях постоянного отсутствия герцогов.

Российское правительство сумело воспользоваться этой ситуацией, при том что сами польские монархи казались все более равнодушными к потере контроля над территориями, часто именовавшимися в российской дипломатической переписке «лакомым куском». Русские правители от Петра I до Екатерины II применяли подкуп, организовывали династические браки, щедро принимали в Петербурге падких на роскошь курляндских герцогов и обеспечивали постоянное присутствие при митавском дворе российских «советников», формирующих «общественное мнение» за отделение Курляндии от Польши. Использовался и более грозный аргумент — постоянное присутствие в Курляндии российских войск, для оправдания которого упоминались гипотетические попытки Швеции вернуть эти земли себе. Однажды в отсутствие герцога даже управление казначейством Курляндского герцогства было отдано в руки российского генерал-губернатора Лифляндии (находившейся в составе России с 1721 г.). Хотя польские короли временами и протестовали против особенно явных случаев российского вмешательства, они были слишком заняты своими внутренними проблемами, чтобы правительство России принимало их возражения всерьез при планировании долгосрочной стратегии в отношении Курляндии.

Неудивительно, что во время правления Биронов среди курляндской знати стала формироваться политическая группировка, приветствующая все большую вовлеченность России в дела герцогства. Как в Лифляндии и Эстляндии, землевладельческая аристократия здесь хотела иметь суверена, который бы смог обеспечить стабильность и сохранение привилегий знати. Польские короли становились все слабее и слабее даже в качестве защитников

собственных территорий, тогда как влияние петербургского правительства очевидно нарастало. В 1772 г., после смерти Эрнста Бирона, трон герцога остался пустым, и король Речи Посполитой предложил в качестве преемника Бирона католическую кандидатуру. Екатерина II, ставшая российской императрицей в 1760 г., предписала своим дипломатам информировать польское правительство о том, что Россия не признает католика на курляндском троне и ожидает, что новый герцог будет лютеранского вероисповедания. То есть правитель одной страны давал указания правителю другой, какие назначения на территории, якобы находящейся под контролем последней державы, являются допустимыми, а какие — нет. Этот инцидент в полной мере показал, до какой степени герцогство подпало на тот момент под российское влияние, а также насколько польские монархи потеряли контроль над событиями, происходившими на северных рубежах их страны.

Отголоски Просвещения и крестьянское большинство

Северная война и пришедшаяся на ее годы эпидемия чумы сократили городское и сельское население Балтийского побережья, однако сложившаяся структура институтов города и деревни практически не изменилась. В городах по-прежнему купеческие гильдии занимали первое место в иерархии власти, а ремесленные гильдии — второе; остальное же население не участвовало в принятии решений. В сельской местности продолжала существовать манориальная система, то есть власть землевладельческой аристократии — собственников и арендаторов поместий. Концентрация власти и влияния в руках немногочисленной элиты оправдывалась существовавшей на протяжении многих столетий идеей, что общество состоит из нескольких сословий, у каждого из которых — свои функции, и высшие сословия облечены властью над теми, кем владеют. Начиная с XVII в. эту концепцию начали подрывать работы некоторых западных интеллектуалов, однако на землях Балтийского побережья она продолжала господствовать — на уровне как институтов, так и настроений. Но даже в этих условиях среди балтийских интеллектуалов — *literati** — во второй половине

* От *лат. homines literati* — образованные люди.

XVIII в. нашлось несколько авторов — впрочем, их было гораздо меньше, чем тех, кого устраивало существующее положение вещей — которые начали подвергать переоценке идею социальной иерархии. Сначала они сосредоточились на условиях жизни самой большой группы населения, то есть крестьянства. Эти авторы повторяли основные социально-политические идеи Просвещения и, в соответствии с критическим духом этого интеллектуального направления, обращали особое внимание на то, что казалось им в окружающем обществе неразумным и несправедливым.

Идеология Просвещения XVIII в. представляла собой сложный комплекс воззрений ведущих писателей и философов Западной и Центральной Европы, особенно Франции, Великобритании и германских государств. Своим появлением эти воззрения в значительной степени были обязаны так называемой научной революции XVII столетия, когда возникло предположение, что мир можно постичь с помощью человеческого разума, изучая его закономерности — законы природы, и что законы эти существуют не только на уровне физической природы, но также и в человеческом обществе, в политической жизни. Разум считался орудием исследования, а научный метод — процедурой, с помощью которой обнаруживается истина. Увлекаемые этим оптимистичным представлением, деятели Просвещения зачастую обращали свой гнев на религию и религиозные институты, называя их пережитком «суеверного» Средневековья, на абсолютных монархов, в каких бы странах те ни правили, а также на все социальные и политические установления, держащие человека «в цепях», по выражению Жана-Жака Руссо. Разум подсказывал им, что человеческие существа были созданы равными, что они имеют определенные естественные права и что республиканские формы правления с наибольшей вероятностью будут способствовать соблюдению этих прав. До Французской революции 1789 г. социально-политическая критика деятелей Просвещения носила мелиористический* характер, то есть побуждала к реформам. Некоторые из критиков защищали идею революции или вынашивали идею, что общество должно быть разрушено и затем заново построено в соответствии с рациональным планом. В целом Просвещение как интеллектуально-

* Концепция мелиоризма (от лат. *melioratio* — улучшение) исходила из представления о возможности изменения соотношения добра и зла в мире благодаря человеческим поступкам.

философское направление имело столь многочисленных приверженцев в столь многих странах, что они совершенно не были способны выработать общую программу, и это течение не могло сохранять внутреннее единство и последовательность.

Балтийское побережье находилось далеко в стороне от основных центров Просвещения, и произведения местных критиков общественного порядка носили вторичный характер. В число «просвещенных деспотов» они включали Екатерину Великую, которая вела активную переписку с такими светилами французского Просвещения, как Вольтер и Дидро. Екатерина и другие монархи того времени — прусский Фридрих II и Мария Терезия из династии Габсбургов изображали себя несостоявшимися реформаторами, сделавшими все возможное для борьбы с многочисленными недостатками и неразумным устройством общества, которым управляли. На побережье идеи Просвещения нашли отклик в Кёнигсбергском университете, расположенном в Восточной Пруссии уже за литовской границей (Дерптский университет был закрыт российским правительством в 1710 г.). Большинство сыновей представителей высших слоев балтийского общества получали образование за границей — в таких немецких городах, как Эрланген, Страсбург, Гёттинген, Росток, Галле, Лейпциг и Йена, а также в голландском городе Лейдене. Разумеется, университетски образованных людей было немного; те из них, кто был вдохновлен новыми идеями и возвращался домой, чтобы занять те или иные должности в церкви или государственной администрации, немедленно вступали в противоречие с существующими социально-экономическими реалиями — то есть с организованной землевладельческой аристократией, готовой рьяно защищать свое право управлять поместьями по собственному усмотрению. Университетский идеализм обычно пасовал перед подобной реальностью, однако контраст между философскими понятиями «гуманизм» и «естественное право» и положением большинства населения побережья оставался ярко выраженным, и его восприятие усиливалось на протяжении века.

Столкнувшись с ярко выраженной оппозицией всякого рода реформам, те, кто негодовал или хотя бы был обеспокоен существующим положением вещей — особенно применительно к крестьянству, — не знали точно, как им действовать. В этот период имели место несколько разрозненных попыток некоторых довольно высокопоставленных деятелей улучшить положение крестьян.

В частности, лютеранский священнослужитель Иоганн Георг Эйзен (получивший образование в Йене) в 1764 г. разработал в одном из округов Лифляндии, населенном эстонскими крестьянами, план, который даже привлек внимание Санкт-Петербурга. Также в Лифляндии барон Карл Фридрих Шульц, знакомый с трудами Вольтера и Монтескье, разработал новый «крестьянский закон» для крестьян собственного поместья и с помощью реформистски мыслящего генерал-губернатора Лифляндии Георга Брауна даже добился того, что в 1765 г. некоторые части этого документа были приняты в качестве законов упрямым ливонским ландтагом. Лифляндские бароны, братья Карл Рейнгольд и Кристиан Николай Вилкены, последовали примеру Шульца в своих поместьях, но изменили его законы. Большинство подобных экспериментов, касающихся норм крестьянского труда и ограничений телесных наказаний, оказались правилами, которые на практике легко обходили или игнорировали противники реформ. В 1762 – 1774 гг. в Литве каноник Павел Бржостовский, архидиакон Вильнюсской епархии, выпускник римского *Collegium Clementinum* и местный землевладелец, освободил своих крестьян от крепостной зависимости, стал брать с них денежную ренту за аренду земли и даже создал нечто вроде крестьянского самоуправления внутри поместья. Так выглядели разрозненные примеры реформаторского импульса в действии. Направленные на то, чтобы создать модели для других землевладельцев, эти реформы не вполне достигли своей цели, поскольку носили индивидуальный характер и не имели под собой никакой основы, кроме добрых намерений реформатора.

К концу XVIII в. образованных людей побережья, включая тех, кто критиковал существующий порядок, часто называли *Gelehrtenstand* («образованное сословие»), — этот термин чаще применялся в Лифляндии и Эстляндии, чем в литовских землях. Разумеется, теория социальных классов не знала такого сословия (*Stand*), но сословное (*ständische*) сознание как таковое предполагало, что все люди должны быть отнесены к какой-либо группе, а эта группа — входить в иерархию групп. Образованное сословие представляло собой формирующуюся группу, не имевшую реестра членов, каким обладало знатное сословие (*Adelstand*). В нее входили люди, получившие высшее образование и работавшие в качестве преподавателей, журналистов или всякого рода администраторов. Многие из них имели отношение к лютеранской или католической церкви, в то время как другие находились «в свободном плавании»

между такими хорошо организованными корпорациями того времени, как знать и городские гильдии; иногда по отношению к таким людям коллективно использовался еще один термин — «образованные люди» (*Literaten*). Эта группа разделяла интерес философов Просвещения к экзотическим землям и народам, что в случае с образованным сословием (*Literatenstand*) побережья выражалось в исследовательском интересе к крестьянскому населению, среди которого они жили: эстонцам, латышам и литовцам. Однако их труды отличались от наследия их предшественников тем, что в той же степени, в какой носили описательно-критический характер, они отличались директивностью и дидактизмом. Это был новый тип людей в землях побережья, напоминающий тех, кого в конце XX в. будут называть интеллектуалами. Термины «средний класс» и «буржуазия» не описывают их в полной мере, поскольку слишком часто они были инкорпорированы в ту или другую традиционную группу. Их труды отличались в акцентах и подходах; временами они выпускали книги за пределами побережья, чтобы избежать местной цензуры; некоторые же писали, но никогда за всю жизнь не публиковали своих работ. В Лифляндии и Эстляндии они писали на немецком языке, в Литве — на немецком, польском и латыни. Крестьяне же, о которых они писали, ни в коей мере не могли оценить тот факт, что их проблемы привлекли внимание ученых.

Одним из первых таких ученых был Генрих Яннау, священнослужитель, получивший образование в Гёттингене и служивший в одном из эстонских приходов Лифляндии. В 1786 г. он опубликовал работу под названием «История рабства и характер крестьян в Лифляндии и Эстляндии» (*Geschichte der Sklaverey, und Charakter der Bauern in Lief- and Ehistland*), главные темы которой напрямую восходили к предпосылкам, заданным Просвещением. Яннау начинает с предположения, что все люди рождаются равными, и делает вывод, что рабство (под которым он подразумевает крепостное право) скорее является продуктом исторического развития Балтийского побережья, чем проистекает из «природы» крестьянского населения, как провозглашали защитники существующего порядка. Грубые и дикие крестьяне Ливонии были крепостными не потому, что этот статус соответствовал их природе; в действительности они были закрепощены стараниями землевладельцев прошлых времен, повысивших требования к обязательным трудовым повинностям и ужесточивших запрет на передвижение, что-

бы обеспечить себя подневольной рабочей силой. Использование немецкого термина *Sklaverey* (буквально, «рабство») означало, что, хотя Яннау и использовал исторический подход к проблеме, он не был историком, как отмечали критики. Последним также не нравилось его одобрение шведского управления Ливонией в XVII в., во время которого, по утверждению Яннау, положение ливонских крестьян улучшалось вплоть до Северной войны, после которой российское правление уничтожило все прежние достижения. Крепостное право формировало характерные черты крепостных; это также было допущение, подсказанное идеями Просвещения. Если бы в результате реформ положение крестьян изменилось, они бы имели все возможности стать достойными гражданами. Такой подход дает Яннау возможность потратить множество страниц на описание того, что ему не нравится в поведении крестьян: их грубость, приземленный юмор, хитрость, — и часто подобные описания выглядят так, как если бы изначально автор придерживался концепции «национального характера». Его описания переходят от категории «крестьянин» к категориям «эстонец» или «латыш», позволяя предположить, что принадлежность к определенной национальной категории является для этого автора фактором, дополнительно влияющим на личностные искажения, которым подвергаются люди под гнетом крепостного права. Однако ясно, что Яннау уже не думал о крестьянстве как о неразличимой серой массе работников; так думать не позволяли ему собственные наблюдения за северными эстонцами и южными латышами. Таким образом, в результате проведенного анализа Яннау выделяет, хотя и не вполне точно, два крестьянских народа (*Völker*), а их, в свою очередь, он отличает от немецкоязычного населения, управляющего двумя этими народами.

Учитывая все это, Яннау выступал за проведение аграрной реформы, однако его предложения были типично умеренными. «Свобода», по его представлениям, не должна быть немедленно дарована крепостным, поскольку те были слишком «некультурны», чтобы не злоупотребить ею. Он считал, что реформа должна обеспечивать постепенное сокращение ограничений, определяющих ежедневную жизнь крепостных: необходимо нормировать труд, гарантировать крестьянам наличие движимого имущества, а также перевести на местные наречия законы, имеющие отношение к крестьянам, чтобы те могли ознакомиться с обязанностями, которые налагает на них их статус. Невзирая на просветительское

представление о равенстве людей, Яннау не готов в полной мере порицать классовое общество: с его точки зрения, сословие крестьян (*Bauernstand*) должно существовать, но следует смягчить тяготы, которым оно подвергается. Яннау предполагал, что землевладельцы сами могут быть инициаторами этого смягчения, руководимые рациональными доводами.

Самым резким среди «образованных людей», без сомнения, был Гарлиб Меркель, родившийся в 1769 г. в семье священнослужителя в латышском районе Лифляндии. Его отец получил образование в Страсбурге и восхищался Вольтером, а также другими деятелями Просвещения, критиковавшими французское общество. Сам Меркель всю жизнь прожил в Лифляндии, работая преподавателем и домашним учителем, однако доступ в высшее общество был для него закрыт, поскольку, не будучи представителем богемы, он демонстрировал все признаки свободомыслия. В 1797 г., в 27 лет, он публикует в Лейпциге книгу под названием «Латыши, преимущественно в Лифляндии, в конце философского столетия» (*Die Letten, vorzüglich in Liefland, am Ende des philosophischen Jahrhunderts*), где выражает свое негодование положением латышского и эстонского крестьянства, и особенно институтом крепостничества. Этот материал написан по итогам личных наблюдений и историй, услышанных автором, часто дававших ему повод для фантазий и надуманных утверждений. Хотя Меркель пытался сохранить беспристрастный тон, повторяя, что не все землевладельцы плохо обращаются со своими крепостными, его воображение было захвачено рассказами о жестокостях и садизме крепостников. Критическое отношение автора к крепостному праву базируется на определенном взгляде на историю побережья, согласно которому сегодняшние господствующие классы некогда вторглись в этот край как захватчики и подчинили коренные народы. Иными словами, для Меркеля проблема заключалась не столько в социальной стратификации классов, каждый из которых выполнял свой предписанный Богом долг, сколько в том, что сильный народ угнетал более слабый. Нетипичными для Просвещения являются призывы Меркеля к революции, если ситуация не изменится («угнетенный народ потребует возвращения своих прав огнем, мечом и кровью своих угнетателей»). Но изменить ситуацию возможно лишь в том случае, если землевладельцы воспользуются «разумом» и поймут, что существующее положение вещей не может продолжаться. Несколько более типичной была вера Меркеля в то, что верховный прави-

тель Балтийского региона — русский царь — мог улучшить положение, если бы искусно направил свою власть на проведение реформ. Сторонники идей Просвещения (*Aufklärer*) немецких земель восхитились трудом Меркеля, в Прибалтике книга «Латыши...» также нашла некоторое количество поклонников, однако эти похвалы истожились под натиском всеобщего осуждения. К концу жизни Меркеля насчитывалось около 250 полемических трудов, направленных против его книги, — некоторые из оппонентов обвиняли его в преувеличениях, другие же попросту объявляли его лжецом. Наиболее умеренные критики книги не отрицали правдивости приведенных в ней примеров, однако утверждали, что они являются исключениями из правил. При этом они игнорировали главную мысль автора — осуждение самой системы принудительного крестьянского труда, при которой становилось возможным такое обращение с людьми, даже и в виде исключения.

Иоганн Готфрид Гердер (1744 – 1803) был «ученым» более философского склада. Он не являлся коренным жителем побережья, однако жил в Риге в 60-е годы XVIII в., работая в качестве учителя в Домской школе и других местах. Он входил в горстку интеллектуалов, которые не только подражали мыслителям Просвещения, но и, после смерти Гердера, в конце концов стали главной движущей силой националистических движений в XIX в. не только в землях Балтийского побережья, но и за их пределами. Его интерес к крестьянству имел глубокую философскую основу, и с этой точки зрения Гердер был менее «провинциальным» автором, чем другие его единомышленники. Гердер занимался природой культуры: ее корнями, организацией и дифференциацией. Его видение вращалось вокруг концепций *Humanität* и *Völker* — человечества и народов, составляющих его, — и гердеровская общая философия культуры гораздо меньше исходила из расположения государств и политических границ, чем из конфигурации языков и того, как различные языки выражают различные продукты человеческого воображения. Это стало сферой интересов Гердера еще до того, как он поселился на Балтийском побережье, но именно в Риге и ее окрестностях он, по всей видимости, нашел «лабораторию», где мог работать над применением своих идей. С точки зрения Гердера, человеческая культура включала отдельные народы — носителей различных культур, и каждая из их культур основывалась на природной среде и условиях, в которых жили эти народы, и имела свою уникальную историю. Каждый народ в свое

время порождает дух или душу, то есть коллективное культурное пространство, раскрывающееся в широком спектре проявлений культуры: песнях, обычаях, поговорках, народных преданиях; исследователю культуры надлежало собрать их, объяснить и представить вниманию широкой публики. Такая демонстрация коллективного единства была, как минимум, столь же важной, как и утонченные труды интеллектуалов-космополитов; в любом случае она никак не могла быть важнее последних, даже если и была обязана своим проявлением неграмотным и неученым людям. Народы образовали человечество, которое, в понимании Гердера, говорило не одним голосом на одном языке, но звучало как хор голосов на разных языках.

Музыкальные метафоры здесь уместны, поскольку Гердер проводил много времени, собирая и записывая латышские и эстонские народные песни. Также он просил друзей присылать ему образцы таких песен, ставших частью коллекции, опубликованной отдельно примерно тогда же, когда и его другие работы, под общим названием «Голоса народов в песнях» (*Stimmen der Völker in Lieder*, 1787). Энтузиазм Гердера по отношению к тому, что позже будет названо «устной традицией», был беспределен, и он противопоставлял этот вид культурного самовыражения тому, что наблюдал в придворных кругах и в высшем обществе. «Вы должны знать, что я сам имел возможность наблюдать в существующих ныне народах живые сохранившиеся остатки их примитивных песен, стихов и танцев; среди народов, которых наша сила еще не до конца лишила их языка, песен и обычаев, чтобы заменить их чем-то ущербным — или вовсе ничем». Ирония истории состояла в том, что, собирая материалы об устной культуре латышских крестьян, Гердер основывался на трудах немецкого балтийского духовенства, смешивавшего собственные комментарии относительно латышской устной традиции с дидактическими замечаниями, где предписывало крестьянам как добрым христианам держаться подалее от таких примитивных вещей.

В Инфлянтах (Латгалии) критика условий жизни крестьянства в этот период была минимальной. Интеллектуальные устремления здесь почти полностью находились в руках католического духовенства, чьей основной заботой было спасение душ в трудных обстоятельствах, а не вопросы социально-политической критики. В этом отношении схожая картина наблюдалась в литовских землях; несмотря на то что во второй половине XVIII столетия в Речи

Посполитой книжная культура развивалась как качественно, так и количественно, было опубликовано лишь несколько критических статей об условиях в сфере сельского хозяйства, прежде всего в отношении самой Литвы. Однако был один необычный писатель, который косвенно затрагивал положение литовского крестьянства, — Кристионас Донелайтис (1714 – 1780), лютеранский священник, всю жизнь проживший в литовскоязычном районе Гумбиннен в Восточной Пруссии. Хотя этот район населяло значительное количество немцев, Донелайтис хорошо знал литовский язык и использовал его в своей работе пастора. Получив образование в Кёнигсбергском университете, Донелайтис прекрасно знал как древние языки, так и французский. Он сопротивлялся ополячиванию и онемечиванию местного населения, сохраняя литовские корни и тесные связи со своими прихожанами-литовцами. Поэзия была призванием Донелайтиса: он писал стихи на немецком и, что более важно, на литовском — среди его литовских стихов известна поэма примерно из трех тысяч строк, которая была опубликована после смерти автора под названием *Metai* («Времена года»). Поэма вышла в свет только в XIX в., после чего быстро обрела статус первого значительного литературного произведения, написанного на разговорном языке литовского крестьянства. Поэма стала уникальной, поскольку в тот период литовский язык считался «крестьянским наречием» (это убеждение разделяло даже ополяченное литовское дворянство), непригодным для поэзии. Описывая ежегодный цикл жизни литовского крестьянства, Донелайтис не идеализирует своих персонажей, но описывает их самих и их деятельность так реалистично, что издатели XIX в. были вынуждены опускать при печати наиболее натуралистические описания. Хотя казалось, что автор принимает существующие условия, демонстрируя несколько фаталистический подход к жизни, он подвергал жесткой критике класс землевладельцев за их распущенную жизнь, подававшую плохой пример крестьянам. Другие дидактические линии поэмы подразумевали, что литовское крестьянство сохраняло свой язык, национальную одежду, обычаи и фольклор, несмотря на влияние массового переселения немцев на их земли, которое достигло апогея в момент написания поэмы. Основные идеи произведения Донелайтиса напоминают концепции Гердера, несмотря на то что литовский поэт писал для себя, тогда как немецкий автор стремился обрести международную аудиторию.

Окончание формирования гегемонии и правительственные нововведения

В то время как «ученые» Балтийского побережья выражали недовольство сложившимся положением вещей, правители сопредельных держав продолжали демонстрировать постоянное стремление к территориальной экспансии. Образ «просвещенного монарха», примеряемый на себя Екатериной II Великой (российская императрица, 1762–1796), Фридрихом II Великим (король Пруссии, 1740–1786) и Марией Терезией (императрица Священной Римской империи, 1740–1780), не исключал оппортунизма. В последние три десятилетия XVIII в. для Екатерины это означало сохранение российского влияния и его распространение на Речь Посполитую, а для Фридриха и Марии Терезии — сопротивление этой политике. В глазах современников Речь Посполитая была желанной целью, «больным человеком востока Европы» (говоря словами, которые использовались для описания Османской империи конца XIX в.). Многочисленные вмешательства России в дела этого государства стали столь постоянными, что две другие державы опасались, что их соперница просто аннексирует эту обширную и, по-видимому, не способную постоять за себя территорию. Чтобы избежать крупной войны между тремя странами, Фридрих в 1772 г. предложил разделить территорию Польско-Литовского государства на три части, чтобы удовлетворить интересы всех трех соперничающих держав. Второй раздел остатков Речи Посполитой последовал в 1793 г. в результате вторжения русских и прусских войск одновременно, а третий состоялся в 1795-м, вслед за неудачным восстанием в Польше под руководством Тадеуша Костюшко (1746–1817). Процесс разделов был длительным и, разумеется, сталкивался с сопротивлением высших классов Польско-Литовского государства, но сопротивление это было слабым и практически не имело последствий. В самом деле, сейм проголосовал за раздел 1772 г., по которому государство теряло около 30% территории и 35% населения. В период между первым и вторым разделами Станислав II Август (Понятовский), избранный на польский трон в 1763 г., продолжал править своим уменьшенным государством. Он санкционировал различные внутренние реформы и даже новую Конституцию 1791 г., покончившую, среди прочего, с формальным разделением государства на Польшу и Великое кня-

жество Литовское. Однако к концу 1795 г. Польско-Литовское государство вообще исчезло с карт Европы: некогда великой державы, с XV в. определявшей ход событий в Центральной и Восточной Европе, более не существовало.

Разделы Польши, разумеется, оказали влияние на побережье Восточной Балтики, изменив статус Инфлянтов (Латгалии, бывшей Польской Ливонии), перешедшей в 1772 г. к России; Курляндского герцогства, которое в 1795 г. постигла та же судьба, и бывшего Великого княжества Литовского, по частям потерявшего свои земли во время всех трех разделов. К 1795 г. все латыши стали подданными русских царей, как и большинство литовского населения. Незначительное количество (около 200 тыс.) литовцев продолжало проживать на территории Восточной Пруссии (так называемая Малая Литва) — их территория находилась к северу от основных земель Пруссии, располагаясь вдоль побережья Балтики, включая крупный город Кёнигсберг с его знаменитым университетом.

Для значительной части населения Инфлянтов смена верховного правителя в 1772 г. могла не показаться важным событием, поскольку в краткосрочной перспективе для них почти ничего не изменилось — ни в составе населения, ни в административных структурах. Еще до разделов этот регион использовался для своих целей российскими войсками; местные ополяченные (как в культурном, так и в языковом отношении) землевладельцы не были достаточно организованными, чтобы создать сопротивление; все институты, связанные с католической церковью, остались на тот момент нетронутыми, а крестьянство — закрепощенным. При разделе 1772 г. Россия провозгласила, что некоторые из восточных территорий Речи Посполитой, по утверждению Екатерины Великой, являются «исконно русскими», то есть завоеванными Великим княжеством Литовским в XV–XVI вв. Теперь эти земли были населены различными славянскими народами, которых тогда называли белорусами или русскими*. В действительности же славянское население распределялось между несколькими регионами, и в Инфлянтах оно было в значительной степени разбавлено латышами, говорящими на латгальском, поляками и литовцами. С точки зрения вероисповедания население Латгалии, по оценкам 1784 г. составлявшее 190 тыс. человек, распределялось

* У автора — *ruthenians*.

следующим образом: 62% — католики, 31 — униаты, 4 — лютеране, 2 — иудеи, 0,5 — реформаты и 0,2% — старообрядцы. Екатерина и ее сын и преемник Павел I (1796 — 1801) создали ряд схем административной реорганизации, согласно которым различные части территории Инфлянтов присоединялись, отделялись и вновь присоединялись к другим вновь вошедшим в состав России польско-литовским землям и в процессе этого подвергались переименованию. Латгалия перестала существовать как отдельная территория, но вновь созданную в 1802 г. Витебскую губернию до 1917 г. населяли люди, говорившие на латгальском языке.

Герцогство Курляндское и Земгальское было присоединено к Российской империи в 1795 г. в ходе третьего раздела Польши — завершения процесса поглощения этого государства, начавшегося задолго до официальных разделов. Это присоединение одобряли и герцоги, и большая часть курляндской знати — во-первых, с удовольствием согласившись на уговоры и обещания российских царей и петербургского двора, а во-вторых, увидев на примере Лифляндии, что верность русскому престолу может обеспечить большую безопасность и лучшую защиту их привилегий, чем лояльность слабеющему польскому монарху.

После нескольких лет политических интриг и переговоров между Пруссией, Габсбургами и Россией, во время которых оговаривалось множество вариантов раздела захваченных территорий, было решено, что Империя среди прочих территорий «получит» Курляндию. Легкость перехода этих земель под юрисдикцию России была омрачена лишь негативной реакцией Литвы. Данное препятствие привело к краткому военному конфликту между русскими и польско-литовскими войсками, которые фактически вторглись в Курляндию и почти достигли ее столицы — Митавы (Елгавы). Но это не могло предотвратить неизбежного. В апреле 1795 г. Екатерина II издала указ, напечатанный на русском и немецком языках, о «принятии» подчинившегося России политического руководства Курляндии. В этом акте императрица поясняет, что Курляндия становится частью государства Российского «по воле Всемогущего Бога», и заверяет курляндскую политическую элиту: «Заверяем нашим Императорским словом, что вы не только сохраните право свободно исповедовать религию, унаследованную вами от предков, ваши права, привилегии и всю собственность, которой вы владеете по закону, но также отныне [вы] будете пользоваться всеми правами, привилегиями и преиму-

ществами, которые имеют все российские подданные милостью наших предков и нашей». Собственность герцогской семьи перешла российской короне в обмен на одновременно выплаченные 2 млн рублей и ежегодный доход в 86 250 рублей для Петра Бирона, последнего герцога курляндского, отправившегося затем в Силезию.

Эти заверения были легко забыты Екатериной — причем очень быстро. В новую губернию был назначен генерал-губернатор, в задачи которого входило решить вопрос с многочисленными представителями курляндского рыцарства, не подчинившимися закону о присоединении Курляндии. Их земельные владения были конфискованы короной, а сами они высланы в Сибирь. Российский генерал-губернатор председательствовал в совете курляндского рыцарства, чьи права ограничивались российским законом. Могущественный курляндский ландтаг, который на протяжении столетия или даже более сопротивлялся различным проявлениям абсолютизма со стороны герцогской семьи, потерял теперь какой бы то ни было контроль над управлением этой землей. Однако распределение власти в других слоях общества осталось прежним. Отношения между помещиками и крепостными крестьянами в их поместьях не изменились; лютеранскую церковь и другие религиозные институты не тронули, и количество русских — как военных, так и штатских — на территории Курляндии оставалось небольшим, не более 2% всего населения. Обычное право, восходящее еще к XVII в., продолжало действовать, и, за исключением нескольких незначительных уточнений, границы этой земли не изменились. С точки зрения российского правительства, как старые территории (Эстляндия и Лифляндия), так и новые (бывшие Инфлянты и Курляндия) оставались различимыми; при этом Курляндия стала официально называться Курляндской губернией. В Эстляндии, Лифляндии и Курляндии немецкий оставался официальным языком делопроизводства и документации; там, где местная администрация имела дело с российскими властями, он дублировался русским. К концу XVIII в. население Курляндии составляло примерно 390 тыс. человек, из которых, в соответствии с языком, определяемым ими как родной, по оценкам, 82,6% были латышами, 9 — немцами, 2 — русскими, 1,2 — евреями, 0,6 — ливами, и около 1% составляли все остальные (поляки, шведы, литовцы). Фактически, все, кто говорил на латышском языке, являлись крепостными крестьянами частных или коронных поместий;

курляндские города были небольшими (по сравнению с Ригой в Лифляндии), что почти не давало крестьянам возможности выбрать занятие, не связанное с сельским хозяйством.

По окончании разделов Великое княжество Литовское — *Magnus Ducatus Lithuaniae* — исчезло как отдельное политическое образование, но не ушло из сознания его жителей. И это неудивительно, поскольку история Великого княжества была наиболее впечатляющей из всех территорий восточного побережья Балтики. На протяжении столетий оно сохраняло собственные институты — такие, как Литовский статут, — обеспечивавшие представление о независимой Литве. Однако в XVIII столетии в официальной документации обозначение литовских земель как Великого княжества встречается все реже; литовские высшие классы — магнаты-землевладельцы и дворяне — в значительной степени перешли на польский язык и тяготели к польской культуре. Крестьяне Литвы (в большинстве своем крепостные) продолжали говорить по-литовски, но те из них, кому удавалось выйти за пределы своего сословия и найти занятие более высокого статуса, проходили через то же, что и крестьяне Эстляндии, Курляндии и Лифляндии в аналогичных ситуациях, — то есть ассимилировались в иной языковой и культурной среде (применительно к Литве эта среда была чаще польской, а не немецкой).

Разделы Речи Посполитой поставили завершающую точку в территориальных потерях княжества. При Витовте Великом Литовское княжество достигло апогея в своей экспансии, а его площадь составила около 930 тыс. кв. км за счет постоянного расширения границ на востоке и юге и включения в свой состав одной территории за другой. После Люблинской унии 1569 г. размеры княжества начали сокращаться; достигнутое соглашение предусматривало передачу почти половины его территории под контроль Польши. После разрушительной Северной войны и значительного ослабления Польско-Литовского государства в течение последующих десятилетий первый раздел (1772) сократил литовские территории до 250 тыс. кв. км. Во время второго раздела (1793) литовские земли снова сократились — до 130 тыс. кв. км. В 1795 г. вся Литва перешла под власть русских царей. Закончился двухсотлетний период, на протяжении которого литовские правящие классы сначала стремились обеспечить для своего государства равный статус в союзе с Польшей, затем сохранить хотя бы некоторую автономию, а впоследствии добивались не более

чем символического признания «союзником» факта существования отдельного Литовского княжества. После 1795 г. российское правительство некоторое время экспериментировало с различными схемами административного деления литовских земель и затем в середине XIX в. остановилось на образовании четырех примыкающих друг к другу провинций (губерний) — Виленской, Ковенской, Гродненской и Сувалкской с общим населением 2,5 млн человек, из которых 1,6 млн составляли литовцы. Около 200 тыс. литовцев оставались жителями Восточной Пруссии — так называемой Малой Литвы, удаленного восточного уголка Пруссии, оказавшись таким образом вне границ и власти Российской империи.

Екатерина II была весьма озабочена инкорпорацией вновь обретенных территорий, таких, как Лифляндия и Эстляндия, а также других областей на юге Империи. Она не хотела, чтобы эти провинции помышляли о независимости и, как она выразилась, «глядели, как волки к лесу». Хотя было бы неразумно отменять права и привилегии, которыми пользовались правящие классы новых земель, все же эти территории следовало «легчайшими способами привести к тому, чтобы они обрусели». Такое отношение отличалось от того, что продемонстрировал Петр Великий после 1710 г.; Екатерина начала прилагать усилия в этом направлении в 1767 г., когда в Санкт-Петербурге были собраны представители землевладельческой аристократии и городского патрициата, чтобы кодифицировать и стандартизировать законы Империи. После продолжительного обсуждения, длившегося два года, было отмечено, что «это честь — быть равными нам в составе единого целого. Лифляндия и Эстляндия — не иностранные державы. Ни их климат, ни сельское хозяйство, ни другие занятия не отличаются от российских. Они способны жить по одним законам с нами и должны так жить».

Собранная Екатериной комиссия не смогла добиться желаемых результатов, но предоставила императрице информацию, необходимую ей для введения новых законов относительно управления провинциями; эти законы постепенно применялись ко всем провинциям. Поскольку земли побережья входили в состав России по частям (в 1710, 1772, 1792 и 1795 гг.), сначала новый закон был введен в Инфлянтах (Латгалии) в 1778 г., затем в Лифляндии и Эстляндии в 1783 г., в Курляндии после 1795 г., а на литовских территориях последовательно, начиная с первого раздела Польши. Сутью этих законов было усиление централизации, реализуемое

посредством следующих мер: количество представителей царской власти в провинциях было увеличено за счет назначения новых чиновников, подотчетных петербургской администрации; городские органы управления и рыцарства были реорганизованы так, чтобы дать новым людям возможность войти в их состав; была введена новая система налогообложения (подушный налог); изменились некоторые законы относительно землевладения; была реорганизована судебная система. Правящая верхушка на побережье, особенно аристократы-землевладельцы, сопротивлялась большинству этих нововведений, насколько могла, не идя на открытую конфронтацию, но конец реформам положило не сопротивление на местах, а смерть Екатерины в 1796 г. Эти административные реформы были нацелены не только на население побережья, но и на такую специфическую группу, проживавшую на западных границах Российской империи, как евреи, количество которых в России резко увеличилось после того, как Империя получила свою долю в результате разделов Речи Посполитой. После создания в 1794 – 1795 гг. так называемой черты оседлости, предусматривавшей, что евреи в Российской империи могут проживать только в ее пределах, правительство стремилось сконцентрировать и контролировать еврейское население в западных провинциях, хотя на протяжении XIX в. эта «граница», юридически просуществовавшая до Первой мировой войны, становилась все более проницаемой. «Балтийские губернии»* Курляндия и Лифляндия (и в меньшей степени Эстляндия) лежавшие к северу от черты оседлости, принимали значительное количество мигрантов, двигавшихся с юга на север после Наполеоновских войн.

Сын и преемник Екатерины Павел I стремился аннулировать многие из ее реформ (но не черту оседлости), вернув многие из прибрежных территорий почти к прежнему состоянию (*status quo ante*). Сохранилось всего несколько изменений в судебной системе, а также подушный налог и превращение некоторых земельных владений в неотчуждаемые аллоды. Взамен Павел ожидал от прибалтийских территорий большей готовности к размещению у себя российских войск и рекрутированию крестьян в русскую армию. Несмотря на то что эксперимент Екатерины провалился, элиты в Балтийском регионе получили представление о том, на что при

* В российских документах и публикациях XIX — начала XX в. эти губернии обобщенно именовались «прибалтийскими» или «остзейскими».

желании способно пойти петербургское правительство. Это был более чем прозрачный намек на то, что, если реформы, угодные российской короне, не будут инициированы «снизу», они могут быть внедрены сверху вниз, царским указом.

Социальные порядки и языковые сообщества

Если бы Петр I проводил иную политику, а эксперимент Екатерины II в области централизации увенчался успехом, постепенный переход власти в руки российских монархов мог бы повлечь за собой интеграционные процессы в прибрежных территориях, в некоторых отношениях несопоставимых между собой. Но этого не произошло. К концу XVIII в. отдельные части региона оставались такими же замкнутыми в самих себе, как и раньше. К прежним административным границам, которые всегда пересекали сообщества, сложившиеся по языковому признаку, были добавлены новые, при этом старые границы стали еще более четко фиксированными. В северной части региона прежняя социальная структура, возможно, стала чуть более открытой, однако правящие классы — рыцарства — сохранили свою власть, и социальная дистанция, отделяющая их от других слоев общества, оставалась на прежнем уровне. Магнаты и дворяне Литвы находились в смятении и продолжали гораздо сильнее проявлять недовольство тем, что ими управляют русские, чем это делала элита балтийских немцев. Новые схемы властных отношений накладывались на уже существующие, но изменения эти не проникали глубоко в жизнь крестьян побережья, для которых крепостничество оставалось доминирующим состоянием; возможность для крестьянина вырваться за пределы своего класса оставалась минимальной.

Прежние связи между языковыми сообществами сохранялись, хотя некоторые из них способствовали созданию большего количества памятников культуры, чем раньше. Возможность писать на языках народов побережья способствовала созданию особого мира, который, по-видимому, не затрагивали значительные политические изменения: лютеранские и католические священнослужители продолжали изучать местные языки и публиковать на них книги, оставаясь на первый взгляд равнодушными к смене властителей. Даже несмотря на то, что литература на немецком языке стала обращаться к новым темам — что показывают труды Яннау,

Меркеля и Гердера, — литература на эстонском, латышском и литовском в основном сохранила прежние характеристики. Она брала начало в умах ученых, для которых эти языки были вторыми или третьими, и сохраняла много черт, присущих первому языку автора (грамматические формы и орфографию); произведения на этих языках писались как для того, чтобы предоставить материал для размышлений ученым, так и для того, чтобы создать литературу, которую могло бы читать местное крестьянство.

«Времена года» Донелайтиса — длинная поэма, написанная литовцем на литовском языке, — мирно разрушила такой шаблон, но никто не узнал об этом до начала XIX столетия. Статистика материалов, опубликованных на национальных языках побережья, показывает постоянный рост: в XVI в. нам известны 34 книги на литовском языке, в XVII в. — 58, а в XVIII в. — 304. До XVIII в. было издано менее 10 публикаций на эстонском языке, а в XVIII в. таковых уже 220. Если за период 1701 — 1721 гг. опубликовано 5 книг на латышском, то за 1721 — 1755 гг. таких книг было 55, а за 1755 — 1835 гг. — около 700.

Наряду с социальным миром побережья, стратифицированным средневековой корпоративной системой, возник интеллектуальный мир, одна из составляющих которого — литература на народных языках закрепились, возможно, не там, где следовало бы, — скорее среди носителей немецкого языка, чем среди носителей языков народных, то есть в среде эстонского, латышского и эстонского крестьянства. Существование этого компонента, как и, по-видимому, его непреодолимое распространение, стало доказательством для тех, кто пользовался этими текстами, что народные языки не обречены на то, чтобы оставаться только «крестьянскими», пригодными исключительно для ежедневных коммуникаций в сельской жизни. Ученые, сами являвшиеся аномалией в мире корпоративного общественного порядка, обогащали интеллектуальную жизнь побережья культурным компонентом, разрушавшим существующие модели представлений о том, насколько ценен каждый из языков побережья, и о принадлежности каждого из них к культурно стратифицированному обществу.

В конце XVIII в. побережье продолжало оставаться регионом, где не было единого доминирующего языка; разнообразие господствовало даже в отдельных лингвистических компонентах. Это было общество, в котором различные языковые сообщества жили бок о бок, и языковые границы нарушались лишь в случае необхо-

димости. Никаких процессов взаимопроникновения не отмечалось. Можно было наблюдать значительное количество различных языковых групп, продвигаясь из Эстонии к югу через латышскоязычные районы Лифляндии в Литву. Эстония отличалась наименьшим разнообразием: языками этой земли были эстонский, немецкий и русский, причем два последних языка использовались лишь небольшой (но могущественной) частью населения. Примерно в географическом центре провинции Лифляндия языком большинства населения был латышский, а немецкий и русский оставались на главенствующих позициях. В Курляндии, вошедшей в состав Российской империи лишь в 1795 г., ситуация была сходной: латышский, немецкий, русский с небольшой примесью польского. В Инфлянтах (Латгалии) ко второй половине XVIII в. носители латышского (латгальского варианта) языка стали составлять незначительное большинство; большую долю там составляло польское, русское и еврейское население; также присутствовало некоторое количество немецкоговорящего населения, значительно сократившееся по сравнению с XVI в. На землях бывшего Великого княжества Литовского количество языковых сообществ было наибольшим: количественно по-прежнему преобладал литовский язык, но польский отставал незначительно; немалыми были также группы населения, использующие русский, идиш и славянские языки (белорусский и украинский). Практическая необходимость не позволяла этим сообществам оставаться герметически замкнутыми, закрытыми от влияния извне, хотя большинство таких сообществ (за исключением самых маленьких) имело внутреннюю культурную жизнь, способную к самозащите от подобных влияний разнообразными способами. Лингвистическое проникновение имело одностороннюю тенденцию: так, например, эстонцы и латыши, вследствие занимаемого ими социально-экономического положения, не могли проникать в немецкоязычный мир, не став немцами, тогда как немцы, напротив, благодаря своему статусу могли проникать в эстонско-, латышско- и литовскоязычные сообщества, изучая их языки и создавая на них письменные памятники без потери собственной языковой идентичности. Сходные отношения развивались между поляками и литовцами в Великом княжестве. Единственным языковым сообществом, не принадлежавшим к элите, которое в определенном смысле могло защитить себя и выбирать способы взаимодействия с другими, было еврейское население Великого

княжества, говорящее на идише или иврите; оно имело процветающую, исторически сложившуюся и основанную на книжной культуре собственную внутреннюю культуру, которую с готовностью поддерживало. Единственный издатель еврейских книг в Речи Посполитой, Ури Бен Аарон Галеви из Жолквы, выпустил между 1692 и 1762 гг. 259 книг; после этого появилось больше еврейских издательств, и между 1763 и 1791 гг. вышло уже 781 еврейское издание.

В 30-е годы XVIII в. распространение грамотности среди крепостного крестьянства получило значительную поддержку в результате распространения пиетизма среди немецких лютеран. Это движение проявлялось в первую очередь в Лифляндии и Эстляндии, в меньшей степени — в Курляндском герцогстве и, по понятным причинам, не было характерным для Инфлянтов (Латгалии) и литовских земель. В двух последних регионах, где католицизм и тенденции Контрреформации были особенно сильны, пиетизм не имел институциональной и теологической базы. В Лифляндии (особенно в Вольмарском (Валмиерском) районе) и в Эстонии (особенно на острове Сааремаа) пиетизм несли с собой миссионеры из Гернгута в Богемии (Моравии), где граф Николай Людвиг фон Цинцендорф создал что-то вроде поселения для своих единомышленников. Латышское название этого движения — *brahu draudze*, то есть «братство», — произошло от термина «моравские братья». Сам Цинцендорф посетил побережье лишь однажды, в 1737 г.; он оставил идею распространения гернгутского учения на тех миссионеров, чье присутствие изначально приветствовалось местными лютеранскими структурами, но в конечном итоге и они попали под подозрение. «Братья» проповедовали христианство в более искренней и предположительно «более чистой» форме, с незначительным количеством формальной теологии и максимально упрощенными формами богослужения. Эта доктрина основывалась на духовном эгалитаризме, привлекательно выглядевшем для крестьян, поскольку он снижал важность и потребность разделения верующих на классы, а также другие формальные разграничения. Странники этого направления собирались для встреч в молитвенных домах, которые, в отличие от увенчанных шпилями лютеранских церквей, были лишь чуть больше жилища обычного крестьянина. К 1740 г. это движение привлекло около 4 тыс. человек среди латышских крестьян Лифляндии и, по меньшей мере, столько же эстонцев. По мере роста популярно-

сти движения лютеранская церковь стала проявлять беспокойство и, в конце концов, обратилась с соответствующей жалобой в Санкт-Петербург, после чего в 1743 г. царица Елизавета издала указ о запрещении пиетизма. Однако на протяжении периода, который «братья» называли «тихим временем», миссионерская работа среди крестьян продолжалась. Запрет пиетизма был отменен в 1763 г. императрицей Екатериной, и с этого времени до конца XIX в. «братья» оставались активной и влиятельной конфессией наряду с официальным лютеранством.

«Моравские братья» отнюдь не были такими «ниспровергателями основ», какими их изображала лютеранская церковь; в действительности в той мере, в какой они вообще имели собственную определенную социально-политическую философию, они скорее поощряли подчинение существующим властям и авторитетам. Какую бы роль ни играло это движение в обновлении лютеранской доктрины (что было частью истории пиетизма), привлекательность проповедей «моравских братьев» для крепостных крестьян состояла в другом. Выходцы из Гернгута настаивали на том, что каждый человек, независимо от социального статуса и экономического положения, может стать истинно верным исполнителем воли Божьей. Соответственно, каждому нужно уметь читать и писать; «братья» также настаивали, чтобы все вновь обращенные взрослые писали на родном языке историю «своего пути к Богу» в форме автобиографии. Подобные тексты, хотя и остались неопубликованными, определенно стали самым первым запросом письменной самопрезентации, обращенным к крестьянам; эти биографии подчеркивали ценность, которой пиетизм наделял каждую христианскую душу.

Более того, это движение предлагало своим последователям возможность интеллектуальных и духовных контактов с внешним миром: некоторые наиболее активных его члены латышского и эстонского происхождения посещали моравский Гернгут (некоторые там и остались), а отчеты о миссионерской деятельности в других частях света (особенно в американской колонии Пенсильвания) присылались во все сообщества. Это (в существенно уменьшенном виде) напоминало международные связи, которыми располагали балтийские католики благодаря организации католической церкви и тому, что ее глава находился в Риме. Значение, которое уделял пиетизм восприятию отдельного верующего, конечно, могло быть доведено до крайности: так, среди латышей

некоторые «братья» пели о пришествии «Спасителя Латвии», а в Эстонии проповедник по имени Таллима Паап предлагал игнорировать землевладельцев, поскольку те якобы являлись грешниками по своей природе. Другие «перегибы» движения «моравских братьев» включали формирование личных («сердечных») отношений, выглядящих почти по-детски в силу крайней упрощенности, а также постоянную концентрацию (почти поклонение) на крови, ранах и физических страданиях Христа. Тем не менее в более широком контексте жизни крестьян побережья XVIII в. внимание, которое «моравские братья» уделяли необходимости образования, грамотности, письменному самовыражению и духовным контактам с внешним миром, было важным, даже если и непреднамеренным преимуществом в сравнении с фаталистическими предписаниями официального лютеранства покорно принимать свое место в обществе вместе с тягостными обязанностями крепостного.

Стимулы, предлагаемые пиетизмом для того, чтобы крестьяне-лютеране учились грамоте, оставались неформальными и никак не соотносились с системой сельских школ, которая в XVIII в., по-видимому, сделала некий шаг вперед по сравнению с периодом шведского владычества. В Эстонии учительская семинария Форселиуса за четыре года своего существования (1684—1688) смогла подготовить около 160 сельских учителей. Век спустя (к 1786—1787 гг.) в Северной Лифляндии было около 275 сельских школ, а в Эстляндии — 223, однако к 1800 г. количество таких школ в Эстляндии уменьшилось до 29. Образование крестьян в Инфлянтах (Латгалия) и литовских землях столкнулось с серьезными трудностями, когда в 1773 г. папа Климент IV запретил орден иезуитов, вносивший значительный вклад в образование крестьян побережья на протяжении более чем века. Польско-Литовское государство конфисковало как школы, так и имущество ордена. Комиссия по образованию, учрежденная в 1773 г. правительством Речи Посполитой, разрабатывала грандиозные планы развития этой сферы, оставшиеся нереализованными из-за того, что многие магнаты и дворяне в принципе возражали против самой идеи образования крестьян. Благодаря энергичной деятельности генерал-губернатора Георга Брауна в сфере народного образования Лифляндия закончила XVIII в. с большим количеством школ для крестьян (на уровне приходов и городов), чем было в этом регионе в середине века. Наоборот, в провинции Курляндия, где не бы-

ло активных правителей, а рыцарства выступали против образования крестьян, количество крестьянских школ оставалось незначительным и даже уменьшилось. Согласно одной из оценок, возможно актуальной для всего побережья второй половины XVIII в., только около 4% учеников двух-, трех- и четырехклассных начальных деревенских школ получили дополнительное образование на более высоком уровне. Многие крестьянские дети получили навыки чтения и письма дома от родителей (в основном матерей) в процессе подготовки к тому, чтобы стать членами церкви; затем они дополняли эти умения формализованными инструкциями, полученными в сельских школах. Статистика грамотности этого периода отличается сомнительной достоверностью, но в целом в лютеранских районах около половины детей достигали совершеннолетия, обладая некоторыми базовыми навыками чтения и письма, тогда как в католических районах таких детей было меньше половины. Однако нигде на побережье не было системы школ, которые бы на постоянной, долговременной основе выпускали значительную массу людей крестьянского происхождения, прекрасно умеющих читать и писать на своих национальных языках и стремящихся создавать на них литературные произведения.

Был и еще более значительный контекст, в котором работали различные немецкие представители образованного сословия (*Gelehrtenstand*) и отцы-иезуиты. Состав *Gelehrtenstand* — своего рода социальной псевдокорпорации, поскольку она не давала входящим в нее никаких специфических прав или привилегий, — был смешанным, с доминированием людей с теологическим образованием, имеющих отношение к церкви. Также туда входили низшие государственные служащие, частные секретари известных людей, частные учителя в семьях землевладельцев, школьные учителя, управляющие поместьями и недавние иммигранты, не имеющие еще постоянных институциональных связей. Те немногие, кто действительно происходил из местных крестьян, предпринимали такие же попытки в литературной сфере, что и их собратья с немецкими или польскими корнями. Интеллектуалы получали университетское образование в Кёнигсберге, иезуитских университетах Вильнюса и Кракова (до 1773 г.) или в Центральной Европе, с тех пор как Дерптский (Тартуский) университет в Лифляндии был закрыт во время Северной войны, в 1710 г. Образованные люди продолжали переводить латинские, немецкие и польские тексты на эстонский, латышский и литовский языки.

Они активно переписывались друг с другом по вопросам, касающимся народных языков, и часто привлекали информантов из своих религиозных общин, используя для сбора информации способы, применяемые в полевой работе современными антропологами, стремящимися постичь тайны экзотических культур. Поскольку учебники по грамматике языков коренного населения побережья уже были написаны, новые знания можно было получить лишь в результате тщательного слушания, анализа транскрипции и составления словарей. Постоянные исследования народных языков и жизни крестьян также означали, что исследователи слушали и записывали (и часто публиковали) песни и пословицы, поговорки и легенды, а также слова, используемые лишь в XVIII в. Произведения, рассчитанные на то, что их будут читать крестьяне, имели дидактический характер и постоянно противопоставляли «нелепость» крестьянской устной традиции христианству. Однако тщательность, с которой ученые собирали элементы этой устной традиции, предполагает присутствие устойчивого научного интереса, если не искреннего увлечения ею, несмотря на уверенность в ее «неправильном» содержании.

В некоторых случаях имела место некая самоидентификация с прихожанами: наиболее известный среди лифляндских ученых, Готхард Фридрих Стендер (1714 — 1796), зашел настолько далеко, что выразил желание, чтобы на его надгробном камне было написано *Latvis* («латыш»). Дидактичность часто сочеталась с характерным покровительственным, патриархальным отношением, как если бы объекты внимания автора были детьми. Однако ни одно из упомянутых выше отношений к народной культуре не было общим для всех: Стендер, считавший себя христианином-рационалистом и искренне стремившийся к образованию крестьянства, настаивал, чтобы его прихожане отказались от устной традиции, тогда как Гердер, исследовавший эту традицию с рациональной точки зрения, считал, что она отражает душу народа, и ценил ее крайне высоко.

Конечным результатом этих литературных опытов стало собрание разнообразных переводов и произведений на национальных языках, которое нелегко четко разделить на категории. Книги эти не были органически связаны с народами, на языках которых они были написаны. Однако многие из них — особенно переводы основных христианских текстов, таких, как Ветхий и Новый Завет, сборники проповедей известных священнослужи-

телей и церковных гимнов — поколениями благоговейно хранились в крестьянских домах, невзирая на то насколько «литературный» язык отличался от разговорной версии. Трансформация разговорных языков в письменные версии сопровождалась стремлением модернизировать их с помощью грамматических форм и слов, заимствованных из более «развитых», «культурных» языков — немецкого, польского, латыни. В то же время наиболее сложные тексты (такие, как Библия) вынуждали переводчиков расширять возможности местных языков так, чтобы описывать явления и выражать мысли и идеи, никогда ранее на этих языках не описывавшиеся и не выражавшиеся. Это также вносило нововведения в народные языки.

Потребность не только переводить, но и находить способы сообщения крестьянам-читателям информации о внешнем мире стала особенно актуальной во второй половине XVIII в., когда ученые начали затрагивать совершенно светские темы и описания ежедневной жизни. Примерами таких текстов были календари и различные виды периодических изданий. Календари знакомили крестьян-читателей с иным вариантом исчисления и структурирования времени, что предполагало замену в их восприятии традиционных названий месяцев и времен года на предлагаемые, а также давали географические описания близких и далеких земель и их экзотической флоры и фауны. Периодические издания имели очень незначительные тиражи (из-за высокой стоимости производства) и рассматривали практические аспекты сельской жизни.

В эстонских землях Эстляндии и Лифляндии так называемая «эстофильская» ветвь ученых включала как людей с широкими интересами, так и менее значимых авторов. Август Вильгельм Хупель (1737 – 1804), учившийся в Йене, получил широкую известность за свое описание побережья (на немецком языке); помимо этого, он написал на эстонском несколько трудов в области медицины и сельского хозяйства и пытался создать эстонскую газету. Отто Вильгельм Мазинг (1763 – 1832), лютеранский пастор, учившийся в Галле и ставший епископом Тарту, написал в 1795 г. первый эстонский букварь и продолжал работу в сфере изучения и развития эстонского языка, в том числе основал первую эстонскую еженедельную газету (1821 – 1825). В 1782 г. Фридрих Густав Арвелиус составил сборник для крестьян «Книжечка сказок и наставлений», где проповедовал покорность и восхвалял крестьянское смирение. Среди латышского крестьянства почти на протяжении целого века

популярностью пользовались многочисленные труды лютеранских пасторов — вышеупомянутого Готхарда Фридриха Стендера и его сына Александра Иоганна Стендера (1744 — 1819), — в которых религиозно-дидактические темы сочетались со светскими мотивами в виде сочиненных авторами сказок и пьес; авторы затрагивали также повседневные проблемы сельской жизни. Сходным образом еще один лютеранский пастор, Карл Готхард Элверфельд (1756 — 1819), написал первую пьесу на латышском «День рождения», посвященную необходимости оспопрививания.

В Инфлянтах (Латгалии) отцы-иезуиты выпустили первую печатную книгу на латгальском языке — сборник гимнов, впервые опубликованный в 1730 г. в Вильнюсе и переизданный в 1733 и 1765 гг.; типично для того времени, что длинное латгальское название этой книги было дано в польской орфографии (например, с буквами *u* и *w*, которые не используются в латышском). Известный иезуит Михаил Рота (1721 — 1785), уроженец Курляндии, работал над развитием системы крестьянских школ и писал учебники на латгальском. В литовских землях литература XVIII в. на литовском языке следовала образцам предыдущих периодов. Помимо религиозных публикаций, в 1737 г. вышли основной учебник литовской грамматики (автор его неизвестен) и труды двух лютеранских пасторов из Малой Литвы (Восточная Пруссия) — Кристиана Готлиба Милке (1736 — ?) и Адама Фридриха Шиммельпфеннига (1699 — 1763), что вновь подчеркнуло значимость этого литовского анклава для развития литературы на литовском языке. Шиммельпфенниг, получивший образование в Кёнигсберге, принимал участие в переводе Ветхого Завета на литовский язык (опубликован в 1735 г.), а также составил сборник популярных гимнов на литовском (опубликован в 1751 г.). Из приблизительно 500 гимнов, вошедших в этот сборник, 200 было написано или адаптировано лично Шиммельпфеннигом. Основным трудом Милке стал литовско-немецкий/немецко-литовский словарь, вышедший в 1751 г. Основной проблемой, с которой сталкивались ученые в литовскоязычных регионах, было значительное и неослабевающее влияние, которое письменный польский язык оказывал на письменный литовский, — эта проблема гораздо проще решалась в восточнопрусском анклаве, чем в землях бывшего Великого княжества, где значительное количество магнатов и дворян были ополячены как лингвистически, так и культурно и католическое духовенство также было либо польским по происхождению, либо ополяченным.

Хотя доброжелательно настроенные к крестьянам ученые полагали, что делают все возможное в сложных обстоятельствах, к концу века их коллективные усилия, направленные на образование крестьянства, почти сошли на нет; антимонархические и антиаристократические революции привели к тому, что балтийская землевладельческая аристократия все больше склонялась к мнению, что грамотные крестьяне более склонны к мятежам и бунтам. Цензура стала более строгой, давление, оказываемое на частные и официальные публикации, — более открытым, и, соответственно, все чаще и чаще подобная литература издавалась за границей и затем тайно провозилась на побережье. Такие настроения также уменьшали желание местных властей субсидировать крестьянские школы, невзирая на повторяющиеся призывы «просвещенных» правительственных органов к развитию народного образования. К концу века мнения среди правящих элит побережья разделились — как по вопросу образования крестьян, так и по вопросу их закрепощения.



5

РЕФОРМЫ И КОНТРОЛЬ НА БАЛТИЙСКОМ ПОБЕРЕЖЬЕ (1800–1855)

Народы Балтийского побережья вступили в XIX столетие в раздробленном состоянии. Правящим социальным классам Эстляндии, Лифляндии, Курляндии, Латгалии (Инфлянтов) и Литвы пришлось столкнуться с непредсказуемостью петербургских монархов, неблагоприятными последствиями Французской революции и вторжения Наполеона в Российскую империю, падением доходности своих земель и массовым недовольством крепостных крестьян. Либерально настроенные интеллектуалы продолжали наполняли балтийское культурное пространство все более точными описаниями этих земель и сочинениями на народных языках; при

На заставке: «Эмилия Платер, ведущая косинеров в 1831 г.» (с картины Я.Б. Розна). Своей героиней ее считают в Литве, Польше, Латвии и Белоруссии.

этом многие из них выражали беспокойство по поводу того, что недовольные крестьяне недостаточно цивилизованы (то есть еще не совсем онемечены или ополячены), чтобы справиться с правами и свободами, которые они могут получить. Однако в существующей системе абсолютной монархии главными точками отсчета всегда были личность и стиль правления императора, и преобладающие темы истории побережья в первой половине XIX в. были во многих отношениях продиктованы политическими приоритетами двух царей — внуков Екатерины Великой: Александра I (1801 – 1825) и его младшего брата Николая I (1825 – 1855). Александр I гордился тем, что был западником, правящим в стиле европейского абсолютизма, что, с его точки зрения, означало поощрение реформ, особенно в сельскохозяйственной сфере. Николай был гораздо более консервативным; он стремился уменьшить автономию отдельных территорий, подчеркивая военизированный характер своего правления и стремясь усилить контроль над непокорными провинциями. Однако, поскольку ни один из них не желал делиться властью, национальные парламенты или законодательные собрания оставались явлением, неизвестным для российской системы на протяжении всего XIX в.

Автократическая политическая система оказалась одновременно и выгодной, и опасной для народов Балтийского побережья. В начале петербургское правительство старалось действовать на побережье осторожно, видя в особенностях некую модель вестернизации, но при этом оно испытывало разочарование по поводу чересчур успешного противостояния региональных властителей — знатных балтийских немцев — реформаторским усилиям царя, прежде всего Александра I. В период 1816 – 1819 гг. Александр прибегал и к увещаниям, и к давлению на балтийское немецкое дворянство Эстляндии, Лифляндии и Курляндии, принуждая его к освобождению крепостных крестьян; то есть к осуществлению столь важной реформы, что она стала возможной для проведения в большей части России (а также остальной части побережья) только спустя 40 лет. Пока же так называемые балтийские губернии — Эстония, Лифляндия, Курляндия — не демонстрировали никаких революционных намерений. С другой стороны, правительство с недоверием смотрело на ополяченных магнатов и литовское дворянство после разделов Польши. С точки зрения правительства, такое отношение было правильным в свете мощного восстания против царской власти на землях Польши и Литвы в 1830 г. Это восстание

стало серьезным вызовом для балтийских немецких рыцарств, с которым они прежде не сталкивались. Для достижения своих целей они предпочитали действовать хитростью и использовать влияние при дворе. Ответом петербургского правительства на эти события послужило усиление и ужесточение контроля в Литве (и Латгалии), а это означало, что после 1830 — 1831 гг. история побережья пошла по-разному по разные стороны оси север — юг. На севере (в Эстляндии, Лифляндии и Курляндии) большинство крестьян начали привывать к вновь обретенной свободе и новому статусу подданных царя, в то время как на юге (в Латгалии и литовских землях) старый порядок продолжил свое существование под неусыпным надзором царских чиновников и военачальников.

Исследования побережья Балтики

Опираясь на небрежно составленные записки чиновников, петербургское правительство имело в лучшем случае лишь самое общее представление о составе населения балтийских территорий, присоединенных к Империи. Такая неосведомленность не представляла проблем для администрации, интересовавшейся главным образом землями и их плодородием, границами, своевременным поступлением налогов, возможностями использования тех или иных территорий в военно-стратегических целях и сотрудничества с их правящими классами. Все эти задачи могли быть решены даже при отсутствии какой бы то ни было информации о низших слоях балтийского общества, об их языках и обычаях. Такая неосведомленность была типична и для землевладельческой аристократии побережья и городского патрициата, но была в меньшей степени присуща ученым, которые с начала XIX в. накопили большое количество сведений о местном крестьянстве. Такая информация доходила до правящих классов через фильтры привычных категорий: принадлежность к тому или иному социальному слою; свободны или несвободны крестьяне; кому они принадлежали; были ли они лютеранами, католиками, иудеями или же имели иное вероисповедание; имели ли крестьяне собственное хозяйство или батрачили. Хотя правящие классы и мыслили в этих категориях, простой народ побережья демонстрировал значительную географическую мобильность, и это нередко подмечали художники.

В документах редко появлялись общие термины, касающиеся языков, этнической принадлежности и национальности: негодующие критики, такие, как Гарлиб Меркель, используют новые термины «латыши», «эстонцы», которые редко употребляют даже крестьяне, говоря между собой. Индивидуальная информация о каждом из крестьян (даты рождения, смерти, свадьбы) была занесена в церковные приходские книги; но даже в этих документах личность крестьянина оставалась неопределенной. Крепостные крестьяне — составлявшие основное население сельской местности — не имели фамилий; мужские и женские имена были довольно однообразны и очень часто повторялись; этим именам сопутствовало обозначение местности или хозяйства, где проживал человек; и, помимо всего прочего, людей определяли по их положению относительно крестьянского хозяйства: глава домохозяйства, батрак, родственник главы домохозяйства, чужак, старик или старуха. Эти социально-экономические категории имели огромное значение для владельцев поместий, а количественная информация по каждой из данных категорий создавала представление о наличии рабочей силы.

На протяжении последних десятилетий XVIII — начала XIX в. информация о побережье становилась все более доступной для правительства, организовавшего сбор этих сведений с целью получения налогов; церковь начала улучшать методы хранения записей, а некоторые представители образованного сословия стали публиковать пространные описательные обзоры этих новых губерний. Необходимость в точных сведениях была обусловлена множеством причин. Даже несмотря на то, что век Просвещения закончился, доверие к науке, присущее мыслителям Просвещения, сохранялось в полной мере и требовало достоверной и всеобъемлющей информации по многим вопросам. В 1782 г. петербургское правительство издало закон, предписывавший составить точный реестр «душ», проживающих на территориях Эстляндии и Лифляндии, для облегчения сбора налогов. Управление поместьями также постепенно стало носить более систематический характер, поскольку доход от них уменьшался, и землевладельцы искали пути ликвидации дефицита с помощью более тщательного внутреннего учета. Церковные иерархи все чаще посещали сельские общины, требуя от приходского духовенства более аккуратного ведения статистики причастий, рождений и смертей. Эти данные, направлявшиеся «наверх» в виде отчетов, статистических данных или таблиц, стали зернами в мельнице ученых. Август Вильгельм Хупель, внесший

большой вклад в жанр описательных повествований, опубликовал такие работы, как «Топографические известия о Лиф- и Эстлянди» (*Topographische Nachrichten von Lief- und Ehstland*. Рига, 1774 — 1781) и «Статистико-топографические известия о Герцогстве Курляндском и Земгальском» (*Statistisch-Topographische Nachrichten von den Herzogthumern Kurland und Semgallen*. Рига, 1785). Курляндские чиновники Петер Эрнст фон Кайзерлинг и Эрнст фон Дершау опубликовали 375-страничный труд, названный «Описание провинции Курляндия» (*Beschreibung der Provinz Kurland*. Митава [Елгава], 1805), предназначенный Александру I, а чуть позже, в 1841 г., Х. фон Бьененштамм выпустил в свет «Новое географическо-статистическое описание императорской русской губернии Курляндия, или бывшего Герцогства Курляндского и Земгальского и его городов» (*Neue geographisch-statistische Beschreibung des kaiserlichen-russischen Gouvernements Kurland, oder der ehemaligen Herzothumer Kurland und Semgallen mit den Stifte Pilten*). Изначально эти книги носили скорее описательный, чем статистический характер, хотя в нарративной форме и давали сведения о населении городов, поместий и поселений, полученные из подушных переписей. Со временем они приобрели характер справочников, включающих таблицы и подробные списки административных единиц и статистические данные; цель этих изданий состояла в том, чтобы не развлечь читателя, а проинформировать его. В конце концов эти исследования расширились и стали специализированными, обращенными к самым разным аспектам жизни побережья. Так, например, Иоахим Лелевель (1786 — 1861) — польский историк, преподававший в Вильнюсском университете после его повторного открытия в 1803 г., — написал историю Речи Посполитой на польском языке «История Литвы и Руси» (*Dzieje Litwy I Rusi*, 1839). Также в Вильнюсском университете Симонас Даукантас (1793 — 1864) и Теодор Нарбут (1784 — 1862) посвятили много томов истории Литвы; более поздним изданием, напечатанным в Польше, стала девятитомная «История литовского народа» (*Dzieje narodu litewskiego*, 1833 — 1841).

Одновременно с приложением таких индивидуальных усилий стали возникать ученые сообщества, посвящавшие себя лучшему пониманию Балтийского побережья: в 1817 г. было создано Курляндское общество литературы и искусства (*Kurländische Gesellschaft für Literatur und Kunst*); в 1824 г. — Латышское литературное общество (*Lettisch-literarische Gesellschaft*), в 1834 г. Общество истории и археологии Остзейских провинций (*Gesellschaft für Ge-*

shichte und Altertumskunde der Osteseeprovinzen), а в 1838 г. — Ученое эстонское общество (*Gelehrte Estnische Gesellschaft*). Несмотря на то что его литовский эквивалент — Литовское литературное общество (*Litauische Literarische Gesellschaft*) — был создан намного позже, только в 1879 г., и в Восточной Пруссии, похожую роль сыграл Виленский университет, впоследствии закрытый российскими властями. Целью всех этих публикаций и обществ было в первую очередь информировать образованную часть общества, а не просвещать крестьянство; отсюда следует, что языками, на которых написаны эти работы, а также языками, используемыми учеными сообществами, были либо немецкий, либо польский. Формально эстонцев, латышей и литовцев никто не исключал ни из круга авторов, ни из состава таких обществ, но было само собой разумеющимся, что писать и участвовать в их работе они могут лишь используя один из «культурных языков».

Ученые занимали различные позиции относительно вопроса, связанного с онемечиванием и ополячиванием местного населения: они не могли прийти к выводу, следует ли считать людей крестьянского происхождения, получивших достаточное образование, изменившими также и свою национальную принадлежность. Эта тема активно обсуждалась среди немецкой интеллигенции (преимущественно духовенства) балтийских провинций (Эстляндии, Лифляндии, Курляндии), но консенсус так и не был достигнут. Более масштабная идея «духа времени» (*Zeitgeist*), порожденная подходами Гердера, а также такими интеллектуальными авторитетами, как И.Г. Фихте, к тому времени уже вобрала в себя взгляды на национальную идентичность как основу человеческой культуры. Но в Балтийском регионе эта точка зрения натолкнулась на надежды сотен тысяч эстонских, литовских и латышских крестьян, требовавших культурного равенства, в котором им отказывали высшие классы. Эти надежды можно было погасить путем систематического онемечивания тех, кому удавалось вырваться из рамок своего крестьянского сословия.

Поместья, господа и крепостные

К началу XIX в. правящие социальные классы Балтийского побережья все яснее представляли себе опасности, которые представляли для них события, происшедшие во Франции после революции

1789 г., а также реформаторские стремления царского правительства России. Впрочем они рассчитывали, что их большой опыт в переговорах с новыми государями снова позволит избежать значительных. Сохранение полного контроля над землей и проживающими на ней людьми было необходимым условием привычного образа жизни правящих классов. Насколько важными были в данном случае словесные обозначения, четко отражено в своде законов 1739 г., созданном ливонским ландратом О.-Ф. фон Розеном, где утверждалось, что «крестьяне принадлежат своему помещику телом и душой».

Подобные утверждения часто повторялись, пусть и не всегда дословно, многими единомышленниками Розена, несмотря на то что эти и сходные заявления использовали в конце XVIII в. такие враги крепостного права, как Меркель или Яннау, концентрируя на них свою критику. В XVII столетии правительство Швеции, не чуравшееся жестких политических мер в интересах государства, было, однако, потрясено той неограниченной свободой, которой пользовались эстонские и ливонские помещики по отношению к своим крестьянам. Попытки уменьшить своеволие помещиков сошли на нет к началу Северной войны, после которой Петр Великий заверил балтийских землевладельцев, что не будет вмешиваться в их отношения с крестьянами. Екатерина II также была шокирована самоуправством балтийских помещиков, хотя ее сын Павел предпочел удовлетворить их желания.

Критики крепостного права делали акцент на его эксплуататорской сущности, не обращая особого внимания на сложность и разнообразие земельных владений и сложившихся в них отношений. Поскольку основные принципы крепостничества внедрялись в индивидуальном порядке, в разных поместьях ситуация складывалась по-своему. В действительности было бы неправильно считать крепостное право некоей системой, внедряемой по единому проекту. Если абстрагироваться от частных случаев, то в земельных владениях, где проживали крепостные крестьяне, существовали некие неписанные соглашения между человеком (или семьей), владеющим, сдающим или арендующим поместье, и крестьянами, постоянно проживающими в нем. Помещик был обязан защищать своих крестьян от внешних опасностей, поддерживать порядок, осуществлять правосудие и разрешать споры, предоставлять по необходимости материальную поддержку и следить за соблюдением принятых традиций. Со своей стороны, крестья-

не обязывались платить помещику деньгами, трудом или продуктами труда; не покидать поместье без разрешения господина; не сопротивляться телесным наказаниям, когда помещик считает их необходимыми. В общем, классическая версия «поместья с крепостными» была довольно сильно похожа на средневековый манор, хотя все же многое изменилось. К началу XVIII в. земельные владения на побережье были нацелены на внешний и внутренний рынки, а не на ведение натурального хозяйства; в принципе, поместье стало довольно выгодным предприятием. Помимо всего прочего, это значило, что сельскохозяйственный труд стал в большей степени ориентированным на внешний мир, чем на нужды жителей поместья: более высокая продуктивность приносила помещику большой доход. В свою очередь, это давало владельцу поместья стимул, во-первых, расширять собственные пахотные земли, отнимая их у крестьян, и, во-вторых, максимально увеличивать рабочее время крепостных крестьян, насколько это возможно без значительного уменьшения их способности выращивать достаточное количество хлеба для собственных нужд. Логично, что помещики не хотели ослаблять крестьян слишком сильно, поскольку у них не было никакой другой рабочей силы. С течением времени землевладельцы приобрели другие права (в зависимости от региона): продавать части своих владений вместе с живущими там крестьянами; продавать отдельные крестьянские семьи; назначать местных священнослужителей; ограничивать права крестьян на охоту и рыбную ловлю в своих владениях; вмешиваться в браки крестьян; заставлять крестьян ремонтировать дороги и мосты, а также периодически вводить дополнительные трудовые повинности. Эти права, заявленные и осуществленные хотя бы один раз, имели тенденцию потом становиться постоянными, и к XVIII в. не существовало никакой внешней власти, которая могла бы ограничить жестокость и деспотизм, с которыми они воплощались в жизнь. Иностранцы, посещавшие побережье, приходили в ужас от безграничной власти землевладельцев, но любые негативные высказывания глохли — провинциальные парламенты (ландтаг в собственно балтийских провинциях и литовские сеймики) в вопросах привилегий обычно принимали сторону правящих классов.

К концу XVIII в., по оценкам, в балтийских провинциях (Эстляндии, Лифляндии, Курляндии, Латгалии) и литовских землях было около 4700 поместий. В это число входили поместья, принадлежа-

щие российской короне, отдельным лицам, не входящим в рыцарства, городам, представителям аристократии, священнослужителям, судебным чиновникам, а также благотворительным организациям. При этом право собственности на поместья отделялось от держания, и виды держаний подразделялись в соответствии с условиями пользования поместьем. Разнообразие было огромным: существовали рыцарские поместья (*Rittergüter*), являвшиеся наследственным имуществом одной и той же семьи на протяжении поколений; поместья, которые держали незнатные люди и царские чиновники; поместья, владельцы которых проживали в них, и те, которыми управляли в отсутствие владельца; собственные, арендованные и отданные в аренду поместья; части поместья, предназначенные для нужд местных и приписанных к приходу священнослужителей; аллодиальные поместья и поместья, которые не подлежали купле-продаже; доли поместий, являвшиеся либо частью прежнего поместья, либо новыми поместьями в процессе формирования, в любом случае населенные постоянно проживающими там крестьянами; поместья, которые были подарены, пожалованы, переданы по документам на время или навсегда. Эстляндские, лифляндские и курляндские поместья были в основном средних размеров — как правило, на 100 — 200 крестьянских семей, — хотя в течение XVIII в. существовала выраженная тенденция к росту небольших (с точки зрения количества душ) владений. Действительно большие поместья, населенные тысячами душ, представляли собой исключение и чаще встречались в Литве и Латгалии (Инфлянтах), чем где бы то ни было еще на побережье. В Балтийском регионе не существовало поместий, сравнимых по размеру с земельными владениями, типичными для большей части России, где порой было по 10 тыс. крепостных. Конечно, некоторые семьи магнатов владели (или держали) многими поместьями, и, таким образом, они были в ответе за значительное крестьянское население. Количество годной к использованию земли, приписанной к поместью и к крестьянским наделам, также чрезвычайно варьировало, завися от множества индивидуальных решений и обычаев. На протяжении XVIII в. имела место выраженная тенденция, особенно в частных владениях, увеличивать домен (земли помещика) за счет крестьянских наделов, что, соответственно, требовало повышения норм трудовых повинностей крестьян.

Все эти владения отличались также по составу населения. Не все проживающие в сельской местности были крестьянами, и не все крестьяне были крепостными. Квазипереписи конца XVIII в. —

введенные недавно подушные переписи — обычно начинались с категории населения, маркированной как «свободные», а эта группа населения составляла 4–5% населения каждого из поместий. В нее входили, разумеется, владелец (или держатель) имения и его семья, управляющий персонал, крестьяне, нанятые на работу в господском доме или на земле помещика, которым могла быть дарована свобода, а также не относящиеся к крестьянскому сословию ремесленники (если поместье было достаточно большим). Другие люди, решившие по различным причинам проживать на территории поместья, могли покидать его и возвращаться по желанию.

Однако большинство крестьян числились в немецкоязычных документах под рубрикой *Erbuntertänig* («находящиеся в наследственном рабстве»). Именно от условий, в которых находилась эта категория населения, больше всего приходили в ужас критики крепостного права. Это действительно были крепостные, «привязанные» к поместью и зависящие от его владельца, обязанные выполнять для него каждую неделю определенный объем полевых работ и уплачивать ежегодно (в основном продуктами своего труда) определенный оброк. Однако и крепостные делились на категории; наиболее важная разделительная линия пролегла между теми из них, у кого был земельный надел (главы домохозяйств и члены их семей), и теми, кто не имел собственного надела и перемещался между домохозяйствами в качестве наемной рабочей силы, то есть был батраком (который мог иметь семью или не иметь таковой). Далее, следует отметить слишком юных, пожилых или немощных, чтобы работать, и, в отсутствие домов призрения, сиротских и приютов и учреждений для инвалидов, «приписанных» к тому или иному домохозяйству. Для крепостного крестьянина социальным ростом становилось обретение статуса свободного человека или, если он оставался в зависимости, получение статуса главы домохозяйства; понижением же статуса становился переход в категорию безземельных работников, перемещавшихся от домохозяйства к домохозяйству внутри поместья.

Еще одним аспектом, способствующим разнообразию условий в сельской местности региона, стало наличие разных типов поселений. Определяя, сколько рабочего времени крестьяне должны отдать помещику, землевладельцы побережья должны были учитывать тот факт, что крестьяне поместья иногда жили в деревнях, иногда — на изолированных друг от друга хуторах, а иногда эти хутора были сгруппированы в небольшие поселения. Следовательно,

именно от характера населенного пункта зависело, как и кем именно в действительности исполнялись конкретные трудовые повинности. В Эстляндии, Лифляндии и Курляндии основным типом сельского поселения было индивидуальное хозяйство (ферма, хутор) или небольшая группа таких ферм, и в этом случае землевладелец имело дело с каждой крестьянской семьей в отдельности. В Латгалии (Инфлянтах) и литовских землях нормой были деревни, поэтому управляющие поместьями там имели дело не с отдельными семьями, а с коллективами. Часто сами крестьяне решали, из кого именно должна состоять «команда» работников, направляемых для выполнения той или иной задачи в поместье. В случае индивидуального хозяйства такая «команда» неизбежно должна была состоять из жителей конкретной фермы; если же речь шла о коллективе, то для ее формирования возможностей было больше. Окончательное распределение рабочей силы зависело от типа работы, требуемой в поместье в конкретную неделю, от того, нужны ли для ее исполнения крестьяне с лошадьми или же пешие работники, а также от того, кто давал этой «команде» работу. Так, отдельные крестьянские семьи или фермы получали нормы работ не в унифицированной форме, а так, что работа менялась от недели к неделе. В этом случае никогда не бывало, чтобы на какой-то неделе труд крестьян на помещика вовсе не требовался; напротив, он мог быть нужен все семь дней в неделю, особенно во время сева и уборки урожая. В конце концов, крестьянские семьи повсеместно определяли количество своих рабочих дней в соответствии с нуждами поместья — в среднем от трех до пяти дней в неделю. Зимние месяцы, когда сельскохозяйственная работа сводилась к минимуму, также не давали крестьянам передышки: господский дом необходимо было снабжать дровами из близлежащих лесов.

Во второй половине XVIII в. превалировала тенденция произвольного увеличения землевладельцами норм трудовой повинности, что предсказуемо увеличило количество побегов крепостных крестьян из своих родных поместий, а также стало причиной нескольких случаев локального сопротивления с применением насилия. Участились жалобы землевладельцев друг на друга — крестьян, бежавших из одного поместья, охотно принимали в другом. Некоторые землевладельцы принимали идею свободного рынка труда, который был им выгоден: они противостояли уменьшению наказаний за побег и одновременно высказывались за облегчение наказаний за прием беглых крепостных. Единственным совер-

шенно легальным способом избежать принудительного труда, доступным для крестьянской семьи, было перевести повинности в денежную форму, но такая практика была редкой в Эстляндии, Лифляндии и Курляндии. Кажется, это было достаточно широко распространено в литовских землях, где практика перевода трудовых норм в денежные платежи под названием «чинш» (*čīnšas*) распространилась еще в XVI столетии. Переход к денежному оброку был невыгоден землевладельцам: побережье не было в достаточной степени охвачено денежным обращением, что делало поступление денежных платежей непредсказуемым, и обычно было проще повысить нормы барщины, чем денежный оброк.

Остается неясным, а способны ли были крепостные крестьяне так построить свою трудовую неделю, чтобы следовать нормам господских трудовых повинностей и успевать обрабатывать собственные поля, обеспечивая себе достаточный запас продуктов. Все численные данные показывают, что на протяжении XVIII в. трудовые повинности росли. Однако продолжавшийся рост населения также предполагает, что все большее число жителей сельской местности в каждом поколении доживало до преклонных лет, — иммиграция на побережье была незначительной, — что, в свою очередь, указывает, по крайней мере, на стабильное, если не на улучшающееся качество жизни. Демографический подъем после губительных десятилетий Северной войны (1700–1721) был быстрым; когда побережье Балтики в конце XVIII в. вошло в состав Российской империи, ее население было больше, чем когда бы то ни было. Конечно, такая демографическая картина могла быть следствием развития навыков выживания крестьян, вынужденных мириться со своим зависимым положением. Приписываемые балтийским крестьянам непостоянство, хитрость и ненадежность — качества, на которые часто жаловались землевладельцы и ссылались иноземцы, — возможно, были необходимы для выживания в этой ситуации.

Однако, как бы ни отличались условия жизни крепостных крестьян на протяжении жизни многих поколений, большинство крестьянского населения побережья (хотя и не все население) относилось именно к категории крепостных. К началу XIX в. многие представители правящего класса соглашались, что аграрный вопрос (*Agrarfrage*) необходимо решать и что в этой сфере нужны реформы, однако не было согласия в том, что именно следует сделать. В среде рыцарств этот вопрос не очень активно обсуждался,

а мнения, выражаемые в региональных парламентах, напоминали речи в защиту старых порядков. Отмечалось, что внешняя критика крепостничества «просвещенными» мыслителями Запада была лицемерной в контексте существования рабства и работорговли на берегах Атлантики. Но, поскольку автократии Восточной Европы зависели от одобрения их действий земельной аристократией, отменить крепостное право указом сверху казалась невозможным, как это отмечала Екатерина Великая в частной переписке.

Реформирование крепостного права

Как только Александр I в возрасте 24 лет в 1801 г. взошел на российский трон, он предложил несколько проектов реформирования крепостного права в России, но предложенные изменения оказались незначительными. Тем не менее он не оставил идею проведения определенных реформ и продолжал экспериментировать, решив, что некоторые аспекты отношений между землевладельцами и крестьянами проще изменить, чем другие. Крепостное право нельзя было просто провозгласить несуществующим: против этого были как российские землевладельцы, так и все разновидности землевладельческой аристократии на Балтийском побережье, от которых царское правительство зависело в управлении приграничными западными территориями. Однако можно было проводить частичные реформы, и поэтому на протяжении почти всего своего царствования (1801—1825) Александр уделял часть своего вниманию этому делу. Вопрос заключался совсем не в одном только умиротворении крестьянских волнений. Приходилось вести также постоянные переговоры с теми, кому принадлежала власть на побережье; значительным было и давление из Санкт-Петербурга, осуществляемое через представителей царской власти, назначаемых для управления приграничными территориями.

Какими же вопросами приходилось заниматься реформаторам? Для начала — налогообложением; если балтийское крестьянство несло тяжелое бремя налогов и повинностей — трудовых, денежных или в виде натурального оброка, должна ли российская корона, хотя бы в коронных владениях, избавить их от части этого гнета? Возможно ли установить нормы, ограничивающие максимальный объем трудовых повинностей, исполнения которых

требовали землевладельцы? Как можно помешать помещикам повышать нормы принудительного труда и назначить новые повинности, не предусмотренные существующими правилами? Фактически, в Ливонии так называемый сверхурочный труд требовался от крестьян столь же неукоснительно, что и формально обязательные трудовые повинности.

Вопрос вызывало и разделение земли в поместьях на крестьянские наделы и землю, используемую для нужд помещика. Как можно было предотвратить вторжения на крестьянские наделы? Какими конкретно были права крепостных крестьян на наделы, которые они обрабатывали? Могли ли они завещать своим наследникам саму землю или же только *право* обрабатывать ее? Превосходили ли права владельца поместья все соглашения, заключенные по обычаю, что полностью отдавало крепостного крестьянина на волю помещика? Имели ли крепостные крестьяне какие-либо права на движимую собственность, нажитую тяжелым трудом, или же все движимое имущество на фермах принадлежало в конечном итоге поместью, в котором эти фермы располагались? Как насчет телесных наказаний — могли ли помещики свободно использовать их или нужны были какие-либо ограничения? И означал ли статус «наследственного рабства» то, что владелец крепостных мог продавать их, как любое другое движимое имущество, запрещать им жениться по своему усмотрению или, напротив, принуждать их вступать в брак и в остальном поступать с ними так, как если бы они ничем не отличались от домашнего скота? Наконец, вопрос состоял в том, имели ли землевладельцы право запрещать своим крепостным перемещаться: было ли это право абсолютным или существовала оговорка, что крепостной мог уйти, если он не был должен помещику?

Эти и подобные вопросы каждый раз попадали в поле зрения реформаторов, когда они ставили на повестку дня вопрос о взаимоотношениях помещиков и крепостных. Администраторы, действующие от имени и в интересах царя, как и сами землевладельцы, понимали, насколько сложной была эта проблема, — и поэтому процесс реформирования крепостного права на побережье Балтики затягивался. Местная землевладельческая аристократия предсказуемо изощрялась в проволочках, понимая: насколько быстро Александр I предложит замечательно выглядящие планы реформ, настолько же быстро он может от них отказаться. В то же время реформистски настроенные администраторы давали себе отчет

в том, что Александр всегда проявляет определенный интерес к проектам реформ, проводимых его именем и в его интересах, и поэтому продолжали оказывать давление на землевладельцев, чтобы достичь некоторых очевидных результатов. Медленный ход реформ показал пределы абсолютной власти монарха, и, что еще более важно, на протяжении всего правления Александр постоянно испытывал искушение посвятить все свое время международной политике в масштабах континента.

Тем не менее с 1802 г. серией указов петербургского правительства были наложены некоторые ограничения на беспредельные доселе возможности класса землевладельцев, однако отмена крепостного права произошла на побережье Балтики только в 1816 – 1819 гг. (в Эстляндии, Лифляндии, Курляндии), а в остальной империи — лишь в 1861 г. (тогда же это коснулось литовских территорий и Латгалии. Меры, адресно направленные на реформирование отношений в аграрной сфере, перемежались событиями, которые подгоняли или тормозили этот процесс, и неуверенность, с которой была объявлена «свобода» для крестьян, снова показала, что петербургское правительство не воспринимало Прибалтику как единое целое и что одним регионам оно доверяло больше, чем другим. То, что реформы проводились и крестьяне освобождались в различных регионах побережья в разное время, также повлияло на усиление дифференциации социально-экономического развития этих регионов в будущем.

Как упоминалось ранее, незначительное количество балтийских землевладельцев, вдохновленных идеями Просвещения или собственной совестью, сами проводили реформы в своих поместьях, но их поступки практически не имели дальнейших последствий. Первой мерой, которая должна была затронуть все крестьянство провинции, стал новый закон, касающийся крестьян, предложенный ландтагом Эстляндии и принятый Александром I в 1802 г. Эта мера последовала за серией крестьянских выступлений в Эстляндии и Лифляндии и фактически была попыткой земельной аристократии предотвратить проведение реформ более широкого спектра. Закон 1802 г. касался в основном наследования крестьянских наделов и определял, что крестьянин, в должной мере исполняющий свои обязанности по отношению к помещику (барщину, оброк), мог завещать своим наследникам право занять его надел. Хотя закон представлял собой всего лишь формализацию широко распространенного обычного права, в какой-то степени он нес

в себе потенциал ограничения производства помещиков. Однако на практике реализацию этого права было чрезвычайно сложно отслеживать, особенно если конкретный случай влек за собой судебное разбирательство, — судебная система была на стороне аристократии, и в таких случаях требовались серьезные доказательства исполнения крестьянином всех обязанностей перед господином. Неточный и иногда неписанный характер данных обязанностей сам по себе был причиной негодования крестьян, поскольку год за годом землевладельцы могли легко увеличивать трудовые повинности, назначая некие единовременные задачи, которые впоследствии становились постоянными. Крестьянину было нелегко доказать, что все обязанности и повинности им выполнены, поскольку официальные инстанции были склонны в сомнительных ситуациях отдавать предпочтение землевладельцам.

Тем не менее закон 1802 г. стал первым шагом на пути реформ, и он интенсифицировал обсуждение в лифляндском ландтаге вопроса, следует ли и ему принять схожие меры. Формализация наследственного права среди половины крестьян эстонского происхождения (проживающих в Эстляндии) скоро стала известна другой половине эстонских крестьян, живущих в Лифляндии, и в этой ситуации неизбежным казалось некоторое уравнивание их в правах. Также в Лифляндии, в латышскоязычной области возле Цесиса (Вендена) в районе Каугури, в октябре 1802 г. произошло значительное крестьянское выступление, показавшее, насколько недоверчивым стало на тот момент крестьянство. В этой области крепостные настаивали на том, что в вопросах государственных налогов и обязанностей они могут иметь дело напрямую с представителями короны. Местные землевладельцы сочли это требование невозможным, и в ответ на это против них выступила трехтысячная армия крестьян, вооруженных охотничьими ружьями, косами и кольями; пришлось вызвать регулярные войска, в результате чего двадцать два крестьянина умерли от полученных ран. Расследование инцидента показало, что более грамотные крестьянские лидеры читали в газетах о событиях Французской революции; более того, на протяжении десятилетий этот район был центром деятельности «моравских братьев», подозреваемых в том, что они прививают своим последователям дух неповиновения. Для усмирения крестьянского восстания балтийская немецкая аристократия вынуждена была положиться на регулярную российскую армию; это вмешательство повлекло за собой новую угрозу, поскольку пока-

зало, что правительство не может полностью положиться на местную землевладельческую аристократию в вопросах должного управления регионом.

После продолжительного обсуждения лифляндский ландтаг наконец предложил в 1804 г. новый закон, казавшийся необходимым в существующих обстоятельствах. Однако обсуждения в ландтаге и за его пределами показали, что для аристократов, владеющих крепостными, одним делом было принятие закона, чтобы успокоить царя, и другим — действительное воплощение закона в жизнь. Так или иначе, лифляндский закон, включивший в себя наследственное право эстляндского закона 1802 г., коснулся около 2600 землевладельцев и 500 тыс. крепостных, половина которых была эстонцами, а половина — латышами. Новый закон отступил от давнего принципа, согласно которому крепостной крестьянин был связан по закону лично с хозяином поместья; теперь считалось, что он связан с местом своего рождения. Крепостной крестьянин и его семья не могли теперь быть проданы или завещаны кому-либо еще. В дополнение к тому, что теперь крестьянское хозяйство передавалось по наследству, а крестьянин считался «прикрепленным» к местности, а не к личности помещика, закон также устанавливал правила относительно взаимодействия помещика и крепостного, осуществления местного правосудия и нормирования трудовых повинностей. Что касается правосудия, то окружной местный суд создавался в первую очередь для крестьян и разбора их жалоб; он состоял из трех человек, один из которых назначался помещиком, другой выбирался главами местных домохозяйств, а третий — батраками. Крестьяне могли также обращаться в приходский суд (термин «приходский» имел здесь скорее светское, чем религиозное значение), состоявший из четырех человек: в нем председательствовал хозяин поместья и работали три избранных крестьянских представителя. Следующим уровнем был земельный суд (*Landesgericht*), состоявший из трех землевладельцев и двух крестьян (один из них представлял крестьян коронных поместий, а другой — население частных поместий региона). Уровнем выше был высокий суд (*Hofgericht*) в Риге; в нем пришлось создать специальный департамент для разбора дел, в которые были вовлечены крестьяне. После трех жалоб на помещика, признанных судом несостоятельными, крестьянин должен был подвергнуться телесному наказанию.

Таким образом, новый закон создал официальную структуру, более приспособленную для рассмотрения крестьянских жалоб, а также признал важное различие в статусе между главами фермерских домохозяйств и батраками, хотя и не регулировал их взаимоотношения. Крестьянское крепостное население в любом районе состояло из этих двух важнейших категорий, иногда в пропорции 50:50. Условия жизни глав домохозяйств и членов их семей, согласно данной системе, теперь регулируемой законодательно, были намного лучшие, чем у батраков; последние же, вне зависимости от наличия у них семьи, служили главе домохозяйства на основе устной договоренности, обычно на протяжении года. Главы домохозяйств и их семьи обычно не трогались с места; батраки же переходили в пределах поместья от одной фермы к другой. Строго говоря, не существовало четкого разделения между «безземельными» и «имеющими землю» крестьянами, поскольку глава домохозяйства, не справившийся со своими обязанностями, также мог быть лишен надела и пополнить ряды батраков, а способный батрак, особенно женатый, мог получить от помещика надел. То есть представители обеих групп могли подниматься или опускаться по социальной лестнице, и наследование надела не было обязательным. Поскольку эти группы населения были велики, а их взаимоотношения регулировались неписаными «соглашениями», трения между ними были неизбежны, и новая судебная система признавала, что между их представителями может существовать конфликт интересов.

Трудный вопрос нормирования труда с самого начала стал камнем преткновения, поскольку нормы барщины в Лифляндии базировались на сравнительном размере и плодородности крестьянского надела и помещичьей земли. Тот, кто держал реестр распределения наделов по размеру и качеству земли, определял, сколько рабочих дней должно конкретное хозяйство поместью, должен ли конкретный крепостной являться на барщину со своей лошадью и как именно распределить работы в течение года. Все это предполагало тщательно собранную практически применимую информацию о размерах и качестве наделов и существующих нормах труда. Такую информацию не всегда было легко получить; даже несмотря на то, что к 1804 г. Лифляндия находилась под контролем России уже около 80 лет, система сельскохозяйственного труда и распределение крестьянских наделов все еще основывалась на оценках и измерениях XVII в., то есть шведского периода.

Теперь же и помещики, и крестьяне после закона 1804 г. хотели новых данных — крестьяне справедливо полагали, что за предыдущие три поколения помещики извратили существующую информацию в свою пользу; помещики же, возможно, надеялись, что переоценка и перепроверка информации окажутся такой дорогостоящей и времязатратной задачей, что реформаторский пыл петербургских властей может угаснуть. Так ли иначе, новые данные должны были вписываться в учетные книги (*Wackenbuch*) по каждому крестьянскому наделу — там должны были указываться вид и качество земли, а также характер и количество трудовых и других повинностей данного домохозяйства. Будучи зафиксированными письменно, эти нормы, в принципе, теперь должны были оставаться нерушимыми.

Меры 1804 г. принесли пользу крестьянам, но, тем не менее, это был сложный закон, включавший множество определений и механизмов разрешения конфликтов. В действительности он был настолько многогранен, что российские администраторы, которые должны были надзирать за его исполнением, часто были вынуждены полагаться на землевладельцев, лучше понимающих местные условия, чтобы убедиться, что закон исполняется должным образом. В качестве критерия хорошего внедрения закона они часто использовали количество поступающих от крестьян жалоб, хотя это не было оптимальным решением, — крестьяне могли жаловаться на множество вещей, в том числе никак не связанных с новым законом. Так или иначе, новый закон не мог быть внедрен быстро, поскольку одна из его частей — нормирование труда — зависела от переоценки помещичьей земли и крестьянских наделов. В частных поместьях это необходимое условие выполнялось в течение десяти лет или более, что давало владельцам возможность маневра. Они убеждали российскую администрацию, что в результате применения закона 1804 г. появилось четыре его версии — по одной на каждый из крупнейших районов Ливонии — и что необходимы дополнительные меры, чтобы закон в равной степени мог применяться повсеместно. В результате в 1809 г. появились Дополнительные пункты, касающиеся нормирования трудовых повинностей и определившие различные категории работников, что дало помещикам возможность требовать большего количества принудительного труда, чем они могли требовать согласно закону 1804 г. Однако после 1804 г. большинство фермерских хозяйств получили свои учетные книги; это позволило поме-

щикам заявить, что вопрос нормирования труда в их поместьях решен. Однако ни закон 1804 г., ни дополнения к нему 1809 г. не разбирали систематически вопрос «дополнительных» или «сверхурочных» работ, и эти категории были оставлены на усмотрение помещиков. Многие крестьяне чувствовали себя обманутыми, однако и надежды земельной аристократии на то, что затянувшееся внедрение законов ослабит заинтересованность царя в этом вопросе, также не оправдались.

Тем временем земельная аристократия Эстляндии и Курляндии стремилась следовать примеру Ливонии. Закон 1802 г. должен был внедряться в Эстляндии в русле лифляндского закона 1804 г., и местные землевладельцы ссылались на бедность, не дающую им возможности понести расходы по переоценке и измерению своего имущества; поэтому они просили дать им возможность использовать данные шведского периода, с тем чтобы за это время с задачей переоценки справились специальные инстанции, а крестьяне не жаловались, что при внедрении закона используются неточные данные. Петербургскому правительству план показался приемлемым, и учетные книги в Эстонии были готовы в рекордные сроки. В Курляндии ситуация оказалась более сложной. Поскольку эта провинция до 1795 г. находилась под контролем Речи Посполитой и не имела данных шведского периода, там отношения между помещиками и крепостными оставались практически неизменными и нерегулируемыми вплоть до периода Наполеоновских войн.

После 1804 г. царь Александр стал выражать крайнее беспокойство по поводу аграрных отношений на побережье Балтики, поскольку на Западе возникла угрожающая фигура Наполеона Бонапарта с его неуклонным победоносным продвижением по Центральной Европе по направлению к России. Среди реформ наполеоновской империи было освобождение крепостных во всех землях, побежденных его армией. Крепостное право было отменено в Шлезвиг-Голштинии (1805), Померании (1806) и Пруссии (1807); однако в Лифляндии даже в 1810 г. продолжалось обсуждение законов и правил в рамках крепостного права, а отнюдь не подвергалась сомнению возможность существования крепостного права как такового. Побережье Балтики оказалось вовлечено в процесс наполеоновских реформ после поражения Пруссии в 1807 г., что привело к образованию польской территории, так называемого Варшавского герцогства, которое теперь находилось

в зависимости от Франции; на этой земле немедленно началось освобождение крепостных крестьян.

В 1812 г. Наполеон вторгся в Россию, и часть его армии быстро заняла Курляндию, угрожая взять Ригу. После поражения Наполеона, во время работы Венского конгресса (1815) Александр стремился к тому, чтобы продолжать играть роль прогрессивного европейского монарха. Однако по одному пункту, очевидно отличавшему прогрессивные государства от реакционных, — факту существования крепостного права — он в собственном государстве добился лишь малых успехов. На побережье Балтики освобождено было незначительное количество населения Литвы. Однако после 1815 г. то, чего Александр действительно хотел, — отмена крепостного права — стало, наконец, восприниматься балтийскими немецкими землевладельцами не как несбыточные мечтания непредсказуемого монарха, а как неизбежная реформа — поэтому администраторы, воплощавшие в жизнь реформы 1804 и 1809 гг., задумались о более серьезных задачах. Признавая, что сам дух времени (*Zeitgeist*) требует и царь хочет не просто реформ, а реформ, включающих освобождение крестьян (*Bauernbefreiung*), ландтаги Эстляндии, Курляндии и Лифляндии начали работать над проектами, которые должны были привести именно к этому результату, ожидая, что, искусно маневрируя, они смогут создать новые законы, которые позволят не нанести катастрофического урона материальному благосостоянию правящих классов. В трех провинциях эти проекты были закончены в разное время — в Эстляндии в 1816 г., в Курляндии в 1817 г., в Лифляндии в 1819 г., и к концу второго десятилетия XIX в. к значительному числу крестьян Балтийского побережья пришла «воля». Крепостных крестьян Латгалии и большинства литовских территорий все эти освободительные реформы не коснулись; их черед пришел только в 1861 г., когда при Александре II были освобождены все крепостные Российской империи.

Отмена крепостного права в Балтийских губерниях

Реформа крепостного права на побережье не обернулась бы освобождением крестьян, если бы этот процесс не подстегивался извне нашествием Наполеона и обеспокоенностью Александра.

История законов 1802, 1804 и 1809 гг. в Эстляндии и Лифляндии позволяет предположить, что земельная аристократия рассматривала реформы и освобождение крестьян отдельно друг от друга: первые не обязательно должны были вести ко второму. Подробная история освобождения крестьян 1816 – 1819 гг. представляет собой историю переговоров в треугольнике ландтаг — местная российская администрация — петербургское правительство; и все это под действием инерции. Некоторое количество «либерально настроенных» землевладельцев полагали, что крестьян давно пора освободить, однако их голоса не были решающими. Консерваторы признавали, что освобождение становится неизбежным, и, в конце концов, проголосовали за него, но стремились добиться от реформ максимума в собственных социально-экономических интересах. Консерваторы понимали, что царское правительство обеспокоено тем же, чем и они: формальное провозглашение личной свободы крестьян может повлечь за собой значительные перемещения населения, и поэтому оптимальным было бы растянуть это освобождение во времени.

Законы об освобождении крестьян Эстляндии (1816), Курляндии (1817) и Лифляндии (1819) представляли собой обширные документы, состоящие из 600 – 800 параграфов каждый. Новые законы не были чем-то совершенно оригинальным, так как все они включали элементы более ранних законов, особенно эстонских реформ 1802 г. Хотя они и имели весьма бесславное происхождение — потому что являлись продолжением переговоров и лоббистских попыток реформаторского периода, — декларации, сопутствовавшие им, высокопарно воспевали «рождение вольностей и свобод» для крестьян. В контексте аграрной истории побережья такой слог не был уж совсем неподходящим, поскольку законы об освобождении крестьян положили конец институту, являвшемуся важнейшей частью истории Балтийского побережья на протяжении 250 лет. Тем не менее стиль, которым была подана крестьянам весть об освобождении, был труден для понимания, поскольку лишь несколько разделов новых законов были переведены на местные языки — эстонский и латышский. Эти переводы были сделаны в основном представителями лютеранского духовенства, с трудом понимавшими сложные юридические тонкости документов об освобождении. Точное значение слова «свобода» выяснялось в сотнях тысяч конкретных ситуаций с течением времени, пока все крестьяне не поняли пределов освобождения и ограниче-

ний, которые продолжали существовать. На протяжении следующих пятнадцати лет, то есть до середины 30-х годов XIX в., эти ограничения играли в ежедневной жизни крестьян гораздо более важную роль, чем обретенные «свободы».

Законы об освобождении немедленно оказали влияние почти на все аспекты жизни крепостных крестьян. В трех провинциях под его действие подпадало около 84–85% населения (в Эстляндии, согласно оценкам, 188 тыс. человек, в Лифляндии — 530 тыс. и в Курляндии 250 тыс. человек). Эти законы касались распределения собственности на земли, аренды земли в новых условиях, норм труда, который теперь не мог быть принудительным, географических перемещений крестьян и их личной идентификации, местных институтов и самоуправления, правового разрешения споров и наказаний за уголовные преступления. Три этих закона отличались датами внедрения и содержанием, но скорость их введения была различной в разных провинциях, и до конца 20-х годов XIX в. крестьяне всех трех провинций жили в примерно одинаковых условиях. Различия сохранялись, но теперь они заключались преимущественно в способах интерпретации новой ситуации земельной аристократией, сохранявшей монополию на политическую власть. Следует повторить, что наиболее заметные различия в положении теперь стали наблюдаться между латышскоязычными крестьянами, проживавшими в регионе Латгалии, входившем в Витебскую губернию, и латышскими крестьянами Лифляндии и Курляндии, а также между эстонскими и латышскими крестьянами, с одной стороны, и крестьянами литовских земель — с другой; между освобождением тех и других сменилось два поколения.

Освобождение крестьян не произошло на следующий день после издания трех новых законов — это был длительный процесс. Группы, состоявшие из глав домохозяйств и их семей, батраков и их семей, а также крестьян, напрямую приписанных к помещичьему хозяйству, должны были освобождаться по отдельности, с интервалом в шесть лет между каждой из этих групп, начиная с глав домохозяйств. Это затягивание процесса, разумеется, означало, что на протяжении некоторого времени после провозглашения нового закона крестьянство включало как «свободные», так и «зависимые» группы населения; при этом несвободные были возмущены таким неравноправием. Подобный подход к освобождению крестьян был вызван страхом, что тысячи вновь освобожденных крестьян немедленно покинут поместья и начнут искать пропитания на сто-

роне. В некоторых местах для предотвращения этого были введены специальные меры — после того, как некоторые главы домохозяйств сочли, что провозглашение свободы дает им возможность немедленно снять с себя свои полномочия вместе со всей сопутствующей им ответственностью. В новых законах не содержалось точной информации, когда и каким образом крестьяне могут требовать реализации своего освобождения. Повторяющиеся инциденты, связанные с различным пониманием буквы закона, требовали ситуативного толкования, которое неизбежно оказывалось в пользу землевладельцев. Царское правительство, достигнув своей главной цели — отмены крепостного права, очевидно, не обращало внимания на недоработки при воплощении законов в жизнь, что позволяло местным землевладельцам толковать новые законы в своих интересах. Крестьянские волнения, продолжавшиеся во всех трех балтийских губерниях в 20-х, 30-х и 40-х годах XIX в., показали, что земельная аристократия не считала вынужденное согласие на отмену крепостного права свидетельством потери своего высокого социально-политического статуса.

Несмотря на все недостатки, законы об освобождении крестьян, касавшиеся большинства сельского населения (и, таким образом, всего население) Эстляндии, Лифляндии и Курляндии, создали значительные предпосылки для множества перемен, происшедших при жизни следующих поколений. Они изменили личный статус крестьян и создали социально-экономическую среду для того, что они могли делать и могли стремиться делать в своем новом статусе, — то есть заложили основы новых возможностей и ограничений. Одним из главных ограничений стал формальный переход всей собственности на землю в руки землевладельцев. Например, в лифляндском законе этот принцип формулировался следующим образом: «Все землевладельцы Лифляндии и Сааремаа отказываются от всех прав, которые до того времени, как наследственные хозяева своих земель, имели над прирожденными крепостными на этих землях. Однако землевладельцы сохраняют в своей собственности земли, которыми могут распоряжаться по своему желанию...» Одним росчерком пера это условие уничтожило для крестьян возможность считать свои держания положенными им по обычному праву. Комментаторы новых законов объясняли, что в данной ситуации каждый получил некое преимущество: крепостные — личную свободу, помещики — право собственности на всю землю поместий. В результате

исчезло не только обычное право, но и гарантии, полученные крестьянами по закону 1804 г.: если крепостной в полной мере выполнял свои обязательства перед помещиком, он не мог быть лишен своего надела. Однако обстоятельства изменились: в принципе, землевладельцы теперь могли законным образом изгнать крестьян с их наделов по своему желанию, если, например, хотели присоединить крестьянский надел к полям помещика. Такие случаи точно имели место, но насколько часто — остается спорным вопросом. Эмпирическое изучение вопроса передачи главенства в крестьянских домохозяйствах из поколения в поколение в период 1816 — 1850 гг. показывает, что в большинстве случаев крестьянская ферма оставалась в руках одной и той же семьи и главенство в ней переходило от отца к сыну. Тем не менее надежда на справедливое отношение совсем не то же самое, что полное право владеть своим наделом, а законы об отмене крепостное право лишили крестьянина шансов на владение землей, если только он не выкупал надел у помещика в свою собственность. В первой половине XIX в. такие случаи оставались редкими.

С теоретической точки зрения законы об отмене крепостного права явно основывались на одной из версий экономического либерализма Адама Смита, работы которого часто упоминали и цитировали образованные аристократы и государственные чиновники, обсуждая новые законы. Основная идея этой теории состояла в том, что освобожденный крестьянин становится самостоятельной единицей на рынке труда, способной продавать свой труд тому, кто больше заплатит, и сможет заключить со своим работодателем договор как независимый человек. Как было сказано в курляндском законе: «С этого времени освобожденные крестьяне... и владельцы поместий должны вести себя соответствующим образом, закрепленным в договоре, подписанном обеими сторонами». Крестьяне предлагали свой труд, поместья — землю, и результатом должно было стать соглашение, справедливое для всех участвующих.

Таким образом, новые законы в балтийских губерниях должны были воплотить наиболее прогрессивные экономические идеи своего времени. В некотором смысле идея была циничной, хотя индустриалисты, появившиеся на тот момент в Англии, предполагали нечто подобное применительно к промышленному предприятию и рабочим. Некоторые либерально настроенные аристократы-землевладельцы тут же нашли в этой концепции недостатки: идея справедливого договора между традиционно всемогущим земле-

владельцем и униженным недавно «освобожденным» крестьянином казалась им малореальной, однако их возражения ничего не изменили. Более того, созданное новыми законами предполагаемое равенство было еще более подорвано утверждением, что владелец поместья имеет также право и на ту прибавочную стоимость, которую создал крестьянин, ранее работая на своем наделе. Согласно положению об «оборудовании» надела, собственностью помещика оставался не только сам надел, но и все находящееся на нем движимое имущество — домашний скот, орудия труда и т.п. Более того, идеалистическое представление о том, что крестьяне могут устанавливать договорные отношения с землевладельцами на свободном рынке труда, вступало в противоречие с тем фактом, что новый закон запрещал крестьянам пересекать границы поместья; таким образом, на практике «свободный рынок труда» был фикцией. По большей части отношения между освобожденными крестьянами и землевладельцами оставались практически такими же, как и до освобождения, за исключением того, что в обозримом будущем работа крестьянина на помещика стала не обязательной повинностью, а платой за право пользования наделом, но уже не защищенное обычным правом.

Обсуждения, предшествовавшие принятию законов об освобождении крестьян, предполагали, что результатом отмены крепостного права станет значительное улучшение экономического положения крестьян, но быстро этого добиться было невозможно. С точки зрения производительности сельскохозяйственного труда период 1820 – 1850 гг. не принес значительных результатов в сравнении с прошлыми годами; это время было отмечено плохими урожаями, продолжающимися крестьянскими волнениями, и лишь отдельными примерами улучшения сельскохозяйственной практики в некоторых поместьях, хозяева которых экспериментировали с новыми культурами и методами повышения производительности труда. К тому же представители землевладельческой аристократии балтийских губерний продемонстрировали, что плохо справляются с управлением собственными поместьями, которые были основным источником их доходов. С каждым десятилетием росло число заложенных поместий и поместий, проданных на торгах. В конце концов некоторые землевладельцы, находясь под гнетом финансовых обязательств, стали обращаться с просьбами к правительству и своей корпорации разрешить продать поместье неаристократам (состоятельным горожанам), а в отдельных

случаях, когда речь шла о маленьких поместьях, — даже амбициозным крестьянам. К 1818 г. земельная аристократия Лифляндии заложила почти треть принадлежащих ей поместий, получив от петербургского правительства займов на 7,5 млн рублей. Шестнадцать процентов лифляндских поместий были проданы за невыплату долга, и почти половиной поместий управляли люди незнатного происхождения. Законы об отмене крепостного права почти ничего не смогли сделать для того, чтобы разрешить конфликт между традиционно расточительным образом жизни земельной аристократии и уменьшающимися доходами с их поместий.

Система отработочной ренты, порожденная законами об отмене крепостного права, еще больше усилила негативную реакцию на стремление крестьян улучшить свое положение. Однако те же законы способствовали тому, чтобы на постоянной основе реализовывалась еще более ранняя реформа, а именно действовали местные и региональные суды, в которых крестьяне каким-то образом делили полномочия с представителями помещика или даже с самим помещиком. Участие в таких судах стало для землевладельцев неким компромиссом: с одной стороны, теперь помещики были освобождены от «патриархальной» обязанности осуществлять правосудие на местном уровне и самим разбирать крестьянские конфликты, а с другой — они вынуждены были унижаться, сидя за одним столом с представителями низших классов и пытаться всерьез учитывать их мнения.

В некоторых регионах старые традиции почтительного отношения к помещикам сохранялись долго, и там крестьян вынуждали выбирать представителей для участия в работе вновь созданных институтов. Тем не менее крестьянские суды стали первой ступенью последовательного и совершенно реального развития системы местного самоуправления, которое становилось обязательным. Законы об отмене крепостного права потребовали избрания местных старейшин, чьей обязанностью стало равномерное распределение общественных работ (ремонт дорог и мостов) и периодический созыв собраний, на которых решались местные проблемы — такие, как судьбы сирот и стариков, состояние общественных амбаров и т.п., — и которые ранее решались помещиком. Эти новые институты и порожденные ими практики вошли в повседневную жизнь лишь тогда, когда процесс освобождения крестьян стал подходить к логическому завершению. Если до отмены крепостного права в сознании крестьян существовали три

значимые инстанции: крестьянские фермы и наделы, поместье и его требования, местная религиозная община и религиозные обряды и формальности, то освобождение добавило к ним четвертую — местную крестьянскую общину, функционирующую как коллектив. Это нововведение оказалось особенно сложно внедрить в тех районах побережья, где на протяжении веков сложилось расселение крестьян в изолированных, рассеянных хуторских хозяйствах и где, соответственно, не существовало деревенских общин. Здесь привычка каждого главы домохозяйства иметь дело напрямую с помещиком или его представителями должна была уступить место необходимости кооперироваться и действовать совместно с главами других домохозяйств, а в некоторых обстоятельствах — и с батраками.

Законы об отмене крепостного права косвенно повлияли на самовосприятие и самоуважение крестьян. Хотя прежнее представление о классе крестьян (*Bauernstand*) не исчезло совсем, принадлежность к этому классу начала терять прежние коннотации, связанные с полным подчинением. Новые законы требовали, чтобы каждый освобожденный от крепостной зависимости крестьянин признавался обществом как уникальное самостоятельное лицо в глазах закона, способное подписывать официальные документы и заключать соглашения без посредничества «владельца». Это повысило статус мужчин, которые действительно больше не были ни в чьей собственности, однако женщин, какой бы статус отныне ни приобрели они формально, продолжали представлять в официальных инстанциях их отцы, мужья, братья или другие родственники мужского пола. Представители обоего пола должны были теперь иметь собственное уникальное имя, используемое в официальных инстанциях, и поэтому сотни тысяч крестьян в Эстляндии, Лифляндии и Курляндии должны были взять себе фамилии. Некоторые крестьяне уже имели их, но большинство представителей этого класса фамилий не имело. Процесс приобретения фамилий, как и другие последствия принятия законов об отмене крепостного права, затянулся до 30-х годов XIX в. в какой-то степени потому, что в курляндский закон не было включено требование об обязательных фамилиях, тогда как в остальной Прибалтике оно наличествовало и соблюдалось. Во время переходного периода (ок. 1816 – 1835) многие крестьяне сохраняли прежние имена, тогда как другие приобрели новые. В официальных записях сохранялась путаница, поскольку не все крестьяне помнили, какую именно фамилию они

выбрали или получили; в этих случаях они продолжали использовать старые имена и прозвания, тогда как в официальных документах они назывались по-другому. Фактически, различные местные переписи (например, подушные) на протяжении некоторого времени продолжали одновременно использовать старые и новые имена крестьян, пока те не привыкли, наконец, к своим новым фамилиям. Процедура обретения фамилии приобрела широкий масштаб, но в большинстве случаев фамилия начинала требоваться с того момента, когда крестьянин официально освобождался от крепостной зависимости. К этому моменту от крестьянина требовалось либо выбрать себе фамилию, либо принять ту, которую ему дадут местные власти. Раньше большинство крестьян были известны по именам, под которыми их крестили; к имени добавлялось название хозяйства, в котором они жили. Теперь же к имени, получаемому при крещении, добавлялась новая фамилия, а название хутора или деревни отпадало. В действительности же большинство крестьян, если им предоставляли выбор, предпочитали выбирать в качестве фамилии именно название своего хутора или деревни; если же фамилии давали «сверху», то это делалось достаточно произвольно. В латышскоязычных регионах духовенство убеждало прихожан избегать фамилий, звучащих «по-немецки», очевидно ожидая, что крестьяне в массе начнут стремиться брать фамилии, ассоциирующиеся с более высоким социальным статусом. Если в этот процесс вовлекались помещики, то фамилии, даваемые крестьянам, зачастую зависели от барской прихоти. Тем не менее этот аспект освобождения усилил в восприятии многих крестьян чувство, что пришло новое время, — не только потому, что теперь они были свободными, но и потому, что получили в глазах закона статус самостоятельных личностей. Поколения латышей и эстонцев, рожденных во время периода освобождения, в большинстве случаев легко адаптировались к своим новым именам, хотя на протяжении XIX в. властям и поступало множество обращений с просьбами изменить недавно полученную фамилию на более подходящую.

Восстание 1830–1831 гг. в литовских землях

Хотя в сельских местностях Эстляндии, Лифляндии и Курляндии на протяжении десятилетий после формального освобождения крестьян происходили локальные беспорядки, контроль петербург-

ского правительства над этими землями всегда был прочным. Беспорядки носили характер случайных инцидентов, были реакцией на неправильно понятое нововведение, и они легко прекращались после минимального применения силы или даже одной ее демонстрации. Претензии недовольных не носили идеологического характера, хотя во многих случаях можно было заметить желание более значительных перемен. Совершенно точно в этих случаях не поднимались вопросы политического самоопределения и собственной государственности — эстонские и латышские крестьяне были далеки от подобного радикализма. Балтийская немецкая землевладельческая аристократия — единственный класс, который мог бы интересоваться столь высокими материями, — также ни в коей степени не была настроена их рассматривать, особенно в правление консервативно настроенного брата Александра I — Николая I, вступившего на российский престол в 1825 г.

Основной целью правящих классов в балтийских губерниях было сохранить привилегии, дарованные им ранее; более того, в течение XIX в. все больше балтийских немцев из среднего сословия и высших классов стремились поступить на государственную службу Российской империи, чтобы сделать карьеру; петербургское правительство, в свою очередь, нуждалось в образованных «выходцах с Запада». Правительство намеревалось расширить бюрократические институты в Прибалтике, хотя бы и в отсутствие национального парламента; царское правительство сталкивалось с определенными сложностями, связанными с эффективным управлением расширяющейся многонациональной империей, поэтому нуждалось в образованных и талантливых людях на всех уровнях. Первым царем, серьезно задумавшимся над вопросами внутреннего управления, был Николай I (1825 – 1855), а его сын Александр II продолжил усилия по централизации страны и координации внутреннего управления. По иронии судьбы в 40-х годах XIX в. не только балтийские немцы, но и многие эстонские и латышские крестьяне примирились с российской гегемонией; при этом, в отличие от высших классов, примирение произошло не по карьерным соображениям — дело было в том, что они стремились избавиться от отработочной ренты. В надежде получить собственную землю, балтийские крестьяне массово переходили в православие. К 1848 г. в Лифляндии около 65 600 эстонцев и 40 400 латышей сменили конфессию (согласно оценкам, их число составило 16 – 17% всех христиан балтийских губерний).

Эта тенденция не коснулась Курляндии, где православные священники проявляли нетерпимость к любым новообращенным, перешедшим в православие.

В десятилетия, последовавшие за Наполеоновскими войнами, литовские земли стали значительно отличаться от других балтийских территорий — это проявлялось в процессе освобождения крестьян, в реализации реформ, в массовом переходе населения в православие и т.д. Конечно, крестьяне, говорившие по-литовски, теперь проживали в трех или четырех примыкающих друг к другу губерниях (а также в Малой Литве в Пруссии), и их ежедневная жизнь определялась различными административными практиками и правилами. Большинство литовских крестьян оставались крепостными до 1861 г.; вся территория бывшего Великого княжества Литовского имела меньше городов, чем другие балтийские губернии; римская католическая церковь по-прежнему оставалась здесь могущественной силой; существовавшее ранее этническое и лингвистическое разнообразие, характерное для Великого княжества Литовского до разделов Речи Посполитой, оставалось столь же значительным и даже увеличилось вследствие экспансии пришлого населения. В отличие от Эстляндии, Лифляндии и Курляндии, здесь недовольной русским правлением была одна значительная социально-экономическая группа населения — дворяне-землевладельцы. Ее происхождение было трудно определить: большинство дворян полонизировались как с точки зрения языка, так и культуры, и было бы нелегко провести границу между собственно литовским и определенно польским самосознанием, если речь шла о дворянстве. Связи между польскими и литовскими землевладельцами Речи Посполитой были глубокими и касались как генеалогии и языка, так и культуры в целом. Для людей извне, и особенно представителей российской администрации, различия между ними были неясны и в конечном итоге не важны. Однако дворянство, как и представители некоторых семей магнатов, имело выраженную историческую память: Речь Посполитая распалась всего лишь поколение назад, в 1795 г. Многие из них сохранили «остаточную лояльность» этому независимому государству, хотя за прошедшие десятилетия такое чувство и сгладилось. Более того, потомки последнего поколения, заставшего это государство, выросли в Европе, где витали революционные идеи, Наполеон только что значительно изменил жизнь в Центральной Европе, и здесь развивался политический либера-

лизм. Краткое присутствие Наполеона в Прибалтике, фактически, закончилось в 1815 г., когда было создано так называемое Царство Польское, так что восстановление прежних политических форм не могло произойти нигде, кроме фантазий. Другими словами, у петербургского правительства были серьезные причины не доверять политическим элитам приграничных польских и литовских земель, и недоверие это оставалось вполне актуальным в третьем десятилетии XIX столетия.

Александр I, однако, обращался с бывшими территориями Речи Посполитой в некоторой степени милостиво, видя возможность поэкспериментировать с конституционализмом, как он экспериментировал в балтийских губерниях с аграрными реформами. Игнорируя подозрительность своих приближенных, он был толерантен к польской Конституции и не стремился русифицировать судебную и образовательную систему Царства Польского. Несколько высокопоставленных польских аристократов могли в какой-то степени влиять на политику Александра в этих приграничных территориях. Однако такой либерализм практически не умиротворил дворянство, и в первые два десятилетия правления Александра продолжали расти антиимперские настроения, особенно среди молодых людей, учившихся в Виленском университете или окончивших его. Деятельность некоторых из этих конспираторов, например так называемых филоматов*, была раскрыта и жестоко подавлена, что, в свою очередь, поддержало репутацию российской администрации как угнетающей силы. Это вмешательство правительства представляло собой российскую версию антинационалистической политики, проводимой в Европе министром иностранных дел империи Габсбургов Клеменсом фон Меттернихом, считавшим все проявления национализма в постнаполеоновской Европе опасными для порядка, установленного в 1815 г. Венским конгрессом. «Система Меттерниха» была направлена главным образом на высшее образование на территориях Германии и Австрии.

На польских и литовских землях антирусский национализм привлекал таких будущих светил национальной культуры, как поэт Адам Мицкевич (один из основателей общества филоматов), выдающихся профессоров и даже иерархов католической церк-

* Тайное «Общество филоматов» возникло в среде студентов и преподавателей Виленского университета. Репрессии против его участников прошли в 1823 – 1824 гг.

ви. По-настоящему сильной оппозиция царской власти стала в 20-е годы XIX в., особенно после того, как относительно толерантный режим Александра I сменился в 1825 г. консервативным правлением Николая I. В конце концов, деятельность оппозиции была подхлестнута событиями во Франции 1830 г., когда восстановленная на троне династия Бурбонов была сброшена и заменена так называемой буржуазной монархией Луи Филиппа. Польские политические беженцы во Франции сообщали своим братьям на родине о том, что реакционные режимы снова оказались в обороне. В ноябре 1830 г. в Царстве Польском началась открытая борьба против российского присутствия — как политического, так и военного; к марту 1831 г. конфронтация перекинулась и на литовскую территорию. Однако и там, и там борьба закончилась к октябрю 1831 г., когда «революция» потерпела поражение.

Хотя на протяжении четырех-пяти месяцев литовские «революционеры» провозглашали, что контролируют ситуацию, их успехи были иллюзорными: во-первых, они не были готовы к продолжительной войне; во-вторых, их цели были нечетко сформулированы. Революционеры вступили в фазу военных действий внутренне разобщенными, как это было и в предшествующие годы. Некоторые из повстанцев считали, что сражаются за восстановление Речи Посполитой, другие верили, что на освобожденной территории появятся прежние границы между Польшей и Литвой, а третьи полагали, что в результате их действий появится новое польское государство. Некоторые же из сражавшихся в литовских землях думали, что борются за освобождение Литвы как от поляков, так и от русских. Цели восстания в литовских провинциях были особенно туманными, поскольку среди его участников находились те, кто, хотя и владел в равной степени польским и литовским языками, культурно и социально были ближе к Польше, чем к литовскому крестьянству.

Помимо этого, в Литве отсутствовала сколько-нибудь постоянная вооруженная оппозиция российским войскам, и оружия было недостаточно. Более того, литовские крестьяне быстро прекратили поддерживать освободительное движение, как только стало ясно, что дворянство не заинтересовано в какой бы то ни было аграрной реформе, не говоря уж об отмене крепостного права. В результате к осени 1831 г. восстание потерпело поражение как в Польше, так и в Литве, его лидеры либо были арестованы, либо бежали за границу (в основном во Францию), и ни одна из целей восстания не была

достигнута. В Виленской губернии под судом оказалось 3880 повстанцев; 150 поместий было конфисковано. За этим последовали вполне предсказуемые репрессивные меры российского правительства. Были введены новые налоги, расширена цензура, польская монархия отменена как явление, остатки польской армии распущены*. В литовских землях в 1832 г. был закрыт Виленский университет, а в 1840 г. отменен Третий Литовский статут, замененный российским законодательством. Русский язык стал официальным для всех структур и всего делопроизводства, и вскоре все главенствующие позиции в этих губерниях заняли русские. Цензура проникла и в сферы влияния католической церкви, в результате чего проповеди стали подвергаться проверкам, а монастыри закрылись. В 1840 г. Николай I потребовал, чтобы термины «Литва» и «Белоруссия» не использовались более в официальной переписке применительно к западным губерниям. Повторение названий девяти губерний, на которые делились теперь Польша и Литва, — Гродненской, Киевской, Ковенской, Минской, Могилевской, Подольской, Волынской, Виленской и Витебской — было направлено на то, чтобы стереть из официального употребления прежние обозначения территориальных единиц и устранить возможность налаживания связей между новыми административными единицами. На севере балтийским губерниям Эстляндии, Лифляндии и Курляндии было разрешено сохранить исторически сложившиеся до присоединения к России территориальные обозначения, однако новые названия литовских земель, принятые после 1830 г., были направлены на то, чтобы стереть историческую память.

Одна из новых административных единиц, на которые были поделены земли бывшего Великого княжества Литовского, — Витебская губерния стала играть для латышского населения ту же роль, что и Малая Литва на территории Восточной Пруссии — для литовцев. Бывшая Польская Ливония — Инфлянты (Латгалия) — была присоединена к Витебской губернии, представляя собой самые западные ее районы (около одной трети провинции). В этих районах проживало около 190 тыс. крестьян, говоривших на диалекте латышского языка. Вряд ли российская администрация понимала это обстоятельство или беспокоилась об этом, поскольку она име-

* По царском манифесту 1832 г. («Органический статут»), корона Царства Польского становилась наследственным владением российских императоров, польская армия упразднялась.

ла дело в первую очередь приблизительно с 280 поместьями этого региона, владельцами и арендаторами которых были полонизированные немецкие семьи, прибывшие позже русские дворяне и несколько польских магнатов. Несколько латгальских землевладельцев, вдохновленных примером отмены крепостного права в соседних провинциях — Эстляндии, Лифляндии и Курляндии в 1817—1819 гг., разработали собственный проект освобождения крестьян и даже добились того, что Александр I одобрил эту идею, но проект остался нереализованным из-за глубоких разногласий между его инициаторами по поводу того, как именно следует его осуществлять. Соответственно, сельская местность Латгалии так и осталась «нереформированной», и в правление Николая I российская администрация относилась к этому региону, как к другим литовским землям, то есть как к «подозрительным», из-за польского влияния. Восстание 1830—1831 гг. имело в Латгалии незначительный резонанс как среди крестьян, так и среди землевладельцев, но, поскольку эта земля относилась к числу давних территорий Речи Посполитой, ее стали воспринимать как возможный очаг сепаратизма.

Помимо необходимости тщательно присматривать за латгальскими землевладельцами, царская администрация была вынуждена иметь дело с таким институтом, как Римско-католическая церковь, которая на протяжении двух последних столетий была неотъемлемой частью жизни простого народа Латгалии. Согласно оценкам, в 40-е годы XIX в. ее население составляли около 65% католиков, 12 — старообрядцев, 11 — православных, 7 — иудеев и 4% лютеран. Политика русификации, направленная на литовские земли после восстания 1830—1831 гг., распространялась и на территорию Латгалии, где в основном она сосредоточилась на уменьшении влияния католической церкви и общих мерах предосторожности. Сотни тысяч местных крестьян-католиков нельзя было насильственно обратить в православие, однако поощрялась иммиграция на эти земли православных крестьян — ожидалось, что в результате браков между представителями этих конфессий дети будут воспитываться в православии. Невозможно было просто закрыть крестьянские школы, чтобы уменьшить губительное воздействие католицизма и польской культуры, но можно было сделать языком преподавания русский, а также создать параллельную систему русскоязычных сельских школ. Имущество церкви нельзя было просто «национализировать» росчерком пера, но, по-

степенно закрывая монастыри, можно было лишить церковь значительной доли ее собственности. Католическое духовенство нельзя было просто изгнать из страны, однако можно было ограничить его деятельность, в частности ограничивая переписку священнослужителей с Римом и определяя, как часто они могут выезжать за пределы своих приходов. Проповеди нельзя было запретить, но возможно было подвергнуть цензуре, и в результате католические священники должны были публично молиться за успехи политики царского правительства — например, за успешное подавление восстания 1831 г. Эти меры, принимаемые одна за другой, вынудили папство после 1831 г. разработать секретные инструкции, направленные на то, чтобы церковь могла выполнять свои функции, особенно когда в 40-х годах XIX в. давление правительства стало особенно сильным, предусматривавшим даже наказания для землевладельцев, помогающих церкви. В 1847 г. папа Григорий XVI и Николай I подписали соглашение о положении католической церкви в Российской империи, но это почти не изменило политику российского правительства, поскольку некоторые положения данного соглашения полностью игнорировались царскими чиновниками. Продолжало углубляться культурное, экономическое и социальное отделение латышского населения Лифляндии и Курляндии от населения Латгалии, так что спустя поколение деятели латышского националистического движения вынуждены были снова открывать языковое родство между ними и крестьянами, живущими за границей Витебской губернии.

Патронат и клиентская зависимость в сфере культуры

Консервативное правление Николая I (с 1825 г.) все больше характеризовалось триадой православие – самодержавие – народность, и политика русификации литовских земель была выражением этого принципа. Тем не менее история в разных регионах России существенно различалась, и повсеместное насаждение единообразия было невозможным. На Балтийском побережье, помимо прочего, в середине XIX в. происходили интересные изменения в отношениях между существующими культурным элитами — балтийскими немцами и поляками — и народами, воспринимающими их культуру, то есть эстонцами, латышами и литовцами. Российская

администрация не проявляла особенного интереса к этим взаимоотношениям, удовлетворяясь тем, что на вверенной ей территории поддерживался мир, и политическая цель контроля над этой местностью казалась достигнутой. Однако нерусское население упомянутых регионов было связано друг с другом различными способами помимо социально-экономического взаимодействия, и ослабление этих связей в результате отмены крепостного права в Эстляндии, Лифляндии и Курляндии распространялось на другие сферы жизни.

Так, поколение эстонцев и латышей, родившихся в период отмены крепостного права (1816—1819), выросло в обществе, где не были настолько актуальны прежние обычаи почтительного преклонения перед высшими классами. Образованное сословие в среде балтийских немцев понимало это: вопрос онемечивания крестьянства оставался дискуссионным; некоторые настаивали на внедрении масштабной программы, направленной на реализацию этой задачи, тогда как другие (последователи Гердера) считали своим почти религиозным долгом поддерживать и развивать эстонский и латышский языки и фольклор. Теперь, вступая в преклонный возраст, Гарлиб Меркель, яростный обличитель крепостничества конца XVIII в., в 1820 г. писал, что просвещение крестьян представляет собой угрозу; он боялся, что оно может привести к появлению нежелательных «сепаратистских» настроений среди образованной деревенской молодежи. В 1820—1855 гг. не отмечалось появления новых *dramatis personae* (лат. действующих лиц) в культурной жизни балтийских губерний, однако некоторые изменения все-таки имели место. Высшее образование получало все большее число людей эстонского и латышского (и, соответственно, крестьянского) происхождения; все больше таких людей писали и публиковали произведения на родном языке; они выражали согласие со стремлениями своих коллег — ученых из числа балтийских немцев, — озабоченными проблемами образования для крестьян и выпуска художественной литературы на местных национальных языках, и они все больше были склонны полагать, что стремление к интеллектуальной жизни не нуждается в оправданиях. Они почти не имели отношения к борьбе за власть между российской администрацией и балтийскими немецкими рыцарствами; их борьба за свои права происходила на более низком уровне.

Обозревая ежегодно состояние «нашей латышской» или «нашей эстонской» литературы, балтийская немецкая пресса исполь-

зует местоимение первого лица, подчеркивая определенное чувство «собственности» на нее, — балтийские немцы создали эту литературу, «взращивали» ее и, соответственно, в каком-то смысле чувствовали себя ее «собственниками». Первое поколение образованных эстонцев и латышей, стремившихся писать на родном языке, практически в полной мере разделяло это мировоззрение, и увеличение их числа не порождало пока другого отношения, однако эта ситуация повлекла за собой некоторые психологические изменения. Для большинства ученых из числа прибалтийских немцев, пишущих на латышском или эстонском о жизни в указанных регионах, это занятие носило характер хобби; однако для литературно одаренных латышей и эстонцев (число которых могло расти там, где система сельского образования справлялась с задачей обучения всех, кто к нему стремился) создание работ на родном языке воспринималось как некая миссия (*Sendnung*). Никто из людей такого происхождения не сталкивался ранее с подобной задачей, и никто, соответственно, не мог предсказать результат такой деятельности.

В Эстляндии, Курляндии и Лифляндии к балтийским немцам относились как к покровителям местной культуры: именно они в 1822 г. начали выпускать первую газету на латышском языке — *Latviešu avīzes* («Латышская газета»), а инициатором этого начинания стал лютеранский пастор К.Ф. Ватсон. Балтийские немцы, состоявшие в Обществе латышской литературы, основанном в 1824 г., писали обширные сочинения, посвященные латышскому языку и фольклору; в качестве участников так называемой группы эстофилов в Эстляндии и эстоноязычной части Лифляндии они выступали за сохранение и развитие эстонского языка и фольклора. Владея обширными библиотеками и работая в качестве учителей в крестьянских школах, они снабжали своих лучших учеников книгами, чтобы подготовить их к получению высшего образования. Институт подготовки учителей для сельских начальных школ был основан в университетском городе Дерпте в 1828 г.; аналогичный институт, возглавленный латышом по происхождению Янисом Цимзе (1814 – 1881), был основан в Валке в 1839 г. Оба учреждения финансировались с помощью лифляндской аристократии и других частных пожертвований; в них получили образование сотни учителей приходских школ. Ведущее образовательное учреждение в балтийских губерниях — университет — также располагалось в Дерпте (Тарту); он был снова открыт Александром I

в 1802 г. после векового перерыва, последовавшего за его закрытием во время Северной войны. Возглавляемый Георгом Фридрихом Парротом (личным другом Александра I), Дерптский университет хорошо финансировался на протяжении XIX в. и собрал под своим крылом множество известных ученых из числа балтийских немцев, также рекрутируя и выдающихся ученых из других частей Европы. Именно благодаря Дерптскому университету молодые латыши и эстонцы в 30–40-е годы XIX в. стали стремиться к тому, чтобы получить более глубокое образование, а не ограничиваться тем, что им предлагают институты по подготовке учителей. Хотя число таких латышей и эстонцев в эти десятилетия оставалось незначительным — возможно, их было несколько десятков, — но по сравнению с недавним и давним прошлым даже оно выглядит впечатляюще.

Каким бы ни было число высокообразованных эстонцев и латышей, сам факт наличия представителей местного населения с *университетским образованием* был беспрецедентным и почти невообразимым, так как являлся угрозой культурной гегемонии балтийских немцев с их тесными связями с культурой Центральной Европы. Местные «правила» социально-экономической мобильности оставались неизменными: на определенной стадии образования и личного развития от человека ожидалось, что он оставит свое прошлое позади и перейдет — социально, лингвистически и культурно — на другой уровень, представленный основными институтами, сложившимися на побережье Балтики. Следовательно, научный интерес к местным культурам мог в этом случае рассматриваться с совершенно новой точки зрения. Карьеры таких молодых латышей, как Анзис Ливентальс (1803–1877), Анзис Лейтанс (1815–1874), Янис Рюгенс (1817–1876) и Эрнестис Динсбергис (1816–1902), шли по одному и тому же пути: их исключительные способности были замечены учителями в школьные годы; учителя уговаривали их не бросать обучение слишком рано (что было характерно для крестьянских семей); их обучение финансировалось родителями, родственниками или покровителями; далее они профессионально развивались в таких практических сферах, как медицина, обучение, юриспруденция, работа в местных органах управления; всю жизнь они писали на латышском языке и публиковались в таких изданиях, как «Латышская газета»; они женились на девушках из латышских семей со схожими стремлениями или же из семей балтийских немцев. Такие на первый взгляд ничем

не примечательные биографии, однако, могли включать в себя важные достижения; так, например, Фридрих Рейнгольд Крейцвальд (1803 – 1882), родившийся в Эстонии в семье крепостных крестьян и получивший степень доктора медицинских наук в Дерпте в 1826 г., в период с 1853 по 1862 г. собирал и публиковал эстонский фольклор, что завершилось изданием эпической поэмы «Калевипоэг» («Сын Калева»). Друг и коллега Крейцвальда, Фридрих Роберт Фельман (1788 – 1850), который родился в семье управляющего помещьем в Эстонии и также получил степень доктора медицинских наук в Дерпте в 1824 г., развивал направление кардиологии, хотя большую часть жизни он писал об эстонском фольклоре, языке и эпической поэзии.

Для этого поколения была характерна еще одна черта: мало кто из его представителей был известен как автор лишь одного литературного произведения. Творя на родных языках, они пробовали себя во множестве жанров: поэзии, прозе, переводе, научно-популярных произведениях. Их отношения с коллегами из числа балтийских немцев, которые также писали на местных языках и продолжали финансировать ученые сообщества, чтобы представить их труды перед публикой, оставались дружелюбными, но для наиболее талантливых из них стало ясно, что в явном покровительстве больше нет необходимости.

В Литве период с 1820 по 1850 г. нельзя назвать временем, последовавшим за освобождением крестьян, так как на этих землях крепостное право не было отменено, и, как уже было сказано, российское правительство особенно тщательно контролировало данные территории (в ответ на восстание 1830 – 1831 гг.). Несмотря на другой социально-экономический контекст, культура в Литве во время правления Николая I продолжала развиваться по-старому и знаменовалась значительными достижениями, подчеркивавшими сходство и различия между Литвой и балтийскими губерниями. Закрытие Виленского университета стало ощутимым шагом назад с точки зрения развития высшего образования на литовских землях; в то же время многие из тех, кто стремился получить такое образование, казалось, не чувствовали себя ущемленными. Литовская литературная деятельность в основном концентрировалась в Жемайтии, где литовский, без сомнения, оставался языком крестьян и мелкопоместного дворянства (везде на землях бывшего Великого княжества Литовского литовцы говорили, в зависимости от региона, на литовском, белорусском, русском или польском языке).

В период с 1820 по 1850 г. на литовском языке писали и издавались около двадцати человек. Биографии трех наиболее известных из них показывают, как нелегко им приходилось. К примеру, Дионизас Пошка (1757–1830), происходивший из семьи мелких дворян Жемайтии, пробовал себя в разных занятиях, но, в конце концов, посвятил жизнь работе судебного чиновника и нотариуса. Он не окончил университет, но продолжал переписываться с профессорами Виленского университета (до его закрытия) на темы, связанные с лингвистикой, поэзией, археологией и другими гуманитарными науками. Симонас Даукантас, родившийся в крестьянской семье в Жемайтии, получил степень магистра в Вильнюсе в 1825 г. и на протяжении следующих пятнадцати лет работал переводчиком у генерал-губернатора Риги, а также на сходных должностях в Санкт-Петербурге. Его карьера писателя характеризовалась самоограничением: он категорически отказывался писать на польском языке, но, несмотря на свое решение, стал первым литовцем, опубликовавшим написанную на литовском языке историю Литвы (1822) и историю его родины, Жемайтии (1838). Также в сферу интересов Даукантаса входило коллекционирование литовских фольклорных сказок и песен. Мотеюс Валанчюс (1801–1875) более эффективно способствовал адаптации польской культуры в Литве. Он переделал на польский лад свою фамилию, став Волончевским, принял сан католического священника, впоследствии стал ректором нескольких семинарий и в 1850 г. был рукоположен в сан епископа Жемайтии. Он писал на многих языках; его труды на литовском отличались динамичным стилем, легким для восприятия читателей. На протяжении всей жизни Валанчюс писал книги и рассказы на литовском, затрагивая множество различных тем, включая историю его епархии; также его перу принадлежали религиозные труды, посвященные Иисусу и святым; он акцентировал внимание на жизни Фомы Кемпийского. Также Валанчюс создавал художественные произведения для крестьян и книги для детей; его творчество характеризовалось реалистичным изображением деревенской жизни в Литве. Он полностью отказался от политической темы, что было успешной стратегией выживания для католического иерарха в годы правления Николая I. Тем не менее Валанчюс должен был понимать, что его многочисленные литературные опыты на литовском языке имеют культурно-политическое значение, учитывая и доминирование польскоговорящих клириков в литовской католической церкви, и усилия

царского правительства минимизировать опасность, исходящую от сохранения самобытной культуры на бывших территориях Речи Посполитой.

Сложившийся феномен одновременного культурного покровительства и культурного заимствования, неразделимых, как две стороны одной медали, нельзя было отменить царским указом: они отражали настроения, сложившиеся в результате отсутствия баланса политической и экономической власти на побережье Балтики. Жизнь отдельных эстонских, латышских и литовских авторов демонстрирует примеры уверенной культурной самоидентификации и уверенности в собственной культуре, и наличие подобных писателей говорит о становлении их читательской аудитории; однако их количество еще не достигло критической массы, позволяющей говорить о литовском, латышском или эстонском образованном сословии. Чтобы получить должную оценку своих трудов, они должны были возвращаться в уже сложившихся кругах немецко- или польскоговорящих интеллектуалов. Последние, в свою очередь, в этот период были больше озабочены своей ролью защитников и хранителей западной культуры во все более и более агрессивном русскоязычном политическом контексте, включавшем систему цензуры, распространявшейся на все публикуемые издания (возможно, наиболее жестокой эта цензура была именно в литовско-польских землях), и растущее беспокойство представителей российской администрации относительно того, что западные приграничные районы могут быть слишком подвержены сепаратистским порывам.

В дополнение к этому, образованные потомки крестьян испытывали сильный соблазн, связанный с практической стороной жизни: Россия нуждалась в специалистах всех видов и уровней, работу можно было найти если не в Балтийском регионе, то, во всяком случае, в растущих центрах Империи, поэтому добровольное восприятие русской культуры было теперь не сложнее, чем добровольное онемечивание или ополячивание. Приверженность языку предков, упорное создание произведений на нем на протяжении десятилетий, готовность заимствовать культуру высших классов — все это требовало от носителя упомянутых ценностей особой концентрации, которую нелегко обрести и поддерживать. Исключения уже существовали: Донелайтис, написавший (но не опубликовавший) труд, ставший позже одним из краеугольных камней современной литовской литературы; Индрикис Хартманис (1783 – 1828),

известный как Слепой Индрикис, крепостной ремесленник, рано потерявший зрение, но писавший при этом стихи на латышском языке, — стихи эти были такого уровня, что привлекли внимание пастора — балтийского немца, который перевел и опубликовал их, а также Фридрих Рейнгольд Крейцвальд, замечательный врач, который остался в памяти потомков как «первооткрыватель» эстонского национального эпоса. Труды этих авторов ясно показывают, что важнейшие свершения в сфере литературного творчества не коррелируют прямо с хронологией политической и социально-экономической истории и не объясняются одним лишь историческим контекстом; здесь важным фактором, который необходимо принимать во внимание, является психология личности и ее творческий потенциал.



6

ПЯТЬ ДЕСЯТИЛЕТИЙ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ (1855–1905)

В истории Российской империи 50-е годы XIX в. ознаменовались двумя событиями величайшей важности: вступлением на престол еще одного «царя-реформатора» — Александра II и бесславным завершением Крымской войны (1853–1856). Последнее вызвало в приближенных к императору кругах обсуждение фундаментальных реформ, которые могли бы вывести Россию на уровень, на котором, как считалось, находились передовые страны Западной Европы. На побережье Балтики все эти события совпали с определенными разочарованиями местного характера: освобождение крепостных крестьян в Эстляндии, Лифляндии и Курляндии и учреждение отработочной ренты не способствовали существенному

На заставке: Тарту (Дерпт). Ратуша (фото нач. XX века).

прогрессу в сельском хозяйстве. Сельское население по-прежнему выражало беспокойство; либеральные идеи укрепились даже в умах некоторых представителей рыцарств, не говоря уже об образованной публике; городской патрициат высказывал все большее возмущение из-за невозможности использовать возрастающие возможности в сфере торговли и коммерции. В разделенной Литве жесткая русификация Николая I не смогла уничтожить память народа о едином государстве и о провале восстания 1830 – 1831 гг. Другие события, происходившие за пределами Империи, также нашли отклик на ее западных границах: революции в Центральной Европе (1848), казавшиеся безрезультатными, все же разрушили «систему Меттерниха» и породили поколение центральноевропейских националистов, мечтавших о «весне народов». Объединение Италии (1860) и Германии (1870 – 1871) стало образцом для других европейских народов, живших в многонациональных государствах под властью элиты иной национальности и говорившей на другом языке. Эти изменения носили позитивный характер даже в тех случаях, когда те, кто хотел перемен, руководствовались некими смутными идеалами и не имели четкого понимания, к чему такие перемены могут привести.

В течение следующих пяти десятилетий «дух времени», означавший перемены, модернизацию и проведение масштабных реформ, произвел фундаментальные и необратимые изменения в жизни населения Балтийского побережья. Более того, изменения в этот период не только стали обычным явлением, но и беспримерно ускорились в связи с появлением новых технологий в сфере транспорта и коммуникаций, с распространением новых средств производства в рамках фабричной системы, со стремлением к получению образования во всех социальных слоях, с уничтожением барьеров, препятствовавших внутренней миграции в Империи, и с возникновением новых, более ярко проявлявшихся форм национального самосознания. Причинность явлений стала намного более сложной, так как реформы во всех аспектах социально-экономической жизни непосредственно влияли друг на друга и способствовали взаиморазвитию. Единственной сферой повседневной жизни в Империи в целом и на побережье в частности, лишь незначительно затронутой модернизацией, оставалось управление: Россия сохраняла характер автократической державы, на территории балтийских губерний (Эстляндия, Лифляндия, Курляндия) политическая власть по традиции оставалась в монопольном владении выс-

ших слоев балтийских немцев, в то время как в литовских землях очередное неудачное восстание (1863) лишило польские правящие элиты их положения и привело к замене на представителей российской администрации. Общая ситуация на Балтийском побережье с каждым десятилетием становилась все более аномальной, поскольку быстро меняющееся общество приобретало современные черты, в то время как политическая система определенно стремилась к тому, чтобы сохранить гегемонию существующих элит. Продолжающаяся конфронтация и связанные с ней разочарования приводили в конечном итоге к дальнейшей потере человеческого капитала, поскольку тысячи жителей балтийских губерний начинали искать лучшей доли во внутренних областях Российской империи, а тысячи литовцев покидали родину ради «земли обетованной» в Северной Америке.

Незавершенное дело: отработочная рента и крепостничество

Принятие законов об освобождении крепостных крестьян (1816 – 1819) в Эстонии, Ливонии и Курляндии привело к тому, что в сфере аграрных взаимоотношений почти все стороны остались неудовлетворенными. Законное право на владение землей перешло к помещикам, крестьяне получили личную свободу и собственные институты местного самоуправления, при этом большинство крестьян — жителей поместий платили за аренду земли своим трудом, в то время как могли бы платить деньгами. Начиная от 20-х годов XIX столетия величина отработок возросла, а время, которое крестьяне могли использовать для обработки своих полей, сократилось. К 30-м годам XIX в. недовольство отработочной рентой распространилось очень широко; преимущественно оно имело мирные формы, но иногда приобретало характер насильственного противостояния. Так произошло в ходе «войны в Махтра» в 1858 г. в Северной Эстонии, затронувшей территорию десяти поместий, тысячи крестьян и несколько подразделений российской армии, в результате чего погибло несколько человек с обеих сторон.

Фактически, обе заинтересованные стороны сельскохозяйственной экономики все сильнее разочаровывались в существующей системе. Крестьяне были расстроены повышением отработочной ренты, короткими арендными договорами, сводящими

на нет смысл владения землей, и продуманной политикой некоторых помещиков, направленной на закрепление за помещьем всей пахотной земли за счет крестьян. Помещики были обеспокоены ответственностью, возложенной на них вместе с отработочными рентами, неспособностью крестьян выплатить ощутимую сумму в качестве денежной ренты (не говоря уже о выкупе своих земель), а также возрастающим числом безземельных крестьян, статус которых не позволял им стать наемными сельскохозяйственными рабочими. Несмотря на то что статус владельца пожалованного поместья был весьма привлекательным для многих, доходность сельского хозяйства снижалась, а расходы росли. Тем временем новая судебная система, появившаяся вслед за законами об освобождении крестьян, разрешала жалобы крестьян друг на друга и на помещиков, которые вследствие занимаемого положения участвовали в вынесении судебных решений. Результатом стало длительное обсуждение в ландтаге того, как система должна реформироваться далее; при этом ни одна конкретная реформа не казалась участникам очевидной. С точки зрения помещиков, наиболее грамотно устроенным имением было такое, в котором угодья помещика четко отделены от крестьянских земель. В таком поместье между помещиком и крестьянином существуют только имущественные отношения в виде ренты или залога. Основная рабочая сила должна состоять из наемных рабочих, крестьян — собственников земли или крестьян, выплачивающих ренту за помещичьи земли. Подобный идеал был в значительной степени схож с философией свободного рынка, на которой основывались прежние реформы: свободные и независимые помещики, землевладельцы-крестьяне и сельские рабочие связаны друг с другом письменно оформленными соглашениями. К 40-м годам XIX в. петербургскому правительству стало очевидно, что расцвет сельского хозяйства, обещанный балтийской знатью в обмен на предоставление ей всей полноты контроля над земельными угодьями, оказался несбыточной мечтой и знатных эстонских, курляндских и ливонских землевладельцев придется подталкивать к предоставлению их крестьянам большей независимости.

Давление со стороны Санкт-Петербурга вполне резонировало с позицией наиболее либерально настроенных землевладельцев-дворян, членов лифляндского ландтага, особенно разделявших взгляды Гамилькара фон Фёлькерзама (1811 — 1856), который призывал к новым реформам и сумел повести за собой большую часть

членов ландтага. Новый закон для крестьян был принят в Лифляндии в 1849 г., а в Эстонии сходный закон утвердили в 1856 г. Это законодательство сделало возможным распределение поместий по трем категориям: земли помещиков, крестьянские земли и так называемые «квотные земли». Первая категория включала в себя пахотные земли, принадлежащие непосредственно землевладельцу (или арендатору), который обрабатывал их, используя оплачиваемую рабочую силу. Во вторую категорию входили земли, доступные крестьянам для взятия в аренду или для покупки с помощью долгосрочных займов либо ренты. Квотные земли являлись неопределенной категорией земель, располагавшихся на территории поместья и предназначенных, как правило, для обработки с использованием труда сельскохозяйственных рабочих. Было не сложно предсказать, что противодействие указанным мерам сформируется среди консервативно настроенных землевладельцев, видевших во вновь возникшем мелком крестьянском землевладении угрозу собственной традиционно сложившейся власти над сельским населением на своих землях. Но столь же предсказуемо землевладельцы осознавали давление со стороны петербургского правительства и потому санкционировали реформы, предполагающие еще более значительные изменения. Фактическое внедрение законов, касающихся этих реформ (как и более ранних законов об освобождении крестьян), снова растянулось во времени, хотя их противники имели меньше возможностей для саботажа после вступления в 1855 г. на российский престол Александра II, настроенного столь же реформаторски, как и его дед. Лишь в правление Александра II, в 1863 г., уже после того, как в 1861 г. в России был провозглашен общий закон об освобождении крестьян, курляндское дворянство под давлением со стороны российской короны, признало, наконец, за крестьянами право бессрочного выкупа земли, на которой они работали.

В 30 – 40-е годы XIX в. значительное число крестьян Эстляндии, Лифляндии и Курляндии перешло к выплате денежной ренты; однако наиболее решительным разрывом с прошлым в долгосрочной перспективе по-прежнему являлся выкуп земли в собственности. Конкретные механизмы перехода собственности на землю были разными в зависимости от месторасположения и губернии, но, тем не менее, этот процесс начался в середине 50-х годов XIX столетия и продолжался на протяжении последующих пятидесяти лет. К началу 70-х годов 20% крестьянских земель в поместьях

Курляндии было выкуплено; в Ливонии их доля составила 25%. К концу 80-х годов это соотношение, соответственно, составляло 77 и 75%, к 1902 г. — 95 и 85%, а к 1910-му — 99 и 89%. Аналогичным образом шел и процесс выкупа коронных земель. В Эстляндии, однако, этот процесс шел медленнее; там к 1897 г. было выкуплено около 50% крестьянских земель. Абсолютные цифры также впечатляют: к 1885 г. в Курляндии в крестьянской собственности находилось около 9 тыс. фермерских хозяйств, а к 1905 г. в Ливонии число таких хозяйств составило около 22 тысяч. Поскольку подавляющее большинство населения указанных регионов было сельским, последствия такого выкупа (как ранее последствия освобождения крестьян) распространились весьма широко. Во второй половине столетия это привело к улучшению положения 70—80% всех крестьянских семей и, возможно, 60% всех семей в каждой провинции — поскольку впервые в исторической памяти крестьяне стали собственниками земли, на которой работали. Ушли в прошлое опасности крепостного положения, а также недавние отработочные выплаты; право собственности создало новые стимулы, так как теперь крестьяне могли с весьма высокой вероятностью завещать свое улучшенное хозяйство следующему поколению. Выгоды расширения и усовершенствования хозяйства, а также «научных» методов его ведения стали очевидными.

Последствия упомянутых изменений простирались далеко за пределы материальной сферы и затрагивали психологический аспект жизни крестьян. Однако не стоит идеализировать ситуацию — никаким утопическим планам не суждено сбыться. Во время процесса выкупа земли владельцы поместий быстро поняли, с помощью каких легальных и полуполюгальных средств они могут уменьшить часть своих владений, подлежащую продаже; соответственно, абсолютное число собственников земли росло одновременно с абсолютным числом безземельных сельскохозяйственных рабочих, чьи условия жизни практически не улучшились. Крестьяне, покупавшие землю, заключали соглашение о покупке на двадцать пять или тридцать лет на условиях займов, получаемых от помещика или кредитных организаций, обычно под 5% годовых. Мало кто из крестьян смог сразу же стать собственником земли, не обремененным кредитными обязательствами. Росло также количество случаев продажи заложенной земли, и только к концу века стало возможным говорить о появлении сколько-нибудь значительного количества крестьян, не обремененных теми или

иными финансовыми обязательствами. Став самостоятельными экономическими единицами, крестьяне-фермеры стали зависеть от колебаний цен и спроса на сельскохозяйственную продукцию, и простое самообеспечение уже не могло сделать их более состоятельными. Разумеется, землевладельцы, располагавшие капиталами, быстро поняли, что им выгодно держать сотни крестьян в долгосрочной долговой зависимости, пользуясь возможностями приобретения и перепродажи заложенных земель, которые крестьяне не могут выкупить. Короче говоря, крестьяне осознали, что вести сельское хозяйство с целью получения материальной выгоды — нелегкая задача, при этом желаемый результат отнюдь не гарантирован, и ротация крестьян-собственников оставалась значительной. Однако с каждым следующим десятилетием второй половины века в сельской местности Эстляндии, Лифляндии и Курляндии появилась новая категория крестьян — успешные и относительно зажиточные фермеры, которых к концу столетия стали называть «серыми баронами». В то же время существование безземельных крестьян оставалось весьма серьезной проблемой. Некоторые из них покинули деревни, чтобы найти работу на предприятиях (количество которых в это время весьма возросло) в городах Прибалтики или России; некоторых привлекли перспективы эмиграции в Северную Америку; но большинство крестьян все же оставались в деревнях в надежде повысить как свои доходы, так и социальный статус. К концу века определилась та часть помещичьей земли, которая уже никогда не будет продана; крупные землевладельцы (все еще по большей части балтийские немцы) использовали на своих землях труд наемных сельскохозяйственных рабочих, но этот рынок труда не расширился, и, соответственно, поскольку поместья сохраняли за собой около 50% пахотной земли в сельской местности, в обозримом будущем не виделось никакого ясного решения проблемы безземельных крестьян.

В 1860 г. 260 тыс. латышей, проживавших в Витебской губернии — в Латгалии, к востоку от Лифляндии и Курляндии, — и почти 1,5 млн жителей литовских губерний на юге оставались никак не затронуты законами об отмене крепостного права и дальнейшими реформами, изменившими к середине века статус, обязательства и перспективы на будущее сельского населения балтийских губерний. Мечты некоторых землевладельцев Латгалии о том, что неплохо бы воспроизвести у себя реформы, проведенные в балтийских губерниях, остались бесплодными, а восстание 1830 – 1831 гг.

в литовских землях вызвало у имперской власти стремление к усилению контроля, но никак не к реформам. Чтобы уменьшить владения польских землевладельцев в этих регионах, Николай I экспериментировал с различными формами протекционизма по отношению к крестьянам: указ 1846 г. запрещал выселение крестьян с их наделов, предписывал провести перепись земель, фиксировавшую размеры наделов и трудовых повинностей, а также предусматривал, чтобы в случаях, когда обстоятельства вынуждали к увеличению числа крестьян на землях поместья, никакая крестьянская семья не оставалась без земли.

Вступление на российский престол Александра II предполагало дальнейшее движение в этом направлении. Фактически, общероссийский закон 1861 г. об освобождении крестьян от крепостной зависимости дифференцировал реформы, необходимые для конкретных регионов, при этом в Латгалии и литовских землях вступили в силу законы, уже действовавшие в северо-западных губерниях. Первым шагом в регулировании процесса освобождения крестьян стало создание местных административных структур, контролировавших отношения между крестьянами и помещиками. Вторым стала разработка детальных документов, регулирующих аграрные отношения внутри поместья: размеры наделов, величину трудовых и других повинностей, а также переписи населения с указанием статуса (главы домохозяйств, трудоспособное население, неработающие местные жители). Так как Александр не хотел освобождать крестьян без предоставления им прав на владение землей, третий шаг включал передачу прав на землю от помещика к фермеру или деревне (в зависимости от местоположения). Землевладельцев обязали немедленно предложить крестьянским семьям землю, которую они обрабатывали; в качестве компенсации правительство гарантировало помещику возмещение в размере 80% стоимости земли, при этом крестьяне должны были напрямую выплатить ему 20% этой суммы, получив на выплату оставшейся суммы правительственный заем на 50 лет. В Эстляндии, Лифляндии и Курляндии между объявлением личной свободы крестьян и предоставлением им права покупать землю прошло тридцать лет; в Латгалии и Литве свобода и права на землю явились одновременно. Это обстоятельство привело к тому, что «аграрный вопрос» стал актуальным для губерний побережья в разные десятилетия: в балтийских губерниях разделение крестьян на имеющих землю и безземельных стало более ярко выра-

женным, тогда как в Латгалии и Литве трудности были созданы чрезвычайно малым размером полученных крестьянами наделов (в среднем 6 – 7 га). Распространенность столь небольших наделов гораздо чаще, чем полное безземелье, становилась причиной эмиграции.

Спокойное осуществление реформ в Латгалии и Литве стало невозможным в связи с польско-литовским восстанием 1863 г.; помимо этого, закон об отмене крепостного права гарантировал, что этот процесс будет происходить вне зависимости от обстоятельств. К 70-м годам XIX в., когда была достигнута некоторая стабильность, выяснилось, что отмена крепостного права 1861 г. создала столько же проблем, сколько и решила. Теперь крестьяне были свободны, но, как и в балтийских губерниях, они все еще оставались связаны финансовыми обязательствами (больше перед правительством, чем перед помещиками), от которых не могли освободиться. Невозможно было ожидать какого-либо роста в сфере сельского хозяйства в условиях, когда уменьшился как размер среднего земельного надела, так и доход с него. Более того, землевладельческая элита находилась в замешательстве (а в Латгалии, фактически, и в нищете) из-за того, что ее представители вынуждены были резко сократить средства на модернизацию сельского хозяйства. В Латгалии традиционно принятая практика наследования предполагала, что надел после смерти владельца должен делиться поровну между его сыновьями, что способствовало еще более значительному уменьшению и так крошечных до абсурда и экономически несостоятельных наделов. Новый закон о паспортизации 1863 г., являвшийся частью более широкой программы реформ Александра II, разрешил миграцию населения в любые части Империи, и это значительно уменьшило потенциальную взрывоопасность ситуации в Литве. Однако развитие сельской экономики оставалось весьма неравномерным; в разных литовских землях продуктивность и доходы сельского хозяйства значительно различались. Статистика конца XIX в. показывает, что через сорок лет после отмены крепостного права около 40% всей пахотной земли Литвы все еще относились к поместьям, большинство которых находилось в собственности польского или ополяченного дворянства, а также отставных российских военных или чиновников. Представители этих групп тяготели к стилю жизни, уподоблявшему их скорее часто отсутствовавшим землевладельцам, чем практичным и деловитым управляющим своей недвижимостью. В то же время

ушла в прошлое привычка балтийских рыцарств жить на широкую ногу, и в их среде глубоко укоренилось отношение к поместью как к предприятию, которым необходимо управлять, причем подобное явление было заметно в среде поколения сорока-пятидесятилетних, в отличие от представителей того же поколения в южной части побережья.

Пробуждение наций: Балтийские губернии

Волна реформ, изменивших характер отношений в сфере сельского хозяйства в балтийских губерниях, оказала дифференцирующее влияние на сельское население, что отразилось в различном восприятии ситуации разными поколениями. У горстки молодежи эстонского и латышского происхождения реформы породили мощное стремление к расширению возможностей личного развития, означавшее открытый вызов устоявшемуся мнению, что любое образование, кроме начального, неизбежно ведет к ассимиляции германоязычным (и доминирующим) миром Балтийского побережья. Целью этой группы молодежи было показать, что выбор занятия, требующего образования, не обязательно влечет за собой потерю национальной идентичности эстонцев и латышей и что культура, в которой они выросли, является вполне уважаемой и, по мере того как ее носители поднимаются все выше в социально-экономической иерархии прибалтийского общества, может быть перенесена в новую среду. В совокупности все эти личные стремления способствовали развитию того, что сами их носители (и, соответственно, последующие поколения) вскоре начали называть «национальным пробуждением» или «национальным возрождением». За несколько десятилетий второй половины века этот беспрецедентный феномен ввел в культуру побережья новые измерения, с которыми необходимо было считаться. К середине 70-х годов XIX в. «национальное пробуждение» латышей и эстонцев приобрело столь значимый характер, что элита, состоявшая из балтийских немцев (как консерваторов, так и либералов по убеждениям), стала считать данное явление опасным, хотя попытки ликвидировать его проявления с помощью апелляции к петербургскому правительству оказались безуспешными. Понимая, насколько нетерпимо относится царское правительство ко всем попыткам ставить авторитет властей под сомнение, представители «национального возрождения» были крайне осторожны

и выбирали полем полемиических сражений (в тех случаях, когда вообще считали необходимым вступить в открытую конфронтацию) только культурную гегемонию и социально-экономические привилегии балтийских немцев. В этих случаях они рассчитывали на некоторое сочувствие своим идеям, по крайней мере со стороны журналистов, придерживавшихся славянофильских воззрений и имевших свои причины для борьбы за культурное единство западных приграничных территорий Российской империи.

Представители «национального пробуждения», как бы ни были уникальны их личные стремления, в целом следовали проторенными тропами, но при этом всегда стремились избегать чрезмерного контроля и патерналистского отношения со стороны балтийских немцев. Так, например, балтийское немецкое духовенство на протяжении нескольких столетий занималось переводом текстов, имеющих культурную и религиозную ценность, на местные языки; однако вновь появившиеся переводы показывали, что подобная задача может быть решена и без искажения латышского языка немецкой грамматикой или лексикой. Например, 1856 год, когда увидела свет книга латышского студента Юриса Алуанса (1832 – 1864), который перевел на родной язык множество стихов, считается датой начала латышского «национального пробуждения». Латышские газеты также изначально выпускались немецкоязычным духовенством — наиболее известна среди них *Latviešu avīzes* (1822), выходившая в Курляндии. В 1862 г. стало выходить конкурирующее издание *Pēterburgas avīzes* (латышск. «Петербургская газета»), выпускаемое в российской столице тремя молодыми латышами: Алуансом, Кришьянисом Баронсом (1835 – 1923) и Кришьянисом Вальдемарсом (1825 – 1891). Курляндская газета выказывала уважение немецкоязычной культуре и чрезвычайно серьезно относилась к задаче просвещения латышского крестьянства, которую брали на себя ее представители. Напротив, петербургская газета проявляла непочтение ко всему относящемуся к балтийским немцам, особенно высмеивая их усилия в области культуры, и была закрыта российскими властями в 1865 г. Среди эстонцев Фридрих Рейнгольд Крейцвальд, составитель эстонской эпической поэмы «Калевипоэг», был не первым, кто записал произведения устной традиции; за эту задачу еще до него брались ученые из числа балтийских немцев. Но там, где последние были мотивированы в основном научными интересами, для Крейцвальда и других эстонцев задача имела более глубокое значение: они воссоздавали духовную память собственного народа.

Немногочисленные активные представители «национального пробуждения» оказались на гребне волны, поднятой другими. Идеи, вдохновлявшие их усилия, принадлежали не им, к тому же они не могли в действительности контролировать ход происходящих событий. «Национальное пробуждение» Прибалтики происходило не в вакууме. В постнаполеоновской Европе народы, находившиеся доселе в подчиненном и разобщенном положении, начали выдвигать множество различных «националистических» идей в противоположность традиционным установлениям, которые они теперь находили неприемлемыми и угнетающими. Например, в Германии и Италии движения за национальное объединение возглавили молодые люди, стремившиеся объединить всех носителей одного языка в единые национальные государства. Во время революций 1848 г. чехи, мадьяры и другие народы выступили против династии Габсбургов, определявшей их судьбы из Вены. Каждый из примеров подобных движений отличался от других, и ни один из вариантов «воинствующего национализма» не мог быть актуальным повсеместно. Представители эстонского и латышского «национального пробуждения» редко создавали философские труды, однако за их деятельностью стояли идеи, трансформировавшиеся в общие цели. Они считали, что каждый человек рождается как часть «народа» (нем. *Volk*, латышск. *tauta*, эст. *rahvas*), который в то же время является и «нацией», даже если в конкретный момент не имеет соответствующей групповой идентичности. В соответствии с этими представлениями в большинстве людей необходимо было «пробудить» чувство национальной идентичности, и это следовало делать, разъясняя им, какие характерные черты сложились у их национальной группы с течением времени; например, героическое прошлое, документированное существование государственности; возможно, «цивилизаторская» деятельность по отношению к другим народам; существование институтов, присущих только этой нации, а также великое достояние.

У эстонцев и латышей не было ничего из вышеперечисленного, однако эти народы имели единственную характеристику, делавшую их уникальными: они говорили на языках, отличавших их от остального населения побережья, и располагали на данных языках неким культурным наследием, сложившимся в устной форме. Соответственно, с самого начала националистические стремления эстонцев и латышей были лингво- и фольклороцентричными и

на протяжении долгого времени ограничивались сферой культуры. Очевидно, что подобные идеи основывались на культурной и политической философии Иоганна Готфрида Гердера и Иоганна Готлиба Фихте (конец XVIII — начало XIX в.). Гарлиб Меркель, с произведениями которого представители латышского и эстонского «национального пробуждения» только начали знакомиться, приложил эти идеи к ситуации в Балтии. Их немедленное восприятие и отражение в произведениях и действиях представителей «национального пробуждения» должно было продемонстрировать, что латыши и эстонцы полностью способны справиться с развитием своих языков и в целом с дальнейшим национальным культурным развитием. Представители образованного сословия из числа балтийских немцев, инициировавшие эти процессы, не могли оставаться в стороне. Но чтобы демонстрация упомянутых идей имела успех, требовалось гораздо больше, чем только горстка преданных сторонников. Необходимо существование широкого слоя приверженцев, располагающих финансовыми и институциональными ресурсами, которые бы свидетельствовали в пользу «пробуждения» навстречу новым идеям. Убедить тысячи людей, живущих в разных губерниях в том, что их территориальная разобщенность не является важным фактором и что они представляют собой единое целое, причем доказательством является исключительно общий язык, было нелегкой задачей. Также, поскольку ни эстонское, ни латышское движение «национального пробуждения» не имело постоянного лидера или даже организованной группы лидеров, с самого начала не существовало общего мнения, каким образом «национальная борьба» должна выразиться в конкретных действиях. Поколение «пробуждения» отдавало должное своим прямым латышским и эстонским предшественникам, действовавшим в сходном направлении, но при этом отвергало пассивное приятие, с которым эти предшественники относились к превосходству балтийских немцев. Таким образом, поворотным пунктом, разделяющим различные лагеря, стало отношение к прошлому и роли в нем балтийских немцев, а также взаимосвязи дальнейшего экономического и культурного развития. Должны ли имеющиеся скудные ресурсы направляться в основном на действия в сфере культуры (то есть на развитие печатного слова на народных языках силами носителей этих языков)? Или в первую очередь следовало создать институциональную базу (то есть общества взаимопомощи и образовательные учреждения) для дальнейшего культурного развития? Не существовало

определенного пути, признанного всеми, и потому эстонское и латышское национальные движения были значительно менее едиными, чем предполагал часто используемый по отношению к ним балтийскими немцами термин «фанатичные националисты» (*fanatischen Nationalisten*).

Отношение балтийских немцев к этому новому феномену оставалось смешанным и варьировало от желания запретить его проявления (выраженного, например, теми, кто добился запрещения газеты *Pēterburgas avīzes*) до тревоги и даже до притягивания. Возможно, наиболее распространенным было ощущение, что представители эстонского и латышского «национального пробуждения» были попросту неблагодарными: в своих воспоминаниях пастор Август Биленштейн, долгое время занимавший пост президента Латышского литературного общества описывает это так: «Латыши всегда жаловались на то, что вынуждены подчиняться немцам, но они не замечали вклада, который немцы внесли в латышскую культуру... Существующий уровень образования латышей, а также их способность воспринимать нынешние достижения культуры были бы невозможны исключительно благодаря усилиям латышей». Многие представители образованного сословия чувствовали себя окруженными негодующими варварами. Биленштейн в переписке с финским коллегой заметил: «Мы, немцы, располагаем слишком богатым духовным, литературным и научным наследием на нашем собственном языке, чтобы отбросить все это ради образования нового культурного единства с латышами... Латыши, независимо от того, как улучшаются их образовательные стандарты и условия жизни, все еще находятся под контролем русских и не имеют возможности создавать собственные гимназии и университеты, а также в полной мере пожинать плоды своей национальной уникальности. Латышская нация слишком невелика, чтобы удовлетворять столь высоким требованиям». Интеллектуалы, такие, как Биленштейн, склонялись к тому, чтобы считать эстонское и латышское «национальное пробуждение» преждевременным, поскольку эти народы были недостаточно «развиты»; соответственно, нуждались в помощи и руководстве более зрелого народа, уже достигшего определенной стадии развития (например, такого, как немецкий). Все народы и общества, с их точки зрения, должны пройти через определенные стадии развития, чтобы стать «цивилизованными» или «культурными», заняв, в свой черед, место среди вполне развитых культурных наций.

С другой стороны, представители эстонского и латышского «национального пробуждения» считали аргументы о недостаточном развитии своих народов, вне зависимости от их обоснованности, выражением крайне покровительственного, высокомерного отношения. Для наиболее активных из них такая точка зрения являлась не чем иным, как оправданием сохранения существующего положения вещей со всеми привилегиями для балтийских немцев и с их возможностями управлять Прибалтикой. Наиболее выдающиеся участники общественных дебатов на эти темы вряд ли могли убедить друг друга в чем бы то ни было — слишком фундаментальными были их разногласия по наиболее важным вопросам. Poleмика обострялась благодаря усилиям некоторых представителей немецких интеллектуалов, подчеркивавших политическую опасность движения «национального пробуждения», называя латышское и эстонское движения, соответственно, *Jungletland* («младолатыши») и *Jungestland* («младозэстонцы») и предполагая, таким образом, их сходство с разнообразными революционными и псевдореволюционными движениями (такими, как «Молодая Италия» и «Молодая Германия»), появившимися в Центральной Европе накануне революционного 1848 года. Подобный подход не казался правдоподобным российским властям, поскольку именно они дали разрешение на создание таких национальных организаций и институтов, как рижское Латышское общество (1868), эстонская Александровская Высшая школа (1871) и Общество эстонских литераторов (1871). Именно из этих организаций и институтов вышли такие активисты эстонского «национального пробуждения», как Иоганн Вольдемар Янсен (1819 – 1890), Якоб Харт (1839 – 1906), Иоганн Кёлер (1826 – 1899), Карл Роберт Якобсон (1841 – 1882), Фридрих Рейнгольд Крейцвальд и Лидия Койдула (1843 – 1886). Среди латышских активистов следует отметить Кришьяниса Баронса, Кришьяниса Вальдемарса, Атиса Кронвальдса (1837 – 1835) и Микуса Крөгземса (1850 – 1879), писавшего под псевдонимом Аусеклис. Однако эти организации не смогли выработать единую программу работы, которой придерживались бы все националистически настроенные активисты, вступившие в борьбу при различных обстоятельствах и отличавшиеся друг от друга масштабом враждебности по отношению к прошлому, связанному с немецким господством, к российскому правительству, а также ко вкладу, который вносили балтийские немцы в языковое и культурное развитие народов Прибалтики.

Поскольку у активистов этих движений отсутствовала едкая программа действий, цели как эстонских, так и латышских активистов «национального возрождения» оставались различными. Такое положение вещей возникло из-за того, что националистические идеи немецкого происхождения были адаптированы в балтийский контекст. Эстонские активисты считали, что эстонскоязычное население Эстляндии и Лифляндии составляет единую нацию и разделяющая их граница не делает их двумя разными народами. Латышским активистам приходилось иметь дело с населением, разделенным на три части: латышами, проживающими в южных районах Лифляндии, в Курляндии, а также латгалами, живущими вдоль границы с Витебской губернией. Хотя латгалов никогда не исключали напрямую из сообщества, определяемого как латышский народ (*tauta*), их уникальные черты отделяли их от «западных» латышей гораздо больше, чем региональные особенности латышей Лифляндии и Курляндии — друг от друга. Разговорный и письменный латгальский язык испытал значительное влияние польского и литовского; католицизм в Латгалии также укоренился намного глубже, чем среди католиков-латышей западных районов. Из-за того что крепостное право было отменено в Латгалии только в 1861 г., казалось, что жизнь в этом регионе развивается медленнее, чем у латышей Лифляндии и Курляндии. Труды уважаемого пастора-этнографа из числа балтийских немцев, Августа Биленштейна, дают сложившейся ситуации однозначную оценку: латгалы являются латышами, — но многие деятели «национального пробуждения» были не столь уверены на данный счет и продолжали сомневаться до начала XX в. Что касается цели, ради которой в латышах и эстонцах нужно было «пробуждать» национальное самосознание, то здесь отмечалось относительное единодушие: национальное самосознание поможет этим народам отстоять свое право на независимое культурное развитие без участия балтийских немцев.

Однако среди латышских и эстонских активистов существовала разногласия относительно того, как именно рост национального самосознания должен привести к процветанию народа. Например, Кришьянис Вальдемарс подчеркивал необходимость достижения экономической независимости латышей, тогда как другие, такие, как Атис Кронвальдс, считали, что первостепенным является развитие языка, собирание произведений, относящихся к устной традиции, развитие национальной литературы и истории. Среди эстонцев проблема заключалась в другом: Иоганн Вольде-

мар Янсен и Якоб Харт избегали прямой конфронтации с балтийскими немцами и верили в примирение с ними, тогда как Иоганн Кёлер и Карл Роберт Якобсон считали, что дружественные отношения с российским правительством и жесткое неприятие немецкой гегемонии гораздо больше помогут становлению эстонского национального самосознания. Такое же отношение к сотрудничеству с Россией разделяли латыши Кришьянис Вальдемарс и Фрицис Бривземниекс (1846 – 1907) — усердный собиратель латышского устного творчества, особенно песен. Хотя эти разногласия являлись в прямом смысле слова «междоусобными», они не были незначительными и отражали глубоко разное видение того, как латышам и эстонцам следует позиционировать себя на родине, где они играли все более значительную роль.

Все опубликованные тексты на латышском и эстонском языках, выходящие в балтийских губерниях, должны были подвергаться цензуре, но это требование не мешало развитию художественной литературы на этих языках. Среди вновь появившихся работ представлено большинство жанров, существующих в литературе: лирические стихи Юриса Алуанса среди латышей и Лидии Койдулы среди эстонцев стали весьма популярны у поколения «пробуждения». Успешными зачинателями новой эстонской прозы стали Юхан Лиив (1864 – 1913) и Якоб Пярн (1843 – 1916); а в Латвии братья Рейнис (1839 – 1920) и Матисс Каудзите (1848 – 1926) издали в 1879 г. первый латышский роман, включавший, помимо прочего, едкую пародию на национализм сельских учителей. Фридрих Рейнгольд Крейцвальд уже собрал и опубликовал в 1860 г. поэму, ставшую эстонским национальным эпосом, — «Калевипоэг». В латышской народной традиции эпос отсутствовал, что побудило Андрейса Пумпурса (1841 – 1902) написать и опубликовать в 1888 г. эпическую поэму «Лачплесис» (*Lāčplēsis* — «Разрывающий медведя») — читатели сразу восприняли ее как фольклорную и стали считать аутентичным компонентом традиционной латышской культуры. Несмотря на то что заработать на жизнь литературой было невозможно, искушение внести вклад в дело национального возрождения, создавая произведения на эстонском и латышском языках, было столь велико, что ему поддавалось множество образованных людей, невзирая на то что их писательский талант был минимален. Возникли многочисленные возможности для публикации произведений различных жанров, сначала в виде латышских и эстонских газет, а потом, начиная с 80-х годов XIX в., и литературных журналов.

Успех такого не ограниченного временем процесса, как «национальное пробуждение», оставался неопределенным, и его сторонники не были уверены, как этот успех следует правильно оценивать. Число людей, посещающих культурные мероприятия, а также читателей публикаций на латышском и эстонском языках можно было подсчитать лишь весьма грубо, но, судя по имеющимся цифрам, интерес к национальной культуре рос. Медленно, но верно продолжало расти число относительно зажиточных крестьян, что, в свою очередь, с каждым десятилетием увеличивало число родителей, желающих и способных оплатить образование своих детей. Продолжалась и миграция из сельской местности в города, увеличивая в крупных городах процент эстонцев и латышей и таким образом расширяя потенциальную базу для существования различных культурных организаций. После того как с конца 60-х годов XIX в. праздники народной песни стали постоянными культурными событиями, участие в них (или присутствие на них) стало показателем, по меньшей мере, устойчивого интереса к национальной культуре. Первый эстонский праздник песни прошел в 1869 г. в Тарту (в дальнейшем это мероприятие проводилось здесь в 1879, 1880, 1891, 1894 и 1896 гг.); к 1896 г. количество его участников выросло до примерно 5500 человек, а зрителей — до 50 тыс. (к 1894 г.). Первый общелатышский праздник песни состоялся в 1873 г. в Риге; число его участников составило 1003 человека; в дальнейшем такие праздники проводились в 1880, 1888 и 1895 гг. — на последнем из упомянутых праздников пело уже около 4 тыс. человек, а аудитория составляла примерно 25 тысяч. Царское правительство давало разрешение на проведение такого рода праздников как «культурных мероприятий», однако для латышей и эстонцев они имели и политическое значение. Другие статистические данные также подтверждали развитие эстонской и латышской культуры. Росло число потенциальных читателей: общероссийская перепись населения 1897 г. показала, что грамотность среди эстонцев составила 78,2% (77,6% для мужчин, 78,9% для женщин); показательно, что доля взрослых (30–39 лет) эстонцев, умеющих читать, составило 96,1%. Среди латышей в 1897 г. общая грамотность составила 70,4% (69,6% для мужчин, 77% для женщин), а грамотных взрослых было 89%. Этот показатель продолжал расти, невзирая на то что начальные школы побережья крайне пострадали от правительственной политики русификации (о которой речь пойдет ниже). По сравнению с этими цифрами общее количество грамотных среди русского на-

селения Империи в 1897 г. составило 22,7% (34,3% — мужчины, 11,6% — женщины), при этом грамотных взрослых было 28,8%. Соответственно выросло и количество публикаций на эстонском и латышском: в эстоноязычных регионах за период с 1860 по 1900 г. ежегодное количество публикаций на национальном языке выросло с 55 до 312; что касается публикаций на латышском, то за период 1867 – 1885 гг. их было 2300, тогда как за 1886 – 1900 гг. их число выросло до поразительных 35 тысяч.

Быстро развивавшиеся эстонская и латышская национальная литература (в широком смысле слова) становились все более светскими по характеру публикаций; процент религиозных трудов составлял 15 на латышском языке и 28 — на эстонском. История периодических изданий на эстонском и латышском языках, состоявшая из взлетов и падений, не дает возможности оценить число подписчиков, но общий тираж главных газет (недолго просуществовавшей *Pēterburgas avīzes* и долгожителя *Baltijas vēstnesis* на латышском и *Pärno Postimees* на эстонском) совершенно определенно вырос с первоначальных нескольких тысяч экземпляров до количества, вдвое или даже втрое большего, к середине 80-х годов XIX столетия. Эта статистика не охватывает всех читателей, потому что книги и газеты переходили «из рук в руки», передавались от одной фермы к другой, что было широко распространенным явлением по свидетельству современников. В любом случае статистика убедительно подтверждает, что культурная ситуация в Прибалтике, существовавшая на протяжении столетий и характеризовавшаяся тем, что книги на местных языках создавались носителями других языков и составляли при этом незначительную долю общего количества публикаций, ушла в прошлое. Культурные пространства, в которых главными языками стали эстонский и латышский, были сформированы и четко очерчены, и возвращение к прошлому являлось столь же невозможным, сколь и возвращение эстонских и латышских крестьян к крепостной зависимости, в которой они находились в начале XIX в.

В поиске нации: литовские земли и Латгалия

В Эстляндии, Курляндии и Лифляндии культурный национализм вышел на общественную арену в 50–60-х годах XIX в. достаточно

спокойно — большинство основных манифестаций были разрешены российским правительством. Напротив, в литовских землях и Латгалии те же десятилетия отмечены насильственным проведением государственной политики, с которой не приходилось сталкиваться (и противостоять ей) эстонским и латышским националистам. После вступления на трон в 1855 г. Александр II вернулся на какое-то время к либерализму своего деда по отношению к польским и литовским землям, но это смягчение политики (по сравнению с временем Николая I) побудило многих жителей бывшей Речи Посполитой решить, что (снова) настало время свергнуть «русское иго». Восстание 1863—1864 гг., обычно называемое «польским», в действительности началось в 1862 г. на польских территориях в форме локальных беспорядков, закончившихся тем, что по приказу российского правительства зачинщиков забрали в солдаты. Эта мера вызвала более открытое противодействие, и к январю 1863 г. партизанские атаки против всего, что символизировало власть Российской империи, получили широкое распространение в польских, литовских и белорусских провинциях. Реакция петербургского правительства предсказуемо выразилась в их вооруженном подавлении, что вызвало протесты западных государств и, в свою очередь, ответный всплеск националистической реакции в российской прессе. Восставших жестоко покарали в мае 1864 г.; меры, предпринятые правительством, мало отличались от тех, которые осуществлялись после выступления 1830—1831 гг., однако с точки зрения культуры они были даже более суровыми. Восстание 1863 г. лишило его сторонников, будь то представители земельной аристократии или крестьянства, всякого положения в обществе; хотя число сражавшихся, возможно, в этот раз оказалось меньше, чем в 1830—1831 гг., вооруженные столкновения были более разбросаны территориально, а оружие, доступное революционерам, менее пригодно для боевого применения, чем раньше. Однако лучшая, чем раньше, организация и временные успехи стимулировали восставших к дальнейшим действиям. Но цели польских революционеров снова различались, как и во время восстания 1830—1831 гг. Когда к восстанию присоединились литовцы, действия стали еще менее целенаправленными: некоторые из них вступили в борьбу, чтобы сбросить «двойное иго» — польское и русское; польские повстанцы на литовских землях выражали презрение к целям литовцев, а множество крестьян, выступавших против привилегий землевладельцев, к какой бы национальности те ни от-

носились, привнесли в происходящее элемент классово-войны. Число мятежников на литовских землях составляло, по оценкам, около 15 тыс. человек, тогда как российские войска насчитывали здесь 90 тыс. солдат. К весне 1864 г. произошло 119 столкновений с мятежниками в районе Каунаса, 38 — в районе Вильнюса и 17 — в Сувалкии. По иронии судьбы латгальские области Витебской губернии, где жили около 200 тыс. латышскоязычных крестьян, тоже были вовлечены в это значимое событие польско-литовской истории, поскольку в восстании участвовало польское и ополяченное литовское дворянство этого региона, — очевидно, из-за того, что исторически данная местность самоидентифицировалась как Польская Ливония. Поэтому крестьяне этой местности приняли участие в восстании в силу еще более сложного комплекса причин.

После начала восстания генерал-губернатором Виленской губернии был назначен генерал Михаил Муравьев (уже известный среди литовцев как «Вешатель»). Муравьев не колебался, назначая своим противникам максимальную меру наказания: в литовских землях было казнено, по меньшей мере, 129 человек, 972 — были осуждены на каторгу, 2956 — сосланы в Сибирь, 345 — отданы в солдаты, 864 — заключены в тюрьму и 4096 человек подвергнуты административной ссылке в другие части Российской империи, в результате чего они были вынуждены жить вдали от родины. Конфисковали около 1740 частных поместий действительных и предполагаемых участников восстания; около 6 тыс. жителей литовских земель погибли в сражениях с российской армией. С институциональной точки зрения расплатой за восстание стала широкомасштабная русификация, ставшая основой российской административной деятельности, особенно в области образования. Правительство также наложило значительные ограничения на участие католической церкви в начальном образовании и на ее контакты с другими церковными институтами, включая папский престол, в границах России. Само название «Литва» перестало существовать официально: в документах этот регион назывался «Северо-Западный край». Важное ограничение было наложено на печатное слово: на целых сорок лет после 1864 г. была запрещено публиковать какие-либо материалы на литовском языке с использованием латинского алфавита; в это время официально существовали лишь те литовские тексты, которые набирались кириллицей. Демонстрируя пренебрежение к этническим и языковым различиям между крестьянами, российские администраторы

также запретили публикации на латгальском языке, который также основывался на латинском алфавите; таким образом, латышскоязычные латгалы приравнивались к литовцам. Эти суровые меры, направленные на культуру и интеллектуальную жизнь, конечно, не нанесли значительного ущерба давно существовавшей польской культуре: после разделов Польши конца XVIII в. значительная часть польского населения находилась на территориях Германии и Габсбургской империи, относительно спокойно относившихся к польской культуре. Но фактически все носители литовского языка жили на территории Российской империи, и все попытки подавить развитие языка и литературы с помощью новых государственных указов могли повлечь за собой катастрофические последствия, если бы население не принимало специальных мер, чтобы противостоять им.

Указанные специальные меры дали имя следующим сорока годам литовской культурной истории — это был период контрабанды книг. Попытки такого рода предпринимались исключительно частными лицами: контрабандисты (книгоноши) находили поставщиков в литовских общинах Восточной Пруссии («Малой Литвы»), различными способами провозили нелегальный товар через российско-прусскую границу и распространяли книги среди литовского населения российских провинций. Существующая статистика (по определению недостоверная) говорит нам, что этот процесс начинался медленно — в первые десять лет на территорию Империи попало контрабандным путем всего 214 наименований книг, тогда как за весь период (1864–1904) общее количество наименований составило около 4100. Большинство из них поступали из типографий и издательств, находившихся в Восточной Пруссии, но в последние десятилетия около 780 книг были изданы литовскими эмигрантами в США. Российскому правительству удалось конфисковать около 200 тыс. экземпляров нелегально провезенных книг; это, вероятно, означало, что значительно большее их количество достигло своей цели. Масштаб сети книгонош остается неизвестным, но, согласно данным российской полиции, 2854 человека были задержаны за такую контрабанду (86% из них были крестьянами, 6 — горожанами, 6 — дворянами и 2% имели неопределенный статус). Правительство финансировало публикацию около 50 книг на литовском языке, где использовалась кириллица, но они не только не пользовались популярностью, но и в некоторых случаях сжигались в знак протеста. Российское пра-

вительство сделало несколько исключений, разрешив публикацию нескольких сборников литовских народных песен с использованием латиницы. Таким образом, термин «национальное пробуждение» не часто использовался литовцами по сравнению с его распространенностью в балтийских губерниях, поскольку наиболее выраженные аспекты этого пробуждения проявлялись на полностью нелегальной основе.

Трудно предположить, каким было бы развитие литовской литературы без запрета на издание книг, особенно учитывая, что препятствия, созданные запретом, не так уж и замедлили распространение литературы на литовском языке. Историки литовской литературы упоминают около сорока авторов, известных в период контрабанды книг; некоторые из них, такие, как епископ Мотеюс Валанчюс, уже были активно работающими писателями до 1864 г. В этот период продолжала развиваться патриотическая поэзия; в 80-е годы XIX в. в данном жанре стал особенно заметен Винцас Кудирка (1858–1899). Кудирка окончил медицинский факультет Варшавского университета, но затем стал писать для таких литовских газет, как *Aušra* и *Varpas*. Одно из его прочувствованных стихотворений, воспевавших Литву, *Lietuva, Tėvynė Mūsų* («Литва, Родина наша»), стало, в конце концов, литовским национальным гимном. Йонас Мачюлис (1862–1932), окончивший в Петербурге Императорскую Римско-католическую академию, обратился к истории и поэзии, и невзирая на то что являлся представителем ополяченного католического духовенства, поддерживал распространение литовской литературы и участвовал в нем под псевдонимом Майронис. Среди прозаиков Йонас Билюнас (1879–1907) начал литературное творчество (выступил как литовский националист), еще когда учился в средней школе в Либапе (Либава) в Курляндии; он проявил себя как мастер короткого рассказа только в XX в., но его талант достиг своей зрелости в последние два десятилетия XIX в. уже в обстановке богатого литовского литературного контекста.

Национальное самосознание молодых интеллектуалов подпитывалось начиная с 80-х годов XIX в. литовскими газетами *Aušra* («Заря», 1883–1886), *Varpas* («Колокол», 1889–1906) и *Šviesa* («Свет», 1887–1890). Все они издавались в Тильзите (Восточная Пруссия) и контрабандой доставлялись в Литву. *Aušra* под руководством Йонаса Басанавичюса, литовского эмигранта-медика, жившего в Праге и Болгарии, стала особенно важным литературным событием, хотя

ее мягкий тон по отношению к российскому правительству иногда раздражал наиболее критически настроенных читателей. Сам Басанавичюс особенно интересовался литовской историей и фольклором и писал преимущественно об этом, внося свой вклад в романтизацию прошлого Литвы и выдвигая гипотезу, что литовцы как народ являются потомками фракийцев и фригийцев, некогда живших на берегах Черного моря. *Varpas* предпочитала светские темы, но всегда делала акцент на единстве литовского народа и необходимости довести до совершенства литовский язык. Недолго выходявшая *Šviesa*, газета католиков-интеллектуалов, противостояла русификации, но тщательно избегала обвинений в разжигании антицаристских настроений.

Несмотря на то что в период контрабанды книг литовские националисты занимали центристскую позицию в вопросе о том, кого следует считать литовцем, сам этот вопрос намного сложнее, чем аналогичный для эстонцев и латышей. Эстонское население было более компактным и разделялось лишь одной границей, пролежавшей между эстонцами, живущими на севере (в Эстляндии) и на юге (в Лифляндии). К тому же идентичными являлись недавний исторический опыт и память всех эстонцев как жителей балтийских губерний. Латышей же разделяли три границы, пролежавшие между населением Лифляндии, Курляндии и латгалами, проживавшим на западе Витебской губернии. Хотя недавний исторический опыт и память лифляндских и курляндских латышей были почти одинаковыми, у латгалов они на протяжении долгого времени были иными. Существовала также проблема ливов или ливонцев, живших в основном в Курляндии, — их число во второй половине XIX в. все еще составляло несколько тысяч. Однако литовцев разделяли, по меньшей мере, пять границ, а также исторический опыт, в рамках которого некоторые социально-политические группы едва ли могли претендовать на принадлежность к литовской нации, — например, дворянство, с трудом говорившее по-литовски и полностью ориентированное на польскую культуру. Существование в прошлом Великого княжества Литовского было полезным фактором для националистов, избавленных от необходимости *придумывать* славное прошлое, но оно крайне мешало попыткам определить, что же собой представляет литовская нация. Если использовать исторические границы Великого княжества Литовского и игнорировать установленные российским правительством внутренние границы, тогда литовская нация должна была включать

в себя множество народов, не подходивших для этого по строгим языковым критериям. Если использовать лишь языковой критерий, то следовало исключить из числа литовцев тысячи ополяченных жителей региона, включая большинство населения таких крупнейших городов, как Вильнюс и Каунас, а также множество активистов литовского национального возрождения. Фактически, все типичные критерии, используемые националистами XIX в., — происхождение, место проживания, язык, история, культура — были не вполне адекватными, и ни один из них не мог с легкостью игнорировать культурную и языковую легитимность некогда существовавшего объединенного Польско-Литовского государства и последствия движения населения в его границах.

Для литовской литературы вопрос национальной принадлежности на тот момент был не столь актуален, поскольку увеличение числа произведений на литовском языке произошло благодаря авторам, носившим как литовские, так и польские имена, а также тем, кто в силу обстоятельств имел и те и другие. Российские власти не задумывались об их национальных различиях, продолжая мыслить категориями территории и использовать термины, касающиеся социальных классов («сословие»), и более всего были озабочены предотвращением гражданских конфликтов и стремлением интегрировать западные приграничные земли в Империю. К разочарованию активистов националистических движений, для десятков тысяч потенциальных представителей эстонской, латышской и литовской наций (в соответствии с определениями, разработанными данными активистами) все эти абстракции значили существенно меньше, чем экономическое выживание; они читали публикации на родных языках исключительно ради развлечения, а не для того, чтобы выразить сопричастность национальным движениям.

Трансформация городской жизни

Если внимательно присмотреться к изменениям, происходившим в указанный период в больших и малых городах побережья и в связанной с ними экономической деятельности, следует особенно тщательно следить за тем, чтобы не обмануться такими терминами, как «модернизация», «урбанизация» и «индустриализация». Хотя все эти процессы происходили во второй половине

XIX в., ни один из них не зашел настолько далеко, чтобы нейтрализовать общий сельскохозяйственный характер жизни региона. Население большинства городов росло, и, соответственно, деятельность, не связанная с сельским хозяйством, расширялась; последовательное ослабление законов, регулирующих внутреннюю миграцию, способствовало увеличению масштабов переселения крестьян в города; охват региона всероссийской сетью железных дорог, соединявших балтийские порты с российской «глубинкой», увеличил интенсивность и объем движения товаров. В конце 70-х годов XIX в. новый общероссийский закон, изменивший систему управления городами, способствовал увеличению числа горожан, имевших доступ к управлению; к тому же многие сельскохозяйственные процессы были к тому времени механизированы.

Однако все эти изменения не давали быстрых результатов. К концу столетия доля городского населения Прибалтики выросла с 10 до 20%; увеличилось также количество собственности, принадлежавшей живущим в городах эстонцам, латышам и литовцам, но общая доля собственности других национальных групп (балтийских немцев, поляков, русских и евреев) оставалась впечатляюще значительной. Внутренним продуктом, производимым на побережье, как и основным предметом торговли, по-прежнему оставалась сельскохозяйственная продукция. Несмотря на то что светила националистических движений были, как правило, университетски образованными людьми, проживающими в городах, они сохраняли тесные семейные связи с жителями деревни; более того, в большинстве своем эти движения состояли из сельских учителей. По мере того как националистическая философия трансформировалась в идеологию, она отводила крестьянству, сельскому образу жизни и сельским добродетелям центральное место в национальной идентичности эстонцев, латышей и литовцев, даже несмотря на то, что инструменты распространения этой идеологии — газеты, литературные журналы и книги — рождались главным образом в городских центрах. Желание найти «чистые» формы национальных языков неизбежно вело в деревню, как и стремление собирать, записывать и публиковать произведения устного народного творчества, теперь рассматриваемого как национальное. Для тех, кто мыслил в националистическом ключе, сельская местность стала хранилищем национальных добродетелей и крестьяне — фермеры, сельскохозяйственные рабочие и сельские

ремесленники — являлись не просто грубыми пахарями, но потенциальными представителями эстонской, латышской и литовский наций. Если бы это было не так, то кого же еще оставалось бы им «пробуждать»?

Для сельских жителей побережья города представляли объект восхищения, и народные песни отражают такое отношение. На протяжении столетий крестьяне возили товары на городские рынки и с них; города обладали магнетическим притяжением для беглых крестьян; крестьянские жалобы на помещиков часто рассматривались в соответствующих городских институтах; в крупнейших городах, таких, как Рига, Таллин, Вильнюс и Каунас, часть постоянного населения составляли представители коренных народов побережья, занятые в областях, которые позже назовут сферой услуг. Таким образом, городской образ жизни был, без сомнения, чужд общему культурному опыту крестьянского населения, и такое отношение оставалось неизменным до тех пор, пока сами города не стали заметно меняться. Однако с середины XIX в. подозрения, испытываемые большинством населения по отношению к городской жизни, стали все чаще оправдываться. Городская жизнь предоставляла большие экономические возможности, но при этом не прощала ошибок, поражений и неумения конкурировать. Городское население являлось чрезвычайно стратифицированным и представляло собой корпорации, закрытые для пришедших извне, если только те не претендовали на роль прислуги. Стратификация была как экономической, так и языковой, что показывает существование общин, которые жили бок о бок, но не смешивались. Разные стили одежды, места, где было принято питаться, спать, работать и отдыхать (например, городские парки), — все это подчеркивало скорее различия, чем сходство, и никак не способствовало интеграции.

Таким образом, города становились для представителей «национального пробуждения» полем действия, несмотря на то что они при этом воспевали сельские добродетели. Однако родившиеся в деревнях националисты были не единственной группой населения побережья, высоко ценящей сельскую жизнь. Среди сотен тысяч эстонских, латышских и литовских крестьян проживали представители землевладельческой аристократии — в основном балтийские немцы в Эстляндии, Лифляндии и Курляндии, в большинстве своем поляки и русские в Латгалии и литовских землях, — успешно защищавшие свой образ жизни от перемен,

вызванных отменой крепостного права, реформами, предполагавшими выкуп земли, и другими мерами, сокращавшими прежние привилегии. Хотя теперь их поместья обрабатывались другой рабочей силой, образ жизни помещика не потерял своей притягательности. Помещики повсеместно составляли меньшинство населения: только одна пятая всех балтийских немцев Эстляндии, Лифляндии и Курляндии проживали в сельской местности; вопрос о роде занятий, включенный во всероссийскую перепись населения 1897 г., показал, что лишь 3,5% общего числа балтийских немцев занимались сельским хозяйством в качестве помещиков или управляющих поместьями, а также трудились на подсобных работах в поместьях в качестве ремесленников; в это же число вошли сельские представители лютеранского духовенства. Несмотря на столь малое число, балтийские немцы, проживавшие в сельской местности, особенно принадлежавшие к рыцарствам, пользовались значительной властью, поскольку имели практически монопольное представительство в местных органах власти (ландтагах). Такое влияние различными способами распространялось и на городскую жизнь: эта часть населения была состоятельна, располагала средствами для инвестирования и многие ее представители обладали предпринимательскими наклонностями и могли диверсифицировать свои доходы. Подобным влиянием несложно было пользоваться: большинство могущественной лифляндской знати имело дома в Риге, недалеко от центров власти городского патрициата — Большой гильдии (объединявшей купцов, ведущих торговлю с дальними землями) и Малой гильдии (объединявших местных торговцев и ремесленников). Более того, рыцарства знали, как наладить хорошие отношения с высокопоставленными представителями российской администрации (на уровне «одна элита общается с другой») и как ими манипулировать, — и, таким образом, оказывали значительное влияние на петербургские придворные круги. Но в своих поместьях они выделялись: в балтийских губерниях практически отсутствовали крестьяне немецкого происхождения, что усугубляло социальное расслоение языковым. В Латгалии и литовских землях сложнее увидеть столь четкое разделение — там помещики были в основном поляками, частично — русскими. Однако еще во второй половине XIX в. значительное количество говорящих по-польски землевладельцев — в основном мелкопоместных — продолжали называть себя литовцами на основании того, что их предки были гражданами Велико-

го княжества Литовского. Восстания 1830 – 1831 и 1863 – 1864 гг. также привели к тому, что польские помещики считались подозрительными при петербургском дворе, и их влияние по сравнению с возможностями балтийских немцев было незначительным. Но и здесь образ жизни помещика считался желанным и достойным для людей высокого общественного положения. Концепция *Stilleben* («жизнь без изменений»), используемая балтийскими немецкими авторами, была приложима как к северной, так и к южной части побережья: ей было присуще желание сохранять существующее положение вещей, глубоко укоренившийся социальный консерватизм, ставящий во главу угла поместье, убеждение в нежелательности спешки и суеты современной жизни, привносимых пришельцами извне.

Тем не менее, во второй половине XIX в. сравнительная значимость городов продолжала расти в соответствии со схемой, сломать которую смогла лишь Первая мировая война. Среди всех городов Прибалтики крупнейшим была Рига, население которой к 1867 г. увеличилось почти в четыре раза по сравнению с началом века (1800 г. — 27 894 человек; 1867 г. — 102 590). Рост продолжился до 1914 г., когда население города составило 517 500 человек. Российское правительство считало Ригу «столицей» балтийских губерний и размещало там множество органов местного управления. Рига долго боролась за то, чтобы отличаться от окружавших ее территорий, и в XVII и XVIII вв. эти мечты сбылись: новые хозяева побережья (шведы и русские) сочли выгодным заключать с этим городом отдельные мирные договоры и подтверждать экономические «привилегии», на которые Рига претендовала как портовый город и центр региональной торговли. Однако к середине XIX в. она стала одним из крупнейших городов Империи, уступая по размеру лишь Петербургу, Москве, Варшаве и Одессе, но к 1910 г. Киев и Лодзь обогнали Ригу по числу жителей, поставив ее, соответственно, на седьмое место. Правивший в Риге немецкий городской патрициат приспособлялся к росту населения: в 60-е годы XIX в. была снесена стена, окружавшая город, и пригороды вошли в состав Риги, после чего началось серьезное внутреннее планирование. Множество мелких поместий за стенами города, где богатые рижане проводили лето, стали теперь частью городской территории.

В 60-е годы XIX в. сеть железных дорог связала Ригу с другим крупными городами — Петербургом, Варшавой, Москвой (а также

с российской «глубинкой»), с Двинском (Даугавпилсом) в Латгалии, Митавой (Елгавой) в Курляндии и Валкой в Лифляндии. Помимо этих основных транспортных артерий, появились второстепенные, соединяющие другие города Прибалтики, и вся эта сеть увеличила роль Риги как центра. Современные промышленные предприятия — фабрики, где использовались машины и сила пара, — увеличились как в количестве, так и в размерах, и темп данного роста превышал общий темп промышленного роста в стране. В период 1879—1914 гг. среднегодовой коэффициент роста, выраженный в увеличении количества заводов, числа рабочих, а также стоимости произведенной продукции, в 103 крупнейших промышленных центрах России составил, соответственно, 0,9; 3,3 и 4,8, тогда как в Риге эти цифры составляли 2,0; 5,2 и 7,3. Что касается абсолютных чисел, то, если в 1864 г. количество наемных рабочих на промышленных предприятиях Риги составляло 6114 человек, к 1905 г. их число достигло 43 252 человек, которые проживали в рабочих кварталах так называемых Московского и Петербургского предместий Риги или на левом берегу Даугавы в Задвинье (*Pārdaugava*). «Средневековая» часть города — Старая Рига (*Vecrīga*) — на правом берегу Даугавы оставалась отделенной от этих новых пригородов парками и каналом. В этих пределах появились длинные улицы в форме полукруга, на которых были построены большие многоквартирные дома, чтобы расселить возрастающее население, относящееся к среднему и верхнему среднему классам. Эти постройки, как и тесные средневековые кварталы, продолжали оставаться территорией балтийских немцев, горстки успешных бизнесменов из числа латышей и лиц так называемых свободных профессий (медицины, юриспруденции и архитектуры). Рост населения Риги отражал возрастающий «удельный вес» латышского населения в городе, а также в Лифляндии и Курляндии: количество балтийских немцев в Риге снизилось с 42,8% в 1867 г. до 25,5% в 1897-м, тогда как число латышей возросло с 23,5% в 1867 г. до 41,6% в 1897-м; за тот же промежуток времени количество русских уменьшилось от 25,1 до 16,9%. Еще одной растущей группой населения города были евреи, количество которых увеличилось за это же время с 5,1 до 16,9%. Немецкое население, хоть и уменьшившееся в абсолютных цифрах, показало способность поддерживать свое экономическое могущество: в 1912 г. (когда доля немцев в Риге снизилась до 16,4%), немцам принадлежало в городе 38,5% 2828 объектов недвижимости стоимостью

более 10 тыс. рублей каждый, тогда как латышам принадлежало 36,9%.

Сходная модель долгосрочного роста — умеренное развитие до 1850 г. и гораздо более резкий рост после — наблюдалась в других городах латышскоязычных регионов. Некоторые из этих городов были теперь менее важными, чем в прошлом: Елгава (Митава), например, на протяжении столетий являлась столицей Курляндского герцогства и резиденцией герцогов, а теперь она стала относительно небольшим городом (с населением 28 531 человек в 1881 г.) в относительно небольшой российской провинции. Цесис (Венден) был некогда резиденцией Ливонского ордена, а теперь потерял всю свою значимость (1881 г. — население 4300 человек). Другие же небольшие города в XIX в. выросли с точки зрения не только населения, но и значимости — их роль в экономике побережья стала более важной: Лиепая (Либава) и Вентспилс (Виңдава), портовые города, расположенные на западе Курляндии, смогли извлечь выгоду из своего местоположения и вступить в период экономического роста. Однако доля сельского населения продолжала доминировать над долей городского, так что к концу века число горожан достигло лишь 30% общего населения латышскоязычных регионов. Лифляндия была более «урбанизированной», Курляндия — менее, а рост городов Латгалии пренебрежимо мал; там крупнейшим и наиболее значительным городом к концу века стал Даугавпилс (Двинск), обязанный своим успехом тому, что имел важное значение для российской армии. Даугавпилс также был наименее «латышским» из городов: в 1897 г. большинство его населения составляли евреи (46%), русские (30%) и поляки (16%).

Несмотря на впечатляющую долю латышей в растущем населении городов, представителям латышского «национального пробуждения» было очень трудно осознавать города частью будущей латышской культурной нации. Большинство городов продолжали сохранять немецкую атмосферу, и балтийские немцы доминировали в их управлении. Хотя латышская устная традиция часто упоминала города в сочетании с местоимением «наш» (*mūsu*), этот термин предполагал скорее место жительства, разделяемое там с представителями других народов, чем растущее осознание собственной культурной гегемонии. Более того, во всех городах сохранилось не только немецкое политическое доминирование; русский язык и идиш использовались там так же часто, как немецкий и латышский. Культурное и языковое смешение вследствие межнациональных

браков было крайне незначительным и никогда не превышало 3—4% даже среди латышей и немцев, живущих в небольших городах. Каждая городская языковая община развивалась сама по себе, без неизбежного ежедневного экономического взаимодействия, порождающего общую городскую культуру. Историки культуры этого периода, например, отмечают, что рост населения Риги в период 1850—1900 гг. способствовал появлению множества небольших «Риг», каждая из которых представляла собой отдельную культурно-языковую общину. Сказанное справедливо и в отношении других крупных городов, за исключением случаев, когда имелись причины, благодаря которым одна языковая группа могла доминировать во всем городе. Такой тип мультикультурализма представлял собой палку о двух концах: с одной стороны, он порождал интересное многообразие, а с другой — соседство различных групп основывалось скорее на удобстве и соблюдении собственных интересов, чем на ощущении общегородской общности. Некоторые латышские интеллигенты в 80-е годы XIX в. — в первую очередь Якобс Апситис (1858—1929) — уже изображали города как средоточие ложных ценностей, где молодым людям, прибывающим из «чистой» латышской деревни в поисках работы и перемен в жизни, легко сбиться с пути истинного.

Литературные обобщения подобного рода никоим образом не могли остановить миграцию из сельской местности в города, носившую преимущественно экономический характер, однако они приносили в развивающуюся латышскоязычную литературу ностальгию по сельской жизни и убеждение, что модернизацию не следует проводить столь рьяно, как на том настаивали наиболее активные представители «национального пробуждения», такие, как Вальдемарс. Тем не менее даже писатели вроде Апситиса пользовались всеми выгодами городского и экономического роста, порождавшего все большую читательскую аудиторию для газет и журналов на латышском языке, по мере того как богатеющие жители деревень и городов с удовольствием приобщались к чтению. При всей ироничности этой ситуации, латышскоязычный национализм действительно с самого начала отличался приверженностью родному языку и сельской жизни: латышами считались те, кто говорил по-латышски и был тесно связан с деревенской жизнью, особенно с той частью побережья, которая могла считаться землей их предков. А к социально-экономическим переменам второй половины XIX в., принесшим латышам столь разнообразные ценности, они относились с подозрением.

В Эстляндии и эстонской части Лифляндии во второй половине XIX в. также наблюдался рост городов, но нигде он не достиг таких масштабов, как в Риге. Два наиболее важных города на момент начала XIX в. — Таллин и Тарту (Дерпт) остались такими и к концу столетия. Оба города некогда были членами Ганзейского союза, и оба, как и Рига, стремились достичь некоторой независимости в отношениях с рыцарствами, однако в XIX в. балтийские немцы продолжали удерживать в них власть. В Таллине они контролировали гильдии, местную и международную торговлю, а в окрестностях города строили первые заводы. Преимущественно немецкая профессура Тартуского (Дерптского) университета создала городу заслуженную славу главного университетского центра побережья.

Как наиболее важный город Эстляндской провинции, Таллин после 1710 г. стал российским административным центром. Во второй половине XIX столетия в нем начался быстрый рост населения: в 1850 г. в городе было 27 тыс. жителей, а к 1913 г. — 160 тысяч. Для эстонского деревенского населения Эстляндии (северная часть Лифляндии) Таллин постепенно становился индустриальным центром притяжения, таким же, как Нарва; наибольшее число переселенцев из сельской местности направлялось именно в эти города. В Нарве преобладали текстильные предприятия, в то время как в Таллине развивались в основном металлообработка и машиностроение. К 1900 г. 41% всех эстонских промышленных рабочих были сконцентрированы в Нарве и 33% — в Таллине. Хотя динамика экономических и демографических изменений была одинаковой по всему региону, в абсолютных цифрах эстонские земли очевидно уступали латвийским, где количество промышленных рабочих выросло с 6,5 тыс. человек в 1860 г. до 24 тыс. в 1900 г. Хотя население эстонских городов увеличилось в три раза, доля городских жителей в общем составе населения возросла не так значительно: с 8,7% в 60-х годах XIX в. до 19,2% к концу столетия. Как и на латвийских территориях, большинство эстонского населения (и землевладельцев из числа балтийских немцев) оставалось сельским и зависело от доходов, получаемых от сельского хозяйства; в том числе по этой причине философия эстонского национализма в данный период связывала принадлежность к эстонскому народу с принадлежностью к крестьянству (или, по крайней мере, с крестьянским происхождением), полагая, что основные добродетели присущи именно сельским жителям, и считала устное народное творчество квинтэссенцией народного духа (*Volksgeist*). Благодаря

относительно небольшой доле городского населения среди эстонцев эстонская литература уделяла противостоянию город — деревня гораздо меньше внимания, чем латышская. К концу же столетия доля городского населения среди эстонцев была больше, чем среди латышей; к этому времени в 12 из 13 эстонских городов балтийские немцы составляли менее 20% населения.

Тарту (Дерпт), будучи единственным университетским центром Прибалтики, несмотря на то что являлся сравнительно небольшим городом (в 1854 г. — 13 тыс. жителей, в 1900 г. — 40 тыс.), играл уникальную роль в жизни региона. Этот город стал известным уже в XVII в., когда шведское правительство, контролировавшее в то время Лифляндию, основало здесь в 1631 г. Густавианскую академию. Также в Тарту появилась первая в Эстонии типография (1632) и, в XVIII в., семинария Форселиуса, первое учебное заведение в Эстонии, готовившее учителей. Город Тарту давно и прочно стал ассоциироваться с высшим образованием, и даже то, что на протяжении значительной части XVIII в. Тартуский университет был закрыт российским правительством (в 1802 г. он был открыт вновь), не разрушило этой ассоциации. Численность населения Тарту всегда была сравнительно небольшой; известность городу давало количество его студентов. Балтийские немцы считали Тартуский университет «своим», имея для этого определенные причины. Латышские студенты из Лифляндии и Курляндии (количество которых на протяжении XIX в. росло) называли этот город по-своему — «Тербата» или, в более разговорном варианте, «Метрайне», тогда как русские колебались между вариантами «Дерпт» или «Юрьев» — под последним названием город был известен в средневековых русских летописях и это же имя получил позже в результате русификации балтийских губерний, всерьез начавшейся после 1883 г. (об этом см. ниже). Множество молодых балтийских немцев получали университетское образование именно здесь, наряду со множеством деятелей латышского «национального пробуждения». Именно в Дерпте было основано первое общество студентов-латышей (*Lettonia*), созданное по образцу немецких студенческих корпораций (*Burschenschaften*). Для небольшого, но растущего количества латышей, имеющих университетское образование, Дерпт (Тарту) был столь же привычным компонентом картины мира, как в Курляндии (по различным причинам) Рига и Елгава. Именно в Тарту впервые произошло множество важных событий эстонского «национального возрожде-

ния» — первый певческий праздник в 1869 г., открытие первого национального театра в 1870 г., основание Общества эстонских литераторов в 1871 г. В то время как латышские студенты Тартуского университета закладывали основы «национального пробуждения», студенты немецкого происхождения испытывали чувство культурного превосходства, полагая это место и учебное заведение «своим», «немецким». Новая притягательная цель в области образования появилась в 1862 г., когда был основан Рижский политехнический институт, в котором, в отличие от «гуманитарного» Дерпта, предполагалось делать упор на точных науках и технических дисциплинах. Традиционные механизмы приема новых студентов в Дерпте значительно изменились с началом русификации 1883 г., когда университет был переименован в Юрьевский и русский стал обязательным языком преподавания.

Литовская часть Прибалтики в середине века была преимущественно сельскохозяйственной и оставалась таковой и к концу столетия. Около 90% населения составляли крестьяне; отмена крепостного права в 1861 г. дала им землю, но вместе с тем обрекла на долгосрочные выкупные платежи правительству. При этом на литовских территориях находились два крупных города — Вильнюс и Каунас, население которых стало быстро расти с 1850 г.; к 1897 г. население Вильнюса составляло 154 тыс. человек, а Каунаса — 86,5 тысяч. Оба они пережили свой расцвет раньше; в XIX в. это были просто крупные города на западной границе России. Ни Вильнюс, ни Каунас не имели выхода к морю (как, например, Таллин и Рига) и, как большинство крупных литовских городов, не отличались быстрым промышленным развитием. К 1912 г. в Виленской и Ковенской губерниях, а также в Сувалкии было всего лишь 21,8 тыс. промышленных рабочих, проживавших в городах Вильнюс (Вильно), Каунас (Ковно) и Шяуляй (Шавли). Во всех литовских землях к 1912 г. только на семи из 3143 промышленных объектов трудилось более сотни рабочих. Эти рабочие являлись переселенцами из деревень, как и во всей Прибалтике, но, в отличие от эстонских и латышских земель, в Литве миграция не увеличивала число литовского населения городов. Как в Вильнюсе, так и в Каунасе доля литовцев в городах колебалась от 2 до 6%; население данных городов состояло преимущественно из евреев, поляков и русских, а к 1897 г. евреи составляли около 40% всего населения. На протяжении последних десятилетий XIX в. национальный состав городского населения резко отличался от состава

городов Северной Прибалтики, в которых эстонцы и латыши составляли абсолютное большинство (что не имело политического отражения). Различия севера и юга все же не исключали одной общей черты: в деревнях, селах и других небольших поселениях в обоих регионах жили только представители коренных национальностей побережья. Помимо препятствий, создаваемых российским правительством развитию литовской языковой культуры, перед деятелями «национального пробуждения» стояла еще одна проблема: они не могли рассчитывать на жителей городов и им приходилось воздействовать преимущественно на сельское население.

Несмотря на относительно небольшие размеры и почти не литовский состав населения, а также слабое развитие промышленности, Каунас и Вильнюс занимали важное место в исторической памяти литовцев, поскольку некогда играли значительную роль в Великом княжестве Литовском. Оба города на протяжении веков страдали из-за неудачного расположения — во времена Речи Посполитой они вечно оказывались на пути мародерствующих армий, польской, шведской и русской, и, вследствие своего богатства, становились первоочередными целями для захвата. Несколько раз Вильнюс подвергался почти полному уничтожению; к моменту установления российского правления в конце XVIII в. его население сократилось до 20 тыс. человек.

Население Каунаса было и оставалось небольшим (около 5 тыс. человек) до середины XIX в., когда этот город стал административным центром Ковенской губернии. Это вызвало сильный приток переселенцев из деревень и последующее четырехкратное увеличение населения к концу столетия. К тому же российское правительство стало укреплять значение Каунаса как военного центра — из-за того, что он был расположен недалеко от российско-прусской границы (и совсем близко от Малой Литвы, находившейся прямо за линией границы). С исчезновением Речи Посполитой и Великого княжества Литовского после разделов Польши конца XVIII — начала XIX в. исчез и политический контекст, дававший Вильнюсу и Каунасу их статус; теперь это были всего лишь среднего размера города, население которых едва ли можно было назвать литовским. Впрочем, некоторые литовские националисты периода «пробуждения», мечтавшие о воссоздании независимой Литвы, восстановленной в прежнем блеске и славе, непременно включали эти два города в свои пла-

ны, так как в их представлениях реставрация означала государство, максимально приближенное к Великому княжеству Литовскому.

Миграционная волна, несшая сельское население в города, обильно орошавшая националистические движения на побережье и в значительной мере обеспечившая эти движения аудиторией, имела еще одну черту, не столь благоприятную для дела национализма: она вынесла множество жителей Балтийского побережья за его пределы, поместив их в контексты, в которых потеря языковой и культурной идентичности была угрозой гораздо более реальной, чем на родине. С каждым десятилетием, прошедшим после 60-х годов XIX в., росло число эстонцев, латышей и литовцев, эмигрировавших за пределы родной земли в поисках лучшей работы или земли для возделывания либо просто в поисках такой жизни, которая бы обещала большие возможности в чем-то еще. Точные данные по количеству таких эмигрантов нам недоступны, но перепись населения 1897 г. дает некоторую возможность заглянуть в эту диаспору конца XIX в. и позволяет сделать некоторые предположения о мотивах мигрантов. К 1897 г. около 23 тыс. литовцев покинули родные места и проживали в Эстляндии, Лифляндии и Курляндии, при этом большинство (53%) — в сельской местности; около 5 тыс. литовцев переселились из литовской части Лифляндии в эстоноязычную часть той же провинции. В Центральной России на тот момент проживало 1300 литовцев (27% в сельской местности и 72% в городах), 6079 латышей (83 и 17) и 2537 эстонцев (77% в сельской местности и 22% в городах). Даже в сибирских провинциях России жили люди, говорившие на языках народов Балтийского побережья: 1900 литовцев (83% в сельской местности и 16% в городах), 6700 латышей (93 и 6) и 4200 эстонцев (93% в сельской местности и 6% в городах). Во многих крупных российских городах проживало настолько большое число бывших жителей побережья, что они могли создавать собственные клубы, ассоциации и культурные программы: в Москве проживало 435 литовцев, 710 латышей и 318 эстонцев; в Санкт-Петербурге было 3763 литовца, 6277 латышей и 12 238 эстонцев; однако в Варшаве эти цифры были меньше: 116 литовцев, 649 эстонцев и 634 латыша. В крупнейшие города побережья также переезжали на постоянное жительство уроженцы других регионов: в Риге проживали 6362 литовца и 3702 эстонца; в Вильнюсе — 164 латыша и 19 эстонцев. По одной из оценок, в России за преде-

лами Прибалтики проживало 120 тыс. эстонцев и 112 322 латыша. Численность представителей каждой из балтийских национальностей, покинувших родные земли, но нашедших себе место жительства в пределах Российской империи, в целом сопоставима с другими и, таким образом, не позволяет сделать вывод о большей или меньшей привязанности носителей того или иного языка к родной земле; лишь литовцы оказались наиболее склонными к миграции на дальние расстояния. Данные, полученные по одним только США, позволяют утверждать, что прибывшие за период с 60-х годов XIX в. до 1914 г. на территорию этой страны порядка 300 тыс. литовцев — в основном для работы на сталелитейных заводах и шахтах в городах Пенсильвании и на бойнях Чикаго — немедленно стали объединяться в церковные приходы, братства и общества взаимопомощи. Количество эстонцев и латышей, готовых совершить подобное путешествие, было сравнительно меньшим: по оценкам, к 1900 г. на него решились 5100 эстонцев и 4309 латышей, большинство которых осели в портовых городах Восточного побережья Америки. Сразу после революции 1905 г. (см. гл. 7) количество эстонских и латышских эмигрантов возросло, но так и не достигло впечатляющих цифр, сопоставимых с числом литовских эмигрантов. Значение всех этих данных очевидно: когда к концу века жители Прибалтики оказывались перед выбором — оставаться на родине или искать лучшей жизни, тысячи из них выбирали последнее, даже если этот выбор означал перемещение в социально-культурный контекст, подразумевающий адаптацию к новым языкам и обычаям и, возможно, ассимиляцию. Существовала и обратная миграция (то есть возвращение эмигрантов), данные по которой остаются неизвестными, но, тем не менее, в городах, где селились мигранты, их сообщества были достаточно большими, чтобы организовать общение на национальных языках. Верно и то, что продолжение подобных миграционных процессов внесло некоторые сомнения в движение «национального пробуждения»: его представители признавали, что сколько бы ни было сделано для создания в Прибалтике эстонско-, латышско- и литовскоязычных институтов культуры, тем не менее их существующие и предполагаемые возможности не были достаточными, чтобы в полной мере объединить тысячи соотечественников. Работа по строительству национальных культур продолжалась, но конечный успех этого процесса становился все менее предсказуемым.

Искушения национальной идентичности: русификация и социализм

В среде активистов балтийского «национального пробуждения» всегда был актуален вопрос, насколько успешными были их усилия в каждый конкретный момент. Многие ли из соотечественников прониклись языковым самосознанием настолько, чтобы перевести его в национальное самосознание? Насколько глубоким было это новое чувство национальной идентичности и каковы внешние признаки его проявления? Ответы на данные вопросы всегда были неоднозначными. С одной стороны, можно было ссылаться на растущее число участников и зрителей на национальных певческих праздниках, на увеличение подписки на газеты на национальных языках и рост количества публикаций на них. Но с тем же успехом можно было сослаться на убеждение (особенно присущее потомкам крестьян, поднявшимся по общественной лестнице), что немецкий и польский языки, равно как и сопричастность немецкой и польской культуре, необходимы для достижения личного успеха. Эти же группы населения полагали, что культурные притязания эстонцев, латышей и литовцев всегда будут неразрывно связаны с их крестьянскими корнями и никогда не сравнятся с достижениями более крупных культурных наций. Подобное убеждение было весьма актуальным даже для либеральных изданий, таких, как немецкий ежемесячник *Baltische Monatschrift*, возвестивший в 1881 г., что «задача эстонцев и латышей в данный момент состоит в том, чтобы не форсировать идею интеллектуальной независимости... Их культурная миссия должна реализоваться в практической сфере. С течением веков они сформировались как народы почтенных крестьян, и именно на этом следует сосредоточить свое внимание эстонцам и латышам, думающим о благополучии своих народов». Такая позиция десятилетиями повторялась представителями балтийского немецкого образованного сословия: так, например, в 1864 г. рижская газета *Rigasche Zeitung* написала, что «по законам самой природы, если на одной и той же территории проживают два народа, народ с более высоким культурным развитием должен ассимилировать другой, не достигший столь высокого уровня».

Схожие точки зрения высказывала польская интеллигенция касательно культурных притязаний литовцев. Проблема первого

поколения деятелей «национального пробуждения» состояла в опасении того, что они опасались, что многие носители эстонского, латышского и литовского языка в той или иной степени разделяют эти воззрения. Однако ни одна, ни другая сторона, принимавшие участие в обсуждении «национального вопроса», не учитывали того, что 5–6% населения побережья (немцы и поляки) вряд ли в действительности смогут ассимилировать оставшиеся 94–95% (эстонцев, латышей и литовцев) в свою якобы более высокоразвитую культуру. Численное соотношение народов явно не способствовало такому развитию событий, и потому аргументы «ассимиляторов» выглядели как проявление культурного высокомерия в чистом виде. Но даже при этих вводных активисты национальных движений продолжали переживать, что их усилия по созданию и поддержанию национальной культуры недостаточны в существующем социально-экономическом контексте, когда тысячи жителей Прибалтики испытывают искушение покинуть родину, а тысячи других переезжают в города и проявляют мало интереса к родной культуре; к тому же им предлагается материальное вознаграждение за определенные усилия, связанные с ассимиляцией, — во многих областях взаимодействия с правительственными структурами, работодателями и церковью ежедневное использование польского, немецкого или русского языков было обязательным.

Устойчивость молодых национальных культур в последние два десятилетия XIX в. подверглась двойному испытанию: русификации, или распространению на всю Прибалтику политики российского правительства, начатой в Литве после восстания 1863–1864 гг., и популярностью социалистических доктрин среди нового поколения эстонских, латышских и литовских интеллектуалов в 90-е годы XIX столетия. Целью русификации было усмирение мятежных западных окраин, и за этими мерами стоял круг славянофильски настроенных журналистов и политиков, считавших неприемлемым существование в рамках Российской империи любых регионов, сохраняющих свой язык и культуру, отличную от русской. Социализм проповедовал международную солидарность пролетариата; для его сторонников признаком истинной верности «массам» была приверженность не национальной культуре, а интересам рабочего класса. За политикой русификации стояло государство, а социализм стал привлекательным для нового поколения потому, что был «западным», «современным» и, по мнению его приверженцев, мог

решить проблемы, игнорируемые националистами. Однако оба эти явления подвергали испытанию на прочность идею национальной идентичности, над внедрением которой в массы так упорно работали представители «национального пробуждения».

В 1881 г. царь Александр II был убит, что вынудило его сына и преемника Александра III пересмотреть либеральную политику отца по отношению к мятежным западным окраинам. В конечном счете это возвращение к консерватизму привело правительственные круги Петербурга к убеждению, что политику систематической русификации, нацеленную после 1864 г. на польские и литовские территории, следует распространить на всю Прибалтику, включая неприкосновенные ранее Эстляндию, Лифляндию и Курляндию. Культурные, религиозные и языковые трансформации также должны были внедряться «сверху». Предполагаемым результатом должно было стать планомерно функционирующее государство, где все регионы были бы русскими (или контролируемые русскими) и развивались бы в соответствии с планами царя и его советников. Однако русификация Прибалтики и Финляндии, начавшаяся в 80-х годах XIX в., не была основана на сколько-нибудь заметном успехе такой политики в Польше и Литве, если, конечно, не считать успехом тот факт, что с 1864 г. ни одного серьезного восстания в этих землях не произошло. Казалось, что в большинстве своем польская землевладельческая элита приняла сложившееся положение вещей. Запрет на публикации на литовском языке не касался ее напрямую; ни местная аристократия, ни российское правительство не казались озабоченными тем, что проникновение тысяч книг на литовском языке на территорию Российской империи из Восточной Пруссии может стать предвестником изменения взглядов низших классов. То, что подобные систематические попытки русифицировать целые губернии могли произвести противоположный эффект там, где это касалось управления на местах, не принималось во внимание: отчасти потому, что центральное правительство не отличалось дальновидностью, а отчасти в силу того, что реакции тех, кто действительно противостоял русификации, — в судебной системе, в школах, в принятии решений относительно браков, в соблюдении религиозных обрядов — не придавали серьезного значения. Недовольные при действующей политической системе не могли донести свои жалобы до Санкт-Петербурга. Наиболее пронизательные представители российской администрации в своих докладах

старались не упоминать о негативных чувствах местного населения по отношению как к польской и немецкой элите, так и к царской политике. В то же время в Литве и других балтийских губерниях политика русификации неизбежно сочеталась с расширением национального самосознания и национальная исключительность не воспринималась как серьезная преграда на пути к успеху этой политики (если вообще как-либо учитывалась).

Российские чиновники понимали, что главной противодействующей силой во всей Прибалтике являются представители немецкой элиты — землевладельцы в сельской местности, городской патрициат в городах, а также интеллектуалы, располагавшие множеством способов для выражения своего мнения. Одним из этих способов с 1871 г. стала пресса объединенной Германии. С другой стороны, бытовало убеждение, что не принадлежащее к немцам большинство населения (в основном эстонцев и латышей) можно было склонить на сторону российского правительства, поскольку деятельность последнего в сфере развития местной культуры также подрывала культурную монополию балтийских немцев, и поэтому многие латышские и некоторые эстонские деятели «национального пробуждения» стремились донести до правительства свою позицию. Например, представитель латышских активистов Кришьянис Вальдемарс постоянно повторял в своих публикациях, что, если и выбирать сторону в существующем противостоянии, латышам полезнее держаться российского правительства, а не балтийских немцев. Когда в 1881 г. сенатор Н.А. Манасеин посетил балтийские губернии с целью инспекции, тысячи латышских крестьян просили его обратиться к правительству, чтобы оно справедливо решило земельный вопрос и проблему безземелья в регионе; активисты латышского национального движения помогали организовывать этот процесс и собирали петиции. Такое заигрывание с российской администрацией казалось полезной тактикой, и многие думали, что власть балтийских немцев подорвана и земельный вопрос переходит в руки центрального правительства, обещавшего местному населению значительную культурную автономию. Однако коренные жители Прибалтики по-прежнему не замечали, что правительство стремилось к ликвидации любых культурных, лингвистических и религиозных анклавов. В данном контексте желания и позиции эстонских, литовских и латышских активистов не имели никакого значения.

Различия во мнениях эстонской и латышской интеллигенции по поводу того, насколько можно допустить русификацию населения, к 90-м годам XIX в. все еще сохранялись; никакая объединенная сила (как, например, балтийские немцы) им не противостояла. (Подобная оппозиция в любом случае должна была быть крайне осторожной.) Кроме того, у латышей период русификации совпал с появлением активистов нового поколения: некоторые старые активисты все еще пользовались известностью — Кришьянис Вальдемарс, Кришьянис Баронс, но пыл 1856–1880 гг. прошел, и активисты нового поколения (латыши, обучающиеся в университетах) заявляли, что национальное движение стало коммерческим предприятием, направленным на благо богатейших членов Рижского латышского общества.

Политика русификации начала постепенно осуществляться в Эстляндии, Лифляндии и Курляндии в середине 80-х годов XIX в. Русские генерал-губернаторы были назначены во все три губернии; полицейские и судебные функции были отданы российскому министерству внутренних дел; образовательная система постепенно переходила под контроль министерства образования; активная пропаганда русской культуры использовалась для того, чтобы отвратить крестьян от лютеранской церкви. Через десять лет число русских чиновников на этих территориях сильно возросло, а политика русификации не отличалась систематичностью, хотя и проявлялась во всех аспектах жизни. Использование русского языка в школах и в суде неизбежно влекло за собой увольнение учителей и правительственных чиновников, недостаточно хорошо знавших этот язык; они были заменены русскоговорящими сотрудниками, которые очень редко знали какой-либо из местных языков — немецкий, эстонский, латышский, литовский. Петербургское правительство также спонсировало школы, где языком преподавания был русский. Потомки смешанных браков, где один из супругов был православным, в приказном порядке крестились в православной церкви, и любой переход из православия в другую веру строго отслеживался и, в конце концов, запрещался. В Прибалтике было построено множество православных храмов, особенно на территориях с большим числом русскоязычного населения.

Протесты политических лидеров балтийских немцев и лютеранской церкви, апеллировавших к историческим свободам, оставались незамеченными или же отклонялись. Несмотря на то что

правительство не зашло настолько далеко, чтобы запретить публикацию книг с использованием латинского алфавита — что имело место на литовских землях с 60-х годов XIX в., — все же и там поощрялась печать книг на латышском и эстонском языках с использованием кириллицы. Некоторые российские чиновники считали эстонский и латышский скорее диалектами, чем языками. Дерптский университет был переименован в Юрьевский, и язык преподавания сменился там с немецкого на русский. С середины 80-х годов националистам становилось все сложнее выполнять свои главные задачи — создавать литературу на эстонском и латышском, издавая книги, газеты и периодические издания, а также добиваться воспитания нового поколения в школах на тех же языках. Эстонская и латышская интеллигенция была вынуждена противостоять давлению, с которым литовские активисты сталкивались на протяжении последних двадцати лет. К тому же меры, принимаемые сторонниками русификации, сильно напоминали действия представителей балтийского немецкого образованного сословия, активно онемечивавших эстонцев и латышей. Описывая латышский праздник песни, где участвовало 110 хоровых коллективов, 1600 певцов и около 58 тыс. зрителей, газета «Новое время» писала: «Чем меньше народ, тем большего он хочет. Латышский праздник песни переходит все мыслимые границы». Тем не менее правительство не запрещало это крупнейшее проявление национального самосознания эстонцев и латышей. Организаторы праздников песни обычно провозглашали, что таким образом народ благодарит царя за его благодетельные указы, и потому российские чиновники не препятствовали их проведению. В Эстонии посещаемость этих праздников в 90-х годах XIX в. продолжала расти, а музыкальный репертуар исполнителей вышел далеко за пределы эстонской музыки.

Запрет на книги в литовских землях был снят в 1904 г., когда российский сенат признал указ недействительным; Николай II способствовал снятию этого запрета. Меры по русификации в Эстляндии, Лифляндии и Курляндии продолжали применяться до начала Первой мировой войны, затем некоторые из них были изменены, а часть практически сошла на нет. Сама идея умиротворения Прибалтики и ее интеграции с остальной Империей с помощью запрета определенных публикаций, насаждения русского языка в образовательной и судебной системе, контроля над смешанными браками и назначения на эти земли множества

чиновников, не знающих местных языков и традиций, уже казалась невыполнимой. Несмотря на то что балтийские немцы и польские помещики уже утратили монополию на доминирование в культуре этих земель, эстонцы, латыши и литовцы не стали более терпимо относиться к царской автократии и ее целям. Гораздо большее впечатление произвели на них увольнение сотен школьных учителей, потерявших средства к существованию в середине своего профессионального пути, а также необходимость пользоваться услугами переводчика для общения с судебной системой: все эти решения показывали, что российское правительство одобряет культурную автономию коренного населения не более, чем балтийские немцы и польские помещики. В памяти тех, кто вырос в годы русификации, все эти меры выглядели попытками усложнить жизнь населения, но не заставить местных жителей перестать быть эстонцами, латышами и литовцами, став вместо этого русскими. Новый язык можно было выучить, чиновничий произвол обойти, а литературная культура, появившаяся несколькими десятилетиями ранее, все равно казалась нерушимой.

Еще одним препятствием для сохранения национальной культуры стало то, что среди молодых представителей эстонской, латышской и литовской интеллигенции, особенно студентов, художников и писателей, стали популярны «современные» идеи — то есть реализм, дарвинизм, социализм, феминизм, демократические принципы, индивидуализм, космополитизм и вера в науку. Сказанное означало, что цели, которые были основными для прежних поколений, — борьба с культурной гегемонией балтийских немцев и поляков, создание национальной культуры и общественных институтов, в которых представители коренных балтийских национальностей могли чувствовать себя свободно, а также уважение к родному языку каждого жителя Прибалтики — утратили былую важность в глазах молодых людей. Как они заявляли, теперь эти усилия дискредитированы, так как спонсировались богатейшими горожанами побережья. Западный социализм, особенно марксистская теория, как казалось молодежи, был ключом к пониманию индустриального капитализма, причин существования социальных классов и отношений между ними. Марксизм пользовался успехом у тщеславных молодых людей, позволяя ощущать себя авангардом, меньшинством, понимающим суть исторических процессов, а также помогал наемным работникам, полностью завися-

щим от своего заработка (фабричным или сельскохозяйственным рабочим), осознавать свою историческую роль как «могильщиков капитализма». Считалось, что марксизм раскрывает «научные» законы исторического развития, как это сделал Дарвин для биологии; приверженность социалистическим идеям стала признаком современного научного мышления. Подобное мышление было в значительной степени утопичным и отличалось такой же нетерпимостью к существующим реалиям, которой отличались царские чиновники, проводящие политику русификации, а также сходной верой в то, что мир может быстро измениться благодаря усилиям образованного меньшинства. Сторонники русификации мечтали об эффективно функционирующей, единой во всем Империи, созданию которой мешало упрямство провинциальных культурных сепаратистов; социалисты же стремились к светлому будущему, воплощению которого мешало старшее поколение, озабоченное «национальным вопросом», царское самодержавие, а также предприниматели и землевладельцы, сосредоточенные на собственных материальных интересах.

Конфликт между поколениями эстонской, латышской и литовской интеллигенции проявлялся по-разному, и наиболее заметным он стал у латышей, где под названием *Jaunā Strāva* («Новое течение») в середине 90-х годов XIX в. сформировалось направление сторонников современных идей. Аналогичное движение у эстонцев, *Noor-Esti* («Молодая Эстония»), образовалось после революции 1905 г.; его представители подвергали критике как национализм, так и марксизм. Ситуация в Литве оказалась сложнее: местная социалистическая организация была создана литовскими евреями, основавшими в 1897 г. Всеобщий еврейский рабочий союз (так называемый Бунд), и поляками, создавшими в 1892 г. Польскую социалистическую партию, действовавшую в том числе и на литовских территориях. Литовский социализм зародился благодаря деятельности белоруса Евгения Спonti (1866 – 1931) и двух литовцев — Леонаса Микалаускаса (1870 – 1899) и Бронислоvas Урбанавичюса (1868 – 1903). Литовская социал-демократическая партия была создана в 1895 г. двумя студентами — Андриусом Домасевичюсом (1865 – 1935) и Альфонсасом Моравским (1868 – 1941), ведущим свой род от потомков магнатов Великого княжества Литовского (хотя сами они едва говорили на литовском). Аналогичные партии в Латвии и Эстонии появились только в 1904 и 1905 гг. соответственно.

До появления официальных партий и движений в Прибалтике существовали кружки и другие неформальные объединения, члены которых стремились избежать внимания властей. Марксистские идеи довольно легко проникли на побережье; в Литву они попали, как обычно, через Восточную Пруссию; в Латвии молодой Янис Плейкшанс (1865 – 1929), позже прославившийся как «народный латышский поэт Райнис», контрабандой перевез из Германии в Ригу чемодан, полный произведений Маркса. Левая молодежь всех трех национальностей поддерживала связи с Россией, а циркуляция нелегальной литературы внутри Империи уже стала нормальным явлением. К тому же во всей Прибалтике периодические литературные издания, такие, как латышский *Austrums* («Восток», 1895 – 1906), эстонские *Teataja* («Вестник») и *Uudised* («Новости») и литовский *Varpas* («Колокол»), были готовы публиковать статьи, посвященные новым идеям, если те были выражены в достаточно абстрактной и философской манере. В Литве, разумеется, тексты, написанные на латинице, были незаконными по определению, чему бы они ни были посвящены. В *Austrums* статьи о марксизме скрывались под нейтральными заголовками, например «Исторический материализм».

Представители молодежи, проявлявшие интерес к современным идеям, включая марксистскую доктрину, полагали, что «пролетариат», который возьмет власть в свои руки после «революции», будет «международным». «Рабочий класс» во всем мире, по их мнению, имел общие экономические интересы и играл одну и ту же роль в истории. Согласно марксистской концепции, это гораздо важнее, чем разные национальности, языки и культурные барьеры. Приверженцы доктрины марксизма полагали, что на смену восстановлению национальной культуры и языков Эстонии, Латвии и Литвы и противостоянию немецкой, польской и русской культурной гегемонии пришло время объединения всех «трудящихся масс», вне зависимости от национальности и языка, для борьбы с буржуазией.

Попытки разрешить этот конфликт на территории Прибалтики в итоге завершились ничем. С одной стороны, появились более или менее догматически настроенные марксисты, твердо уверенные в том, что «классовая борьба» — самое главное, а «национальный вопрос» вторичен. С другой стороны, сохранялось значительное количество относительно левой молодежи, сохранявшей желание помочь «рабочему народу», но не согласной с марксистами

в том, что революция неизбежна, а культурное становление Прибалтики должно быть отодвинуто на задний план. Другими словами, столкновение с марксистским социализмом в Эстонии, Латвии и Литве привело к образованию левых объединений, но не единой партии, как того хотели марксисты. Множество молодых интеллигентов пришли к выводу, что культурная автономия намного важнее, чем объединение рабочего класса. Разногласия по поводу важности национального вопроса не прекращались до начала XX в., и, в конце концов, левая молодежь так и не пришла к единому мнению.

Несмотря на то что поколение, взрослевшее в 90-е годы XIX в., стало делиться на марксистов, модернистов и сторонников социалистических идей, агитация, речи, забастовки, нелегальные печатные издания и брошюры — все результаты действий социалистов были направлены «против царя», и в 1897 г. правительство закрыло *Dienas Lapa* («Ежедневная газета») — основной печатный орган приверженцев новых идей в Риге, обыскало дома 138 подозреваемых в нелегальной деятельности и завело уголовные дела на 87 из них. Меры, принятые против них в 1899 г., варьировали от тюремного заключения до ссылки в Сибирь; около десятка активистов бежали за границу. Литовская социал-демократическая партия также пострадала в 1899 г.: 40 наиболее известных членов партии были арестованы и сосланы в дальние регионы России. Однако Альфонсас Моравскис бежал за границу, где занимался привлечением к социал-демократической деятельности рабочих Англии и Соединенных Штатов Америки. В Эстонии в конце 90-х годов XIX в. подобных репрессий не было, хотя влияние радикальных социалистов также являлось значительным (из-за близости к Санкт-Петербургу Нарвы и Таллина, крупнейших промышленных центров Эстонии). Власти в своих действиях, разумеется, ориентировались на подавление их деятельности, но влияние социалистов в Прибалтике все еще оставалось сильным.

Одним из последствий распространения «новых течений» среди эстонской, латышской и литовской интеллигенции стало переформлирование «правого крыла» зарождающегося политического спектра. Действия социалистов 90-х годов привели к тому, что умеренные националисты стали в большей степени, чем раньше, защищать существующее положение вещей, так как надеялись, что царское правительство сможет поддерживать порядок. С точки зрения более радикальных соотечественников, эти консерваторы

стали еще одной разновидностью истеблишмента наряду с балтийскими немцами и защитниками самодержавия. Для консервативно настроенных националистов компромисс с властями был предпочтительнее, чем с философиями коллективизма, пропагандируемыми агитаторами-социалистами. Гораздо более обширная средняя часть политически активного населения сохраняла выраженный интерес к дальнейшему развитию национальной культуры, но также полагала, что их цели могут быть достигнуты в рамках нового, более либерального конституционного строя в России. Третий вариант представлял собой сочетание социально-экономического радикализма с притязаниями на национальную культуру. С течением времени политические споры между представителями трех балтийских народов стали более горячими из-за взаимных обвинений в отступничестве, предательстве и постановке утопических целей вместо реально достижимых. В то же время все политические дискуссии этого периода — довольно агрессивные и бескомпромиссные — велись в основном на эстонском, латышском и литовском языках, и данный факт подчеркивал одно из самых значительных достижений, к которому привели пятьдесят лет реформ.



ОБРЕТЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ В ТРУДНЫЕ ВРЕМЕНА (1905–1940)

Восточная часть Балтийского побережья вступила в XX столетие довольно уверенно и спокойно, и в 1901 г. Рига встретила свое семисотлетие великолепными празднествами. Сложную и многогранную историю города, в определенном смысле схожую с историей всего побережья, символизировали памятники, установленные в городе, — здесь был монумент епископу Альберту, основателю Риги, русскому царю Петру Великому, включившему Лифляндию в состав Империи, а также философу Иоганну Готфриду Гердеру, утверждавшему, что народный дух является важнейшим элементом всех дел человеческих. В том же, 1901 году

На заставке: предвоенные президенты стран Балтии (слева направо): К. Ульманис (Латвия), К. Пятс (Эстония), А. Сметона (Литва).

городской совет Риги избрал градоначальником Георга Армистеда, богатого коммерсанта с прогрессивными идеями, происходившего из онемеченной английской семьи, жившей в Риге с 1812 г. и вошедшей в состав немецкого городского патрициата. Поскольку к 1897 г. население города стало преимущественно латышским (41,6%), при том что немцев в Риге было 25,5, а русских — 16,9%, то, если пользоваться термином Гердера, оставалось не вполне ясным, дух какого именно народа здесь пребывал. Срок полномочий Армистеда (до 1912 г.) был временем непрерывного экономического роста и модернизации города; в то же время он сам и тот класс общества, к которому он относился, сочли события революционных 1905–1906 годов лишь помехой на пути прогрессивного развития, а не признаком глубоких социально-экономических и национальных проблем, несомненно имевших место на побережье. Сходное отношение существовало и ко всевозможным различиям, а также всякого рода международному соперничеству; широко распространенным было убеждение, что дипломатия и материальный прогресс способны разрешить любые недопонимания и постепенно улучшить жизнь всех. Антанте и Тройственному союзу — военно-политическим блокам, в которые входили наиболее могущественные страны, — приходилось удерживать разногласия между их членами в допустимых пределах; мирные переговоры должны были демонстрировать их участникам всю недалекость силовых способов разрешения конфликтов; продолжающаяся индустриализация и развитие технического прогресса должны были объединить западную цивилизацию настолько, чтобы военные конфликты казались все большим атавизмом.

В 80–90-е годы XIX в. на побережье произошло слишком многое, чтобы его жители все еще могли представлять себе будущее исключительно благоприятным. Расширение влияния эстонской, латышской и литовской культуры продолжалось, одновременно усиливалось противостояние этих культур немецкой и польской культурной гегемонии; помимо всего прочего, продолжалась русификация — на литовских территориях с 60-х годов, а в балтийских губерниях — Эстляндии, Лифляндии и Курляндии — с 80-х годов XIX в. Недовольство царским правительством нарастало, временами переходя даже в глубокую ненависть; при этом десятки тысяч образованных людей учили русский язык и уходили в русские города и сельскую местность в поисках работы. Революционные события, происходившие в Империи в 1905–1906 гг., обрели не-

сколькo иной характер в Прибалтике: здесь они были связаны с сельской местностью настолько же, насколько с городами, и были направлены против балтийских немцев, польских землевладельцев и русского автократического режима. Хотя XX век начался довольно спокойно, уже первое его десятилетие наглядно показало, что история побережья становится гораздо более наполненной событиями: лишь некоторые сферы жизни обошлись без крупных перемен. Годы с 1906-го по 1914-й были очень беспокойными: произошло заигрывание царя с парламентаризмом в масштабе всей Империи (была избрана Дума), ослабла цензура (в 1904 г. снят запрет на книги на литовском языке), наметилось обострение электоральной борьбы в городах побережья и продолжился рост городской индустриальной рабочей силы.

В августе 1914 г., несмотря на взаимные обязательства о ненападении, крупнейшие европейские державы оказались вовлечены в войну; при этом менее значительные страны и народы, не имевшие собственной государственности, стали невольными участниками военных действий, страдая от вторжений, оккупации и опустошений. В первые месяцы Первой мировой войны существовало распространенное мнение, что война «закончится к Рождеству» 1914-го, но по мере развития конфликта ожидания приходилось постоянно пересматривать. На Западном и Восточном фронтах военные действия превратились в «позиционную войну» с отдельными очагами сражений, уносивших жизни многих тысяч человек с обеих сторон. Использование отравляющих газов показало, как современные технологии делают военные действия еще менее гуманными. Прошли 1915, 1916 и 1917 годы, воюющие стороны лишились значительной части людских и прочих ресурсов, а победы какой-либо державы так и не просматривалось. Поддержка правительств народом шла на спад во всех воюющих странах, особенно в таких старых монархических государствах, как Германия, Россия и Австро-Венгрия. Вступление в войну Соединенных Штатов благоприятствовало странам Антанты — Англии, Франции и России в том числе, и в ноябре 1918 г., после отречения немецкой династии Гогенцоллернов, было заключено перемирие, остановившее сражения.

К этому времени династия Габсбургов оставила австро-венгерский трон, а Романовы — русский; в марте 1917 г. Николай II отрекся от престола, и власть перешла к Временному правительству. В ноябре того же года произошел переворот, в результате которо-

го Временное правительство было свергнуто, и к власти пришло правительство нового типа, основывавшееся на идеях марксизма-ленинизма и пытавшееся на протяжении следующих нескольких лет отстоять свои позиции в жестокой гражданской войне. В последние годы Первой мировой войны народы западных приграничных районов Российской империи, находившиеся ранее в подчиненном положении, увидели возможность отделения и провозглашения себя независимыми суверенными нациями. Рождение этих наций в Северо-Западной Европе происходило параллельно с появлением в Центральной и Юго-Восточной Европе государств — преемников бывших составных частей Габсбургской и Османской империй. К 1920 г. на карте Европы возникло около пятнадцати новых государств, основанных в соответствии с принципом, согласно которому каждая европейская нация должна иметь собственное национальное государство. Впрочем, границы вновь образованных государств, утвержденные в результате трехлетних послевоенных переговоров, совсем не обязательно соответствовали этому принципу, поскольку многие из них стали результатом политических компромиссов, а не четкого отделения одной нации от другой.

1905 год на Балтийском побережье

Как не раз случалось и раньше, внешние события повернули ход истории побережья в неожиданную сторону. На этот раз поворотными событиями стали Русско-японская война 1904–1905 гг. на Дальнем Востоке и затем беспрецедентные события 1905 г., значительно подорвавшие авторитет власти по всей Империи. Поражение вооруженных сил России от японцев, воспринимавшихся ранее как существенно менее сильный противник, обнаружило слабость Империи, что не могли не использовать критики самодержавия, причем далеко не только радикально настроенные. В ноябре 1904 г. съезд земских организаций в Петербурге потребовал создания представительного органа и гражданских свобод, что тут же нашло отклик у других социально-политических классов. «Кровавое воскресенье» 22 (9) января 1905 г., когда демонстрацию рабочих, шедших к царскому дворцу встретили войска (70 демонстрантов были убиты и 240 — ранены), дало критикам возможность считать правительство коррумпированным, некомпетентным и

неспособным ответить на «чаяния народа» чем-либо другим, кроме насилия. Прибалтийские газеты немедленно откликнулись на данное событие, хотя и в умеренном ключе; однако эти отклики подвигли радикально настроенных социалистов начать серию митингов, стачек и забастовок, эффект которых в течение года нарастал как снежный ком, что позволило комментаторам из числа балтийских немцев говорить о «балтийской революции».

Хотя события 1905 г. на побережье, несомненно, обрамляли действия петербургского правительства и его реакция на общую ситуацию, они представляли собой нечто большее, чем просто «региональный вариант» общероссийского революционного движения. Разумеется, между тем, что происходило в российских и прибалтийских городах, было много общего. Забастовки и всякого рода беспорядки, инициированные главным образом социалистами (социал-демократами), происходили повсюду: в Вильнюсе, Каунасе, Риге, Таллине, Нарве и Пярну. Социалисты, ряды которых существенно поредели после арестов, все еще оставались наиболее организованной и, соответственно, наиболее могущественной силой на побережье, которая могла бы извлечь выгоду из происходящего; однако их разделяли различные представления о конечных целях: более умеренные стремились к улучшению условий труда, радикалы хотели бы изменить все общество, а остальные занимали позиции между этими крайностями. Студенты университетов также активно участвовали в событиях, организуя марши протеста и поддерживая действия рабочих.

Организованная деятельность на эстонских территориях в 1905 г. в основном осуществлялась Российской социал-демократической рабочей партией; ее эстонский аналог появился в Тарту лишь в августе. В Латвии инициатива была подхвачена Латвийской социал-демократической рабочей партией (основанной в 1904 г.), а также рижской ветвью Всеобщего еврейского рабочего союза (также известного как Бунд), организованного в 1897 г. Эти объединения оставались наиболее активными на протяжении всего года. На литовских землях взаимоотношения радикальных группировок были гораздо более сложными, иногда затрудненными пересечением интересов Бунда (зародившегося в Вильнюсе и действовавшего в основном в Литве), Российской социал-демократической рабочей партии, Польской социалистической партии и Литовской социал-демократической партии (созданной в 1896 г.). Характерной чертой «революции 1905 года» в Прибалтике являлось отсут-

ствие центральной организации: в ней не было ни лидера, ни комитета, ни «штаба», откуда исходили бы указания, и никакой общей координации действий, за исключением забастовок промышленных рабочих отдельных предприятий. Больше всего вспышки насилия на побережье ассоциировались с деятельностью радикального крыла в городах и на селе; при этом радикалы сводили местные счеты и вели неорганизованную борьбу с символами царской власти, политикой русификации и помещиками из числа балтийских немцев.

Революционный импульс дошел до сельской местности, что придало событиям 1905 г. своеобразный балтийский колорит, выразившийся в участии в событиях сельской интеллигенции (преимущественно школьных учителей), а во многих случаях и самих крестьян. Для эстонских, литовских и латышских крестьян более широкий политический контекст, включавший обсуждение гражданских свобод и возможности формирования национального парламента, создавал возможности для выражения недовольства неравномерным распределением земли, вмешательством помещиков в деревенскую жизнь (особенно в вопросах, касающихся сельских школ), а также низкими заработками сельскохозяйственных рабочих. Объектами жалоб было как правительство Империи, так и местные власти — помещики из балтийских немцев и представители немецкой лютеранской церкви в Эстляндии, Лифляндии и Курляндии; в литовских провинциях также были недовольны русскоязычными школами и российскими чиновниками.

Очевидным символом сохранявшейся в сельской местности власти балтийских немцев являлась сама усадьба помещика — центр управления помещьем. В Эстляндии и Северной Лифляндии (эстонские территории) преданы огню 120 и 47 помещичьих домов соответственно; в Южной Лифляндии и Курляндии (латышские земли), сожжены, соответственно, 183 и 229 таких домов. На протяжении 1905 г., по примерным подсчетам, было уничтожено или серьезно повреждено около 40% всех помещичьих усадеб. В литовских провинциях главными целями являлись русскоязычные сельские школы (вызывавшие ненависть местных жителей на протяжении сорока лет), российские чиновники и другие символы царской власти. Крестьяне прекратили платить налоги и вносить выкупные платежи, выплачиваемые правительству в обмен на освобождение 1861 г. Предъявлялись требования об организации начального и среднего образования на литовском языке

и о предоставлении литовским католикам возможности занимать государственные должности. В этот период уничтожались учебники на русском языке, совершались нападения на православные церкви и монастыри, а иногда даже на небольшие части российской армии. Больше всего от подобных вспышек насилия пострадала Сувалкия — губернатор, назначенный царским правительством, писал в ноябре 1905 г., что эта земля оказалась полностью «охлачена анархией».

В последние месяцы 1905 г. события на побережье, особенно в сельской местности, приобрели (в разной степени) националистический характер — латыши и эстонцы выступали против немцев и русских, а литовцы — против русских и иногда поляков в Литве. Национальный элемент противостояния просматривался довольно плохо, тогда как политэкономические мотивы оставались в Прибалтике наиболее заметными. К недовольству социалистов, для которых главным оставалось понятие «класс», «национальный вопрос» стало невозможно обходить, так же как нельзя было избежать и языкового вопроса. Пока социалисты красноречиво высказывали свою солидарность с «рабочим классом» во всем мире, в том числе и в России, главными целями большинства прибалтийских активистов являлись начальное образование на эстонском, литовском и латышском, издание литературы без цензуры на этих языках, а также участие во власти наравне со сложившимися правящими элитами.

На протяжении всего года самодержавие шло на уступки: в марте Николай II сообщил о намерении создать некий совещательный орган, а в апреле царский манифест объявил о созыве Государственной Думы. В мае российские либеральные активисты создали «Союз союзов», целью которого было объединение всех либеральных организаций, стремящиеся к реформам. Как уже упоминалось, в городах и деревнях были распространены движения и объединения несколько иного характера, и, поскольку петербургское правительство не стремилось к их насильственной ликвидации, возникло мнение, что наступили более спокойные времена. Октябрьский манифест, провозглашенный 30 октября 1905 г., в котором царь обещал создать общероссийский парламент и отменить ограничения свободы слова и печати, также способствовал укреплению этой несколько иллюзорной точки зрения. Однако правительство время от времени демонстрировало, что все еще не отказывается от применения грубой силы:

например, 16 октября во время мирной демонстрации в Таллине солдаты открыли стрельбу, в результате чего погибли 60 человек и 200 были ранены.

В такой весьма двусмысленной ситуации на побережье прошло четыре больших собрания: Всеэстонское собрание народных представителей (27 – 29 ноября), Великий вильнюсский сейм (4 – 5 декабря) и два собрания в Риге в конце ноября (съезд школьных учителей и съезд сельских делегатов, созванный якобы для выдвижения предложений о реформах сельского хозяйства). Эти собрания стали кульминацией настроений, возникших в начале года, и создали политическую платформу для местных активистов, стремившихся донести свои чаяния до властей.

В то же время данных мероприятия ясно показывали напряжение, царившее в рядах «оппозиции», очевидную слабость ее организации и то, насколько различались были стремления активистов трех регионов побережья. Несмотря на принятие неких резолюций, общие собрания демонстрировали, что среди эстонских, латышских и литовских активистов существовали существенные расхождения во взглядах. Эстонское собрание распалось на две фракции — умеренную и радикальную; Великий вильнюсский сейм в конце концов остановился на компромиссной резолюции, имевшей гораздо более выраженный политический характер, чем планировали его организаторы во главе с «патриархом» Ионасом Банасевичяусом; тогда как в Риге встречи школьных учителей и сельских делегатов координировались в основном социал-демократами, которые успешно справились со всякого рода возражениями, в том числе против их руководства, и добились принятия подготовленных ими заранее резолюций. На всех мероприятиях использовались местные языки — эстонский, латышский и литовский, — однако во время работы собраний, а также до и после них оставались открытыми вопросы: что именно отражают принятые на них резолюции (волю народа или программы левых активистов), как в них следует расставлять приоритеты и в какой последовательности исполнять и, наконец, наиболее важный — кому именно следует делегировать полномочия по их реализации. Среди затронутых вопросов наиболее важным был один: делегаты хотели для Прибалтики культурной автономии, основанной на географическом распределении трех наиболее значимых языковых общностей, а также появления институтов, осуществляющих эту автономию. В определенном смысле упомянутые собрания стали

завершающей фазой начавшегося задолго до того «национального пробуждения»: три «крестьянских народа» — теперь вполне дифференцированных социально и экономически, а также имеющих сложившиеся культуры печатного слова на трех языках — предъявляли серьезные претензии на культурное пространство побережья, а те, кто не был ни эстонцем, ни латышом, ни литовцем, рассматривались в данном сценарии как поселенцы.

В начале декабря петербургское правительство начало применять силу в ответ на так называемые «революционные эксцессы» на побережье (и где бы то ни было в пределах Империи). Под «эксцессами» оно подразумевало любые действия, направленные против государственных или местных властей и осуществляемые социалистами, представителями умеренных взглядов и даже просто теми, кто высказывался в духе, не одобряемом властями. Было объявлено о применении смертной казни, и части регулярной российской армии и местной милиции (на побережье состоявшей из балтийских немцев) начали очищать города и села от «участников событий 1905 года». Эти действия продолжались и в 1906 г., а судебные процессы над действительными или предполагаемыми преступниками — и в 1907 г. Сеть была раскинута весьма широко и включала военно-полевые суды и немедленное исполнение приговоров наряду с более традиционными судебными разбирательствами. Подобные меры были направлены против лиц, совершавших насильственные действия, подозреваемых или уличенных в пособничестве тем, кто их совершал, а также против тех, кто публично высказывался на запрещенные темы и публиковал по данным вопросам свое мнение, особенно после октябрьского манифеста. В Эстляндии, Лифляндии и Курляндии местная милиция, состоявшая из балтийских немцев (команды *Selbstschutz*, то есть самообороны), воспользовалась возможностью свести счеты с сельским населением, которое подозревали в националистических настроениях; по оценкам, в результате ее действий сгорели дотла от 300 до 400 крестьянских хозяйств.

Точное количество людей, связанных с этими событиями, остается неизвестным, но, по оценкам, на эстонских территориях около 300 человек были казнены, 600 — подвергнуты телесным наказаниям и еще 500 — отправлены на каторжные работы. Также известно, что в трех балтийских губерниях число казненных составило 2500 человек, около 700 — были отправлены в тюрьму или на каторгу, 2600 — депортированы внутрь России и 1800 чело-

век высланы из Прибалтики. Утверждается, что еще около 5 тыс. человек добровольно покинули страну, при этом большая часть бежала на запад, из них около 4 тыс. человек отправились в Северную Америку. Меньше всего людей пострадало в Литве, но даже там число жертв измерялось многими сотнями. В народной памяти эти кровавые «карательные экспедиции» запомнились гораздо сильнее, чем все собрания и резолюции за весь год. В Литве подобные репрессии имели место еще в 1831 и 1863 гг., но в Эстляндии, Лифляндии и Курляндии такие меры были внове; там и раньше бывали отдельные случаи насилия, но с разовыми вспышками быстро справлялись.

Для многих эта последовательная реакция центральной власти и властей на местах стала сигналом, что перемены не пройдут ни медленно, ни мирно. Для наиболее радикально настроенных деятелей 1905 г. насильственные меры, направленные на подавление неудачно закончившейся «революции», просто подтвердили то, в чем они были убеждены и так, а именно: что высшие классы не уступят ни толики собственной власти, если их не принудить к этому. Взгляды более умеренно настроенных активистов, возможно, изменились в большей степени, чем у «революционеров», поскольку идея своего рода региональной автономии Балтийского побережья, красной нитью прошедшая через все мероприятия и обсуждения 1905 г., оставалась актуальной и на протяжении всего последующего десятилетия, даже если и не обсуждалась открыто и публично. Ближайшие послереволюционные годы — 1906-й и 1907-й — ознаменовались чем-то вроде возвращения цензуры печати; некоторые издания были закрыты (иногда из-за публикации всего лишь одной неприемлемой статьи), а их издатели и журналисты заключены под стражу. Два человека покинули побережье в связи со своей журналистской деятельностью — это были Константин Пятс и Карлис Ульманис. Пятс, будущий президент Эстонии, в 1906 г. бежал в Финляндию, а затем в Швейцарию; Ульманис, будущий президент Латвии, в 1907 г. отправился в Соединенные Штаты и не возвращался на родину до 1913 г. Оба этих деятеля больше склонялись к реформам, чем к революционным методам, но, тем не менее, имели причины опасаться за свою свободу, а Пятс — и за свою жизнь, так как в 1906 г. он был заочно приговорен к смертной казни.

Насильственные действия, на которые царское правительство и местные власти оказались способны в 1906 – 1907 гг., постепен-

но шли на спад в течение следующих нескольких лет, по мере того как правительство убеждалось, что прежняя ситуация не может повториться. Государственная Дума (законодательный орган Российской империи) обещала различные права и свободы — например, свободу слова и прессы, — и теперь пришла пора выполнять эти обещания. За период с 1906 по 1917 г. было избрано четыре состава Думы, в каждом из которых присутствовала горстка представителей побережья. Сразу же после событий 1905 г., невзирая на возросшую воинственность губернских властей, произошел настоящий взрыв активности прессы на территории побережья — газеты и журналы порой появлялись и тут же закрывались властями или просто исчезали, потому что не находили своего читателя, но затем снова выходили под другими названиями, но с теми же издателями и корреспондентами. Спектр мнений, выражаемых этими изданиями, варьировал от монархических до либерально-реформаторских настроений; статьи социалистического и революционного толка приходилось публиковать нелегально. Тем, кто верил, что самодержавное правительство вступает в период эволюционных реформ, многие факторы помогали укрепиться в своем мнении. Однако столь же убедительны были и свидетельства, на которые указывали более радикально настроенные корреспонденты, считавшие, что в действительности ничего не изменилось. Фактически, нерешительность Николая II и его правительства вызывала на протяжении десяти лет после 1905 г. смешанную реакцию в ответ на вопросы, связанные с характером центральной власти и управлением отдельными губерниями. Хотя Дума давала либералам возможность излагать свои реформаторские идеи, царь мог игнорировать их. По-прежнему оставалось несправедливым распределение земли на Балтийском побережье, хотя создавалось впечатление, что царское правительство намеревается осуществить другие реформы в аграрной сфере. Верхушка балтийских немцев все так же контролировала политическую жизнь в Эстляндии, Курляндии и Лифляндии; в литовских землях Великий вильнюсский сейм 1905 г. не смог воплотить в жизнь свое видение литовской автономии; как и до 1905 г., перемены все еще витали в воздухе, но по-прежнему не обретали ясного направления.

Меньше всего затронутой революционными событиями (такими, как поджоги помещичьих усадеб) оказалась Латгалия (латышский регион Витебской губернии), хотя революция коснулась и

этих мест. Там тоже имели место забастовки, крестьяне начали вырубать помещичьи леса, некоторые небольшие города оказались на некоторое время под управлением «революционных комитетов», в декабре было объявлено военное положение, организованы карательные экспедиции, продолжавшие свою деятельность весь 1906 год. Однако, при существующем составе населения региона, наиболее активно в Латгалии действовали революционеры в основном из числа русских социалистов и евреев-бундовцев, с небольшой примесью латышей. Постоянные структурные изменения затронули этот район меньше, чем любую другую часть побережья, и Латгалия сохранила свои основные характеристики и после революционного года. Тем не менее латгальскоговорящее латышское население региона стало демонстрировать признаки того, что позже историки назовут «национальным пробуждением». Запрет на публикации с использованием латинского алфавита (коснувшийся Латгалии в той же степени, что Литвы) был отменен в 1904 г., и непосредственно после этого активисты, среди них Францис Трасунс (1864 – 1926), Петерис Смелтерис (1868 – 1952) и Францис Кемпс (1876 – 1952), начали писать исключительно о том, кто такие латгалы и что такое Латгалия, оспаривая мнение, согласно которому латгальское население и районы его проживания исторически являются частью литовской культурно-исторической зоны и должны рассматриваться таковой в дальнейшем. Латгальское «национальное пробуждение» имело черты, отличающие его от того, что происходило в Лифляндии и Курляндии в 50 – 80-х годах XIX столетия. Большинство незначительной по количеству, но активной латгальской интеллигенции проживало и работало не в самой Латгалии, а в Петербурге; многие активные латгальские интеллектуалы являлись представителями католического духовенства или были связаны с католической церковью; чужеродное культурное и языковое влияние, которое хотели бы уменьшить представители латгальского возрождения, было преимущественно польским, и подозрения в шаткости аргументов, которые им приходилось преодолевать, проистекали в основном от сложившейся на тот момент латышской интеллигенции Курляндии и Лифляндии, представителей которой латгальские авторы часто именовали «балтами». Западные латыши, использовавшие в литературе так называемый средний диалект латышского языка (на котором говорили в Курляндии, Земгале и западных частях Лифляндии), подозрительно относились к притязаниям авторов, публиковав-

ших свои произведения на латгальском диалекте (*augšzemnieki dialects*), на принадлежность к той же национальности, что и они сами. Отношение к латгальцам оставалось неоднозначным. Западные латыши не заявляли принципиального несогласия с латгальской позицией; на протяжении десятилетий после 1860 г. в разных периодических изданиях появлялось множество статей, гласящих, что латгальцы и латыши должны быть единой частью латышского народа (*tauta*). В то же время существовала и другая позиция: Латгалия считалась «иной» и «отсталой», поскольку освобождение крепостных в ней произошло на сорок лет позже, чем в Курляндии и Лифляндии; латгальские крестьяне по-прежнему предпочитали жить в деревнях, а не на отдельных хуторах; в латгальском крестьянстве не сложился слой зажиточных землевладельцев, которых было так много среди западных латышей; Латгалия характеризовалась слишком сильным этническим разнообразием: здесь проживало множество евреев, а также большое количество русских, белорусов и литовцев (нелатышская часть населения составляла около 45–48%); католицизм и православие были доминирующими религиозными направлениями (к ним принадлежало около 80% населения). Преодоление подобных стереотипов было важнейшей частью латгальского национального пробуждения, продолжавшегося и после официального образования в 1918 г. Латвийского государства, неотъемлемой частью которого стала Латгалия.

Расхождения и совпадения после 1905 года

События 1905–1906 гг. на Балтийском побережье воспринимались его жителями как некий водораздел, но уже последующее десятилетие показало, что значение этих событий для будущего оставалось туманным. С одной стороны, репрессии царских чиновников, поддерживаемых в балтийских губерниях представителями местной элиты — балтийскими немцами по отношению к подозреваемым в революционной деятельности, сочувствующим, а иногда и просто очевидцам коснулись многих и навсегда стали неотъемлемым элементом политической памяти эстонцев, латышей и литовцев. Память об упомянутых событиях формировала молодежь; для старшего же поколения стало очевидно, что царскому правительству и местным политическим лидерам доверять нельзя. Однако это возраставшее недоверие к властям не мешало большинству

населения продолжать жить под властью царя и планировать свое будущее так, как будто событий 1905 г. вообще не было. Фермеры работали на урожай, предполагая, что смогут его продать; предприниматели организовывали новые проекты, рассчитывая как на местные и региональные рынки сбыта, так и на рост российского и европейского рынков. Студенты поступали в Юрьевский (Тартуский) университет, Рижский политехнический институт, Санкт-Петербургский и Московский университеты, надеясь на получение диплома и достойное место работы по окончании обучения. Статистика числа бракосочетаний и рождений не менялась; это говорило о том, что кровавые события 1905 г. почти не оказали влияния на решения отдельных людей о создании семьи. Хотя русификация приграничных земель оставалась официальной политикой, продвижение идей развития национальной культуры среди эстонцев, латышей и литовцев оставалось актуальным, что минимизировало угрозу ее исчезновения; те, кто получал начальное и среднее образование после 1905 г., рассматривали необходимость изучения русского языка как досадную неприятность в худшем случае или же как необходимый для успешного будущего шаг — в лучшем. Мнение о том, что изучение государственного языка способствует подавлению национального самосознания, стало значительно менее распространенным.

В эстонских землях — Эстляндии и Северной Лифляндии — взаимоотношения между эстонцами и верхушкой из числа балтийских немцев были более, чем где бы то ни было омрачены недоверием и подозрениями; балтийские немцы в поисках моральной поддержки смотрели в сторону Германской империи и активно рекрутировали немецких поселенцев на земли своих поместий, считая эстонцев потенциальными революционерами. Эстонскую политическую активность (в условиях, когда радикалов заставили замолчать) определяли Ян Тыниссон (1868–1941?) и его Эстонская прогрессивная народная партия (основанная в ноябре 1905 г.), твердившая, что эстонские земли должны освободиться от власти балтийских немцев неревolutionными средствами. У радикализма — то есть желаний ниспровергнуть всю существующую социально-политическую систему — по-прежнему было немало тайных сторонников, но не хватает открытых последователей. Сдержанные общественные обсуждения грядущих перспектив показывали, что страх противодействия со стороны Империи уменьшился, несмотря на то что аресты на тот момент все еще про-

должались. В рамках этих дебатов появилась еще одна движущая сила, а именно движение «Молодая Эстония» (*Noor-Eesti*) под руководством Густава Суйтса. Оно занимало среднее положение между национализмом и марксизмом и в основном концентрировалось на вопросах культуры. Все известные политические течения на протяжении десятилетия после революции 1905 г. продолжали стремиться к культурной автономии, однако ни одно из них не имело возможности трансформировать свои воззрения в реальность; все политические обсуждения такого рода отличались определенным академизмом, невзирая на то что обсуждаемые вопросы были крайне серьезными и отражали глубокие внутренние противоречия, а участие в них угрожало личной свободе отдельных лиц.

Социально-экономическое развитие шло в этот период довольно быстро. Эстонское крестьянство продолжало стремиться к обретению собственной земли и к 1913 г. обрабатывало около 75% пахотных земель Эстляндии и Северной Лифляндии (намного больше, чем на латвийских территориях — Лифляндии, Курляндии и Латгалии). Возросли производительность сельскохозяйственного труда, а также уровень его механизации. Получили распространение новые формы сельскохозяйственных объединений — кооперативы: в Эстонии к 1914 г. насчитывалось 153 кооператива в молочной промышленности, 138 потребительских кооперативов и 153 кооператива, связанных с машинным трудом. Возросло и количество кредитных ассоциаций: к 1914 г. в Эстонии существовало 129 кредитных объединений, причем 60% из них относились к сельской местности. Промышленное развитие не пострадало от событий 1905 — 1906 гг., и за период между 1900 и 1914 гг. количество промышленных рабочих в Эстонии (включая Нарву) увеличилось почти в два раза (с 24 тыс. до 46 тыс. человек). Таллин стал главным промышленным центром, а Нарва прочно занимала второе место. Классовый состав населения Эстонии также продолжал меняться. В то время как балтийские немцы и российские чиновники сохраняли свое доминирующее положение, эстонцы быстро поднимались по социальной лестнице, если судить по данным о владении собственностью, особенно в Таллине. В начале эстонского «национального пробуждения» (1871) в собственности эстонцев находилось только 18,3% недвижимости в городе, а к 1912 г. эта доля составила 68,8%. Укрепление экономических возможностей горожан Эстонии сопровождалось и ростом их численности: к 1913 г. эстон-

цы составляли 69,2% населения городов Эстонии, при этом доля русского и немецкого населения была существенно меньше — 11,9 и 11,2% соответственно. Хотя, размышляя о будущем нации, эстонцы вряд ли могли сколько-нибудь реалистично рассчитывать на контроль над политическим пространством своей родины и лишь в незначительной степени — на контроль над сферой экономики. Но они могли вполне справедливо надеяться на возможность выдвигать такого рода претензии не только на города, но и совершенно определенно — на культурное пространство земель, где проживало большинство эстонцев.

Каким бы неопределенным ни представлялось политическое будущее, оно, несомненно, должно было быть привязано к судьбам осознавшего себя в культурном отношении, эстонского населения: усилия по его германизации и русификации не дали тех результатов, на которые были рассчитаны, и теперь бывшие высказывания представителей образованного сословия из числа балтийских немцев о том, что «крестьянский народ» не может создать и поддерживать собственную культуру, казались смешными. Активисты движения «Молодая Эстония» (в большинстве своем молодые люди в возрасте между двадцатью и тридцатью годами) больше верили в культуру своего народа, чем их предшественники, действовавшие до 1905 г., и подобное самосознание распространялось на все эстонское население. Интеллектуалы с литературными устремлениями охотно брали за образец произведения современных западноевропейских, скандинавских и даже российских авторов, не пугаясь того, что эстонский, возможно, был наиболее сложным из всех языков региона для литературных приемов, используемых в индоевропейских языках. Эстонский стандартизировался благодаря усилиям лингвистов, и вскоре были опубликованы первые словари, регламентирующие его правильное использование. Возникли профессиональные литературные журналы, культурные организации получили множество новых возможностей; книгопечатание на эстонском достигло пика в 1913 г., когда было напечатано 702 названия эстонских книг и брошюр, в то время как в 1900 г. их вышло только 312. Число эстонских детей, посещавших среднюю школу, удвоилось, а студентов Тартуского университета стало больше вчетверо. Для большинства авторов стихотворений, новелл и эссе, чьи произведения были опубликованы в течение десятилетия после 1905 г., этот период стал началом долгой литературной карьеры, продолжившейся в некоторых случаях и во второй половине XX столетия.

Расхождения и совпадения, актуальные для общественной жизни после 1905 г., были свойственны и для латышских частей побережья. У латышской истории в этот период было много общего с ситуацией в Эстонии. Как в Эстляндии и Северной Лифляндии, отношения между латышами и балтийскими немцами оставались натянутыми; усилия немецких землевладельцев, желавших населить свои поместья соотечественниками, прибывающими из Германии (всего около 20 тыс. человек), вызвали множество негативных откликов в латышской прессе, поскольку проблема нехватки земли для латышских крестьян стояла весьма остро. Как и в Эстонии, пресса балтийских немцев продолжала рассматривать латышей как неблагодарных революционеров; латыши же в ответ называли немцев «колонизаторами», стремящимися вновь «присвоить» «остзейские провинции». После 1905 г. латышская интеллигенция (за редкими исключениями) окончательно рассталась с иллюзиями, характерными для конца периода «национального пробуждения», что российское чиновничество поможет сдержать немецкую гегемонию; петербургские власти продемонстрировали, что заинтересованы в порядке гораздо больше, чем в изменениях в регионах, а ожидания того, что Государственные Думы (в каждой из которых было несколько латышских депутатов) смогут возглавить реформы, не оправдались.

Наиболее политически активные участники событий 1905 г. из числа социалистов были рассеяны, множество из них эмигрировали (некоторые, как выяснилось, навсегда), а в это время Латышская социал-демократическая рабочая партия (основанная в 1904 г.) продолжала свою, преимущественно нелегальную, деятельность. Большинство политически активных людей, не питавших симпатий к социализму (так называемых буржуазных политиков), теперь вообще сочли политику потенциально опасным занятием и занялись другими делами. За исключением общего мнения, согласно которому латышам нужна определенная культурная независимость от Российской империи, социалисты и представители буржуазной прессы высказывали в своих публикациях принципиально различные представления о возможном будущем Латвии. При наличии этих практически противоположных позиций (с одной стороны, марксистских и псевдомарксистских идей, а с другой — либерально-конституционалистских) найти золотую середину было не так легко. Ситуацию в Латвии усложняло существование искреннего и уверенного защитника русской монархии — издателя Фридриха

Вейнбергса (1844 – 1924) и его ежедневной газеты *Rogas Avoze* («Рижские новости»); Вейнбергс был не только сильнейшим противником социалистических движений, одобрявшим карательные экспедиции 1905 г.; в последующем десятилетии он утверждал, что главная задача латышей — добиться доверия петербургского правительства и поддерживать его всеми силами. При этом представители всех политических направлений одобряли промышленный рост и увеличение населения Риги (к 1913 г. оно составило 517 тыс. человек), а также усиление ее значимости в Империи.

Однако эти разнообразные точки зрения имели общую черту: все они были выражены на латышском языке. В 1905 – 1907 гг. выходило уже 107 периодических изданий на латышском (некоторые просуществовали весьма недолго), 63 из них представляли собой ежедневные или еженедельные газеты; к 1910 г. 45 издательств Риги обслуживали нужды латышскоязычных читателей в этом городе и 79 издательств — потребности других латышских территорий. Печатное слово на латышском языке стало неотъемлемой чертой культурного пространства, что окончательно сделало несостоятельными предположения о возможности культурного исчезновения, то есть онемечивания или обрусения, латышей. Основу латышской литературы XX в. закладывали такие широко читаемые авторы, как поэт и драматург Янис Плиекшанс (псевдоним — Ян Райнис; 1865 – 1929), его жена, поэт и драматург Эльза Розенберга (псевдоним — Аспазия; 1865 – 1943), драматург и автор коротких рассказов Рудольф Блауманис (1863 – 1908) и поэт Янис Порукс (1871 – 1911). За пределами политических интересов латыши также успешно объединялись в различные организации: только в сфере сельского хозяйства латвийское Центральное сельскохозяйственное общество, основанное в Риге в 1906 г., на протяжении следующих десяти лет открыло 106 местных филиалов, а Консумс (*Konsums*) — крупнейшее объединение кооперативных организаций — имело 74 местных отделения. К 1914 г. на латвийских землях существовало 860 различных сельскохозяйственных объединений, в которые, по оценкам, входило 60 тыс. членов; все эти организации были полностью легальны и регистрировались в правительственных органах. Их регистрировали официально, так как необходимость их создания легко объяснялась практическими факторами — в данном случае дальнейшей модернизацией сельского хозяйства, — а подобные цели были для российского правительства не только приемлемыми, но и желан-

ными. Хотя некоторые представители российской администрации могли счесть, что подобные усилия в сфере самоорганизации могут стать для латышей хорошей политической школой, но они никак на это не реагировали, даже если осознавали такой политический контекст. Продолжало существовать отчуждение между латгальскими и так называемыми балтийскими латышами: хотя эти группы и не испытывали антагонизма по отношению друг к другу, общее самосознание у них отсутствовало.

Многие черты, характеризующие Эстонию и Латвию в десятилетие после 1905 г., были свойственны и для литовских земель: там тоже существовали сильные антирусские настроения; социалисты всех видов также представляли собой наиболее динамичную политическую силу (в формате полулегально действующей Литовской социал-демократической партии); постоянно велись споры о будущем, в которых обсуждались взаимоисключающие сценарии; выбирались депутаты в Думу, хотя разочарование ее деятельностью постепенно нарастало; здесь также отмечался рост промышленности (причем с более низкой стартовой точки, чем в балтийских губерниях), в сельской местности появилось эффективное кооперативное движение; после того как в 1904 г. был отменен запрет на издание книг на литовском языке, их количество резко увеличилось, и литовская литература находилась в расцвете (между 1905 и 1914 гг. опубликовано около 3200 названий книг); в воздухе витала идея литовской культурной автономии. Однако, помимо этих общих признаков, присутствовали и существенные различия. Возможно, наиболее значимым из них были постоянные столкновения между теми, кто считал, что Литва должна быть полностью свободной от какого бы то ни было польского влияния, и теми, кто настаивал на том, что некоторые черты польской культуры — неотъемлемая часть литовского характера. Очевидно, что последнее мнение основывалось на многовековом существовании литовско-польского объединенного государства — Речи Посполитой. В этих спорах неизбежно затрагивалось как недавнее, так и исторически более отдаленное прошлое.

Статистика населения литовских провинций крайне неточна — как во время всероссийской переписи населения 1897 г., так и десятилетия спустя, главным образом потому, что переписчики не имели четких установок, кого следует считать литовцем, а кого — поляком; сосуществование в литовских губерниях этих двух языковых сообществ и различные контексты и цели, в которых

использовался литовский и польский языки, мало помогали переписчикам точно определить национальность опрашиваемых. Согласно одной из оценок, после 1905 г. общая численность населения упомянутых губерний, имевших литовский этнический компонент, составляла приблизительно 4,2 млн человек. Предположительно половину населения данных губерний можно было отнести к литовцам, тогда как остальные жители были поляками, евреями, белорусами или представителями иных национальностей; предположительно 400 тыс. из них были поляками, проживавшими в поместьях и городах. Но основное значение имело не количество говорящих на польском, а историческое влияние польского языка и культуры на регион; именно оно и стало поводом для разногласий.

Одну из крайних позиций в спорах занимали те, кто настаивал, чтобы в настоящем и будущем все существующие в Литве значимые общественные институты, включая католическую церковь, использовали главным образом (если не исключительно) литовский язык и, таким образом, признавали себя «литовскими» как внутри страны, так и во внешнем мире. Такая точка зрения являлась относительно новой, возникшей в результате литовского «национального пробуждения» последних десятилетий XIX столетия. В противоположном лагере многие польские активисты утверждали, что Литва была всего лишь одной из провинций некогда существовавшего союзного государства и что размеры Польши и ее сложившаяся в Европе репутация «культурной нации», а также продолжавшееся на протяжении веков ополячивание представителей литовских высших классов могли привести лишь к одному разумному результату — окончательной полонизации литовского населения и последующему включению литовских земель в состав возрожденной Польши. Между этими двумя крайностями находилось множество вариантов самоидентификации, выработанной людьми за время долгой жизни в многонациональном окружении: некоторые жители региона говорили только по-польски, но при этом настаивали на том, чтобы их считали литовцами; другие определяли себя как носителей польского языка, но благополучно жили при этом в автономных литовских анклавах; третьи хотели бы жить в автономной мультикультурной Литве, включающей в себя все разнообразные национальные группы, населявшие некогда Великое княжество Литовское; четвертые же вообще чувствовали себя оскорбленными, если их причисляли к какой-либо

одной национальности. В такой ситуации не могли помочь ни российское правительство, ни его чиновники на местах — для них первоочередной задачей было поддержание порядка и, насколько возможно, распространение русского языка и влияния русской культуры. Однако и через десять лет после событий 1905 г. все эти желания русофилов не исполнились на литовской земле.

На территории Литвы большое значение имели еще два аспекта: восприятие евреев отдельно от остального населения литовских провинций и раскол между литовцами, жившими в России и Восточной Пруссии, а также теми, кто жил в Северной Америке. В 1913 г. численность евреев в литовских губерниях, по оценкам, составляла около 560 тыс. человек — их число существенно выросло на протяжении XIX столетия, поскольку литовские земли на протяжении века находились в пределах «черты оседлости». В Литве евреи жили как в крупных, так и в небольших городах; неформальной столицей иудейской культуры в Литве был Вильнюс, где евреи составляли около 40% населения. Этот город даже приобрел репутацию «Северного Иерусалима» из-за того, что в нем жили влиятельные духовные лидеры иудеев, такие, как Элияху бен Шломо Залман, «Виленский гаон». Как и в других местах своего обитания, евреи здесь быстро изучили литовский язык в той степени, чтобы свободно выполнять свои профессиональные обязанности и вести торговлю, однако культурно (насколько им позволяла их религия и культура) они были ориентированы скорее на русских и поляков. К концу XIX столетия в иудейской культурной среде появились также секуляристские темы, такие, как сионизм или социалистические идеи Бунда, который впоследствии объединился с другими социалистическими польскими, литовскими и латышскими организациями ради общей цели — борьбы с самодержавием.

Также не следует упускать из виду такой момент, как разногласия между литовцами, населявшими российские губернии, и литовцами, жившими в Северной Америке, главным образом в Соединенных Штатах. В период с 1869 по 1898 г. Литву ежегодно покидали тысячи литовцев; их совокупное число к 1914 г. достигло 250 тыс. человек (американская перепись населения 1930 г. показала, что в стране на тот момент проживало 439 тыс. литовцев, из которых меньше половины родились за пределами страны). Таким образом, литовцев в США было существенно больше, чем латышей и эстонцев (к 1914 г. число представителей каждого из этих национальных

сообществ составляло не более 5 тыс. человек). В 1913 г. Йонас Басанавичюс и Мартинас Янкус (первый — некогда активный националист, второй — более молодой, но не менее активный депутат IV Государственной Думы) объехали множество литовских колоний в Северной Америке в целях сбора денег на культурный центр (Народный дом) в Вильнюсе. Им удалось собрать сумму, эквивалентную примерно 43 тыс. рублей. Но они также обнаружили, что в колониях существует конфликт литовцев, имевших социалистические воззрения, с теми, кто стремился привить населению новых земель литовскую культуру посредством главным образом насаждения католической веры. Североамериканские литовцы более не подвергались полонизации и русификации, однако вместо этого они американизировались. Басанавичюс, обращаясь к американцам литовского происхождения, объяснял им необходимость вложения денег в сохранение их родной культуры на их родной земле; более того, он надеялся, что большая их часть вернется в Литву вместе с новыми знаниями и накопленным состоянием. Однако не многие американские литовцы вернулись в родную страну, так что их роль в будущем «литовской нации» осталась неясной.

Первая мировая война на землях побережья

Невозможно сказать, как бы сложилась история Балтийского побережья, если бы региональный конфликт Австро-Венгрии и Сербии по поводу Боснии не перерос в войну, в которую оказались вовлечены все наиболее влиятельные державы Европы. Затяжной конфликт, изначально названный Великой войной, а позже — Первой мировой войной, разразился; довоенная система договоренностей, созданная с тем, чтобы предотвратить военные действия между странами Европы, сыграла роль, абсолютно противоположную своему назначению. Австро-Венгрия объявила войну Сербии 28 июля, Германия России — 1 августа, а Австро-Венгрия России — 6 августа. К 31 июля Российская империя начала мобилизацию армии. Тысячи молодых жителей Прибалтики (около 120 – 140 тыс. латышей и примерно 100 тыс. эстонцев) были призваны на царскую военную службу. Почти все они вступили в армию, поскольку считали это своим долгом даже несмотря на то, что испытывали во многом противоречивые чувства. Для эстонцев и латышей сказанное являлось борьбой

против врагов — Германской империи и Австро-Венгрии, — которую легко превратить во вражду ко всем местным представителям немецкой культуры — балтийским немцам; однако лидеры последних также выразили желание поддержать Россию. Чувство «разделенной лояльности» хоть и присутствовало в их среде, но оставалось латентным; политика русификации хотя и ослабла, но все же продолжалась, и возмущение, которое она порождала, уравнивалось возможностью, которая появилась у народов побережья, — создавать свои культурно автономные анклавные «демократизированной» Империи; структуры, частью которых они были (и которые могли изменяться), стоило защищать. Разумеется, ситуация с литовцами была, как всегда, сложнее. Около 60 тыс. человек были скоро призваны в российскую армию, и, поскольку ни поляки, ни литовцы, проживавшие на территории Российской империи, не выказывали особых симпатий к Германии, они охотно способствовали борьбе против нее. Более того, литовские политические лидеры обнародовали требование, что взамен за свое участие в войне литовцы должны получить объединение их родных земель; это требование встретили молчанием, но существовала надежда, что петербургское правительство прислушается наконец к пожеланиям жителей западных приграничных земель, которые вскоре станут местом военных действий. Надежды на скорую победу облегчили принятие решения: пропаганда российского правительства создавала образ непобедимой армии, а московская и петербургская пресса восхваляла жителей Балтийского побережья за проявленный «патриотизм». Казалось, что единственными противниками войны на побережье были социалисты, но их усилия спровоцировать волнения в среде рабочих не увенчались успехом; губернатор Лифляндии даже хвалил местных фабричных рабочих за «достойную восхищения лояльность царю и отечеству». Помимо этого, военная цензура прессы предполагала, что всем желающим высказаться в поддержку войны, предоставлялась зеленая улица, тогда как мнения тех, кто демонстрировал более сдержанную позицию или даже высказывался против, подвергались жесткой цензуре.

Хотя сначала российская армия одержала несколько побед на Восточном фронте, за ними последовали многочисленные бесславные поражения и неудачи; к лету 1915 г. германские вооруженные силы продвинулись на северо-восток и заняли не только всю территорию некогда существовавшей Речи Посполитой, но и бывшую Курляндию. Река Даугава — южная граница Курляндии

и северная — Лифляндии и Латгалии — стала линией фронта и оставалась таковой почти до конца войны. Таким образом, с 1915 до 1917 г. Прибалтика оказалась разделенной надвое, при этом российская армия удерживала территории к северу от Даугавы, а германские оккупационные силы установили свой оккупационный порядок — так называемый *Oberost* — на территориях к югу от этой реки, включая населенную латышами Курляндию и литовские земли. Под российским контролем оставались эстонские области Эстляндии и Северной Лифляндии, а также латышские области Лифляндии и Латгалия. Этот новый раздел побережья, хотя и являлся временным, лишь эстонским политическим лидерам давал возможность думать об интеграции в сколько-нибудь реалистичном ключе; новые границы поставили латышей по разные стороны фронта между воюющими сверхдержавами, а литовцев оставили под властью одной из них — то есть под военной и гражданской юрисдикцией Германии. По любым расчетам, теперь угасли надежды латышей и литовцев получить в обозримом будущем возможность интеграции и внутренней автономии.

Ближайшей целью Германской империи являлся, разумеется, немедленный разгром основного противника — России, однако более долгосрочное планирование (хотя и несколько неопределенное на тот момент) предполагало окончательную колонизацию побережья немецкими фермерами после того, как местное население будет выслано на территорию России. В этом контексте немецкие оккупационные силы на побережье стремились извлечь максимальную пользу из территорий, оказавшихся под их контролем, конфискуя жилые помещения и лошадей, вводя налоги пшеницей и другими продуктами, а также собирая дополнительные налоги на содержание армии и приглашая местных крупных землевладельцев занять посты в оккупационном правительстве. Однако к лету 1915 г. ресурсная база, на которую рассчитывали немцы, значительно уменьшились. Предполагая возможную оккупацию, российское правительство в течение первой половины этого года издало распоряжения о демонтаже и вывозе во внутренние районы страны всей промышленной инфраструктуры территорий, которым угрожала опасность оккупации (включая Ригу), а также об эвакуации оттуда местного крестьянского населения. Около 500 промышленных предприятий (около 160 из них — с литовских территорий) были демонтированы и вывезены на восток, и, что более важно, приблизительно 700 тыс. беженцев (точная

статистика отсутствует) покинули земли, оккупированные немцами. Некоторые из них пересекали Даугаву и искали временного прибежища в Ливонии, Латгалии и Эстонии, тогда как другие сразу бежали на территорию России. В их числе было около 300 тыс. литовцев, многие из которых обрели спасение на востоке. Остальные беженцы покинули латвийские земли (в основном Курляндию); некоторые бежали даже из казавшихся на тот момент относительно безопасными регионов Лифляндии. Однако, рассмотрев вопрос об эвакуации эстонцев, российские власти отклонили такую возможность, и большинство эстонцев остались на родине. За долгую историю этого региона народы побережья неоднократно испытывали потребность покидать его пределы, но никогда бегство не было столь массовым. Сотни хуторов опустели; население больших и малых городов резко уменьшилось в течение нескольких недель; домашний скот был забит или брошен; семьи разлучались, и перспективы возвращения оставались неясными. Литовские территории и Курляндия обезлюдели, и положение оставшихся крестьян стало еще более тягостным: беженцев пока никто не заменил, их земли оставались невозделанными, и тем, кто остался на родине, приходилось в двойном объеме удовлетворять требования немецких оккупантов. Первая мировая война снова разделила жителей побережья: население неоккупированных территорий продолжало оставаться свободным; те, кто проживал на оккупированных землях, подчинялись немецким военным и гражданским законам; тысячи людей оказались в положении беженцев, оторванных от своих домов, а еще большее число служили в русской армии.

К концу лета 1915 г. на «проблему беженцев» отреагировали как правительство (преимущественно в форме выделения денег), так и эстонцы и латыши, населявшие свободные от оккупации территории, создававшие комитеты по делам беженцев на занятых территориях, а также в Москве и Санкт-Петербурге; аналогичные комитеты были созданы литовцами внутри России. В конце августа 128 представителей латышских комитетов беженцев встретились в Санкт-Петербурге (который к тому времени стал называться Петроградом) и создали Центральный комитет латышских беженцев, возглавляемый теми из них, кто имел опыт работы в Государственной Думе. Комитет быстро приступил к разработке программ помощи беженцам, чтобы снабдить их жильем, продовольствием, работой и информацией. Комитет вы-

ступал от имени всех 260 латышских организаций беженцев, располагавшихся на Балтийском побережье и внутри России; была создана газета *Dzimtenes Atbals* («Эхо Родины») для координации и общения групп взаимопомощи беженцев, осевших в таких городах, как Москва, Петроград, Кострома, Нижний Новгород, Самара, Саратов, Харьков, Киев, Омск, Красноярск и Новосибирск. К концу 1916 г. около 10 тыс. детей беженцев смогли ходить в школы и, что немаловажно, получать начальное образование на латышском языке. По иронии судьбы сеть, организованная из-за необходимости решать проблему беженцев, и усилия, направленные на то, чтобы обеспечить устойчивый поток ресурсов в местные комитеты латышей-беженцев, помогли латышам обрести бесценный организационный опыт подчинения идеологических и личных разногласий общей цели. Проблема беженцев требовала изобретательности, кооперации и постоянного стратегического планирования, и все это в условиях огромной империи, которая к 1916 г. уже не могла выдерживать длительного военного противостояния и тем более уделять внимание ежедневным проблемам рассеянного приграничного населения.

К середине 1915 г. милитаризация жизни на побережье и линия фронта, застывшая вдоль Даугавы, побудили некоторых известных латышей предложить российскому командованию комплектовать части из представителей одной национальности, рекрутированных из окрестных земель. Эти солдаты, как неоднократно подчеркивалось, были бы гораздо более мотивированы, если бы защищали родные земли; рассеивание призывников по всей зоне боев значительно снижало их эффективность. Российское правительство все время сопротивлялось подобным идеям, полагая, что наличие национальных подразделений укрепит сепаратистские тенденции, но в конце концов в начале августа 1915 г. вышел приказ о создании двух частей латышских стрелков (латышск. *strēlnieki*). Был создан комитет по набору в эти части, состоявший из нескольких бывших депутатов Государственной Думы и других политически активных представителей латышского народа; набор был объявлен в латышских газетах, в которых одновременно присутствовали такие фразы, как «защита российского двуглавого орла» и «защита латышской родины под латышским флагом». Немедленно предложили свои услуги около 8 тыс. добровольцев (в возрасте от 17 до 25 лет), а латышские солдаты, служившие в других подразделениях, попросили о переводе в эти «национальные» части. Около 1246 человек

в этих частях немедленно приняли участие в боях, после чего состав подразделений пополнялся из резерва на протяжении войны. Латышские части сохранили свою особость, находясь в составе российской Двенадцатой армии, которая вела действия на Даугавском фронте. С самого начала латышские части демонстрировали дисциплину и энергию — вероятно, вызванные тем, что офицеры говорили на одном языке с низшими чинами, а также наличием специальных знаков различия и особых знамен подразделений. Около девяти десятых двух изначально созданных батальонов составляли латыши; оставшуюся десятую часть составляли эстонцы, русские, литовцы и поляки, проживавшие в Лифляндии и понимавшие латышский язык. Только 3,5% состава этих подразделений были неграмотными, и это примечательно низкий показатель на фоне российской армии в целом.

Хотя командование считало, что латышские батальоны состоят из надежных и качественных бойцов, подозрения на их счет сохранялись, особенно среди балтийских немцев в составе российского командования; последние считали, что вооружение латышей может напомнить стране о событиях 1905 г. Неоднократные предложения расформировать подразделения не были услышаны, однако критики и сомневающиеся не были вполне не правы: латышская пресса военного времени (и латышское население в целом) изображала эти два батальона как «наших парней», защищающих «нашу родину». Об их подвигах писали стихи и картины; они стали символом никогда не существовавшей автономии, хотя их размещение и передвижения полностью контролировались российским командованием. В эстонской части побережья все попытки создать национальные подразделения сошли на нет: эстонские активисты имели разное мнение на этот счет, а тем временем эстонские районы наводнили русские солдаты (числом около 100 тыс. человек), направленные сюда в целях укрепления береговой обороны. Вследствие этого никаких дополнительных мер по защите не потребовалось. Вопрос о создании национальных воинских частей в Литве возник в контексте немецкой оккупации; и литовцы, вступившие в российскую армию в 1914 г., были рассеяны по разным частям Восточного фронта.

Ситуация с латышами сложилась противоположная: они активно продолжали формирование национальных стрелковых частей, и в 1916 г. их число увеличилось до восьми, а количество солдат выросло до 40 тыс. человек (25 тыс. — в действующей армии

и 15 тыс. — в резерве). К 1916 г. командование стало прибегать к помощи данных частей и за пределами побережья. Вне зависимости от того, где находились эти части (или даже полки, как они были названы в том же, 1916 год), они оставались чем-то аномальным для всей русской армии. Офицеры этих подразделений — преимущественно латыши — общались с подчиненными по-русски, но повседневным языком солдат все равно оставался латышский (хотя абсолютное большинство знали русский). Представители младшего командного состава, происходившие из латышской интеллигенции, ради улучшения боевого духа солдат стремились поддерживать внутри подразделений латышскую субкультуру, что выражалось в поступлении в части латышских газет, а также в периодических лекциях и театральных представлениях на латышском языке. Отношения между офицерами и простыми солдатами латышских частей не предусматривали намеренного унижения и жестокого обращения с низшими чинами, что было характерно для русской армии.

Латышские стрелки сражались плечом к плечу со своими русскими товарищами на Даугавском фронте с 1915 и до конца 1916 г. Особенно ожесточенными столкновениями с немцами стали так называемые рождественские бои (конец 1916 — январь 1917 г.). В ходе этих сражений Двенадцатая армия потеряла 45 тыс. человек, а латышские части — 9 тыс. (37,5% всех солдат), включая 2 тыс. убитых. И это только последние в ряду тяжелых боев, выставивших российское командование некомпетентным в глазах латышских стрелков; данное мнение также подкреплялось тем, что российские военачальники использовали латышские войска как пушечное мясо. Критики национальных подразделений были правы в одном: недовольство в частях, сформированных по национальному признаку, могло настроить латышей против русских. К концу 1916 г. среди латышских стрелков распространились негативные настроения, и это могло закончиться только одним: поддержкой солдат, придерживавшихся левых взглядов, которые по указке Латышской социал-демократической партии создавали в войсках тайные ячейки и разжигали революционные настроения. Для них такое неопределенное недовольство стало плодородной почвой, и в начале 1917 г. огромное количество латышских бойцов были убеждены, что они должны сражаться не только против немцев, но и против самодержавия. Недовольство выражали не только солдаты, идеологически заинтересованные в революции,

но и те, кто не имел подобных убеждений. В марте 1917 г., когда царь Николай отрекся от престола, династия Романовых ушла с политической арены, и новому, Временному правительству вместе с расколотым российским населением досталось в наследство Балтийское побережье, где политические активисты и латышские стрелки вознамерились создать будущее с лучшими социальными, политическими и культурными условиями.

*Carpe Diem**

Оккупация польских и литовских территорий немцами летом 1915 г. крайне негативно отразилась на жизни всего населения, а также породила среди литовцев неуверенность в завтрашнем дне. Большинство довоенных обсуждений планов на будущее касались, во-первых, создания литовской культурной зоны путем ликвидации границ между губерниями, которые так долго разделяли литовцев, и, во-вторых, превращения этой зоны в культурно независимую область в пределах Российской империи. То, что было простым и справедливым для большинства литовских активистов, петербургскому правительству казалось очередной вспышкой сепаратистских настроений, столь характерных для западного приграничья Империи. Теперь, когда эти земли оказались под контролем Германии, а российская армия отступила, пришла пора удвоить усилия. Литовское население не имело единых представлений о своем политическом будущем: большинство оставшихся там политических деятелей пользовались понятийным аппаратом «интернационалистов», то есть говорили о солидарности «рабочего класса» безотносительно к национальности его представителей; поляки, белорусы и русские, проживавшие на литовских территориях, — особенно поляки — имели свои, альтернативные представления, совершенно не обязательно предполагающие объединение Литвы; и абсолютно непонятно было, станут ли литовские жители Восточной Пруссии («Малой Литвы» на территории Германии) частью нового образования, объединяющего литовское население, и каким вообще будет их политическое будущее. Кроме того, решение, к которому они в результате могли бы прийти, в любом случае требовало одобрения правительства

* Живи настоящим, лови момент (*лат.*).

Германии, в свою очередь также не имевшего единого мнения относительно будущего недавно оккупированных территорий. Оно хотело привести к единому знаменателю предложения литовцев и с этой целью разрешило им провести несколько собраний для обсуждения данных вопросов; однако германское правительство использовало аналогичный подход и к возрождению Польши, игнорируя тот факт, что для многих поляков такое государство должно включать в себя Литву. Более того, высокопоставленные чиновники Германской империи периодически публично декларировали планы колонизации восточных территорий, что не предполагало появления там какого бы то ни было государства. В любом случае война еще не кончилась, литовские земли формально оставались частью Российской империи, и даже к 1916 г. едва ли можно было с уверенностью считать, что Германия станет играть определяющую роль в будущем этого региона. Однако все эти осложняющие ситуацию факторы не казались многим литовским активистам основанием не воспользоваться моментом и не работать над собственными планами. Весной 1916 г. прошло несколько встреч правых и левых литовских политиков, результатом которых стала декларация (предназначенная для немецких властей и других участвовавших в войне сторон), согласно которой литовцы хотят объединиться и готовы к образованию собственного государства. Аналогичная декларация была оглашена в июне 1916 г. в Швейцарии; в это же время литовцы провозгласили образование Тарибы (национального совета), состоявшей из представителей всех литовцев, включая находившихся в Соединенных Штатах. Так было вновь подтверждено стремление обрести политическую независимость.

Эта цепь событий была прервана — вначале в марте 1917 г., сменой правительства в Петрограде, когда Николай II отрекся от престола и власть перешла в руки Временного правительства, и затем в апреле, когда в войну вступили Соединенные Штаты, которые привнесли в обсуждение литовской проблемы идею президента Вильсона о «самоопределении наций». Серия встреч литовских политических лидеров в 1917–1918 гг. — то есть до и после большевистского переворота в России — привела к некоторым краткосрочным результатам главным образом в сфере политического размежевания. В конце концов 16 февраля 1918 г. Тариба выпустила декларацию о независимости Литвы, провозгласив себя единственным органом, представляющим литовскую нацию, имеющую

отныне независимое государство со столицей в Вильнюсе. Дальнейшие отношения этого нового государства с другими странами должны были определяться сеймом (*seimas*), парламентом, которому предстояло собраться в ближайшем будущем. Декларация была сформулирована так, чтобы не оставалось сомнений, что «восстановленное» государство является историческим наследником Великого княжества Литовского, исчезнувшего с карт Европы в конце XVIII столетия. Литовская нация снова обрела собственное государство, и в этот раз — с демократически избранным парламентом.

В отличие от литовцев, с 1915 г. имевших дело с немецкой оккупационной администрацией, эстонские политические лидеры, по мере того как способность царского правительства контролировать происходящее падала, внимательно присматривались к происходившему в Петрограде. К концу 1916 г. эстонская политическая мысль сконцентрировалась на необходимости административного объединения всех эстонцев (живущих в Эстляндии и Северной Лифляндии) и на том, чтобы эстонцы могли контролировать местные органы власти. Такие пожелания вписывались в картину культурной и политической автономии внутри реформированной России. Идея полной политической независимости, хотя и отчетливо проговариваемая в рамках внутриэстонских обсуждений, не транслировалась вовне из тактических соображений. К тому же эстонские политические деятели были раздроблены на фракции, и сомнительно, что они на тот момент смогли бы договориться о том, какой именно должна быть независимая Эстония. Возможность реализовать первые, самые умеренные цели возникла в марте 1917 г., после отречения Николая II и прихода к власти Временного правительства. Основной задачей нового правительства являлось обеспечение продолжения участия России в войне; далее необходимо было справиться со всеми проблемами, порожденными войной в российской экономике и политике. Пользуясь моментом, эстонские политики, в число которых входил придерживавшийся умеренных взглядов Яан Тыниссон, стали оказывать на Временное правительство давление с целью добиться согласия на структурные изменения на побережье. Они организовали в Петрограде демонстрацию и достигли своей цели 30 марта, когда новое правительство согласилось пересмотреть внутренние административные границы Прибалтики и положить конец политической системе, обеспечивавшей господство бал-

тийских немцев. Войдя в силу, новые условия предусматривали, что все население, говорящее на эстонском языке, объединяется в административную единицу под названием «Эстония» (или что-то в этом роде), будет иметь свое представительное собрание, избираемое всем населением, и назначенного сверху комиссара, который станет связующим звеном между центральным правительством и новой административной единицей. В апреле петроградское правительство назначило градоначальника Таллина — эстонца Яана Поску (1866 – 1920) — первым комиссаром; в мае состоялись выборы в Маапаяв (провинциальное собрание). Позиции 68 депутатов, избранных в этот орган, в полной мере отражали различные взгляды, существовавшие на тот момент в Эстонии: крупнейшими блоками стали «Аграрная Лига» и «Трудовая партия» (каждый из которых имел по 11 представителей); остальные места в парламенте были разделены между большевиками (пять представителей), эстонскими социал-демократами (девять), эстонскими социалистами-революционерами (восемь), демократами (семь), радикальными демократами (четыре), представителями германского и шведского национальных меньшинств (по два) и тремя беспартийными депутатами.

Такая конфигурация политических сил оказалась нестабильной, поскольку в следующие девять месяцев (в ноябре произошел большевистский переворот) между левыми, правыми и центристскими партиями не прекращались трения; муниципальные выборы в конце июля 1917 г. продемонстрировали такое же разнообразие политического спектра. Однако в целом наблюдался общий уклон в левую сторону, поскольку успешный большевистский переворот в Петрограде способствовал тому, что и в Эстонии появилось большевистское правительство в Таллине. Большевики отстранили от обязанностей Поску, комиссара, назначенного Временным правительством, но сами в последующие месяцы оказались не способны консолидировать власть в своих руках — возможно, из-за смерти лояльных большевикам чиновников, которыми можно было быстро заменить тех, кто отказывался сотрудничать, организовывал забастовки и мешал подчинению большевистской идеологии всех институтов, существовавших в Эстонии. Большевики же стремились свести на нет влияние всех своих соперников: они запретили прессу, кроме собственной, делали все, чтобы отстранить от власти другие эстонские партии, не определились в своем отношении к аграрной реформе и отказывались обсуждать

вопрос о независимости Эстонии. К концу января 1918 г. эстонские большевики в значительной степени потеряли популярность и поддержку народа и, понимая это, остановили процесс выборов в эстонское Учредительное собрание. После этого эстонские политические круги стали все меньше смотреть влево в поисках решений и начали обсуждать другие варианты политического будущего, включая политическую независимость. Все подобные обсуждения закончились в феврале 1918 г., когда немецкая армия со своих южных баз (в Литве и Курляндии) перешла в наступление, форсировала Даугаву, взяла Ригу, продвинулась далее, в Южную и Северную Лифляндию, и 25 февраля достигла Таллина. И в этот момент наибольшей неопределенности в отношении будущего, когда большевистское правительство Эстонии бежало в Советскую Россию, а немцы быстро продвигались на север, верхушка Маапьева приняла решение провозгласить независимость Эстонии 24 февраля, сообщив миру, что отныне Эстония является «независимой демократической республикой» в рамках своих «исторически и этнически сложившихся границ». Тогда же было заявлено о существовании нового эстонского временного правительства во главе с Константином Пятсом. Для германских вооруженных сил (если они вообще знали об этом) ситуация должна была казаться забавным и любопытным инцидентом.

События в Латвии развивались курсом, параллельным эстонскому, поскольку двух этих регионов коснулись решения российского Временного правительства относительно прибалтийских губерний. В 1916 г. латвийские политические активисты также искали возможности обрести контроль над своей территорией даже несмотря на то, что мнения среди них не совпадали даже по наиболее важным вопросам. Здесь также существовали выраженные консервативный, умеренный и левый лагеря: консерваторы полагали, что политическая деятельность латышей должна укладываться в рамки, предложенные российским Временным правительством, умеренные выступали за дальнейшее объединение латышей в единых границах и за создание институтов политической автономии, тогда как левые (также разделившиеся на большевиков и социалистов более умеренного толка) склонялись к тому, чтобы игнорировать все чаяния, связанные с идеей нации, выдвигая вместо нее идею «единства рабочего класса», невзирая на любые национальные границы. Все эти позиции являлись нестабильными и в зависимости от обстоятельств менялись как в восприя-

тии отдельных людей, так и в восприятии целых групп. Что касается Латвии, то здесь сформировать четкую позицию было, пожалуй, даже труднее, чем в Литве или Эстонии: около половины латышских территорий (Курляндия) находились под контролем немецкого оккупационного правительства, а другая половина (Северная Лифляндия) — под властью правительства России. К тому же латыши считали три западных района Витебской губернии — Латгалию — частью латышского «этнографического региона»; ситуация усугублялась еще и тем, что почти четверть латышского населения находилась на тот момент на положении беженцев, временно оказавшихся вдали от дома.

Тем не менее решение о реорганизации прибалтийских губерний, принятое российским правительством в марте 1917 г., было воспринято большинством латышских политиков как шаг вперед — как и назначение комиссаром Латвии латыша, бывшего депутата Государственной Думы Андреяса Красткалнса (1868 – 1939). Однако вопрос об объединении пришлось на время отложить — Временное правительство не могло реорганизовать территорию, которую не контролировало (Курляндию), и колебалось в отношении «латгальского вопроса». Одно дело — пересмотреть внутренние границы, чтобы создать Эстонию, и совсем другое — отобрать значительную часть у Витебской губернии, чтобы объединить латышей.

Летом 1917 г. политически активные латыши начали готовиться к муниципальным выборам в Лифляндии. В данный период в политически сознательной части общества предсказуемо возросла популярность левых взглядов, поскольку большевики предлагали ясную программу действий: покончить с войной, передать власть местным выборным органам власти (Советам) и провести земельную реформу. Эти мотивы появились даже в размышлениях тех, кто не стремился ни к какой «диктатуре пролетариата». Политики, выступавшие за сочетание политической либерализации и национального объединения, напротив, имели самые различные точки зрения по поводу того, что должно представлять собой будущее правительство Латвии. Политические организации формировались вокруг таких идей, как республика, национальная демократия (в умеренном и радикальном вариантах), независимость и решение аграрного вопроса; некоторые партии апеллировали к национальным меньшинствам (таким, как евреи и немцы). В указанный период наиболее крупной партией, не относившейся

к категории левых, был Латвийский крестьянский союз, основанный в мае 1912 г. По результатам августовских выборов социал-демократы (умеренные социалисты) получили в Риге 49 из 120 депутатских мест, оставив далеко позади немцев и радикальных левых (19 и 18 мест соответственно). Так называемые буржуазные партии значительно уступали этим трем, хотя также смогли выдвинуть своих депутатов. В других городах социал-демократы были менее успешны. Когда в августе 1917 г. немецкая армия начала продвижение на север, взяв Ригу, и затем, после краткого периода относительного бездействия, к началу марта 1918 г. оккупировала остальные прибалтийские земли, латышские политические объединения снова оказались ввергнутыми в хаос. К этому времени (ноябрь 1917 г.) большевики захватили власть в Петрограде, и многим латышам, особенно входившим в состав частей латышских стрелков, показалось, что они единственная организованная сила, способная осуществить радикальные перемены. Однако политические деятели, не разделявшие большевистских идей, летом 1918 г. также прошли этап радикализации, отказавшись от прежних неясных представлений о культурной автономии в пользу идеи полной независимости Латвии. После серии встреч, созданных с целью достижения консенсуса, главные латвийские партии (за исключением большевиков) 18 ноября собрались в оккупированной немцами Риге и провозгласили образование «демократической республики» Латвии под властью временного правительства, которое возглавил Карлис Ульманис, лидер «Крестьянского союза». Так к концу 1918 г. в неблагоприятных обстоятельствах была провозглашена независимость трех крупнейших национальных групп Балтийского побережья, и состоялось рождение трех новых национальных государств; вопрос состоял лишь в том, будут ли эти государства жизнеспособными.

Три декларации независимости 1918 г. — эстонская, латышская и литовская — казались окончательным воплощением чаяний этих народов, но были в достаточной степени оторваны от событий, происходивших как на побережье Балтики, так и в целом в Европе. Однако в общем контексте они являлись воплощением надежд на то, что дальнейшее развитие событий окажется полезным для решения национальных вопросов. Немецкая армия присутствовала на тот момент по всему побережью, и подписание Брест-Литовского мирного соглашения между Центральными державами и Россией в марте 1918 г. не изменило ситуации. Не-

смотря на то что большевистское правительство Петрограда готово было отказаться от западных приграничных земель, большевизм казался исчерпавшим свои ресурсы. Те, кто оставался лояльным ему, продолжали лелеять надежду, что снова смогут воссоединиться с большевистской Россией. Страны Антанты подписали в ноябре 1918 г. перемирие с Центральными державами, но пока было неясно, что это событие означало для Балтийского побережья; западные супердержавы, казалось, не возражали против того, чтобы позволить немецким войскам оставаться здесь в качестве буфера против дальнейшего распространения большевизма на Запад. Политические группы, выступавшие за независимость Эстонии, Латвии и Литвы, были предоставлены сами себе; их неудачи не влияли на исход войны. Более того, сторонникам независимости приходилось испытывать сильное давление, когда они пытались доказать, что их действия отражают чаяния народа, то есть, иными словами, что за ними стоят все эстонцы, латыши и литовцы. В то же время декларации независимости стали не просто результатом сбывшихся надежд крошечных групп политических активистов; присоединившиеся к этим декларациям считали, что воплощали надежды — возможно, недостаточно выраженные — тех, кто доверился им. Понимание «воли народа» было нелегким, если не невозможным делом на протяжении 1918 г., и то, насколько «глашатаи независимости» могли правильно ее интерпретировать, зависело от способности «народа» к сплочению вокруг идеи, которую приверженцы независимости воплощали в созданном ими правительстве.

Войны за независимость

После того как 11 ноября 1918 г. перемирие остановило военные действия на Западном фронте и 18 января 1919 г. в Париже началась мирная конференция, большинство европейцев смогли наконец свободно вздохнуть, но этого нельзя сказать о народах Балтийского побережья. В ноябре династия Гогенцоллернов отреклась от трона, после чего была провозглашена Германская республика, и союзники на Западе согласились с тем, что после ухода основных сил немецкой армии с Балтийского побережья некоторая их часть останется, чтобы бороться против распространения большевизма. Союзники на Западе (в число которых теперь входили и США)

не доверяли Ленину и большевистскому режиму; немецкие планы колонизации Прибалтики канули в Лету вместе с Германской империей; и на протяжении 1918 г. посланцы эмбриональных «правительств» эстонцев, латышей и литовцев, прибывавшие на Запад, весьма впечатлили западные державы серьезностью своих намерений. Однако ничто на побережье Балтики не было решено хоть сколько-нибудь окончательно. И ожидать в ближайшем будущем всеобъемлющего решения не приходилось, так же как невозможно предугадать исход событий. Регион вступил в трехлетний период, который в национальные истории стран Балтии вошел под названием «войны за независимость». Политические деятели, провозгласившие независимость, положили начало процессу создания институтов, призванных выполнять функции настоящих государств: предстояло проводить выборы, подбирать кандидатуры на посты правительственных чиновников, создавать министерства, повышать государственные доходы, охранять границы и добиваться международного признания. Более того, территории, над которыми новые правительства провозгласили свою юрисдикцию, необходимо было защищать от тех, кто не воспринимал саму идею существования трех независимых государств побережья.

В Эстонии главным «врагом» были эстонские большевики, вытесненные из страны в Советскую Россию, но которые теперь увидели для себя новые возможности в условиях, когда эстонское правительство было еще было слабым, а Германия уже лишилась могущества. Пользуясь поддержкой правительства Советской России, большевистские войска (состоявшие главным образом из неэстонского населения, в основном из русских) в конце ноября 1918 г. начали наступление, взяли Нарву и провозгласили там Эстляндскую трудовую коммуну. Эстонскому правительству пришлось действовать быстро: в конце декабря оно назначило полковника Йохана Лайдонера (1884–1953) главнокомандующим эстонской национальной армией и к январю 1919 г. смогло собрать армию из 4800 человек (в основном эстонцев). В этот момент Эстонии пришла помощь из Великобритании — в виде флота из 12 кораблей с оружием и обмундированием для эстонской армии, что помогло предотвратить вторжение большевистских сил с моря. В свою очередь, Финляндия предоставила заем в 20 млн финских марок на покупку оружия и прислала некоторое количество добровольцев. В результате наступления большевиков была захвачена почти половина территории Эстонии, однако к на-

чалу февраля в результате контрнаступления эстонские войска смогли отбросить большевистские силы обратно на территорию Советской России. К этому времени эстонская национальная армия насчитывала уже 74 500 человек, и имелись случаи дезертирства из большевистских войск в эстонскую армию. Военные действия продолжались на эстонском Восточном фронте на протяжении весны и лета 1919 г., и в это время эстонская национальная армия уже была достаточно многочисленной, чтобы оказывать помощь латышской национальной армии, которая одновременно вела бои против латышских большевиков, независимых частей германской армии и отдельных частей русской белой армии. (В это время Советская Россия переживала тяготы гражданской войны между красными и белыми.) Такая помощь оказывалась в том числе потому, что эстонское правительство хотело обезопасить свою южную границу (с Латвией). Мирные переговоры между эстонцами и советскими вооруженными силами начались в сентябре, но даже во время этих переговоров большевики предпринимали отдельные атаки на территорию Эстонии. Перемирие было провозглашено в начале января 1920 г., и вслед за ним 2 февраля подписан мирный договор между правительствами Эстонии и Советской России. К этому времени в Эстонии были проведены выборы в Учредительное собрание (апрель 1919 г.), которое приступило к важной законодательной работе в условиях продолжавшихся войн за независимость. Что показали события 1919 г., так это то, что лишь меньшинство эстонцев, хотя и значительное по численности, поддержало идею Советской Эстонии; но в целом население не разделяло подобные взгляды. В выборах в Учредительное собрание приняли участие 80% общего числа эстонцев, имевших право голоса, и за 1920 г. национальное правительство доказало, что в состоянии осуществлять законодательную деятельность и защищать границы страны при все возрастающей поддержке населения.

Ситуация на латвийских землях после ноября 1918 г. осложнялась сначала продолжающейся немецкой оккупацией, потом тем, что подавляющее большинство солдат регулярных латышских частей перешли на сторону большевиков, и, наконец, неопределенной ситуацией с Латгалией. Латышские большевики были более значимым фактором, чем эстонские собратья на севере побережья, и с помощью латышских стрелков они смогли на короткое время создать на территориях, свободных от немецкой оккупации,

недолговечную Латвийскую Советскую Социалистическую Республику (просуществовавшую с декабря 1918 по май 1919 г.), которую возглавил Петерис Стучка. Только что появившееся «национальное» правительство под руководством Карлиса Ульманиса бежало в западный портовый город Лиепая (нем. *Libau*) в Курляндии, приняв, таким образом, защиту немцев. Ситуацию усложняло еще и то, что правительству Ульманиса противопоставили себя последователи популярного романиста и служителя церкви Андриевса Ниедры, решившие, что выживание Латвии зависит от тесного сотрудничества с немцами, особенно балтийскими. В Латгалии, население которой весной 1917 г. в подавляющем большинстве проголосовало за необходимость объединения в единое государство с «западными» латышами, большевики также нашли значительную поддержку, как везде в Латвии. Некоторые известные выразители общественного мнения (например, Францис Кемпс) высказывались в пользу отдельной, автономной Латгалии. Командующий немецкими войсками в этом регионе Рюдигер фон дер Гольц продолжал тройную игру, поддерживая то правительство Ульманиса, то правительство Ниедры, то балтийских немцев. И это еще не все — проблему усугубляли несколько соединений белой армии под руководством авантюриста по имени Павел Бермонт-Авалов, провозгласившего себя графом Российской империи и заявлявшего, что он стремится восстановить границы этой страны. Фон дер Гольц и Бермонт-Авалов были несомненными антикоммунистами и в таком качестве могли быть полезны латышскому «национальному» правительству; с другой стороны, никто из этих военно-политических лидеров не был согласен с идеей независимой Латвии, и, фактически, во второй половине 1919 г. оба они стали такими же ее врагами, как и большевики.

Поэтому 1919 год оказался наполнен интригами, альянсами и вероломными происками, временными победами и столь же временными поражениями. Однако к лету упорство правительства Ульманиса стало приносить плоды; краткое и кровавое пребывание у власти большевистского правительства Стучки привело к тому, что большинство латышей решили, что большевики склонны присоединить Латвию к Советской России; правительство Ниедры оказалось мертворожденным, так как не получило поддержки населения; значительное количество латышских стрелков и их командиры решили поддержать свой народ там, где его борьба носила «национальный» характер; латгальский сепаратизм не получил

значительного влияния, и к октябрю 1919 г. правительство Ульманиса смогло сформировать контингент войск (около 11 500 солдат), действительно пользовавшийся поддержкой латышского населения. К этому времени западноевропейские страны, убедившиеся в серьезности стремления латышей обрести национальное государство, стали оказывать Латвии поддержку. К концу 1919 г. они потребовали, чтобы немецкая армия покинула пределы Прибалтики; бермонтисты потерпели сокрушительное поражение, и теперь единственную грозу новому государству представляли большевистские силы в Латгалии. Чтобы нанести бермонтистам решающий удар, латышская национальная армия получила значительную помощь эстонской армии, а чтобы выгнать из Латгалии оставшихся большевиков, Ульманис запросил военной помощи у Польши, и 20 тыс. польских солдат под командованием Эдуарда Рыздз-Смиглы выступили на стороне латышей. К этому времени большевистское руководство в Петрограде решило не тратить больше сил на Прибалтику. Таким образом, столкнувшись со значительными силами противника и получая все меньшую поддержку со стороны Ленина, латышские большевики покинули Латгалию. В их войсках, направившихся в Советскую Россию, были тысячи латышских стрелков, оставшихся преданными делу большевиков. Правительство Ульманиса и Советская Россия заключили перемирие в феврале 1920 г., а в августе того же года подписали мирный договор. Теперь правительство Ульманиса могло сконцентрироваться на начатой, но прерванной работе — дальнейшем построении институтов жизнеспособного государства.

К началу 1919 г. эмбриональное правительство Литвы укрепило свои позиции, став вполне рабочим органом после признания его в середине 1918 г. немецкими оккупационными войсками. Среди его лидеров были Антанас Сметона, Аугустинас Вольдемарас и Миколас Слежявичюс. Однако это правительство мало продвинулось в создании национальной армии, так что, вторгшись в Литву в январе 1919 г., Красная армия смогла легко захватить Вильнюс, вынудив правительство бежать в Каунас. Как и на севере, большевистские войска, в которых служили как русские, так и литовцы, провозгласили собственное литовско-белорусское государство, Советскую Республику Литбел, существовавшую на востоке литовских земель, — что дало большевистским пропагандистам заявлять, что они поддерживают местное «государство трудящихся» против «правительства реакционной буржуазии».

Правительство Германии предложило помощь новому национальному правительству Литвы, в результате чего до конца весны 1919 г. в борьбе за власть в Литве сохранялось патовое состояние. В этой ситуации на исторической сцене появилось еще одно действующее лицо — Польская республика, о создании которой Германия и Австро-Венгрия договорились в ноябре 1916 г. (с чем российское Временное правительство согласилось в марте 1917 г.). Поляки под руководством Высшего национального комитета, основанного родившимся на территории Литвы полковником Юзефом Пилсудским, ставшим временным президентом Польши (начальником государства), уже создали на тот момент национальную армию и стали защищать на юге, востоке и западе свои истинные границы — такими, какими они их видели. На востоке притязания поляков распространялись на прежние территории существовавшего некогда Польско-Литовского государства, и эти притязания вступили в прямой конфликт с пожеланиями литовцев. В апреле 1919 г. польские войска вступили в Литву и добились контроля над третьей частью ее территории, включая Вильнюс. В некотором смысле литовскому правительству приходилось теперь вести войну на два фронта — против большевиков и против поляков, уповая на то, что ни те, ни другие не пользуются широкой поддержкой населения. Большевистское движение в Литве — стране с невысоким уровнем индустриализации по сравнению с севером Балтийского побережья — не было слишком популярным, и литовское политическое мышление на протяжении многих десятилетий отвергало идею возрождения Польско-Литовского государства; теперь эта идея угрожала воплотиться в жизнь — как и польская гегемония. Только сторонники возрождения Великого княжества Литовского мечтали о том, чтобы все его бывшие земли объединились под литовским флагом. Безрезультатная борьба на литовских землях продолжалась до осени 1919 г.; в этот период успехи на фронте переходили то к литовским подразделениям, истощенным борьбой с большевиками или поляками, то к полякам, сражавшимся с большевиками. Немецкие войска участвовали в военных действиях с перерывами, до тех пор, пока смешанная германско-русская армия (под «русской» подразумевается «белая» армия во главе с Бермонтом-Аваловым) не вторглась на литовскую территорию с севера (из Латвии). На протяжении года литовская национальная армия демонстрировала, что она в состоянии, по крайней мере, отражать вторжения врагов, если не всегда

одерживать над ними победы, — и это давало добровольцам стимул вступать в ее ряды наряду с призывниками. К августу 1920 г. борьба с большевиками закончилась; они отступили в Советскую Россию. Поляки также отступились от притязаний на литовские земли, сконцентрировав усилия на украинском направлении (что привело к конфликту Польши с Советской Россией), — и это позволило литовскому правительству восстановить свою власть на всех литовских территориях. Но это был еще не конец истории, поскольку в октябре 1920 г., когда было объявлено перемирие между Польшей и Советской Россией и между этими странами начались переговоры, польские войска под командованием Люциана Желиговского на пути в Каунас вошли в столицу Литвы — Вильнюс. Удивленные таким нарушением соглашения, положившего конец конфликту поляков и литовцев, литовское правительство и армия сплотились, но даже общими усилиями смогли лишь стабилизировать ситуацию на фронте к югу от Каунаса. Польские войска теперь контролировали пятую часть литовских земель, и на протяжении трех следующих лет в переговорах, в которых участвовала Лига Наций, уточнялось прохождение литовско-польской границы. В феврале 1923 г. было достигнуто соглашение, согласно которому эта граница пролегла между Каунасом и Вильнюсом; таким образом, в конце периода войн за независимость Польша продолжала сохранять контроль на пятой частью литовских земель, включая столицу — Вильнюс.

Войны за независимость в конце концов закончились победой национальных армий и изгнанием с территории стран Балтии всех вооруженных сил, враждебно настроенных к литовской, эстонской или латвийской государственности. Однако общественное мнение было столь же важным, как и военные успехи, и, по мере того как на протяжении 1919 и 1920 гг. продолжались сражения, стало очевидным, что идея государственности получила распространение среди населения побережья. Поддержка данной идеи прямо или косвенно выражалась следующими способами: активное вступление населения в национальные вооруженные силы; перемена взглядов солдат-большевиков, вступавших в национальные армии; рост общественного признания военных успехов национальных армий, а также воспевание этих успехов в стихах, картинах и газетных статьях; привлечение представителей вражеских армий, не имеющих достойного вооружения и обмундирования, в национальные армии; постоянное подчеркивание того, что противники

национальных армий являются «внешними врагами», а также постоянное подтверждение в национальной прессе, что «наша земля» и «наш народ» достойны того, чтобы сражаться за них. Население побережья стало осознавать себя гражданами национальных государств и идентифицироваться с этими государствами — это касалось, по крайней мере, носителей трех основных языков Балтии. Подобные изменения общественного сознания не остались незамеченными западноевропейскими странами, для которых вопрос будущего Балтийского побережья был неразрывно связан с вопросом дальнейшего распространения большевизма на Запад. Формальное признание независимых балтийских государств в Западной Европе в промежуток времени между 1918 и 1920 гг. состоялось после того, как эти государства осознали, что новые государства доказали свою жизнеспособность и способны выполнять функции *санитарного кордона* между Европой и Советской Россией. Однако победы национальных армий не всегда означали усмирение тех, кто сражался против них. Многие из солдат немецких частей, отступивших с территории побережья в 1920 г., вернувшись на родину, вступили в ряды недавно образованной нацистской партии, а большевистские войска включали множество солдат и офицеров из Прибалтики (особенно из Латвии), которые после отступления с территории стран Балтийского побережья принимали активное участие в формировании Советской России, сохраняя при этом эстонскую, латышскую и литовскую субкультуры в рамках большевистского государства, не теряя преданности коммунистическим идеалам. Единственной стороной, потерпевшей полное поражение в войнах за независимость, оказалась белая армия, которая после поражения в Гражданской войне в России уже не имела опоры для дальнейших действий.

Образование государств и парламентаризм

Войны за независимость велись в то самое время, когда новые правительства Эстонии, Латвии и Литвы стремились утвердить свою власть над территориями, которые каждое из этих новых государств определило как свои, что с любой точки зрения было нелегкой задачей. Как упоминалось ранее, литовское правительство не преуспело в этом; захват поляками в 1920 г. Вильнюса и земель к югу от него определил сохранение польского контроля над дан-

ными землями на протяжении последующих двадцати лет, превратив их в яблоко раздора не только в литовско-польских отношениях, но и в отношениях Литвы с двумя другими государствами Балтии.

Правительства Эстонии и Латвии преуспели больше; все вопросы, связанные с границами этих стран, были решены в начале 20-х годов XX столетия. Однако помимо вопроса о границах оставалась актуальной также проблема международного признания. Дипломаты всех трех стран с 1918 г. усердно работали над тем, чтобы положение их стран де-факто было признано основными европейскими державами де-юре. Эта задача была решена, когда в 1921 г. Эстония и Латвия, а в 1922 г. Литва стали полноправными членами Лиги Наций. Между тем все три правительства серьезно занимались государственным строительством, что в тот момент означало восстановление и реконструкцию, а также обретение авторитета самими правительствами. Раны, нанесенные в социально-экономической сфере шестью годами военных действий, немецкой оккупацией и оборонными мероприятиями правительства России, были весьма глубокими. Число беженцев, покинувших побережье, исчислялось сотнями тысяч, и было абсолютно неясно, сколько из них вернется и вернутся ли они вообще. Первые переписи населения, проведенные во вновь образованных странах в начале 20-х годов, показали, что в абсолютных цифрах население Эстонии уменьшилось с довоенных 1,08 млн до 1,05 млн человек, Латвии — с 2,5 млн до 1,5 млн и население Литвы — с 4,3 млн до 3,3 млн человек (включая Вильнюс и окрестности, захваченные Польшей). Крупнейший город побережья — Рига — потерял более половины населения, которое перед войной, в 1914 г., составляло 517 тыс. человек, а по ее завершении — 250 тыс.; ситуация в других городах отражала ту же тенденцию. Столь огромные потери населения, как и эвакуация промышленной инфраструктуры в Россию в первые годы войны, способствовали разорению в краткосрочной перспективе, поскольку для восстановления требовался человеческий капитал. Было бы лишь небольшим преувеличением сказать, что побережье между 1914 и 1920 гг. пережило своего рода деиндустриализацию. К тому же около шести урожаев потеряны из-за постоянных военных реквизиций лошадей и пшеницы, растущего количества покинутых ферм и из-за отсутствия доступного посевного материала. В этот период не отмечалось случаев массового голода, однако недоедание, скудное распределение продовольствия

и карточная система стали обычным явлением, однако менее распространенным на селе, чем в городах.

Были и другие существенные последствия: образование новых государств разрушило (по крайней мере, в долгосрочной перспективе) экономические связи побережья с более крупным российским рынком. Совершенно невозможно было предположить, что Советская Россия, подчинявшая рынок политическим целям, пойдет в скором времени на сотрудничество с целью восстановления экономических связей. Хотя небольшие предприятия, ориентированные на местные рынки, имели шанс на восстановление, значительное количество предприятий, существовавших до войны, прекратили свое существование, возможно, навсегда. Транспортная система региона также пострадала, особенно железнодорожные подвижные составы, а разрушения жилых домов в сельской местности составили, по оценкам, около 10%. Фотографии круглосточных столовых в городах (где можно было получить миску супа), крытых дерном землянок и лачуг в сельской местности, бывших окопов, используемых как временное жилье, и возвращающихся беженцев стали такой же неотъемлемой частью визуального наследия периода 1914—1920 гг., как и групповые фото официально одетых мужчин, сидящих вокруг стола и вершащих национальную политику.

Деятельность, направленная на создание государственного аппарата, началась в 1918 г., когда были провозглашены все три декларации независимости, в надежде, что новые государства смогут выжить. Временные правительства этого периода, в которые вошли известные политические деятели, действовали на тот момент *от имени* эстонского, латышского и литовского населения, хотя не были ими избраны; им не хватало легитимности, которую могло дать только наличие конституции. Как показал период войн за независимость, во всех трех странах население обнаруживало значительные расхождения в базовых вопросах — кто будет управлять страной и как именно будет осуществляться управление. Большинство населения в каждом из трех эмбриональных государств однажды вдруг обнаружило, что очутилось в границах вновь образованной страны, хотя их прямого согласия на то никто не спрашивал. Конечно, множество фактов — поддержка населением временных правительств, национальных армий, а также всевозможные декларации — демонстрировали, что новые государства пользовались поддержкой населения, но в любом случае ее

необходимо было зафиксировать в официальных документах и институтах управления, которые могли функционировать лишь при этом условии. Неизбежно, что многие институты, особенно местного управления, созданные в последние годы существования Российской империи, продолжали функционировать и сохранились в новых государствах в переходный период; однако на высшем уровне была необходима полная трансформация. Хотя данная задача решалась тремя временными правительствами по-разному, все они были вынуждены действовать еще до окончания войн за независимость.

В Эстонии временное правительство инициировало выборы в Учредительное собрание (*Asutav kogu*) в апреле 1919 г.; они успешно прошли при участии около 80% населения и множества политических партий. Временное правительство прекратило свою работу в мае, и новый орган утвердил кабинет министров под руководством премьер-министра Отто Страндмана из Партии труда. В июне была принята временная конституция. Как вновь избранный представительный орган власти, так и временная конституция способствовали тому, что эстонское правительство стало легитимным и его действия обрели весомость, а законодательная ассамблея получила возможность работать над окончательным вариантом конституции, принятым 20 декабря 1920 г.

В Латвии временное правительство продолжало работать после провозглашения независимости 18 ноября 1918 г., но теперь его легитимность основывалась на существовании Национального совета (*Tautas Padome*), созданного после объявления независимости. Этот орган включал в себя представителей восьми крупнейших существовавших на тот момент политических партий. Другие его члены представляли различные группы латышского населения (включая Латгалию), где партии только начинали формироваться. Изначально в Совет вошли 39 членов; к тому моменту, когда его работа закончилась с избранием в апреле 1920 г. Конституционного собрания (*Satversmes Sapulce*), в нем было 183 человека, и при его формировании особое внимание уделялось тому, чтобы представить все группы населения Латвии. Совет принял множество мер по построению государственности, так как теперь его члены были уверены, что имеют право действовать от имени латышского народа. На выборах в Конституционное собрание в апреле 1920 г. избирателям были предложены списки кандидатов, представляющих около 25 партий, но в результате

представительство получили лишь 16 из них. Собрание начало работу в мае 1920 г., избрав президентом Яниса Чаксте. На протяжении двух последующих лет этот орган работал не только как предпарламент, продолжая дело государственного строительства, начатое Национальным советом, но и выступая в роли органа, разрабатывавшего проект латвийской конституции, которая после многочисленных обсуждений и сглаживания межпартийных разногласий была окончательно принята в июне 1922 г. Деятельность Национального совета проходила во время войн за независимость, тогда как Конституционное собрание начало работу после того, как все военные действия прекратились.

Становление правительства в Литве проходило в своем развитии через аналогичные процессы. После провозглашения независимости в феврале 1918 г. первоначальный состав Тарибы (Государственного совета) был заменен новым, во главе которого стоял президиум (председатель и два его заместителя). Был создан и кабинет министров. Кластер властных органов функционировал на основе временной конституции, в которую в 1919 г. были внесены поправки, усилившие роль исполнительной власти. Эти документы предусматривали созыв Учредительного собрания, собравшегося в апреле 1920 г.; председателем собрания был избран Александр Стульгинскис, что автоматически сделало его главой государства по должности (*ex officio*). В отличие от аналогичных институтов Эстонии и Латвии, литовская ассамблея была собранием преимущественно молодых людей — 29 его членов были моложе тридцати лет и только восемь — старше пятидесяти. На первых заседаниях Собрание внесло изменения во вторую временную конституцию в аспектах, касающихся статуса президента. Оно также приступило к работе над окончательным вариантом конституции, которая после тщательного рассмотрения и обсуждения была принята в августе 1922 г. Этот документ оставался Основным законом страны до 1928 г., после чего был изменен президентом Антанасом Сметоной, ставшим в 1926 г. авторитарным лидером страны.

Процесс осмысления и разработки конституций всех трех стран, занявший от трех до четырех лет, предельно ясно показал, что и эти документы, и весь государственный аппарат, должны удовлетворять ожиданиям людей, придерживающихся чрезвычайно широкого спектра мнений, чтобы получить поддержку новых политических элит и населения в целом. Те, кто разрабатывал

проекты новых конституций (особенно из левой части политического спектра), стремились создать систему, ничем не напоминающую старую царскую автократию. Соответственно, в новых системах власть главы государства (в Латвии и Литве это был президент, в Эстонии — государственный старейшина (*riigivanem*), являвшийся также премьер-министром) была относительной слабостью, поскольку глава государства избирался голосованием парламента (*Riigikogu* в Эстонии, *Saeima* в Латвии, *Seimas* в Литве). В Эстонии законодательная и исполнительная власть были в некотором смысле объединены. Во всех трех странах законодательный орган — парламент — являлся однопалатным. Депутаты парламентов избирались голосованием всех граждан страны, мужчин и женщин, достигших возраста 20 или 21 года. Демократическая сущность этих систем поддерживалась с помощью правил, определявших порядок формирования политических партий и нормативных актов, удовлетворявших существовавшим политическим предпочтениям населения. Партии представляли избирателям предварительные списки кандидатов, и их представительство в парламенте было пропорционально количеству голосов, полученных на всеобщих выборах. Президент (или государственный старейшина) предлагал лидеру партии, набравшей наибольшее количество голосов, сформировать правительство — то есть кабинет министров, представлявший собой исполнительную власть и подотчетный парламенту. Изначально такая система действительно гарантировала, что в парламенте будут представлены наиболее важные политические точки зрения, однако это делало практически неизбежным, что работоспособный кабинет министров станет опираться на коалицию нескольких партий (обычно от трех до пяти). Правительство, или кабинет министров, могло быть расформировано, получив вотум недоверия парламента. Что же касается новых выборов или образования нового кабинета, то здесь все зависело от обстоятельств. Такая законодательная система выдвигала на первый план достижение консенсуса и компромисса между политическими партиями и, соответственно, требовала от президента умения склонить лидеров партий к достижению необходимого временного согласия; поэтому система была крайне уязвимой в случае столкновения непримиримых партийных позиций или личных амбиций. С самого начала 20-х годов работоспособность такой системы становится предметом постоянного обсуждения.

В Литве система столкнулась с трудностями в период выборов 1926 г., что дало президенту Антанасу Сметоне повод установить президентско-авторитарное правление; в Эстонии с 1921 по 1931 г. парламент сформировал 11 кабинетов министров (правительство), каждый из которых управлял страной в среднем около 11 месяцев; в Латвии с 1922 г. (с первых выборов в *Saeima*) до 1934 г. (когда Карлис Ульманис установил авторитарный режим) парламентские выборы прошли всего четыре раза, и за этот период работало 13 кабинетов министров. Но даже в этих условиях при наличии парламентарной системы во всех трех странах задачи, связанные с построением государства, быстро решались, при этом большая часть необходимой работы выполнялись «постоянными членами правительств» — то есть штатом министерств, который разрастался, в то время как выборные официальные лица и назначенные министры приходили и уходили.

Проще говоря, и после 1920 г. новые политические элиты трех стран состояли из тех самых людей, что участвовали в создании государств: членов временных правительств, депутатов учредительных собраний и национальных советов. Разумеется, происходил и приток новых людей в состав политического руководства, но верхушку чаще всего формировали именно «отцы-основатели» (в ее составе было лишь несколько женщин), которым в 1914 — 1920 гг. было от тридцати до пятидесяти лет, — эти люди оставались у власти, меняя депутатские мандаты на министерские кресла. Президенты (в Эстонии — государственными старейшинами) и членами кабинетов министров были эстонцы, латыши и литовцы, хотя иногда, когда государство нуждалось в уникальных специалистах, министерские портфели получали представители так называемых национальных меньшинств, представлявших в парламенте собственные партии. Дискриминация по национальному признаку по новым конституциям была запрещена, однако в действительности все три новых государства «принадлежали» национальному большинству местного населения, что вполне соответствовало широко распространенным настроениям населения в целом. Теперь представители коренных народов региона занимали ключевые позиции в государствах, вытеснив представителей прежних элит, то есть балтийских немцев, поляков и русских. Политическая система обеспечивала именно такое положение вещей, поскольку партии, составлявшие большинство в парламенте, поддерживали его и с идеологической, и с национальной точки зрения. Во всех

трех странах было достаточно много партий (менявшихся как количественно, так и качественно) — часть из них образовалась еще до обретения независимости, тогда как остальные возникли в контексте парламентских выборов. Лидеры этих партий в большинстве своем имели высшее образование и хорошую профессиональную подготовку. Среди них доминировали юристы. Однако для достижения успеха необходимо было воздействовать на различные интересы электората. Поскольку большинство населения всех трех стран занималось сельским хозяйством, аграрные партии всегда играли в парламентах Эстонии и Латвии самую заметную роль, составляя основу правых сил на политическом ландшафте, — это были «Объединение аграриев» в Эстонии и «Крестьянский союз» в Латвии. Их политическая философия основывалась на представлении, что сельское хозяйство является краеугольным камнем государственной экономики, а добродетели, присущие сельским жителям, составляют основу национального характера. В Литве гораздо большую роль в формировании партий, чем в двух других государствах, играл региональный фактор, и «Христианский демократический блок» (представлявший в том числе интересы фермеров) был наиболее заметным объединением правых.

Основу левых сил всех трех стран составляли социал-демократы, чья деятельность в форме организованных партий была наиболее продолжительной. Сплачивая своих сторонников с помощью различных марксистских лозунгов, они представляли главным образом интересы промышленных рабочих (пролетариата), но при этом искали поддержки у всех уязвимых групп населения. Левое крыло оставалось весьма сильным в Эстонии и менее сильным — в Латвии, поскольку в латвийских парламентах социал-демократы большей частью представляли собой оппозицию (то есть не формировали кабинеты министров). У литовских социал-демократов не было достаточного времени проявить себя, поскольку в этой стране полноценно функционирующая парламентская система прекратила существование в 1926 г.

Третью категорию составляли отколовшиеся партии: некоторые из них появлялись и исчезали с политической арены, но другие — в основном представлявшие национальные меньшинства — казались более стабильными, несмотря на устойчивую тенденцию к разделению. (Например, в латвийском парламенте три партии представляли относительно небольшое еврейское население.) По определению, отколовшиеся партии как блок не имели общей

объединяющей их политической ориентации; они представляли собой скорее влиятельные группы давления, чем партии как таковые, и постоянно добивались у ведущих партий решений в пользу своего электората. Однако они были достаточно многочисленны, чтобы мешать как правым, так и левым формировать кабинет министров в течение продолжительного времени; фактически, ни один из блоков, как бы их ни определять, не играл определяющей роли на политической арене. Кабинеты, работавшие в течение непродолжительного времени, приходившие и уходившие партии и постоянное заключение политических сделок, необходимых для дальнейшего развития законодательного процесса, накладываясь на идеалистические представления об эффективной демократической системе, легко создавали впечатление, что «парламентская система не работает». Такое впечатление усугублялось благодаря тому факту, что во всех трех странах существовала активная и критически настроенная пресса, привлекавшая всеобщее внимание к деятельности правительств. В конце концов, именно благодаря личному участию представителей активной политической элиты были созданы эти государства, и теперь население ожидало именно от них, что они продолжат развивать их.

Во вновь образованных государствах политическая система теперь находилась под контролем литовцев, латышей и эстонцев, которые в массе своей ощущали, что это правильно и так должно быть. Эти три народа представляли большинство населения своих стран — в Эстонии эстонцы составляли около 87% населения, в Латвии проживало около 72% латышей, а в Литве (включая Вильнюс и его окрестности) было около 80% литовцев. Названия стран образованы от имен народов; эти народы вели войны за независимость именно для того, чтобы получить политическую власть; в новых конституциях эстонский, латышский и литовский были провозглашены государственными языками. Однако в конституциях также был отражен тот факт, что эти страны населяли также национальные меньшинства, и за их положением после образования новых государств бдительно следила Лига Наций, в которую государства вступили. Такая озабоченность была частью нового, послевоенного положения вещей в Европе, и игнорировать ее было нельзя. Однако политическое мнение внутри титульных наций не отличалось единодушием по поводу того, как должна выглядеть защита прав национальных меньшинств. Актуальным являлся вопрос, какими именно правами, кроме права на гражданство, должны обладать

представители национальных меньшинств, и вопрос осложнялся еще и тем, что некоторые из указанных меньшинств до войны претендовали здесь на политическую, социальную, экономическую и культурную гегемонию и это не было забыто.

Доля национальных меньшинств в общем составе населения различалась во всех трех странах. В начале 20-х годов XX столетия в Эстонии крупнейшим меньшинством были русские (8,2% населения страны), тогда как в Латвии они находились на третьем месте среди национальных меньшинств (2,3%), а в Литве — на четвертом (2,3%). Немцы (балтийские) являлись вторым по величине национальным меньшинством в Эстонии (1,7% населения), первым в Латвии (5,9) и третьим в Литве (4,1%). Евреи составляли крупнейшее национальное меньшинство в Литве (7,1%), третье в Латвии (4,9) и четвертое в Эстонии (0,4%). В Эстонии проживало значительное число шведов (0,7%), при этом в Латвии и Литве их было мало и их считали наряду с «прочими». Аналогичным образом число поляков в Литве было значительным (3%), а в Латвии и Эстонии их насчитывалось куда меньше. Такое распределение в начале 20-х годов реально отражало исторический опыт севера и юга побережья: немцы до войны являлись доминирующим меньшинством в латвийских и эстонских землях, Литва была северным краем «черты оседлости»; русские же селились по всему побережью по самым разным причинам. Совокупное число всех представителей меньшинств сократилось за военные 1914 – 1920 годы, так же как и число представителей титульных национальностей. Однако, когда на этой земле вновь воцарился мир и появились новые государственные границы, число представителей наиболее значительных национальных меньшинств — немцев, русских, поляков и евреев — оставалось относительно большим, особенно в Латвии. Более того, некоторые из них — особенно немцы и евреи и в каком-то смысле поляки — продолжали играть в странах Балтии значимую экономическую роль, хотя и не в том же масштабе, что раньше.

Поскольку сохранение хорошей международной репутации трех стран во многом зависело от того, как в них решался вопрос национальных меньшинств, то в ходе публичных дебатов было признано, что новые конституции должны распространить на них свою защиту; таким образом, демократические политические системы допускали формирование политических партий, основанных на принципе национальности и позволяли им быть представленными

ми в парламенте. Новые конституции защищали языковые права меньшинств, а новые правительства субсидировали начальные школы национальных меньшинств и их культурные организации. Вновь образованные после войны *государства* были мультикультурными в том же смысле, в каком *общества* стран побережья Балтики были таковыми задолго до войны. Но, как и до войны, этот мультикультурализм принимал скорее форму сосуществования, чем интеграции, а такие формы последней, как межнациональные браки, изучение государственного языка, отсутствие замкнутых национальных поселений, смена религии, если вообще и имели место, то это происходило «естественно», без каких-либо мер, предпринятых правительствами. Такая общая тенденция не очень сочеталась с мнением националистически настроенных групп титульного населения, считавших, что основной целью новых правительств является культурное и экономическое содействие развитию «основных наций». С их точки зрения, «государство» и «основная нация» были отдельными образованиями, при этом государству вменялось в моральный долг обеспечить, чтобы эстонцы, латыши и литовцы никогда больше не оказались в подчинении у групп другой национальности.

Учитывая распространенность среди населения подобных ожиданий, неизбежно, что значительное количество реформ, проводимых новыми правительствами, будет направлено на перераспределение существующих ресурсов. Сохранявшаяся привлекательность левых политических партий — особенно социал-демократов — основывалась как раз на том, что до, во время и после войн за независимость те обещали провести подобное перераспределение; и послевоенные правительства понимали, что ждать, пока экономическое возрождение породит новое богатство страны, рискованно. Некоторые меры — такие, как система прогрессивного налогообложения, поддерживающая программы социального обеспечения, — касались всего населения в равной степени, но другие разрабатывались именно с таким расчетом, чтобы по-разному влиять на разные группы населения. Ярким примером перемен стал комплекс реформ, направленных на концентрацию землевладения: за решение данного вопроса во всех трех странах уже брались в 1918 и 1919 гг., и это одна из областей политики, в которой идеология левых, направленная на перераспределение, совпадала с идеологией «национального протекционизма», продвигаемой центристами и правыми. Во всех трех странах около 40–50% всей земли все еще принадлежало

крупным землевладельцам, большинство которых (хотя не все) в Эстонии и Латвии являлись балтийскими немцами, а в Литве большинство (и тоже не все) крупных землевладельцев были немцами, поляками и русскими. Учитывая, что эти группы стали терять политическую власть, трансформируясь в национальные меньшинства, государственная политика оказалась направленной именно на них, и, несомненно, дальнейшее ослабление экономических возможностей меньшинств, игравших раньше главенствующие роли, являлось частью планов национальных правительств. Однако столь же важной была потребность быстро увеличить количество мелких землевладельцев и обеспечить землей безземельных; достижение обеих этих целей должно было дать значительным группам сельского населения, исчисляемым сотнями тысяч человек, возможность играть значительную роль в жизни вновь образованных государств.

Основная формула, по которой осуществлялись крупномасштабные аграрные реформы, проста: государственная экспроприация всех земельных участков, находившихся в личном владении и превышавших определенный размер, передача земли в распоряжение национального земельного фонда и ее последующее перераспределение в интересах мало- и безземельных крестьян. Процесс перераспределения продолжался вплоть до 30-х годов, но большая часть экспроприированной земли была перераспределена еще в первой половине 20-х годов. Бывшим землевладельцам выдавалась скромная компенсация в долгосрочных облигациях; помимо этого, они могли апеллировать о реституции до 50 га экспроприированной земли. В Латвии 3,4 млн га такой земли поступило в земельный фонд, и к концу 20-х годов благодаря этим земельным ресурсам были созданы или получили поддержку около 143 тыс. фермерских хозяйств. Новые владельцы выкупали землю у государства на условиях долгосрочных займов, гарантированных правительством. Бывшие владельцы не получали никакой компенсации, однако правительство приняло на себя ответственность по выплате всех долговых обязательств, связанных с экспроприированной землей; помимо этого, бывшие владельцы могли сохранить за собой до 110 га. В Литве, где использовалась примерно такая же модель экспроприации-перераспределения, к концу 30-х годов появилось около 38 600 фермерских хозяйств и увеличены земельные владения еще 26 190 хозяйств. Литовское государство было наиболее щедрым на побережье по отношению

к бывшим собственникам земли — частично потому, что экспроприация здесь существенно затронула церковные владения. К середине 30-х годов правительство выплатило около 40 млн литов в качестве компенсации бывшим землевладельцам. Как и в Эстонии, новые землевладельцы должны были заплатить правительству за полученную землю в зависимости от ее качества, а правительство предоставляло им для этого выгодные условия и займы.

Во всех трех странах список получивших землю возглавили ветераны войн за независимость и те, кто оказывал значительное содействие становлению новых государств. По сравнению с тем, что происходило в других странах послевоенной Европы, эти аграрные реформы являлись довольно радикальными. В ответ на реформу в Латвии местные землевладельцы из числа балтийских немцев обратились в Лигу Наций с жалобой на «экспроприацию без всякой компенсации», но их жалоба была отвергнута. Хотя реформы оказались вполне успешными в краткосрочном отношении, поскольку привели к более справедливому распределению земли между собственниками, однако тысячи новых мелких землевладений стали большой проблемой для новых государств, когда мировой экономический спад начал оказывать влияние на всю Европу.

Три авторитарных президента

Послевоенные десятилетия стали временем, когда в Центральной и Восточной Европе в силу различных для разных стран причин появились свои авторитарные политические лидеры. Некоторым странам — например, Чехословакии и Финляндии — удалось избежать этой тенденции, но даже там сохранение либерально-демократических институтов было связано с влиянием таких харизматических лидеров, как президент Томаш Масарик в первой и маршал Карл Густав Маннергейм во второй. В других — Италии и Германии — приход к власти Бенито Муссолини (1922) и Адольфа Гитлера (1933) привел к катастрофическим последствиям. Эстония, Латвия и Литва могли бы избежать подобной тенденции, если бы обретение независимости указанными странами пришлось на менее трудные времена, а так они вошли в число стран, правители которых составили клуб «маленьких диктаторов», как их иногда называли: в 1926 г. Литва и в 1934 г. — Латвия и Эстония. Все три

авторитарных президента, взявших власть в эти годы, — Антанас Сметона (1874 – 1944) в Литве, Карлис Ульманис (1877 – 1942) в Латвии и Константин Пятс (1874 – 1956) в Эстонии — в период 1914 – 1920 гг. активно участвовали в борьбе за независимость и разработке конституций своих стран; никто из них не стремился прежде к абсолютной власти, и все они хотели осуществлять свои полномочия в рамках новых политических систем. Однако политическая история всех трех стран показывает также, что в данный период нарастало недовольство значительного числа представителей новой политической элиты и политически активных граждан работой либерально-демократических институтов, казавшихся им слишком громоздкими и обременительными. С точки зрения логики эти группы не должны проявлять нетерпение — в конце концов, большинство политических лидеров всех трех стран были зрелыми людьми средних лет, знавшими на собственном довоенном опыте особенности политической культуры своих народов. Они отдавали себе отчет в том, что эстонцы, латыши и литовцы получили независимость, не имея единого мнения по множеству важнейших вопросов, что деятельность партий в парламентской борьбе связана с множеством искушений, способствующих дальнейшему разделению, и что успех в ней зависит от постоянных переговоров, сделок и компромиссов. Однако достижение независимости и международное признание новых государств привели к тому, что у многих сложились идеализированные представления о том, как теперь будет работать политическая система. Предполагалось, что избавление от «русского ига», «немецкого ига» и, возможно, даже «польского ига», а также последующее появление государственных структур с доминированием титульных национальностей неизбежно приведут к беспроblemному будущему. Реконструкция и построение государств были нелегким делом, однако мечта деятелей «национального возрождения» XIX в. наконец-то осуществилась. Такова концепция национальной независимости, ориентированная на быстрое достижение результатов; предполагалось, что теперь, с обретением долгожданной независимости, все проблемы должны решаться быстро, одна за другой. Такое политическое мышление было слишком расположено к тому, чтобы принять идею, согласно которой любую политическую систему, чья работа не кажется достаточно удовлетворительной, можно легко заменить другой по усмотрению населения, и этот процесс может повторяться до тех пор, пока не появится та, которая приведет к желаемым

результатам. В подобных взглядах было чрезвычайно много утопического, и такая утопическая логика вела к представлению (конечно, разделявшемуся не всеми), что над партиями и фракционной борьбой должен стоять сильный национальный лидер, способный вести страну вперед, невзирая на бесконечные политические споры, безрезультатные выборы и ослабляющую страну полемику, порожденную свободой слова и прессы. В сравнении с этим идеалом характерные особенности парламентской системы трех стран: высокий уровень участия в выборах, спокойный ненасильственный переход власти от одного кабинета министров к другому и множество достижений в законодательной сфере — казались недостаточными впечатляющими. Пищу для ума давали и успешный переворот, осуществленный в 1926 г. совсем рядом с побережьем, в Польше, генералом Юзефом Пилсудским, и его успешное «теневое» руководство страной до 1935 г. под лозунгом «санации» (оздоровительной чистки).

Первой из стран Балтии, сделавшей шаг в сторону авторитарного правления, стала Литва в декабре 1926 г., когда к власти в стране насильственным способом пришла коалиция из членов партии националистов, христианских демократов и военных. «Директория» из лидеров коалиции предложила пост президента Антанасу Сметоне, лидеру националистов (Союза литовских националистов — *Lietuvuju Tautininku Sajunga*, или *tautininkai* — таутининков), после чего он был «избран» на эту должность остатками парламента; Сметоне на тот момент было 52 года. В 1902 г. он получил юридическое образование в Петербургском университете и впоследствии в течение долгого времени вел активную политическую деятельность — в качестве депутата Великого вильнюсского сейма 1905 г., как журналист и издатель нескольких известных газет, как руководитель литовского Общества помощи беженцам во время войны, как жесткий противник русификации, как глава временного парламента, провозгласившего независимость Литвы в феврале 1918 г., и как первый президент Литвы в 1919–1920 гг. Он также преподавал древнегреческий в Каунасском университете и переводил Платона на литовский язык. Будучи последовательным антимарксистом, преданным своей нации, Сметона всю долгую политическую деятельность казался приверженцем либерально-демократических принципов, на которых было основано литовское государство, и не проявлял ничего похожего на неистребимое стремление к власти, часто приписываемое

авторитарным лидерам. Однако с 1926 по 1940 г. он последовательно способствовал сосредоточению все большей власти в руках президента и все меньшей значимости парламента.

Стиль правления Сметоны с 1926 г. можно охарактеризовать как осторожно-авторитарный. Более экстремистское (и молодое) крыло таутининков, возглавляемое Аугустинасом Вольдемарасом (1883 – 1942), подталкивало его к принятию титула вождя нации (*Tautos Vadas*), что позволило бы ему стать полновластным хозяином страны. Однако Сметона представлял умеренное крыло националистов и в связи с этим чувствовал необходимость сохранять урезанные версии политических структур парламентской демократии (по мнению некоторых — только внешние ее признаки). Деятельность политических партий не была запрещена (за исключением коммунистической партии), но не поощрялась, в результате чего тайтиники представляли единственную эффективно действующую политическую партию на протяжении конца 20-х и 30-х годов XX столетия. Парламент формально продолжал собираться, но его деятельность полностью находилась под контролем президента. В 1928 и 1938 гг. были разработаны и обнародованы новые конституции, которые объединяли властные полномочия в руках президента. Сметона, как и маршал Пилсудский в Польше, считал, что он стоит над партийной борьбой, и провозгласил, что президент является объединяющей нацию фигурой и его единственная забота — защита интересов литовского народа. Важно, что понятие нации было определено с этнической точки зрения Сметоной и таутининками. Меры, предпринятые в течение его четырнадцатилетнего правления, не являлись экстремальными, и большинство из них таковы, какие мог бы одобрить и демократически избранный парламент: они касались экономического развития, реформы образования, ассигнований на сельское хозяйство и развития торговли, а также бескомпромиссного отношения к Польше, оккупировавшей часть литовских территорий в 1920 г. Правительство Сметоны также целенаправленно стремилось уменьшить роль, которую играли в экономике нелитовцы (преимущественно поляки и евреи); такой подход вполне соответствовал логике национального протекционизма, в рамках которой государство видело свою основную задачу в «защите» титульной национальности. Несмотря на то что формально институты парламентской демократии продолжали существовать, не было сомнений, что все важные политические решения прини-

маются «на самом верху». Во время своего правления Сметона также демонстрировал все большую нетерпимость по отношению к несогласным и политическим противникам: Вольдемарас был отстранен от политической жизни в 1929 г.; в том же году была прекращена деятельность экстремистской националистской организации «Железные волки» (*Geležinīs vilkas*), появление которой Сметона некогда поддерживал. Своих сторонников Сметона вознаграждал назначением на хорошо оплачиваемые государственные должности: в этот период, особенно в 30-е годы, правительственный аппарат чрезвычайно разросся. Также президент демонстрировал озабоченность судьбой членов своей семьи: его жена, сестра жены и ее муж представляли собой нечто вроде неформальной группы советников при президенте (или, если сказать жестче, семейной клики), а зять президента Юозас Тубелис (1882 — 1939), наделенный немалыми организаторскими талантами, занимал с 1927 по 1939 г. пост премьер-министра Литвы. Сначала политическое доминирование таугининков и Сметоны пользовалось поддержкой населения (невозможно точно определить, какой его доли), но впоследствии стало невозможно отрицать, что это авторитарное правление, идущее по стопам царского самодержавия, продолжало истреблять только что зародившиеся представления о демократическом самоуправлении в литовской политической культуре.

В Латвии парламентская демократия продолжалась до 1934 г., при этом за первые 14 лет существования нового государства четыре раза прошли выборы в парламент и часто сменялись коалиционные кабинеты. Постепенно происходило ослабление крупнейших партий — «Крестьянского союза» и социал-демократов; последние предпочли оставаться в оппозиции, поскольку латвийский пролетариат был, по их мнению, недостаточно развитым, чтобы заслуживать представительства в правительстве. Политическая конкуренция, проявившаяся в полном объеме во время выборов в Учредительное собрание в 1919 г., оставалась значительной; ее усиливали газеты разных фракций. Тем не менее «дело народное» продолжало осуществляться: в четырех парламентах (с 1922 по 1931 г.) процент предложенных мер, получивших силу закона, оставался достаточно устойчивым: 85% — в 1922 г., 84 — в 1925-м, 87 — в 1928-м и 78% — в 1931 г. Высок был и процент избирателей, принимавших участие в голосовании: 82, 75, 79 и 80% соответственно. В то же время весьма либеральный закон об образовании

партий предполагал, что в результате каждых выборов значительное количество голосовавших (около 25%) в некотором смысле оставались аутсайдерами до следующих выборов. На четырех парламентских выборах список кандидатов, представленных избирателям, включал, соответственно, 88, 141, 120 и 103 человека; однако число партий и организаций, действительно получивших представительство в парламенте, составляло, соответственно, 20, 25, 27 и 27, и несколько небольших партий (пять или шесть) фактически формировали кабинет. Эта ситуация порождала политическое отчуждение; с середины 20-х годов складывалось мнение, что партийная система и парламент «не работают», особенно вследствие увеличения в парламенте числа отколовшихся партий: к 1931 г. количество членов парламента, которые были единственными (или одними из двух) представителями своей партии, выросло до 17 человек на 100 членов парламента. Политическим лидером, считавшим ситуацию все более неприемлемой, был Карлис Ульманис, один из «отцов-основателей» государства Латвии, который к началу 30-х годов являлся главой «Крестьянского союза».

Как и Сметона в Литве, Ульманис после 1905 г. занял правоцентристскую политическую позицию; он был вынужден бежать от преследований царизма и на протяжении шести лет (1907 – 1913) находился в эмиграции в США. Тогда и впоследствии его интересы лежали в области сельскохозяйственной экономики, особенно в производстве молочных продуктов. Даже во время эмиграции Ульманис продолжал публиковать в латышской прессе материалы об улучшении сельского хозяйства, о кооперативном движении и модернизации экономики. Став главой правительства в годы войны, он нашел естественную опору своим взглядам в партии «Крестьянский союз» (второй по величине политической партии Латвии), которую представлял во всех четырех парламентах. 15 мая 1934 г. Ульманис вместе с группой единомышленников-аграриев при поддержке некоторых военных и представителей военизированной организации «Айзсарги» (*Aizsargi* — «Защитники») осуществил бескровный переворот, распустив парламент и все политические партии (включая ту, к которой принадлежал сам), а также приостановил действие Конституции 1922 г. (с обещанием пересмотреть ее позже). Наиболее влиятельные лидеры социал-демократов и левых партий, как и другие потенциальные противники переворота Ульманиса, были арестованы и некоторое время провели в лагерях для интернированных, после чего освобождены.

В 1936 г., по окончании срока президентства Альбертса Квиесиса, Ульманис возглавил страну. С этого момента и до 1940 г. он сосредоточил в своих руках больше власти, чем какой-либо другой латвийский политик.

В отличие от Литвы, Латвия с 1934 г. не имела парламента, политические партии в ней были запрещены, и Ульманис так и не выполнил своего обещания пересмотреть Конституцию 1922 г. и представить ее электорату. Его правление было единоличным. Сторонники переворота предполагали, что он вызван заговорами групп экстремистов; по крайней мере, так переворот оправдывался в иностранных газетах, таких, как «Нью-Йорк Таймс». Однако это была лишь отговорка: никаких заговоров не существовало. Более вероятно, Ульманису казалось, что парламент действует слишком медленно, а кажущаяся хаотичность политической системы вызывала у него нетерпение; Ульманис считал, что он и его сторонники могут справиться лучше, находясь над системой. Карлис Ульманис не был женат и в какой-то степени вел аскетический образ жизни, но, тем не менее, получал удовольствие от окружающего его культа личности: титула «вождя» (*Vadonis*), почетной докторской степени Латвийского университета, толп, которые приветствовали его во время поездок по сельской местности. Как и Сметона, во время войны и после нее он подчеркивал приверженность парламентской демократии, и меры, которые он и избранный лично им кабинет вводили с 1934 по 1940 г.: развитие социального обеспечения, поддержка экономического роста, субсидии для сельского хозяйства и национального производства и создание государством рабочих мест, — как и в Литве, были одобрены парламентом. Как и в Литве, в Латвии создавались государственные монополии, чтобы расширить возможности государства и вознаградить приверженцев Ульманиса высокооплачиваемыми должностями. С помощью целенаправленных мер были уменьшены экономические возможности нелатышей (в основном балтийских немцев и евреев). Ульманис являлся сторонником национального протекционизма; хотя лично он хорошо относился к национальным меньшинствам, среди его сторонников все большей популярностью пользовались различные версии лозунга «Латвия для латышей». Несомненно, Ульманис разделял мнение Сметоны, что главной функцией государства является защита интересов латышского народа. За исключением нелегально действующих коммунистов, в стране практически отсутствовала оппо-

зиция единовластия Ульманиса: тайная полиция следила за потенциальными источниками проблем, а лидеры расформированных политических партий (включая социал-демократов) заняли выжидательную позицию.

Переворот был необходим для предотвращения прихода к власти экстремистов — этот аргумент уже использовался в марте 1934 г., чтобы оправдать захват политической власти в Эстонии 60-летним Константином Пятсом. Как Сметона и Ульманис, Пятс также являлся одним из ведущих политических деятелей Эстонии во время Первой мировой войны и в 20-е годы. Он получил юридическое образование в Тартуском университете и с 1901 г. был заметной фигурой в эстонской журналистике. До 1934 г. Пятс пять раз исполнял обязанности государственного старейшины (то есть президента), будучи членом партии «Объединение хуторян» (*Põllumeeste Kogu*). Аргумент, что власть в Эстонии могут захватить правые экстремисты, выглядел правдоподобно, поскольку с начала 30-х годов на эстонской политической арене большим влиянием стала пользоваться организация под названием «Лига ветеранов войны за независимость Эстонии» (*Eesti Vabadusõjalaste Liit*), которой руководил юрист Артур Сирк (1900 – 1937). Если бы эта организация была создана как добропорядочная политическая партия, она могла бы получить значительную поддержку электората. Как следует из названия, Лига появилась как организация ветеранов, но позже открыла свои ряды для всех, кто разделял ее идеи. Внешний облик ее членов — береты и нарукавные повязки, салют, похожий на нацистский, — напоминал представителей фашистских движений в Западной Европе. Идеология Лиги, хотя и не всегда определенная, содержала значительную долю экстремального национализма, антимарксизма, антисемитизма и культа вождей. Можно спорить, могла ли она захватить власть в стране, однако Эстония однажды уже столкнулась с серьезной попыткой государственного переворота, предпринятой в 1924 г. коммунистической партией. Переворот Пятса не был столь вопиюще антиконституционным и антипарламентским, как переворот Ульманиса три месяца спустя. В 1933 г. эстонский парламент принял новую конституцию (пересмотрев принятую в 1920 г.), существенно расширявшую полномочия главы государства (государственного старейшины) и наполовину уменьшавшую парламент (со 100 до 50 членов). В этот момент Лига ветеранов выступила на эстонской политической арене как полноценная партия и в январе 1934 г.

одержала впечатляющие победы на выборах в Таллине и Тарту. Развивая успех, Лига выдвинула собственного кандидата на должность главы государства — генерала Андреса Ларку (1879—1943), и казалось, что он вполне способен победить. Чтобы предотвратить это, действующий президент Пятс объявил военное положение, назначил генерала Йохана Лайдонера (1884—1953) главнокомандующим вооруженными силами, арестовал около 400 членов Лиги и закрыл все ее местные отделения. Членов Лиги исключили из всех государственных структур, включая вооруженные силы и гражданскую службу, и Эстония вступила в «эру молчания» (названную так из-за введения цензуры и подавления всякой оппозиции). Все выборы были отложены, как и заседания парламента. В марте 1935 г. вместо них для обеспечения национального единства и стабильности государства была создана новая организация, под названием «Лига Отечества» (*Isamaalit*). В отличие от режима Ульманиса, сам Пятс и большинство его сторонников оставались преданы идеям конституционализма и парламентаризма. В 1937 г. была разработана новая конституция и проведены выборы в двухпалатный парламент. Однако во время парламентских выборов в феврале 1938 г. Пятс запретил деятельность всех политических партий, существовавших до 1934 г.; несмотря на это, его собственная организация, Национальный фронт, созданная специально для данной цели, одержала весьма неубедительную победу. Манипулируя новой конституцией и относительно покладистым парламентом, Константин Пятс добился своего избрания президентом в апреле 1938 г. Хотя теперь Эстония выглядела парламентской демократией, где проводятся выборы, Пятс продолжал действовать, как авторитарный лидер. Было очевидно, кому именно в этой политической системе принадлежала реальная власть. К маю 1938 г. Пятс чувствовал себя достаточно уверенно, чтобы амнистировать практически всех своих политических противников, в основном Лигу ветеранов, а также коммунистов. Несмотря на то что Пятс политически ассоциировался с эстонскими фермерами, в 1934 г. он начал осуществлять меры, направленные на поддержку всестороннего экономического развития страны: развитие государственных монополий с целью ускорения промышленного роста, продолжение аграрных реформ, начатых в 1929 г., развитие экспорта, систем образования и социального обеспечения. Поскольку Пятс и его партия эффективно предлагали сходные меры до 1934 г., его уклон в авторитаризм был направлен больше на то,

чтобы стабилизировать политическое состояние Эстонии, чем на то, чтобы осуществить значительные перемены в социально-экономической сфере. Национальные меньшинства (в основном балтийские немцы) не являлись предметом особенных забот Пятса, несмотря на то что во время «эры молчания» постоянно подчеркивалась необходимость национального единства и национальной интеграции.

Каждый из этих трех: Сметона, Ульманис и Пятс — полагал, что проводит средний курс и борется с «правыми и левыми экстремистами». Они разочаровали представителей правых кругов: Сметона не обнаруживал никакого сочувствия разнообразным «теориям заговоров», изображавшим национальные меньшинства (особенно евреев) корнем всех зол; Ульманис поступил с организацией «Громовой крест» (*Pērkonkrusts*) — группой, по меньшей мере внешне напоминающей итальянских фашистов и германских нацистов, — как со всеми потенциальными противниками, то есть сначала заключил их в тюрьму, а потом лишил возможности оказывать всякое политическое влияние; правительство Пятса подтвердило свой авторитарный характер, ликвидировав Лигу ветеранов и запретив ее членам занимать государственные должности. Все три президента считали коммунистов потенциальной «пятой колонной» на службе у Советского Союза и относились к ним так же, как и ко всем трем презираемым ими идеологиям (в том числе социал-демократической), демонстрировавшим лояльность не конкретной нации, а промышленным рабочим на основе интернационализма. Они оправдывали приостановление или ослабление конституционализма и парламентаризма тем, что эти «инструменты» управления перестали служить целям нации и что идеализировать их означало опуститься до формализма. Соответственно, по их мнению, страны Балтии в действительности нуждались в сильных лидерах, сохранивших политическое видение времен войн за независимость — то есть понимание необходимости коллективных действий во имя народов, именами которых были названы эти страны.

Выжить во что бы то ни стало

По иронии судьбы тот послевоенный беспорядок, в котором эстонцы, латыши и литовцы нашли возможность для создания собственных независимых государств, положил начало складыванию

международной обстановки, которая была крайне неблагоприятной для небольших государств, особенно на востоке Европы. Этого не должно было произойти. Предполагалось, что послевоенные договоры и Лига Наций смогут обеспечить порядок, при котором отношения между государствами будут осуществляться в соответствии с принципами международного права. Упомянутые институты должны были разрешать спорные ситуации и урегулировать территориальные конфликты, а также предотвращать агрессивные поползновения амбициозных режимов. Устанавливая отношения с другими странами, вновь признанные Эстония, Латвия и Литва всерьез рассчитывали на такую поддержку. В действительности же к началу 30-х годов XX в. международные отношения стали развиваться двояко: с одной стороны, созданные после войны большие и малые страны, озабоченные внутренними проблемами, рассчитывали, что международная система гарантирует их статус и права, а с другой — некоторые старые и более крупные страны, недовольные исходом Великой войны, выдвинули лидеров, обещавших изменить облик послевоенной Европы. В этих условиях чрезвычайно уменьшилась вероятность реализации принципа «самоопределения народов».

Лига Наций, созданная благодаря США, которые, впрочем, так и не стали ее членом, делалась все слабее, оказывалась все менее способной сдерживать хищническое поведение стран — своих собственных участниц; при этом рост популярности экспансионистских идеологий недооценивали, считая их пустой риторикой. Мировой экономический кризис 1929—1933 гг. заставил государства сосредоточиться на внутренних делах, что уменьшило желание многих планировать еще один крупный конфликт. В такой обстановке маленькие страны с незначительными (или практически отсутствующими) вооруженными силами оказались в определенном смысле предоставлены сами себе. В результате среди тех, кто определял внешнюю политику государств Балтийского побережья, росли надежды, что их странам больше всего может помочь возрождение идей нейтралитета и более того, сохранения беспристрастности в международных отношениях. Усилия по организации межбалтийского сотрудничества ни к чему не привели, во многом из-за конфликта между Литвой и Польшей по поводу Вильнюсского края, осложнившего атмосферу в регионе; при этом Эстония и Латвия не хотели занимать сторону ни одной из сторон. К концу 30-х годов стало уже не важно, насколько авто-

ритарными были руководители стран Балтии; даже если бы в этих странах сохранилась работающая парламентская система, их правительствам все равно приходилось бы действовать в рамках все той же разрушающейся системы международных отношений. Продолжающееся внутреннее развитие (экономическое, культурное и социальное) Эстонии, Латвии и Литвы, управляемых сильными парламентами и авторитарными президентами, вряд ли могло оказать какое-либо влияние на захватнические стремления более крупных соседних стран; эти три страны должны были выживать несмотря ни на что и не имели другого выбора.

Однако поколение эстонцев, латышей и литовцев, вступивших во взрослую жизнь в 20-е годы XX в., не думало о своей жизни таким образом. Им не приходилось добиваться независимости — они могли просто наслаждаться ее плодами, полагаясь на опыт старшего поколения в вопросах международных отношений. Импульс, приданный культурному развитию в предвоенные десятилетия, сохранялся, и теперь ему больше не угрожали ни германизация, ни колонизация, ни русификация. Развитие культуры все в большей степени обретало национальный характер, искусство восславляло красоты родной природы, используя все богатство трех языков, ставших теперь государственными. В культуре этих стран нашли отражение такие международные художественные и литературные стили, как символизм, экспрессионизм и кубизм. Ушло ощущение, что национальным культурам нужно доказывать свою ценность; новое чувство свободы возникло и потому, что произошла экономическая и социальная маргинализация местных самопровозглашенных представителей якобы высших культур. Те, для кого главным средством самовыражения являлся язык, не чувствовали больше, что их интеллектуальный потенциал может быть реализован лишь в том случае, если они откажутся от родного языка ради какого-либо другого. В целом люди искусства могли теперь чувствовать, что обогащают мировое культурное пространство национальным достоянием: *латышской* литературой, *эстонской* музыкой, *литовской* живописью — и что у них есть аудитория, воспринимающая их произведения в этом качестве. Теперь новое чувство национальной принадлежности культуры было вполне ощутимо, как и чувство национальной принадлежности территории.

Построение национальной культуры, как и национальных государств, имело много граней. Необходимо было заново создать

систему обязательного образования, разрушенную на всех уровнях в военные годы (как во время Первой мировой войны, так и на протяжении войн за независимость). Центрами этой деятельности были Тартуский (бывший Юрьевский, бывший Дерптский) университет в Эстонии, Латвийский университет (бывший Рижский политехнический институт) и Каунасский университет (Вильнюсский университет теперь находился, разумеется, по другую сторону литовско-польской границы). Создавались и обеспечивались персоналом институты, где студентов обучали музыке, живописи и архитектуре. Появлялись национальные театры, в том числе оперные, а также издательства, призванные удовлетворить растущий спрос на литературу на трех языках, а также на газеты, журналы и другие виды периодики.

Основные религиозные конфессии трех стран — лютеранство в Эстонии и Латвии и католицизм в Литве — были «национализированы»: немецко- и польскоговорящее духовенство замещено священниками, служившими на национальных языках. Ученые в университетах работали над стандартизацией этих языков, отделяя грамматически корректные формы каждого из них от диалектов. Разрабатывались маркетинговые схемы обеспечения всего населения печатной продукцией, поскольку книжные магазины имелись только в городах; за их пределами существенную пользу оказывала новая система почтовой доставки. Большинство населения трех новых стран все еще проживало в сельской местности, где коммуникации и транспорт оставались на уровне прошлого века, однако развивающаяся технология радиовещания помогала объединить все население общенациональной информационной сетью. Статистические показатели в этих сферах после Первой мировой войны демонстрировали неуклонную тенденцию к повышению на протяжении 20–30-х годов, что говорит об успешном создании институциональной и технологической базы национальных культур. Однако мало кто из людей искусства мог заработать на жизнь творчеством — многие из них имели оплачиваемую работу в другой сфере; также существенную поддержку оказывало дополнительное финансирование культуры национальными правительствами (особенно в период правления авторитарных лидеров). «Башни из слоновой кости» были редким явлением, и люди интеллектуального склада применяли свои таланты одновременно в нескольких видах деятельности. Например, романист легко мог быть также журналистом, публиковать

энциклопедии в крупном издательстве и даже избираться в парламент. Во многих сферах трем новым государствам не пришлось начинать с нуля, поскольку национальная культура стала активно развиваться еще до войны, до обретения независимости. Многие довоенные писатели (поэты, драматурги, романисты, эссеисты) теперь были признаны классиками. То же происходило и с устной традицией сельской местности: ее образцы собирали, классифицировали, публиковали, хранили в музеях, превращали в «фольклор» и считали основой новых «национальных культур».

Одним из важных последствий этих мер в Латвии стало то, что латышское население бывших западных районов Витебской губернии, говорящее на латгальском языке, теперь стало частью новой Латвии в составе отдельного региона — Латгалии. Все три государства столкнулись с проблемой интеграции населения: в Эстонию вошло население трех бывших губерний Российской империи, в Латвию — тоже трех и в Литву — четырех. Но только Латвия начала свою новую самостоятельную жизнь, имея столь значительную долю населения (около 31% в 1920 г. в Латгалии), история которого настолько значительно отличалась от истории населения остальных территорий страны и в политическом сознании которого стремление к полной интеграции (как это выразилось в трудах и речах депутата латвийского парламента от Латгалии Франциса Трасунса; 1864 — 1926) соперничало с желанием иметь специальный статус (о чем писал другой латгальский депутат, Францис Кемпс; 1876 — 1951).

Энтузиазм, лежавший в основе экспансии национальных культур, проявлял себя и в экономическом возрождении, особенно в первые послевоенные годы. Экономика Эстонии, Латвии и Литвы пострадала за время войны: производство упало до уровня в 30 — 40% довоенного. Также тяжелыми были потери населения, которые составили около 20% населения всех трех стран. Промышленная и транспортная инфраструктура (машиностроение, дороги, железнодорожный транспорт) понесла серьезные потери, а сельская местность была практически ограблена оккупационными армиями из-за постоянной нужды в лошадях. Однако нужду и отчаяние удалось преодолеть в кратчайшие сроки, в том числе благодаря тому, что население ощущало: плоды его труда больше не осядут в карманах немецких или польских землевладельцев и их не потребует себе правительство России. Каждый чувствовал, что, даже если результаты его труда не обогатят его немедленно,

они в любом случае останутся в «национальной экономике» и будут ей полезны: психологический эффект работы на свою собственную страну играл решающую роль и в 20-е годы. В середине данного десятилетия по всем показателям начался экономический подъем, продолжавшийся до начала 30-х годов, когда дал о себе знать мировой экономический кризис. Однако к этому времени проблема экономического *выживания* уже стала неактуальной, уступив место проблеме совершенствования национальной экономики. Идея частного предпринимательства получила распространение, аграрные реформы были почти завершены, а производство продуктов питания, как и средний уровень жизни, оставалось на удовлетворительном уровне. Со второй половины 30-х годов экспортный рынок расширялся за счет сельскохозяйственной продукции, и баланс торговой статистики хотя и колебался, но был благоприятным. Доходы, поступающие в распоряжение правительства, оставались устойчивыми, что позволяло развивать различные программы социального обеспечения. Однако во всех трех странах присутствовала экономическая стратификация; различие в доходах беднейших и богатейших групп населения подчеркивалось их уровнем и образом жизни; также сохранялись различия в образе жизни городского и сельского населения. Неправедливое, с точки зрения левых кругов, распределение ресурсов оставалось источником их политического влияния, хотя с приходом к власти авторитарных лидеров левые потеряли возможность трансформировать социальное неравенство в голоса электората.

Успешное культурное и экономическое развитие на протяжении двух десятилетий экономики, контролируемой государством, породило в различных слоях общества растущую уверенность в том, что правительство может быть инициатором, движущей силой и защитником наиболее значительных мер в рамках социальной и экономической политики. С этой точки зрения именно центральное правительство должно было направлять, руководить, вмешиваться, выделять средства и контролировать. Такое общественное мнение появилось в годы войны, продолжало существовать в 20-е годы и получило серьезную поддержку авторитарных лидеров. Философия свободного рынка не занимала главенствующего места в экономическом мышлении политиков. Результатом стало то, что в период 1920 – 1940 гг. в рамках парламентской системы и под властью авторитарных президентов значительно вы-

росли штаты министерств, а также их компетентность в различных сферах, и, соответственно, уменьшилась роль частного сектора (который продолжал существовать). Существенно выросло количество чиновников, частично благодаря заслугам назначаемых, но столь же часто, особенно в авторитарный период, в результате политического патроната. К 30-м годам экономический успех предпринимателя часто зависел от того, насколько ему удавалось найти связи в министерстве, получить государственную субсидию и добиться благосклонности кого-нибудь «наверху». Со второй половины 30-х годов во всех трех странах все больше становятся очевидными следующие тенденции: постоянное субсидирование сельского хозяйства, переход от неустойчивых частных предприятий к государственным монополиям, политически мотивированный приток средств к частным лицам из государственных банков и поддержка предприятий, организованных эстонцами, латышами и литовцами (в отличие от отношения к предприятиям, созданным представителями национальных меньшинств). Это был не вполне государственный социализм, но и не система, где конкуренция и личные заслуги приобретают особую важность для развития крупного предпринимательства. Здесь конкуренция являлась актуальной лишь для небольших частных предприятий и розничных магазинов. Все это создавало весьма нестандартную экономику и общественное мнение, чрезвычайно доверявшее правительствам в таких вопросах, как оптимальное распределение ресурсов и всеобщее благосостояние.

Однако, какой бы ни была внутренняя политика Эстонии, Латвии и Литвы с середины 30-х годов, она никак не могла повлиять на положение дел в Европе, где экспансионистские стремления муссолиниевской Италии и гитлеровской Германии почти не встречали препятствий. В дополнение к двусторонним соглашениям, уже заключенным между всеми крупными странами, небольшие государства Балтии заключали свои — торговые пакты, соглашения о ненападении и другие формальные и неформальные договоренности о союзах — в надежде, что укрепление подобных связей, сопровождаемых подобающим дипломатическим протоколом и подписанием соглашений, поможет убедить всех, что Эстония, Латвия и Литва планируют жить мирно и дружить со всеми. Фактически, в этом и заключались основные принципы внешней политики стран Балтии во второй половине 30-х годов. За исключением стремления Литвы вернуть захваченный Польшей Вильнюс, все

страны намеревались сохранить существующие границы и были озабочены исключительно внутренним развитием.

Политика нейтралитета казалась работающей моделью для Швейцарии (маленького государства) и Скандинавских стран (значительных территориально, но весьма скромных демографически), и возникла надежда, что государства Балтии на северо-востоке Европы также сумеют остаться в стороне от конфликтов, назревающих на континенте. Политика нейтралитета смягчала общественное мнение трех стран, хотя литовские газеты выражали беспокойство о будущем. Стремление Гитлера объединить всех немцев в границах Великой Германии напрямую касалось города Клайпеда (Мемель), который Литва получила в 1924 г. по решению западных союзников. Население этой области на 40% состояло из немцев, и Гитлер всерьез нацеливался на нее так же, как он уже (в 1937 г.) поступил с Судетской областью Чехословакии. Иными словами, нейтралитет не так хорошо защищал страны восточного побережья Балтики, как им хотелось бы. Эстонское и латышское правительства, со своей стороны, на встречах лидеров стран Балтии всячески избегали затрагивать тему Клайпеды и Вильнюса; эти вопросы считались сугубо литовскими проблемами.



8

ВОЗВРАЩЕНИЕ ИМПЕРИЙ (1940–1991)

1939 год оказался роковым для Европы и всего мира. После того как 1 сентября нацистская Германия вторглась в Польшу, начался столь глубокий конфликт, что он быстро получил название «Вторая мировая война», а прошедшая Великая война стала, таким образом, Первой мировой. Продвигаясь на восток, Германия чувствовала себя уверенно, поскольку 29 августа 1939 г. Гитлер и Сталин заключили Пакт о ненападении, что на некоторое время исключило для Германии перспективу войны на два фронта — против СССР на востоке и против Франции и Великобритании, выступивших на защиту Польши, на западе. Пакт содержал секретные протоколы,

На заставке: аллегорические скульптуры Литвы, Латвии и Эстонии (слева направо) на фонтане «Дружба народов» на ВДНХ в Москве (1954, архитектор К.Т. Топуридзе).

которые определяли сферы влияния СССР и Германии в Восточной Европе и в которых решалась в том числе судьба восточного побережья Балтики. Германия провозгласила, что не заинтересована в этом регионе, в сущности предоставляя СССР свободу действий. Советский Союз быстро отреагировал, вторгнувшись 17 сентября 1939 г. в Польшу, и, фактически, оккупировал чуть большую (но менее населенную) часть этой страны, чем та, которая уже находилась под контролем Германии. Следует добавить, что ранее, в марте того же года, сама Польша выиграла в результате разделения Гитлером Чехословакии, получив Тешинскую область с населением 240 тыс. человек. Так или иначе, 3 сентября Великобритания и Франция объявили войну Германии.

Драматические события середины 1939 г. показали, что страны Балтии не смогут избежать воздействия этой войны, но оставалось неясным, как Эстонии, Латвии и Литве следует на нее реагировать. Информация о секретных протоколах в какой-то степени стала известной, но министерствам иностранных дел трех стран не было понятно, что в действительности означает заявленная в них концепция «сфер влияния». Все три государства (то есть три авторитарных лидера — Пятс, Ульманис и Сметона) предпочли политику нейтралитета, надеясь, что подчеркнутое невмешательство поможет им как-то избежать внимания двух (ныне союзных) экспансионистских держав. Рассуждать о какой-либо иной внешней политике, кроме как о политике нейтралитета, стало невозможно. На протяжении двух десятилетий три страны, адаптируясь к новому для себя состоянию независимости, мало что сделали для создания системы эффективного взаимодействия (в военном или ином смысле). Все эти годы страны Балтии расходовали мало средств на оборону, и закупки военного снаряжения осуществлялись крайне нерегулярно из-за плохого планирования и проблем с потенциальными поставщиками на Востоке и Западе. Единственное, что оставалось делать трем авторитарным лидерам, так это оповещать внешний мир о своей политике нейтралитета, а внутри страны постоянно убеждать население в том, что политическое руководство делает все возможное, чтобы защитить страну. Речи президентов данного периода полны предупреждений о тяжелых временах, но также и уверенности в том, что на будущее можно повлиять, неуклонно, шаг за шагом проводя переговоры с другими странами. Основная часть населения Эстонии, Латвии и Литвы не оставалась безучастной к тому, что происходит в Европе, но правительства

боролись с тревожными слухами. Центральные газеты писали о международных новостях так, как будто эти события мало касались будущего Балтийского побережья. Такое принятие желаемого за действительное (на уровне как политической элиты, так и населения в целом) в какой-то степени объяснялось памятью о прошлом: значительная часть населения каждой из стран испытала на себе ужасы Первой мировой войны и потому не хотела верить, что Европа вновь ввергнет себя в подобную катастрофу. Они также не могли допустить мысли, что странам Балтии опять придется защищать свою независимость, особенно после ее признания на международном уровне лишь двадцать лет назад; тем более, что за эти годы Эстония, Латвия и Литва продемонстрировали свою жизнеспособность в качестве членов Лиги Наций и участвовали в подписании множества договоров в соответствии с международным правом.

СССР расширяется

Вторжение Германии в Польшу *Blitzkrieg* или «молниеносная война» — и объявление Францией и Великобританией войны Германии не привели к немедленному началу военных действий в Западной Европе, и злые языки называли последующие месяцы «сидячей войной» (нем. *Sitzkrieg*). Однако на востоке пакт о ненападении между Германией и СССР от 23 августа 1939 г. (также называемый пактом Молотова — Риббентропа, по фамилиям министров иностранных дел двух стран) и секретные протоколы к нему дали обеим странам возможность завершить разработку своих экспансионистских планов и предпринять дальнейшие шаги. Для Гитлера это означало создание генерал-губернаторства (*Gouvernement Général*) для управления 73 тыс. кв. км польской территории с населением около 22 млн человек. Согласно нацистской расовой теории, поляки были «низшей расой», и поэтому политическая, социальная и экономическая элита Польши была подвергнута репрессиям. Население части польских территорий переселили, чтобы освободить место для немецких поселенцев, которым предназначались завоеванные земли, тогда как евреи и другие «недочеловеки» были отправлены в гетто.

Советскому Союзу понадобилось больше времени, чтобы начать контролировать свою сферу интересов в данном регионе, по-

скольку в таком ему пришлось иметь дело с независимыми государствами: Финляндией, Эстонией, Латвией и Литвой. В сентябре-октябре СССР предложил этим странам заключить так называемые пакты о взаимопомощи (в сочетании с завуалированными угрозами): Эстонии — 28 сентября, Латвии — 5 октября, Литве — 10 октября и Финляндии — 26 ноября. Указанные соглашения были практически идентичны и позволяли СССР размещать свои военные базы на территории вышеупомянутых государств. Более того, страны, подписавшие соглашение, обязывались не вступать в коалиции друг против друга (несмотря на то, что СССР уже вступил в такую коалицию с Германией). В обмен на военные базы Советский Союз предлагал снабжать каждое из этих государств оружием и обещал не использовать свои войска для вмешательства во внутренние дела названных стран. Помимо этого, Литве предложили (и предложение было принято) вернуть Вильнюс, который СССР только что получил в результате раздела Польши. Эстония, Латвия и Литва подписали эти соглашения, тогда как Финляндия отказалась сделать это, и в конце ноября СССР атаковал Финляндию, начав таким образом Советско-финляндскую войну (1939 — 1940), продлившуюся до марта и закончившуюся поражением Финляндии и признанием с ее стороны потери территорий в Карелии, города Выборг и военно-морской базы (около 16 тыс. кв. миль, с населением около 450 тыс. человек).

К югу от Финского залива события разворачивались по-разному. В месяцы, последовавшие за подписанием соглашений, авторитарные лидеры государств Балтии стали свидетелями прибытия в их страны советских войск (около 25 тыс. солдат было размещено в Эстонии и Латвии, и около 20 тыс. в Литве). Советская сторона, стремясь к увеличению своих военных контингентов, объявила, что для полноценного функционирования новые военные базы нуждаются в дополнительном техническом и вспомогательном персонале, количество которого не должно входить в условия соглашения. В то же время 7 октября правительство Германии призвало всех фольксдойче (*Volksdeutsche*, то есть немцев, проживающих вне территории Третьего рейха) «возвратиться домой». В Эстонии и Латвии этот призыв (фактически, являвшийся директивой) затронул балтийское немецкое население (53 тыс. человек в Латвии и 14 тыс. — в Эстонии), которое теперь должно было решать, где их родина; в Литве призыв коснулся 52 тыс. человек. Большинство балтийских немцев откликнулись на него и

в течение десяти месяцев покинули побережье, распорядившись своим имуществом посредством нелегких договоренностей с правительствами. Так закончилось семисотлетнее присутствие на побережье национального меньшинства, которое почти все эти годы составляло доминирующую элиту региона. Большинство балтийских немцев были поселены в только что оккупированных Третьим рейхом районах Польши. Население стран Балтии индифферентно отреагировало на их отъезд, хотя некоторые обеспокоились, пытаясь понять, как эта массовая эмиграция отразится на их собственном будущем.

Тактика СССР по отношению к странам Балтии в эти месяцы заключалась в поддержании иллюзий, что их суверенитет и декларации о нейтралитете не подвергаются сомнению. В действительности же военные базы были построены, на границе с Эстонией появились крупные части советских войск, во время переговоров с министрами иностранных дел стран Балтии недвусмысленно подчеркивалось, что войска СССР оказались бы на этих территориях и без всяких соглашений, а также «дружески» разъяснялось, в какой изоляции находятся данных государств. Говорилось, что Германия не придет к ним на помощь, Франция и Великобритания заняты на западе, Швеция соблюдает нейтралитет, а Польши больше не существует. Министерства иностранных дел трех стран не нашли другого выхода, а три авторитарных президента признали, что их государства не готовы к военным действиям, и соглашения с Советским Союзом продолжали развиваться и углубляться.

Все три правительства делали все возможное, чтобы представить населению общую ситуацию как нормальную и показать, что проблемы можно решить посредством подписания соответствующих соглашений, «хорошего поведения» небольших стран и отсутствия «военной истерии» у населения. Следуя указаниям министерств иностранных дел, газеты писали о происходящем, словно все шло нормально. Люди доверяли им; те или иные слухи возникали, но большинство населения продолжало жить обычной жизнью. Советские войска вели себя наилучшим образом, а офицеров, демонстрировавших вежливость и такт, приглашали на приемы и балы. Часто описывалось, что советские офицеры, ошеломленные обилием товаров в магазинах, совершали огромные покупки, чтобы отослать их домой; советская же сторона писала, что население балтийских республик обездолено и страдает под гнетом буржуазно-фашистских эксплуататоров. Изучая автобиографии,

в которых люди описывали этот период, мы видим, что они строили обычные планы на будущее: поступали в университеты, делали карьеру, женились, планировали завести детей, праздновали Рождество и Новый год, — как будто Германия и СССР не разделили Польшу, Великобритания и Франция не объявили войну Германии, а советские войска не вторглись в Финляндию. Однако постепенно настроения стали ухудшаться. В феврале 1940 г. президент Ульманис в радиообращении к латышам, не упоминая деталей, заявил, что «давление становится сильнее и продолжает расти», и тут же сообщил, что латыши — «храбрый народ», который «должен быть готов противостоять трудностям, преодолевать их, побеждать их, так чтобы мы в будущем могли жить на своей земле и в собственном государстве». Черный юмор литовцев проявился во фразе: «Вильнюс принадлежит нам, а мы принадлежим русским». Западная пресса, комментируя ситуацию, начала говорить об Эстонии, Латвии и Литве как о территориях, начинающих переходить под «протекторат» СССР.

Лидеры трех балтийских правительств были в затруднительном положении, поскольку к концу весны 1940 г. стало ясно, что «хорошее поведение» и приверженность нейтралитету ничего им не принесли. Советский Союз усердно работал над тем, чтобы спровоцировать в Литве инциденты, которые затем интерпретировал как свидетельство невыполнения Литвой обязательств по соглашению; особенно частыми такие инциденты стали в мае. Шестнадцатого мая одна из центральных газет СССР, «Известия», опубликовала статью, где было сказано, что «нейтралитет малых государств, не имеющих возможности защищать его, является чистой фантазией. Таким образом, у малых стран очень мало шансов выжить и остаться независимыми». Текст выглядел как отвлеченные размышления о современной геополитике, но в то же время статью можно было прочесть и как декларацию о намерениях. Другая статья в центральной газете компартии «Правда» 28 мая обвинила Эстонию в «чрезмерном нейтралитете». Но, хотя еще в мае балтийские дипломаты сохраняли веру в то, что непрерывные переговоры с Москвой помогут сохранить нормальное положение вещей, в конце месяца литовское правительство в циркулярной телеграмме дипломатическому корпусу сообщило о назначении представителя Литвы в Риме Стасиса Лозарайтиса «руководителем всего дипломатического представительства страны за границей» в случае, если «здесь произойдет катастрофа». Наделяющее аналогичными полномочия-

ми послание было направлено 17 мая послу Латвии в Лондоне Карлису Зариньшу. Таким образом, эти дипломаты хотя и не становились официальными представителями правительств в изгнании, тем не менее могли остаться независимыми голосами своих стран в случае, если правительства окажутся под советским контролем. В Латвии в конце мая — начале июня местные хоровые общества начали готовиться к национальному певческому празднику, который должен был состояться 16 июня в Даугавпилсе (рус. Двинск).

В мае 1940 г. немецкая армия вторглась в Нидерланды, Бельгию, Люксембург и Францию, и к концу июня последняя запросила перемирия, которое было подписано 22 июня. Британская армия была отозвана с континента к концу мая (Дюнкерк). СССР воспользовался событиями, чтобы 14–16 июня предъявить послам Эстонии, Латвии и Литвы ультиматумы, в которых эти три государства обвинялись в невыполнении условий соглашений и в стремлении создать антисоветскую коалицию. От правительств Пятса, Ульманиса и Сметоны потребовали допустить на территории их стран неограниченное количество советских войск и сформировать новые правительства. Немедленно собравшиеся чрезвычайные совещания трех правительств сочли ситуацию безнадежной; только Сметона настаивал на вооруженном сопротивлении, но почти не получил поддержки своих министров и военачальников. Сметона и его семья эмигрировали в Германию, а президенты Ульманис и Пятс остались на своих постах. Четырнадцатого июня советская армия пересекла границу Литвы, 17 июня — Эстонии и Латвии. В столицы стран Балтии прибыли три высокопоставленных советских чиновника: Владимир Деканозов — в Каунас, Андрей Вышинский — в Ригу и Андрей Жданов — в Таллин, при этом последний должен был контролировать весь процесс захвата. В последующие недели советский план гладко претворялся в жизнь. Президенты Ульманис и Пятс согласились расформировать свои кабинеты, и во всех трех странах были созданы новые (фактически, марионеточные) правительства, состоявшие в основном из эстонцев, латышей и литовцев, не имевших значительного опыта в управлении, но знакомых населению.

В Литве новое правительство возглавил журналист Юстас Палецкис (1899–1980), в Латвии — биолог Август Кирхенштейн (1872–1863) и в Эстонии — врач и поэт Йоханнес Варес (1890–1946). Все они, как и члены их новых кабинетов, ранее отличались левыми или оппортунистскими взглядами и демонстрировали дружелюбное

отношение к Советскому Союзу; несколько человек разделяли коммунистические убеждения. За советскими войсками следовали подразделения спецслужб, включая НКВД, и немедленно начались аресты потенциальных противников нового порядка. Антанас Меркис (1887—1955), исполнявший обязанности президента Литвы после эмиграции Сметоны, был выслан в СССР 17 июля, Ульманис — 22 июля, и Пятс — 30 июля. Многие известные люди продолжали исчезать из своих домов и с рабочих мест, после чего о них никто никогда не слышал. В эти июльские недели на государственную службу на всех уровнях назначались кадры, лояльные новому режиму, — члены компартии, тайные коммунисты, подпольно действовавшие во всех трех странах, а также прибывавшие из СССР. Было необходимо, чтобы новые национальные лидеры имели эстонские, латышские и литовские фамилии, — для поддержания иллюзии, что народ сам сверг авторитарные правительства (в советской терминологии — «фашистские клики»). Для этого оказались весьма полезными коммунисты и сочувствующие балтийского происхождения, покинувшие родину во время войн за независимость и сделавшие карьеру в СССР. Их ряды значительно поредели во время предпринятой Сталиным чистки «старых большевиков» в 1936—1938 гг.; пережившие ее (и согласные на любые условия) получили приказ вернуться на родину и занять предложенные посты. Некоторые из них прибыли в страны Балтии заранее, чтобы вести подпольную работу. Все они имели нужные фамилии, были лояльными *аппаратчиками*, но часто очень плохо говорили на местных языках (если вообще их знали). В первые недели, когда более востребованы были местные коммунисты и сочувствующие, они были не так заметны; их роль возросла позже, когда процесс «советизации» завершился.

Однако теперь главной задачей новой власти было провести парламентские выборы, чтобы продемонстрировать волю «угнетаемых» до сих пор «трудящихся масс». Выборы были проведены в всех трех странах 14—15 июля: на них были допущены только левые кандидаты, а представителей конкурирующих политических группировок арестовали или просто отстранили. Семнадцатого июля было объявлено, что депутаты, представлявшие «трудящихся», получили 99,2% — в Литве, 97,6 — в Латвии и 92,9% — в Эстонии. Участие в голосовании являлось обязательным, и во всех трех странах целенаправленно напечатали внутренние паспорта, чтобы проконтролировать, участвовал ли каждый гражданин в этом «изъявлении народной воли». На первых заседаниях

21 июля новые законодательные органы провозгласили свои государства советскими социалистическими республиками и проголосовали за то, чтобы послать в Москву делегации с просьбами о присоединении к СССР. Так и произошло, и Верховный Совет «удовлетворил просьбу» Литвы — 3 августа, Латвии — 5 августа и Эстонии — 6 августа. За три месяца три страны были трансформированы из независимых государств в союзные республики — неотъемлемые части новоявленной империи.

Скорость, с которой исчезла эстонская, латышская и литовская государственность, поражала воображение, и населению потребовалось некоторое время, чтобы понять, что власть над его будущим находится теперь в руках Москвы. Впрочем, это становилось реальным по мере того, как новые правительства в процессе советизации издавали один указ за другим. Прежняя политическая терминология: «парламент», «кабинет», «президент» — была заменена новыми незнакомыми словами: «Совет народных комиссаров», «Президиум», «Совет министров», «Председатель», «первый (второй) секретарь», «Центральный (исполнительный) комитет». Множество политических партий были заменены единственной всемогущей партией — коммунистической (самозванным «авангардом пролетариата»). В каждой из трех республик была собственная партия с многоуровневой структурой, присутствующая на уровне «ячеек» и «бюро» во всех неправительственных организациях. Политическая философия пролетарского государства («диктатура пролетариата») предоставляла партии «руководящую и направляющую роль», что на практике подчиняло правительство партии. Таким образом, существовало две параллельные структуры власти, хотя, в принципе, один человек мог занимать должности в обеих. Партийные организации Эстонской, Латвийской и Литовской Советских Социалистических Республик, в свою очередь, подчинялись ВКП(б) — Всесоюзной коммунистической партии (большевики) — и ее Генеральному секретарю — Иосифу Виссарионовичу Сталину.

Советизация проникла во все сферы жизни Балтии. Постепенно были закрыты все неправительственные организации (за исключением получивших специальные разрешения), и их собственность перешла к «трудящимся массам», то есть к новым властям. С религиозными организациями, особенно с католической церковью, обращались осторожнее, но, тем не менее, они оставались под наблюдением и сталкивались с массой запретов. Круп-

ные промышленные предприятия, банки и вся земля были национализированы, банковские счета заморожены, и все сбережения, превышавшие определенную сумму, конфискованы. Стоимость прежних валют — литов, латов, крон — провозглашалась эквивалентной российскому рублю. Была проведена аграрная реформа, в соответствии с которой мало- и безземельные крестьяне получили земельные наделы размером до 10 га; разговоры о коллективизации пресекались, новые власти обещали сохранить частные фермерские хозяйства. Послы трех стран за границей были отозваны; тех, кто не вернулся, объявили предателями, а их имущество конфисковали. Образовательные учреждения также оказались под контролем новой власти, и везде был введен обязательный курс изучения марксизма-ленинизма. Газеты были закрыты или подвергнуты жестокой цензуре, радио стало голосом «партии и правительства». Иностранцы покинули побережье, и три республики оказались в определенном смысле отрезаны от всех внешних контактов. Вооруженные силы трех стран были расформированы или включены в состав Красной армии, члены офицерского корпуса либо заключены в тюрьму, либо казнены, либо депортированы. На территории новых советских социалистических республик были введены Конституция СССР и советские законы. Изначально большинство населения осталось на своих рабочих местах, включая правительственных чиновников, но были назначены новые управленцы. Для новых властей были не так важны опыт и способности, как «правильные» политические взгляды и лояльность Советскому Союзу. К концу 1940 г. все оставшиеся институты трех стран лишились своих прежних, «буржуазных» руководителей. Переход завершился тем, что улицы в крупных городах стали переименовывать в честь прошлых или действующих деятелей коммунистической партии.

Эти перемены происходили в Эстонии, Латвии и Литве в разные сроки, но по одной и той же схеме. Повсюду шли аресты, друзья и коллеги исчезали в неизвестном направлении, и люди быстро поняли, что задавать лишние вопросы опасно. Новый гражданский режим был прикрыт советскими военными: сформирован Прибалтийский военный округ со штабом в Риге, и советское военное присутствие стало частью ежедневной жизни как в столицах, так и в сельской местности. Реакция гражданского населения на все эти перемены была неоднозначной, и в ней преобладало чувство беспомощности. Некоторые считали, что новое прави-

тельство не станет демонстрировать ужасы и жестокости времен становления большевистского режима в Советской России, поскольку сейчас население не подвергается таким опасностям, как во время Гражданской войны в России (1919 – 1921). Другие заняли оппортунистскую позицию, заявив, что их угнетали при предыдущем правительстве и теперь они поддерживают новый, социалистический порядок. Кто-то ожидал улучшения жизни и приветствовал перемены с энтузиазмом. Поскольку было невозможно определить, кому можно, а кому нельзя доверять, противники нового порядка (особенно имеющие семьи) молча исполняли все новые правила и предписания, как могли, и ждали, что будет дальше.

Пакт о ненападении, заключенный Гитлером и Сталиным в августе 1939 г., предоставил СССР свободу действий на Балтийском побережье, и Германия никак не препятствовала его оккупации. Иначе отреагировали западные демократические страны: 23 июля 1940 г. США отказались признавать оккупацию, как и Великобритания в 1941 г.; в столицах этих двух стран продолжали существовать дипломатические миссии прежних правительств Эстонии, Латвии и Литвы. «Политика непризнания» продолжалась и после Второй мировой войны. К ней присоединились другие государства, и в результате довоенные республики Балтии оказались в странном положении: они не существовали как независимые государства де-факто, но продолжали существовать де-юре. Новые правители стран побережья предприняли множество шагов, чтобы стереть память о довоенных государствах: их символика (флаг, герб) была запрещена; составлены списки книг, опубликованных до 1940 г., которые затем изымались из библиотек; репутация довоенных писателей (за исключением тех, кто теперь служил новым правительствам, или провозгласил свою лояльность им) очернялась, как и все связанное с периодом межвоенной независимости. Историки Советской Прибалтики начали переписывать историю первой половины XX в., характеризуя период 1918 – 1940 гг. как время правления «буржуазно-фашистских диктатур», а события лета 1940 г. — как «социалистическую революцию», давшую власть «трудящимся массам». Долгосрочная цель всех этих мер состояла в том, чтобы заглушить народную память и избавиться от «буржуазно-националистического» сознания; поскольку в 1940 – 1941 гг. существенное большинство населения Прибалтики могло легко сравнить две эпохи, приходилось запрещать негативные высказывания о новом порядке.

Трансформация стран Балтии в советские прибалтийские республики продолжалась в первой половине 1941 г., и растущая изоляция населения этого региона, вызванная строгим контролем информации, вызывала множество слухов. Один из них, возможно порожденный отчаянием, состоял в том, что Германия готовится напасть на Советский Союз, но было трудно найти этому неопровержимые доказательства. Сложно судить, насколько Сталин верил в подобную возможность, однако (по внешним или внутренним причинам) политика «зачистки» прибалтийских республик от всех возможных видов оппозиции вышла на новый уровень. Хотя за одиннадцать месяцев, прошедших после июня 1940 г., тысячи жителей были заключены в тюрьму, депортированы или казнены, количество жертв возросло до десятков тысяч лишь за одну ночь (с 13 на 14 июня 1941 г.). Это первые массовые депортации из Прибалтики, направленные на то, чтобы убрать из местного населения целые группы людей, которыми оказалось сложно управлять новому правительству. Акция была направлена против членов некоторых довоенных организаций (национальной гвардии, бойскаутов), а также против тех, кто занимал важные позиции в довоенных правительствах и просто известных (на национальном, региональном или местном уровне) людей, способных влиять на общественное мнение в силу своего положения или популярности. Списки этих людей были составлены партийными чиновниками или местными функционерами, лояльными новым правительствам. Арестованных доставляли на периферийные железнодорожные станции и в товарных вагонах вывозили в различные пункты назначения в глубине СССР.

В результате депортации 13–14 июня население Латвии лишилось 15 424 человек, в Эстонии число жертв составило примерно 10 тыс., а в Литве — около 18 тыс. человек. Депортации не включали таких специальных мер, как судебные процессы над высланными; исчезновение этих людей из Прибалтики казалось новому правительству достаточным. Из всех потрясений, которые новая власть принесла населению региона, массовые депортации были наиболее травматичными, поскольку от них пострадало наибольшее количество людей в городах и сельской местности во всех социальных группах. Внезапные ночные аресты и высылка большого числа людей, считавшихся «врагами рабочего класса», стали одним из наиболее эффективных инструментов массового запугивания, но, как выяснилось, новому режиму не довелось воспользоваться его плодами. Двадцать второго июня вермахт Третьего рейха начал операцию

«Барбаросса», и около 3 млн немецких солдат вторглись в СССР, создав линию фронта протяженностью 3500 км. Группа армий «Север» (*Nord*), включавшая в свой состав около 650 тыс. солдат, нацелилась на Ленинград, прошла Литву, 1 – 2 июля достигла Риги и 7 июля пересекла границу Эстонии. Прибалтику в указанный период защищали советские вооруженные силы (около 380 тыс. солдат), и, как в Первую мировую войну, данный регион оказался в эпицентре конфликта между Германией и Россией (теперь — Советским Союзом). Несмотря на подавляющее численное преимущество, войскам вермахта не удалось захватить Прибалтику до конца августа, хотя в эти два месяца немецкие войска неуклонно продвигались вперед. Советской стороне мешала недостаточная готовность к войне, а также то, что во всех трех прибалтийских республиках значительное количество гражданских лиц, пользуясь случаем, создавали партизанские отряды, чтобы наносить максимальный вред советским войскам. Наиболее эффективное выступление такого рода произошло в Литве в июне. По оценкам, в нем участвовало 16 – 20 тыс. человек, достаточно организованных, чтобы нанести Красной армии значительный урон и даже создать временное правительство (просуществовавшее недолго). В Латвии 6 – 8 тыс. партизан смогли уничтожить около 800 советских солдат, а также захватить в плен около 1500. По мере того как Красная армия и гражданские чиновники покидали Прибалтику, в более чем 20 городах и во множестве латышских уездов (*pagasti*) власть переходила к этим «национальным» силам. В Эстонии партизанские силы составляли около 5 тыс. человек; они уничтожили около 500 советских солдат, втягивая отступающие советские войска в новые бои. Целью партизанской борьбы было продемонстрировать немецким войскам и чиновникам, что местное население стремится освободиться от советской власти столь же сильно, как Германия хочет разгромить Красную армию. Однако прибывающие в Прибалтику немецкие чиновники воспринимали ситуацию по-другому; везде, где устанавливалась немецкая власть, партизан быстро разоружали и не давали возможности создать какие-либо формы управления, кроме насаждаемых Германией. Если местное население (*Einheimische*) и могло осуществлять какие-то властные полномочия, оно должно было делать это только в рамках институтов, созданных и одобренных Третьим рейхом и действующих на соответствующих принципах.

Вслед за Красной армией Прибалтику покидали тысячи беженцев, для которых победа Германии означала, как минимум, лишение

свободы, а то и смертный приговор. Согласно оценкам, Литву покинули около 20 тыс. таких беженцев (или эвакуированных), Латвию — 40 тыс., а Эстонию — 25 тысяч. В их число входили советские правительственные чиновники, сотрудники органов внутренних дел, представители образованных кругов, выказавшие симпатии новому порядку, члены партии, а также сельские чиновники. Также Прибалтику покидали евреи (точное число неизвестно), понимавшие, чем им угрожает новый режим; многие из них ранее бежали в страны Балтии из оккупированной Польши. Исход советских правительственных чиновников из Прибалтики был хаотичным; поспешно исполнялись смертные приговоры по отношению к заключенным политическим противникам; официальные документы уничтожались (это удалось сделать не полностью); на пути на восток беженцы периодически подвергались партизанским атакам; раньше всех уезжали на поездах высокопоставленные партийные чиновники.

Это поспешное бегство означало также прекращение советизации; таким образом, социалистические преобразования не были завершены. Многие из тех, кто в 1940 — 1941 гг. смог приспособиться к советской системе, не успели покинуть Прибалтику и теперь были готовы к коллаборационизму. По мере того как в июне-августе 1941 г. советской власти в Прибалтике приходил конец, регион переставал быть линией фронта и становился источником снабжения немецких войск, направлявшихся к Ленинграду и далее на восток. Прибалтику «освободили» и тут же оккупировали снова. Эстонское, латышское и литовское общества были «обезглавлены» — депортации 13–14 июня 1941 г. лишили его всех сколь угодно значимых политических деятелей довоенного периода, советская политическая элита также покинула Прибалтику, а все разговоры о возрождении Эстонии, Латвии и Литвы как независимых государств были неактуальны для немецких оккупантов, имевших на регион собственные планы.

«Остланд» и немецкая оккупация

Рассчитывая на полную победу на Востоке, нацистский режим в Берлине разработал план реорганизации оккупированных восточных территорий. Трем Балтийским странам вместе с Белоруссией предстояло превратиться в административный регион «Ост-

ланд» (*Ostland*) с центром в Риге. Каждая из стран должна была представлять собой «генеральный округ» (*Generalbezirk*), а каждый округ, в свою очередь, подразделялся на более мелкие территориальные единицы. «Остланд» управлялся рейхскомиссаром, каждый округ — генеральным комиссаром, а каждое меньшее территориальное подразделение — гебитскомиссаром. Город Рига считался отдельной территориальной единицей, управляемой обербурггомистром. Все эти чиновники были немцами, назначаемыми из Берлина, и жители оккупированных территорий полностью отстранялись от управления с самого начала немецкой оккупации. Данная система подчинялась Министерству оккупированных восточных территорий под руководством амбициозного и непредсказуемого рейхсминистра Альфреда Розенберга (этот член «ближнего круга» Гитлера родился в Эстонии и получил образование в Риге).

Планируя оккупацию, немцы с самого начала понимали, как можно использовать для формирования общественного мнения ненависть местного населения к политике советизации в период 1940 – 1941 гг. (названный потом «год террора»), и поэтому сделали несколько символических послаблений выражению национальных чувств. Так, на какое-то время было разрешено использование национальных символов — гимнов, цветов национальных флагов и другой символики, напоминавшей о национальном единстве до 1940 г.; однако было запрещено называть три Балтийские страны их довоенными наименованиями. Те, кто воспринимал немцев как «освободителей», готовы были поднять вопрос о восстановлении государственности (возможно, в связи с появлением марионеточного государства Словакии), но немецкие власти ясно дали понять, что будущее Прибалтики не станет обсуждаться до тех пор, пока Рейх находится в состоянии войны с коммунистами, а регион является важнейшим источником снабжения фронта. Это было уходом от ответа, поскольку никакие планы на будущее восточных оккупированных территорий не предполагали рассмотрения желаний населения этих земель. В действительности планы немецкого командования напоминали планы Германии времен Первой мировой войны: массовые депортации местного населения в глубины России, германизация оставшихся жителей и колонизация освободившихся территорий немецкими поселенцами. Таким образом, должны были реализоваться немецкие притязания на эту землю, декларированные еще в XIII столетии.

Хотя на бумаге схема управления «Остландом» выглядела рациональным способом контроля над оккупированной территорией, на практике эти земли управлялись довольно хаотично. Помимо военных, подчиненных своему командованию, и гражданских чиновников, подотчетных Розенбергу, здесь появилась третья группа ответственных лиц, когда экономическим управлением территорий стал руководить рейхсмаршал Герман Геринг. С самого начала оккупации в деятельности всех бюрократических структур участвовали также представители СС, подчинявшиеся рейхсфюреру Генриху Гиммлеру. Соперничество высокопоставленных нацистских чиновников в Берлине отражалось на управлении Прибалтикой, где постепенно сокращались полномочия чиновников Розенберга. Как выяснилось, последний не был ни талантливым администратором, ни успешным в интригах чиновником, и его Министерство оккупированных восточных территорий в Берлине стали презрительно называть министерством хаоса (*Chaosministerium*). Такая внутренняя борьба чиновников была характерна не только для Берлина; местные комиссары, управлявшие территориальными единицами, также постоянно спорили друг с другом из-за пересекающихся полномочий. Военные и эссовцы не могли договориться о том, что считать первостепенным — нужды войны или внутреннюю безопасность, а подчиненные Геринга пытались ввести пятилетний план экономической эксплуатации новых территорий.

Несмотря на ведомственные противоречия и внутреннюю борьбу, часть немецких оккупационных сил — те, что занимались государственной безопасностью (СС и СД), — проявляли полное единодушие относительно собственной миссии с момента вступления на территорию Прибалтики: миссия заключалась в уничтожении «нежелательных» элементов населения, таких, как функционеры прежнего, коммунистического режима, евреи, цыгане и душевнобольные. Этим занимались сотни сотрудников, иногда организованных в специальные подразделения — айнзатцкоманды (*Einsatzkommandos*) или айнзатцгруппы (*Einsatzgruppen*), — превративших первые полгода немецкой оккупации (с июня по декабрь) в наиболее кровавый период современной истории Прибалтики. С помощью различных средств пропаганды местному населению постоянно внушалось, что «коммунисты» и «евреи» — одно и то же; эта идея сочеталась с антисемитскими настроениями, долгое время бытовавшими среди местного населения. Таким образом, немецкие службы безопасности легко могли привлекать

литовцев, латышей и эстонцев к «очистке» населения. Немцы командовали и обеспечивали большинство «акций» (как называлась эта организованная бойня), однако во многих случаях местное население действовало самостоятельно, без всякой внешней организации. Наиболее известными из подобных отрядов зачистки были «айнзатцгруппа А», возглавлявшаяся бригаденфюрером СС Вальтером Шталекером и действовавшая в Латвии, и «айнзатцкоманда 3» под командованием руководителя литовской СД Карла Егера. В Латвии, возможно, наиболее известной была команда Арайса (*Arajs-kommando*) — подразделение из двухсот латышей под руководством Виктора Арайса, получившего в свое время юридическое образование, а в 1940–1941 гг. считавшегося убежденным коммунистом. Однако после прихода немцев он стал главным палачом евреев в Латвии. В Эстонии, где до немецкого вторжения проживало чуть больше тысячи евреев, «чистки» носили менее систематический характер (но к ним также привлекались эстонцы).

Огромное большинство жертв среди евреев было в Литве и Латвии, где акции уничтожения начались практически сразу же после вторжения немцев в конце июня (в Паланге в Литве, в Гробине недалеко от Лиепаи в Латвии). Общий подход немецких функционеров, организовывавших акции, состоял в том, чтобы представить инициаторами местное население, но часто для этого предлога не требовалось. Во многих населенных пунктах, где после поспешно покинувших Прибалтику коммунистических чиновников власть переходила к местному населению, оно часто организовывало «чистки» без всяких прямых приказов. Стратегия немцев основывалась на эмоциях местного населения, вызванных недавними массовыми депортациями, на садистских импульсах отдельных людей, вдруг почувствовавших абсолютную власть над представителями неприятных им национальных меньшинств, на смешении понятий «коммунист» и «еврей», на полном отсутствии ответственности за свои действия и на нежелании основной массы населения, не участвовавшей в «чистках», вмешиваться в события, которым потакали новые власти.

Уничтожение евреев в Прибалтике, ставшее местным Холокостом, представляло собой процесс, на который ушло семь месяцев: сначала евреев лишали гражданских прав и свободы покидать места проживания, затем были созданы крупные городские гетто (самые большие — в Риге, Каунасе и Вильнюсе) и множество менее крупных, и в ноябре-декабре подавляющая часть населения

этих гетто была уничтожена. В результате к ноябрю 1941 г. большинство евреев Литвы, Латвии и Эстонии были ликвидированы (приблизительно 200 тыс. в Литве, 90 тыс. в Латвии и около тысячи в Эстонии). Число же евреев, спасенных от смерти с помощью латышей и литовцев, наоборот, сравнительно невелико (менее 3 тыс. в Литве и несколько сотен в Латвии). Невозможно подсчитать количество представителей гражданского населения, которым эти действия оказались выгодны, но их число, видимо, значительно, поскольку пустые квартиры можно было занять, а имущество и ценности присвоить. Немецкие власти провозгласили все имущество евреев своей собственностью, но оказались неспособны в полной мере проконтролировать сам процесс перехода собственности.

Точное число других «нежелательных лиц» неизвестно и составляет приблизительно 7–8 тыс. человек. Многим среди представителей данной категории удалось выжить — по разным причинам. Высокопоставленные немецкие чиновники расходились во мнениях относительно того, следует ли оставить крепких и здоровых евреев в живых для работы на Германию, по крайней мере, до победы в войне, и поэтому некоторым сохраняли жизнь с этой целью. Других евреев прятало и спасало от смерти местное население. Также были убиты не все бывшие советские функционеры: некоторых использовали в своих целях немецкие спецслужбы, других заключили под стражу, кто-то скрывался. Есть причины полагать, что иногда мелкие чиновники на местах предоставляли руководству завышенные цифры результатов «чисток». Проблему усугубляет отсутствие данных переписей населения: в Латвии последняя перепись состоялась в 1935 г., единственная перепись в независимой Литве — в 1923-м и последняя перепись в Эстонии — в 1934 г. Также нужно учитывать, что до Второй мировой войны и в период 1939–1941 гг. наблюдалась значительная миграция населения в страны Балтии и из них, поэтому неизвестна точка начала подсчета числа выживших. Тем не менее в результате Холокоста в Прибалтике были уничтожены около 90% еврейского населения, 60–70% цыган и практически все душевнобольные. Менее чем за 12 месяцев геноцид практически уничтожил все еврейское население, сложившиеся на территории Латвии с XIX в. и на территории Литвы с XVI в.

В первый год оккупации Прибалтики немецкие власти не смогли выработать устойчивую позицию, как именно следует посту-

пать с националистическими стремлениями эстонцев, латышей и литовцев, хотя и категорически отрицали любые предположения о том, что довоенные республики все еще имеют право на существование. Генрих Гиммлер считал, что необходим дифференцированный подход к оккупированным западным территориям; соответственно, к народам Прибалтики, подвергавшимся советизации лишь в течение года, следовало отнестись иначе, чем к тем, кто жил в Советском Союзе четверть столетия. Также нацистская расовая теория не имела четкого определения для народов Прибалтики: эстонцы казались близкими к скандинавской (нордической) расе, латыши на протяжении столетий жили под влиянием немцев, а литовцы, несмотря на существенное влияние поляков, которых нацисты относили к «низшей» расе, все же имели общие корни с древними пруссами и к тому же были убежденными католиками. Тем не менее Прибалтика являлась оккупированной территорией, и ее население не имело никакого права чего-либо требовать от немецких властей; те права, которых заслуживали местные жители, они могли получить только от оккупационных властей.

Таким образом, считалось полезным, чтобы цепочка управления в «Остланде» в ее нижней части имела звено, связывающее германские власти и гражданское население. Условия создания самоуправления местных жителей (*Landeseigene Verwaltung*) были различными в каждой из стран. В Литве группа «советников», возглавляемая генералом Пятрасом Кубилюнасом, подчинялась генеральному комиссару Литвы Адриану фон Рентельну; в Латвии группа «директоров» под руководством генерала Оскарса Данкерса — генеральному комиссару Латвии Отто Генриху Дрехслеру; в Эстонии «директоров» возглавил Хяльмар Мяз, лидер движения ветеранов в 30-е годы, подчинявшийся генеральному комиссару Эстонии Карлу Литцману. К концу 1941 г. меры такого рода в Эстонии и Латвии обрели более корпоративный характер, чем в Литве, но в любом случае немецкие власти четко дали понять, что ни одна из этих квазиправительственных групп не станет настоящим органом самоуправления. Все, что касалось евреев, немцев или военных действий, находилось за пределами компетенции чиновников из числа коренного населения; они могли заниматься вопросами местной экономики, коммуникаций, образования, заурядными полицейскими делами, а также следить за выполнением законов, касавшихся местных жителей, но даже в этих сферах все

важные решения должны были получить одобрение, спущенное по цепочке немецкой администрации. Характерно, что заявления о самоуправлении, сделанные Альфредом Розенбергом и позволившие сформировать эти структуры, больше запутывали, чем проясняли границы их юрисдикцию. Разумеется, в вопросах, касавшихся безопасности, требования органов безопасности отменяли любые решения институтов коренного населения. Несмотря на то что рядовым гражданам Эстонии, Латвии и Литвы могло быть немного легче оттого, что их незначительные жалобы и проблемы рассматривают соотечественники, никакого независимого от германской политики решения таких вопросов невозможно было добиться.

Хотя немецкая администрация в Прибалтике в 1941 – 1944 гг. в целом руководствовалась долгосрочными планами, определявшимися идеологией, реальности управления и военных нужд требовали достижения самых разных компромиссов. Несмотря на провозглашение немецкого культурного превосходства, во всех трех странах продолжала существовать национальная культура, хотя немецкие власти и контролировали ее проявления, чтобы не допустить «избыточного национализма». Оккупационные власти не стремились минимизировать использование местных языков. Писатели, пережившие «советский год», продолжали писать и публиковать книги. Весь период оккупации работали национальные оперные театры, художники выставляли свои работы, проводились певческие праздники. Высокопоставленные немецкие чиновники следили за тем, чтобы их фотографии на этих мероприятиях появлялись в немногочисленных газетах, издаваемых под жесткой немецкой цензурой. Оккупанты не прикладывали усилий для насаждения в местной культуре нацистской идеологии. Более чем вероятно, что циничная толерантность к «местной культуре» была продиктована убеждением, что лояльное отношение немцев к проявлениям национальной культуры заставит эстонцев, латышей и литовцев активнее работать на победу Германии.

Со своей стороны, три народа побережья, не предназначенные оккупантами к немедленному уничтожению, стали все больше разочаровываться в немецких «освободителях», особенно по мере того, как военные успехи Германии на Восточном фронте шли на убыль и фронт перестал продвигаться в глубь советских территорий. И в сельской местности, и в городах ощущался значительный недостаток продовольствия; представители «местного

самоуправления» в лучшем случае могли решать незначительные проблемы, но никак не продвинулись в вопросах расширения национальной автономии. В соответствии с системой принудительных трудовых повинностей, оккупанты отправляли молодых мужчин и женщин на работы в Германию, навстречу неопределенному будущему. Большинство мер по национализации, предпринятых советской властью в 1940 – 1941 гг., не были отменены, невзирая на обещания; в этом смысле советский тоталитарный строй оказал немецким оккупантам большую услугу. Утрата иллюзий породила циничный взгляд на вещи, и, по воспоминаниям современников, сложилось общественное мнение, согласно которому немецкие оккупанты ничем не лучше их русских предшественников. Надежды на поражение Германии в войне и уход немцев из стран Балтии переплетались в общественном сознании с предположениями, что это вернет на побережье советскую власть. Случаи сопротивления немецким оккупантам отмечались с 1941 г.; в Латвии и Литве это сопротивление стало более организованным с 1943 г., а в Эстонии в 1944 г. Но из-за ситуации, в которой оказались народы побережья, цели борцов с нацистским режимом неизменно оставались различными: в то время как одни стремились к восстановлению национальной независимости, другие хотели вернуться в Советскую Прибалтику, то есть желали восстановления положения, существовавшего до вторжения немцев.

Когда в 1942 г. военная удача начала отворачиваться от Германии, немецкие стратеги стали рассматривать возможность отказаться от своей первоначальной точки зрения — не давать оружия в руки местного гражданского населения. Эта позиция уже была поколеблена ранее, когда создавались так называемые «добровольные полицейские батальоны» из местного населения, служившие на территории своих стран. К 1942 г. в таких батальонах служило около 20 тыс. литовцев, 14 тыс. латышей и 12 тыс. эстонцев. Новая политика состояла в создании национальных военных подразделений, чтобы посылать их на фронт, сражаться вместе с войсками вермахта. Организационно эти подразделения должны были стать частью военных частей СС (*Waffen-SS*); тех, кто в них служил, называли «добровольцами» (*Freiwillige*); на уровне полков там командовали эстонские, латышские и литовские офицеры, подчинявшиеся вышестоящим немецким военачальникам.

Новая политика привела к различным результатам в трех балтийских странах. В Литве активное подпольное движение способство-

вало негативному отношению к призыву, поэтому никаких национальных подразделений на стороне немецкой армии сформировать не удалось. Чтобы пресечь влияние оппозиционных идей на молодежь, немецкие власти закрыли Каунасский и Вильнюсский университеты, арестовали около 50 активистов и отправили их в концентрационный лагерь Штутгоф в Германии. В Эстонии успехи немцев в этом направлении оказались лишь чуть более значительными: в 1943 г. была сформирована 20-я эстонская дивизия *Waffen-SS*, изначально насчитывавшая 5 тыс. солдат (так называемый Эстонский легион). В численном выражении наибольшим успехом подобная политика увенчалась в Латвии, где в 1943—1944 гг. были сформированы 15-я и 19-я латышские дивизии *Waffen-SS*, в которых в конечном счете служило более 100 тыс. солдат (так называемый Латвийский легион). Латышский и эстонский «советы самоуправления» активно способствовали созданию упомянутых подразделений, но, несмотря на все их усилия, уклонение от службы стало повсеместным, и вскоре термин «доброволец» перестал отражать истинное положение вещей. Местное население призывали в эти части по достижении соответствующего возраста, и уклонение сурово наказывалось. Тем не менее эстонцы призывного возраста продолжали бежать в Финляндию (около 3 тыс. человек), и аналогичное поведение латышей привело к тому, что только 15—20% состава латышских дивизий были истинными добровольцами. Как во времена войн за независимость 1918—1920 гг., эстонцы, латыши и литовцы сражались по обе стороны фронта: ряды Красной армии и советских партизан насчитывали примерно 30 тыс. эстонцев, 75 тыс. латышей и 82 тыс. литовцев. В конце 1944 — начале 1945 г. произошло несколько боев, в которых друг с другом с обеих сторон сражались «национальные» подразделения.

К лету 1944 г. население побережья стало понимать, что поражение Третьего рейха неизбежно. Продвижение немецкой армии на Восточном фронте давно прекратилось, и началось отступление (хотя использования этого термина избегали); в сентябре Красная армия начала полномасштабное контрнаступление. На Западном фронте после высадки союзников в Нормандии 6 июня 1944 г. немецкие войска также перешли к обороне. В Прибалтике любые публичные выражения беспокойства по поводу возможного возвращения советской власти жестоко карались как «пораженческие настроения», но слухи о грядущем поражении Германии только усиливались. Эти настроения сказывались и на немецких окку-

пантах, которые принимали отчаянные меры, особенно в сфере набора рабочей силы, — все большее количество местного населения привлекалось к принудительному труду. Отмечено много случаев, когда людей хватали на улице и отправляли в Германию, 16–17-летних юношей приписывали к различным вспомогательным службам (*Hilfswillige*), а немецкие гражданские власти стали занимать более снисходительную позицию, говоря о возможной автономии (и даже независимости) трех стран после победы Германии. Но к осени 1944 г. немецкие власти полностью потеряли кредит доверия в глазах большей части населения побережья; какую бы добрую волю теперь ни демонстрировали оккупанты по отношению к «коренным», все теперь интерпретировалось ими лишь как попытки призвать к сопротивлению местное население, при том что немцы вернутся к себе на родину.

В данном контексте чрезвычайно актуальным стал вопрос бегства жителей побережья, переживших «советский год», за границу, особенно когда стало ясно, что немцы предоставят места для беженцев на транспортных судах, идущих через Балтийское море (из портов «Остланда» в оккупированную Польшу). Также использовался сухопутный маршрут через Западную Литву в ту же Польшу, хотя он становился все менее доступным, поскольку советское контрнаступление в Литве означало быстрое продвижение к побережью Балтики. Еще одной альтернативой было бегство в Швецию на рыболовецких судах и траулерах, однако с весны 1945 г. это стало рискованным из-за советских бомбардировок. Фактически, с лета 1944 г. и до конца войны использовались все три способа, и все большее количество беженцев из Балтии прибывало в Германию или Швецию. Впрочем, точные цифры навсегда останутся неизвестными, поскольку нет информации, сколько человек погибло в пути. Большинство исследований подтверждают, что в последние десять месяцев войны покинули родину и отправились на Запад приблизительно 80 тыс. эстонцев, 160 тыс. латышей и 64 тыс. литовцев. Однако большинство жителей побережья никуда не бежали, поскольку одни не хотели покидать родину и разлучаться с родными, другие верили в свою способность выжить при любом режиме, включая советский, третьи искренне приветствовали возвращение советской власти; к тому же линия фронта, стремительно двигавшаяся на запад, скоро сделала побег оставшихся невозможным. Социально-экономическое положение беженцев различалось, но среди них было значительное

количество тех, кто пострадал или мог пострадать от репрессий 1940 — 1941 гг.; это интеллектуалы, учителя, художники, писатели, духовенство, правительственные чиновники и политики, пережившие «советский год». Также среди них были те, кто предполагал, что возвращающаяся советская власть станет крайне широко толковать словосочетание «содействие фашистским оккупантам».

Возвращение к социализму

Красная армия взяла Таллин 2 сентября 1944 г. В Латвии немецкие войска покинули Ригу 13 октября, уходя на запад, к курляндскому берегу; в Литве советские войска в октябре прошли почти всю страну до Клайпеды (Мемеля) на побережье Балтики. Однако во всех трех странах вплоть до первых месяцев 1945 г. продолжались спорадические бои. Советская власть установила окончательный контроль над Эстонией в декабре 1944 г.; в Литве до января 1945 г. продолжались сражения в районе Клайпеды; в Латвии около 500 тыс. немецких солдат и членов Латвийского легиона (19-я дивизия) продолжали удерживать северо-восточную часть Курляндии, получившую название «Курляндский котел», пока гитлеровская Германия не признала свое поражение 8 мая 1945 г. Месяцы между октябрём 1944-го и маем 1945 г. стали своеобразным междуцарствием — немцы отступают, Советы еще не взяли власть в полном объеме, и в Эстонии и Латвии были предприняты отчаянные, хотя и безрезультатные попытки восстановить независимые государства. В сентябре 1944 г. эстонский Национальный комитет провозгласил создание национального правительства, но данная попытка быстро потерпела неудачу. В Курляндском котле группа решительно настроенных латвийских офицеров 19-й дивизии под руководством Яниса Курелиса сочла себя основой новой латвийской армии и отказались подчиняться немецким командирам. Эта попытка также провалилась в ноябре 1944 г., когда около 1300 латышских солдат было арестовано, восемь их руководителей казнены, а Курелис сослан в Германию. В феврале 1945 г. немецкие власти разрешили сформировать Латвийский национальный комитет, который должен был стать правительством Латвии в изгнании, но и эта попытка не удалась.

Все указанные действия основывались на убеждении, что западные союзники — особенно США и Великобритания — не позволят

СССР вновь захватить страны Балтии; таким образом, необходимы были некоторые структуры, чтобы установить преемственность между республиками, существовавшими до 1940 г., и тем, что могло возникнуть после войны. Эти ожидания подпитывались политикой непризнания, провозглашенной ранее западными демократиями, а также различными международными декларациями о национальном самоопределении и свободных выборах, часто звучавшими во время войны. Однако немногочисленные выжившие политические лидеры стран Балтии недооценивали то, насколько послевоенное будущее Восточной Европы, контролируемой советской армией, будет зависеть от СССР — союзника западных демократий.

Отступление немецкой армии с советских территорий в 1944 г. дало Советам время спланировать новую оккупацию Прибалтики, пока жестокие бои за нее еще продолжались. Уже были подготовлены кадры, готовые занять места в национальных и местных государственных структурах, как только Красная армия освободит территорию, — этот процесс разворачивался в последние месяцы 1944-го и первые месяцы 1945 г. Три коммунистические партии возвращались и устанавливали свою власть; ими руководили в основном те же люди, которые бежали при приближении немцев, но в целом ситуация в Прибалтике радикально отличалась от июня 1941 г. Четырехлетняя немецкая оккупация нанесла серьезный урон человеческим и природным ресурсам региона, а возвращающаяся Красная армия, хотя и считала, что «освобождает» Прибалтику, обращалась с местным населением как с врагами. Даже руководство коммунистической партии неоднократно напоминало военачальникам в 1944 – 1945 гг., что эти земли являются советскими социалистическими республиками, а не завоеванной территорией. Поэтому партийное руководство вынуждено было признать, что даже несмотря на то, что после мая 1945 г. его власти в Прибалтике ничто не угрожало, работать приходилось во враждебном окружении.

Во всех трех странах Балтии, особенно в последние месяцы войны, тысячи вооруженных людей — военных и штатских — бежали в леса, оказываясь вне досягаемости советских военных и гражданских властей. Эти партизаны («лесные братья») представляли собой силу, с которой было необходимо считаться; в послевоенные годы их число оценивалось следующим образом: около 10 тыс. повстанцев в Латвии и Эстонии и более 40 тыс. в Литве. Они были хорошо вооружены, так как сохранили оружие своих прежних

военных формирований, а также осуществляли успешные налеты на советские оружейные склады. «Лесные братья», которых Москва называла бандитами, сильно мешали советским функционерам, особенно в сельской местности. Они сражались с военными подразделениями, присылаемыми, чтобы найти их, выманить из укрытий и уничтожить, а также похищали продовольствие везде, где могли. Такие группы могли выжить при прямой или косвенной поддержке окрестных фермеров, однако с течением времени эта поддержка стала уменьшаться. Соппротивление подобного рода подогревалось мнением, что западные демократии скоро будут воевать с Советским Союзом, — так многие интерпретировали послевоенное напряжение, переросшее в «холодную войну». По мере того как надежды на это угасали, даже наиболее решительно настроенные партизаны вынуждены были умерить свою ненависть к советской системе; последние из них вышли из лесов в середине 50-х годов.

В то же время коммунистические партии Эстонии, Латвии и Литвы, власть которых быстро вернула Красная армия, взялись за задачу восстановления трех республик. В Эстонии партией с 1944 г. руководил Николай Каротамм (1901 — 1969), эстонец, который провел годы «буржуазной диктатуры» в Советском Союзе. В Латвии лидером партии стал Янис Калнберзиньш (1893 — 1986), «опытный специалист» по этому региону, возглавлявший Коммунистическую партию Латвии еще в 1940 — 1941 гг., в Литве — литовец Антанас Снечкус (1903 — 1972), прошедший годы между двумя мировыми войнами в СССР и в литовских тюрьмах. Этим трем коммунистам удалось избежать сталинских репрессий 1936 — 1938 гг., нацеленных на «старых большевиков», и поэтому они понимали свои задачи очень хорошо. Однако на более низких уровнях все три партии испытывали недостаток опытных кадров и обращались в Москву за решением этой проблемы. Так начался приток в Прибалтику администраторов и специалистов из других частей СССР, продолжавшийся в 50-е годы и даже позже. Москва не всегда могла удовлетворить эти запросы, изыскивая коммунистов, происходивших из этих мест, — этот источник истощился довольно быстро. В результате прибывающие специалисты, говорившие только на русском языке, были чужими в Прибалтике как с языковой, так и с культурной точки зрения, и трудности в общении часто замедляли процесс реконструкции. Большинство местного населения плохо владело русским языком, и то, что все посты в возрожденной

иерархии власти занимали носители русского языка, подтверждало убеждение, что коммунистические партии и правительство управляются русскими. На самом высшем уровне, конечно, так и было, но относительно компартий в целом ситуация была более сложной. В 1940 г. компартии Прибалтики были весьма немногочисленны и несколько выросли за 1940 – 1941 гг. Теперь, после войны, число членов партии стало резко расти. Компартия Эстонии в 1945 г. насчитывала 2400 членов, а к 1951 г. их число выросло до 18 500 (менее половины из них составляли эстонцы). В Латвии в 1946 г. число членов партии составляло около 11 тыс., а к 1953 г. оно достигло 35 тыс. человек (около трети из них — латыши). В Литве в 1945 г. в партии состояло около 35 тыс. человек, а к 1953 г. в ней было 36 200 человек (литовцев — около 40%). Соответственно, в 1940 – 1950 гг. большинство членов партии действительно составляли, как минимум, русскоговорящие, а то и вовсе не принадлежащие к числу местного населения, но, тем не менее, среди коммунистов в Прибалтике было значительное количество местных жителей.

Поскольку коммунистическая партия создавала и контролировала все посты высокого уровня через так называемую систему *номенклатуры** (в Литве, например, по мере разрастания партии число таких позиций составляло около 42 тыс.), вступление в партию было разумным выбором для амбициозных людей независимо от их личных взглядов. Разумеется, многие члены партии были убежденными коммунистами, но множество других, вступивших в ее ряды в послевоенное десятилетие, сделали свой выбор под влиянием «двойной морали», сохранявшейся до самого конца коммунистической системы. Вступив в коммунистическую молодежную организацию — *комсомол* (и подтвердив этим свою благонадежность), можно было получить рекомендацию в партию и вместе с партбилетом получить все сопутствующие преимущества, а собственное мнение, если оно расходилось с «линией партии», держать при себе. Неизбежно, что при этом приходилось частично переходить на русский язык, поскольку партийная документация всех уровней в основном велась только на русском.

Разумеется, для многих путь в партию был закрыт. Это касалось людей с «неприемлемой биографией», то есть тех, чьи родственни-

* Речь идет о системе назначения на должности в хозяйственной и административной системе, предусматривавшей утверждение кандидатур в партийном комитете соответствующего уровня. Перечень таких должностей назывался номенклатурой.

ки были депортированы, эмигрировали в западные страны, принадлежали к «антисоветским» организациям в межвоенный период или «сотрудничали с немецкими оккупантами» в 1941 — 1945 гг. Люди с такими родственными связями не вошли в новую элиту. Учитывая сравнительно небольшую численность населения прибалтийских республик, местные кадровые ресурсы были исчерпаны в послевоенное десятилетие. После смерти Сталина в 1953 г. порядок приема в партию несколько изменился, особенно в Литве, но в любом случае населению Прибалтики приходилось подчиняться политической элите, которая лишь частично состояла из людей той же национальности.

Послевоенная реконструкция предполагала решение огромных задач. Человеческие потери были значительными во всех трех республиках: 17% в Латвии, 20 — в Эстонии и 18% в Литве. Однако не всем оставшимся в живых разрешалось участвовать в общем труде, исходя из их возможностей и навыков. Лояльность новому режиму стала важным критерием, и это требовало нормализации статуса тысяч людей, покинувших свои дома, но не территорию Прибалтики; требовалось выяснить, кто служил в немецкой армии и сражался против советской власти; необходимо было также урегулировать ситуацию с множеством распавшихся семей, в которых кто-либо эмигрировал на Запад. К тому же в регионе ощущался существенный недостаток продовольствия и других материальных ресурсов; систему образования, особенно начального, необходимо было восстанавливать; следовало позаботиться о жилье для значительного числа советских военных, ставших теперь постоянными жителями Прибалтики; также приходилось проверять и подтверждать лояльность тысяч людей, чья деятельность в период оккупации вызывала подозрение. Всю деятельность по экономической реконструкции и развитию следовало соотносить с централизованными планами, поступающими из Москвы; в 1946 г. прибалтийские республики были встроены в систему пятилетних планов со всеми соответствующими требованиями и квотами.

Наиболее актуальной задачей было восстановление промышленности. В Эстонии военные потери привели к почти 45-процентному спаду промышленного производства; аналогичные процессы произошли в Латвии и Литве. Сельскохозяйственный сектор тоже вызывал серьезные проблемы: продовольствие необходимо было производить очень быстро, но сельскохозяйственное производст-

во по-прежнему основывалось на индивидуальных сельских хозяйствах. Немедленная коллективизация привела бы к разрушительным последствиям, и коммунистические партии прибалтийских республик решили в краткосрочной перспективе остановиться на реквизиции сельскохозяйственной продукции (изначально от каждого фермера требовалось отдавать 20% урожая на нужды государства). Официальная пропаганда сообщала, что коллективизация произойдет не скоро и на добровольной основе.

Однако восстановление и реконструкция послевоенных лет успешно шли во многом из-за желания местного населения жить нормальной жизнью, а не из-за приверженности поставленным правительством целям «построения социализма». На протяжении долгого времени между правительством и так называемыми трудящимися массами, от имени которых оно правило, продолжала стоять стена недоверия и подозрений. Это не могло быть иначе. Те, кто пережил войну и две последовательные оккупации, усвоили уроки выживания в тоталитарной системе: для того чтобы выжить, необходимы покорность и фатализм, а также готовность идти на уступки, довольствоваться имеющимся и мириться с двойной моралью. Ни один из этих способов выживания, однако, не предполагал принятия легитимности системы и ее ценностей. Требовалось лишь понимать, чего хочет власть, и поступать соответственно. Новые режимы считали само собой разумеющимся, что население Эстонии, Латвии и Литвы всячески «разлагалось», живя на протяжении двух десятилетий за пределами влияния Москвы. Многие знали о материальных соблазнах «капиталистического Запада», другие сами процветали до войны, а у третьих родственники или друзья покинули Прибалтику и, насколько известно, жили на Западе. Угрозу «буржуазного национализма» подозревали везде и готовы были искоренять. Необходимо было внедрить в общественное мнение представление о ведущей роли коммунистической партии и, что еще более важно, о мудром руководстве Иосифа Виссарионовича Сталина. Всю память о лучших временах в прошлом необходимо было стереть. Иными словами, реконструкция в этом регионе означала не только экономическое восстановление, но также, что более важно, изменение коллективной психологии трех народов Прибалтики.

При жизни Сталина (до 1953 г.) коммунистические партии яростно атаковали все, что напоминало о довоенных режимах. Строжайшая цензура обеспечивала, чтобы о них не говорилось ничего

позитивного, а о периоде начиная с 1945 г. — ничего негативного. Цензура действовала во всех сферах выражения общественного мнения. Были подготовлены длинные списки «устаревших» печатных материалов — книг, периодических изданий, брошюр межвоенного периода и более старых, и все эти издания были изъяты из библиотек, уничтожены или помещены в *спецфонды*, доступные только заслуживающим доверия исследователям. Был создан новый список классиков литературы, состоящий из фамилий «прогрессивных» писателей прошлого — то есть тех, кто проявлял интерес к социалистическим формам экономической организации или даже защищал их, демонстрировал доброжелательное отношение к русской культуре и негативное — к национальным государствам Балтии. Восхвалялись подвиги только тех солдат Первой мировой войны, кто поддерживал большевиков (включая латышских стрелков). От писателей требовалось выражение преклонения перед советской властью — особенно от поэтов, от которых ожидали стихов, восхваляющих Сталина. Художники могли лишь изображать в реалистической манере сцены событий 1905 г., революции 1917 г. и героизм Ленина. «Специалисты» из ЦК партии создавали списки «предлагаемых тем» для всех сфер искусства. Изучение гуманитарных наук определялось академиями наук, созданными вскоре после войны по образцу Академии наук СССР.

Эстетические стремления были полностью подчинены диктату «социалистического реализма» — в Прибалтике, как и во всем СССР, благодаря бескомпромиссному сталинисту Андрею Жданову, хорошо известному в Эстонии, поскольку именно он осуществлял руководство оккупацией этой страны. В числе других способов творческого самовыражения Жданов стремился искоренить «формализм» (искусство ради искусства независимо от содержания) и, применительно к Прибалтике, «буржуазный национализм» (выражение симпатии или восхищения национальными государствами). Такие ценности не соответствовали новому, социалистическому укладу и должны были исчезнуть в соответствии с идеологией марксизма-ленинизма-сталинизма. От историков требовалось изображать события 1940—1941 гг. как «неизбежную социалистическую революцию», во время которой «пролетариат» трех стран Балтии, возглавляемый местными коммунистическими партиями (и с помощью братского СССР), сбросил «буржуазное иго», установил «диктатуру пролетариата» и присоединился к брат-

ским республикам СССР в построении социализма. Такая схема исторического развития преподносила историю Прибалтики как «борьбу добра со злом»: все события и деятели прошлого, находившиеся по «правильную» сторону баррикад «классовой борьбы» — движущей силы истории! — были положительными героями, тогда как остальные — отрицательными или в лучшем случае не играющими значительной роли. Эта схема оставалась обязательной до смерти Сталина в 1953 г. и входила в образовательную программу на всех уровнях, а также в «официальные истории» трех республик, написанные сотрудниками институтов истории (составных частей академий наук) и институтов истории коммунистической партии.

На долгие годы такая схема стала основой всех исторических трудов, обеспечивая новую власть — партию, правительство, аппарат государственной безопасности — категорией «врагов», в которую можно было зачислить все группы населения, угрожающие советской власти и государственным интересам СССР. В соответствии с ней фазы исторического развития могут пересекаться, и в результате люди с мышлением, характерным для более ранней фазы, могут жить в следующей, более прогрессивной. Защитникам наиболее прогрессивной фазы (диктатуры пролетариата) необходимо было тщательно отслеживать все проявления «устаревшего» мышления, поскольку подобные умонастроения могли легко перейти в уклонизм, саботаж и обструкционизм. С этой точки зрения прибалтийские республики кишели потенциальными врагами, выросшими в капиталистическом окружении. Если такие люди не полностью соответствовали требованиям нового порядка, от них следовало тем или иным образом избавиться.

Претворение новой политики в жизнь посредством физической ликвидации «опасных элементов» было наиболее ярко продемонстрировано при коллективизации сельского хозяйства. В сельской местности в 1940–1941 гг. энтузиазм по отношению к колхозам был минимален; индивидуальное сельское хозяйство было давней традицией побережья, укрепившейся благодаря аграрным реформам 20-х годов, а также «реформе» 1940–1941 гг., когда сами новые советские правительства создали новый класс мелких землевладельцев — фермеров с наделом 10 га. Поскольку немецкая оккупация практически не изменила ситуацию, в 1945 г. в Эстонии было 136 тыс. индивидуальных крестьянских хозяйств, в Латвии — около 280 тыс., а в Литве — более 300 тысяч. Темпы записи в коллектив-

ные сельскохозяйственные предприятия — колхозы и совхозы — оставались крайне низкими, несмотря на чрезвычайно высокие налоги, которыми облагались частные хозяйства. К 1947 г. партийное руководство в Москве устало ждать и определило категорию «кулаков» — обструкционистского класса, на который возложили вину за медленные темпы коллективизации. Эта категория была гибкой, но центром группы являлись успешные фермеры, использующие наемный труд; их теперь планировалось ликвидировать как класс. В 1948 — 1949 гг. около 40 тыс. человек было депортировано из Литвы в Сибирь, в марте 1949 г. — примерно 40 тыс. человек из Эстонии и около 44 тыс. — из Латвии (по всем трем странам существуют различные цифры). С точки зрения местных компартий, эта акция была успешной: без вредного влияния кулаков сельское население стало вступать в колхозы, и к 1950 г. трансформация сельского хозяйства в Прибалтике практически завершилась. Как можно было ожидать, производительность сельского хозяйства немедленно упала; ее общий уровень был меньше, чем в 1940 г. Психологическая травма, причиненная населению депортациями 1948 — 1949 гг., была столь же велика, как в июне 1941 г., но тогда вторжение немцев позволило в какой-то степени отомстить ее виновникам, а в 1948 — 1949 гг. такая возможность отсутствовала.

В целом восемь лет сталинизма в Прибалтике вызвали у взрослого населения региона ощущение безнадежности, несмотря на пропаганду, неустанно прославлявшую славное будущее социалистического общества. Нормой жизни стала нехватка всевозможных товаров (до 1947 г. в ходу были продуктовые карточки), поскольку, согласно директивам из Москвы, средства вкладывались прежде всего в развитие тяжелой промышленности. Снижение производительности сельского хозяйства из-за коллективизации существенно уменьшило запасы продовольствия в городах. Жилищные условия, особенно в крупных городах, были хуже, чем когда-либо, и недостаток жилья привел к распространению коммунальных квартир. Люди быстро научились не задавать вопросов о системе распределения, выделявшей более редкие товары лицам, входившим в *номенклатуру*, поскольку аппарат госбезопасности быстро создал эффективную систему информаторов и осведомителей. Наиболее суровым ограничениям свободы самовыражения подвергались ученые и деятели искусства; многие из них в результате прекратили свою деятельность и пошли на неквалифицированную работу, тогда как другие следовали партийной линии и создавали

идеологически корректные произведения. В любом случае интеллектуальная элита трех стран уменьшилась, как минимум, наполовину из-за репрессий, депортаций и эмиграции довоенной интеллигенции. Знакомство с искусством и литературой западных стран и «ориентация на Запад» вызывали подозрение; теперь, в советском культурном пространстве, обязательной стала ориентация на русский язык и культуру. Несмотря на наличие в коммунистических партиях Прибалтики и правительственных структурах «национальных кадров» — эстонцев, латышей и литовцев, — все представители новой политической элиты рабски следовали директивам из Москвы со смесью убежденности и страха.

После Сталина

Поколение эстонцев, латышей и литовцев, которые были детьми во время Второй мировой войны и формировались как личности в послевоенный период, не относилось к новому режиму так же, как их родители и прародители. Детские воспоминания (у каждого человека свои) говорят нам об обычном подчинении взрослым, о нехватке различных товаров и естественных желаниях обрести стабильное будущее: добиться успехов в учебе, вступить в брак, получить профессию. В то время как взрослые чувствовали контраст между современной реальностью и довоенным прошлым, для большинства детей нормальным было то, что окружало их в настоящем, включая отсутствие информации об остальном мире. Эта реальность означала пионерскую и комсомольскую организации, коммунистическую партию и понимание того, что страна, в которой они живут, называется Советской Социалистической Республикой и является частью Союза Советских Социалистических Республик, возглавляемого мудрым и справедливым Сталиным. Взрослые стремились держать негативные оценки при себе как для собственной безопасности, так и для того, чтобы защитить детей от неверных поступков. Впрочем, дети получали отрывочную информацию о прошлом из старых журналов и газет, хранящихся на чердаках, проявляя любопытство, вызванное коммунистическими «проповедями» учителей и других взрослых, а также естественным интересом к запретному плоду. С течением времени вероятность того, что существующий порядок вещей может радикально измениться, стала весьма призрачной;

большая часть молодого поколения прониклась представлением, что для того, чтобы преуспеть, необходимо соглашаться, — и то, с чем необходимо соглашаться, диктует кто-то издалека. Хотя молодежь по-прежнему росла в землях, которые они сами и их друзья называли Эстонией, Латвией и Литвой, это были не те страны, что существовали в прошлом. Вокруг было множество военных и других русскоязычных людей, русский язык проник во все сферы общества; но молодые люди не воспринимали это, как их родители (то есть как вопиющее разрушение культурного пространства). Ходили слухи, что тем, кто вступает в конфликт с правительственными структурами, приходится плохо, и люди делали выводы, что вступать в конфронтацию с чиновниками не стоит. Среди молодежи наблюдалось определенное разделение по национальному (то есть языковому) признаку, но многие игнорировали эти границы в поиске друзей и даже брачных партнеров.

Смерть Сталина в марте 1953 г. стала для населения Прибалтики меньшим шоком, чем для граждан большей части СССР, где люди жили под его властью существенно дольше и привыкли практически обожествлять его. Большинству населения не были известны детали борьбы за власть, развернувшейся в Кремле после смерти Сталина. Появление Никиты Хрущева на посту Первого секретаря Центрального Комитета КПСС сначала не предполагало ничего нового, в отличие от исключения из партии и последующего устранения Лаврентия Берии, руководителя службы внутренней безопасности; в Прибалтике имя Берии давно ассоциировалось с жестокими репрессиями, хотя недавно, после смерти Сталина, он побуждал партийное руководство активнее искать национальные кадры в республиках. Гораздо больше население (не только Прибалтики, но и остального Советского Союза) было поражено, когда на XX съезде КПСС в 1956 г. Никита Хрущев осудил Сталина за насаждение собственного «культа личности», а также за то, что он управлял СССР не так, как завещал Ленин, то есть не в соответствии с истинными принципами построения социализма. Поскольку считалось, что партия по определению никогда не ошибается, все меры последних лет, в результате которых миллионы людей были репрессированы, депортированы и лишены свободы, теперь приписывались Сталину, и были предприняты некоторые шаги, чтобы уменьшить нанесенный ими урон. Период с 1957 г. до начала 60-х стал известен как «оттепель»; партия, включая ее республиканские подразделения, должна была воспринять

новую «генеральную линию», и это породило в Прибалтике различные мнения о том, насколько далеко должны зайти перемены. Однако многие решения периода «оттепели» принимались в Москве и требовали от республик только согласия. Многие из тех, кого депортировали в годы сталинизма, были амнистированы («реабилитированы»), и множество перемещенных жителей Прибалтики устремились обратно на родину, однако местные партийные органы и структуры безопасности не были им рады, так как их прибытие порождало проблемы реинтеграции, связанные с занятостью, жильем, а также с воспоминаниями вернувшихся. Публикация рассказа Александра Солженицына «Один день из жизни Ивана Денисовича», по-видимому, означала, что Москва теперь более терпимо относится к публичному обсуждению ошибок сталинизма. Это обрадовало молодое поколение интеллектуалов Прибалтики, увидевших теперь хотя бы небольшую возможность создавать произведения искусства в соответствии с собственным восприятием. Разумеется, ослабление контроля имело пределы; партийные руководители в Москве и Прибалтике, считавшие «оттепель» опасной для партии новацией, никуда не исчезли и лишь ждали благоприятного момента. С их точки зрения, примером того, к чему могли привести такие послабления, были события 1956 г. в Венгрии, где реформистски настроенная компартия захотела полностью покинуть «советский блок», идя по стопам неуправляемого югослава Иосипа Броз Тито, успешно предпринявшего такую попытку в 1948 г. Что бы «оттепель» ни означала в сфере культуры, она точно не предполагала ослабления контроля Москвы над СССР и так называемыми дружескими коммунистическими странами Восточной Европы, а также ослабления контроля партии в каждом из этих государств.

Поскольку прибалтийские республики поздно вошли в СССР, они и их компартии считались наиболее подверженными различным идеологическим опасностям, особенно в такие переходные периоды, как «оттепель», и поэтому Москва внимательно следила за партийной верхушкой Прибалтики. Ряды республиканских партий продолжали расти в 50-е годы, и в 1962 г. число коммунистов Эстонии достигло 42 500, Латвии — 78 200 и Литвы — 66 200 человек, и этот рост вызывал для Москвы определенные проблемы. Такое расширение привело в партию новое поколение членов, чья лояльность советским социалистическим идеалам не подвергалась сомнениям, но, тем не менее, они очевидно вынашивали идеи улуч-

шения положения исключительно своей республики. После смерти Сталина проблему «буржуазного национализма» уже нельзя было решить репрессивными методами; требовалось найти менее кровавые меры по избавлению от чрезмерной независимости мышления. Один из способов состоял в том, чтобы оставить у власти исключительно тех, кто проявлял лояльность решениям Москвы. В 1950 г. в Эстонии провели крупную «чистку», включавшую аресты и репрессии, ликвидировавшие почти все кадры, действовавшие до 1940 г. (обвиненные в « буржуазном национализме»). В результате на пост первого секретаря Коммунистической партии Эстонии был назначен лояльный Москве Иван (или Йоханнес) Кэбин, остававшийся в этой должности на протяжении следующих 26 лет (1950 — 1976). Кэбин, эстонец по рождению, вырос в СССР и не имел особых связей со страной, куда партия направила его в 1940 — 1941 гг. Хотя Кэбин не был ни буржуазным националистом, ни даже националистически настроенным коммунистом, в качестве первого секретаря он смог стать эффективным посредником между Москвой и эстонской партией, сохраняя доверие обеих сторон и успешно смягчая или избегая тех директив из Москвы, которые казались невыполнимыми. Аналогичную роль в Литве играл Антанас Снечкус, ставший первым секретарем Коммунистической партии Литвы в 1940 г. и остававшийся на этом посту до 1974 г. Снечкус очень давно состоял в партии (с 1920 г.), пользовался доверием московского руководства как в период правления Сталина, так и в течение долгих лет после его смерти, пользуясь репутацией «хозяина Литвы». Он обеспечил себе достаточно безопасные позиции, и меняющееся московское руководство оставалось в убеждении, что Снечкус может держать литовских «уклонистов» под контролем, и не ошибалось в этом. Эти два партийных лидера-долгожителя смогли удерживать партии и общества, которыми руководили, от опасных уклонений от «генеральной линии» во время «оттепели» и долгое время после нее, применяя для этой цели все меры, вплоть до самых безжалостных.

Латвия же находилась в другой ситуации. Здесь позиции первого секретаря компартии Яниса Калнберзиньша (1940 — 1959) были сравнительно слабыми. Успешно пережив послевоенный сталинский период, Калнберзиньш руководил во время «оттепели» латвийской партией, в которой тогда росло недовольство Москвой, невзирая на присутствие в ее рядах таких преданных коммунистов, как Эдуардс Берклавс (первый секретарь Рижского горкома

партии). Латыши были недовольны постоянным притоком русскоговорящей рабочей силы и сопутствующей ей русификацией ежедневной жизни, а также пятилетними планами, предполагавшими дальнейшую индустриализацию республики, невзирая на отсутствие соответствующих трудовых ресурсов. Лидеры латвийской партии подвергали сомнению соответствие этих планов ленинским принципам национального развития и разрабатывали собственные, более отвечающие возможностям Латвии. С точки зрения таких непоколебимых членов Латвийского Центрального Комитета, как Арвид Пельше, это был грубейший уклонизм, и они обратились в Москву за поддержкой, что привело в 1959 г. к серьезной конфронтации, в которую оказался вовлечен даже Хрущев. На встрече с партийным руководством Восточной Германии в Риге представители руководства Коммунистической партии Латвии доложили Хрущеву, что в их рядах находятся «буржуазные националисты». За этим последовала «чистка»: около 2 тыс. членов партии были сняты со своих постов за «серьезные ошибки», Берклавс понижен в должности и отправлен (фактически, сослан) в Россию, Калнберзиньш отправлен на пенсию по состоянию здоровья, и в следующие два десятилетия высшие позиции в латвийской компартии занимали латыши, «вернувшиеся» в страну после многих десятилетий жизни в Советской России. Победителем в этой внутрипартийной борьбе стал Арвид Пельше, занимавший пост первого секретаря с 1959 по 1966 г. В своем преклонении перед Москвой он не только был типичным «русским латышом», но также демонстрировал почти личную враждебность всем проявлениям латышской национальной культуры и традиций.

Эксперименты Никиты Хрущева с модернизацией сельского хозяйства и другие промахи привели к его смещению в 1964 г. Леонидом Брежневым, занимавшим должность Генерального секретаря КПСС до своей смерти в 1982 г. Партия считала Брежнева безопасным современным лидером, не склонным, подобно Хрущеву, к экстравагантным и непредсказуемым решениям, и внимательным к нуждам советского общества, как считало новое поколение партийной номенклатуры. В прибалтийских республиках атмосфера «оттепели» сохранялась какое-то время и после смещения Хрущева. Этот период (1956 – 1964) был достаточно долгим, чтобы интеллигенция Прибалтики могла уделять внимание и форме, и содержанию своих работ. В это время наблюдался своеобразный феномен трех поколений — нового поколения двадцати-

летних и двух других поколений писателей, которым не давали высказаться в 40-е годы. Так, например, в 1958 г. в Эстонии 38-летний Ян Кросс опубликовал свой главный сборник поэзии, где описывал собственный опыт ссыльного, работавшего на добыче угля в Сибири; в Латвии в 1959 г. Оярс Вацietис опубликовал свой первый роман, где описал депортации 1949 г., а в Литве в 1963 г. вышел роман Миколаса Слуцкиса о Второй мировой войне и «лесных братьях». Некоторые писатели публиковали книги, воспевавшие природу их родных мест; это были замаскированные признания в любви к родине. Другие реалистично описывали конфликт отцов и детей, показывая появление новой политической элиты, то есть публично признавали, что при социалистическом строе и в его авангарде могут существовать общественные конфликты. Были переведены книги некоторых западных классиков и опубликовано несколько трудов довоенных писателей. Однако фактически за каждым расхождением с «дооттепельными» нормами стояла борьба по преодолению сложносочиненной системы цензуры; часто работа прекращалась на полпути. Иногда, если русский перевод предлагаемого к печати стихотворения или рассказа уже был опубликован в московском литературном журнале, прибалтийские цензоры принимали его во избежание последствий. Писатели Прибалтики стремились к свободе самовыражения, но им приходилось прощупывать почву для нее, поскольку, несмотря на «оттепель», цензура и наказания за ее нарушения никуда не делись. В результате писатели неизбежно шли на компромисс, используя косвенные намеки, аллюзии, символы, иносказания и сложные метафоры. Это был существенный шаг вперед от социалистического реализма времен Сталина — избитых восхвалений партии, социалистического будущего и дружбы с русским народом, — но тяжелая рука ортодоксальной советской цензуры все еще ощущалась на каждой стадии творческого процесса. Особенно радикальные расхождения с этим ортодоксальным курсом могли привести к исключению из Союза писателей и мгновенному запрещению печататься; такие авторы становились «официально несуществующими», и только исключительное мужество могло побудить их продолжать работать, как тогда говорилось, «в стол».

Литературные конфликты, происходившие в Прибалтике в период «оттепели» и сразу после нее, показали, что соблюдение новых «правил игры» не означало полной интеграции прибалтийских республик в советское общество. Ежедневная жизнь посто-

янно напоминала о зависимом положении; если где-то возникали надежды на проявление республиканской автономии, они немедленно разрушались после исключения национальных кадров из партии. Руководители коммунистических партий Прибалтики продолжали жить в страхе, что московское руководство не одобрит то, как они справляются с местными делами. Продолжался приток русскоговорящих кадров, и, хотя «иммигранты» думали, что всего лишь меняют место работы в пределах «советской родины», принимающие их республики Прибалтики постоянно сталкивались с тем, что их родной язык оттеснялся на задний план на их же родине. Продвижение во всех организационных и профессиональных иерархиях подразумевало постоянное и ежедневное использование русского языка, и естественно, что русскоговорящие специалисты, где бы они ни жили, мало стремились учить местные языки.

Сходным образом пятилетние планы продолжали подчинять потребности республик нуждам СССР в целом, игнорируя разрушительное влияние тяжелой промышленности на природу Прибалтики. Военные потребности оставались первоочередными; мало того, что СССР находился в состоянии «холодной войны» с капиталистическим Западом, но еще и партийная пропаганда постоянно освежала в памяти населения опыт Второй мировой войны — опасность вторжения с Запада. Соответственно, на территории приграничных республик Прибалтики строилось множество военных баз, складов и тренировочных лагерей, недоступных для гражданского населения. Итак, проблемы взаимоотношений центра и периферии, осознаваемые партийной верхушкой Прибалтики, оставались, и решать их следовало так, чтобы не вступать в открытую конфронтацию с планами Москвы или с бдительными блюстителями ортодоксальной партийной идеологии.

Перемены и стагнация, разногласия и уступки

Пока пост Генерального секретаря ЦК КПСС занимал Леонид Брежнев, время не стояло на месте ни в прибалтийских республиках, ни в Советском Союзе в целом, хотя в международных отношениях ситуация на двадцать лет застыла в состоянии «холодной войны». НАТО и Варшавский Договор обладали ядерным оружием и вынуждены были избегать военных конфликтов, хотя

и пытались расширить свое влияние в мире всеми другими способами. Страны Западной Европы продолжали демонстрировать успешную экономическую модернизацию, с каждым годом все более процветая и создавая такие многообещающие структуры, как Европейский общий рынок. Однако в СССР перемены имели более двойственный характер, поскольку КПСС и республиканские партии колебались между определенной модернизацией и желанием сохранить абсолютный контроль. Хотя партия на всех уровнях продолжала сообщать об успехах выполнения пятилетних планов, «технократы» и высшее партийное руководство знали, что общедоступная статистика постоянно фальсифицируется и что социально-экономическое развитие страны ни в коей мере не идет гладко. Назрела потребность в экспериментах: некоторое ослабление контроля Москвы над решениями, принимаемыми в республиках в сфере экономики, идея «социалистического соревнования», отдельные попытки обратить внимание на потребности потребителей, а также ослабление контроля над разработчиками технологических инноваций стали важными движущими силами экономического развития. Эти формы либерализации начались в период хрущевской «оттепели», но продолжились и в начале правления Брежнева, хотя ослабление центрального контроля и было весьма неуверенным, — либерально настроенные члены партии стремились к нему, тогда как военные структуры, службы безопасности и партия как таковая продолжали считать, что СССР практически находится в состоянии войны, что, соответственно, требует постоянной бдительности и огромных вливаний в систему обороны.

Таким образом, к концу 60-х годов маятник качнулся обратно, навстречу большей централизации. «Находиться в состоянии войны», среди прочего, означало контролировать поток информации, особенно о недостатках СССР по сравнению с Западом. Для партии было особенно важным поддерживать легенду, что жилищные стандарты в СССР являются столь же высокими, как и в «капиталистическом мире», если не выше. В конце концов, партия определяла себя как авангард трудящихся масс и, соответственно, была вынуждена преуменьшать данные, показывающие, что уровень жизни «масс» западных стран (особенно европейских) превосходит СССР с точки зрения доходов на душу населения и других показателей благополучия. Считалось, что новые формы централизации, предполагающие более высокие показатели производства

и систему стимулирующих премий, смогут обеспечить более быстрые темпы роста, но и эта попытка в целом потерпела неудачу. К началу 70-х годов уровень жизни в Советском Союзе был выше, чем в нем же после войны, но даже «коммунистические» страны Европы (особенно Польша, Чехословакия и Венгрия) обеспечивали своему населению более высокий уровень жизни, чем СССР. Гораздо более типичными признаками жизни в Советском Союзе стали печально известные очереди с их своеобразным «этическим кодексом», система *блата*, когда редкие товары или услуги обмениваются на другие блага, магазины, предоставляющие качественные товары только представителям номенклатуры, процветающий «черный рынок» и система, при которой обменивать (цемент на радиодетали, шины на мужские костюмы) было выгоднее и разумнее, чем до бесконечности ждать, пока в магазинах появится нужный товар. Поскольку рубль не являлся конвертируемой валютой, появились специальные *валютные* магазины, где приезжающие с Запада могли купить за принятые у них в стране денежные единицы высококачественные товары для себя и своих советских родственников, недоступные обычным гражданам. Все эти неформальные системы обмена были направлены на то, чтобы обойти сложности, вызванные централизованной плановой экономикой: дефицит, недостатки распределения, отсутствие контроля качества, отсутствие связи между производством, ценами и спросом, а также уровень зарплат, связанный не с результатами труда конкретного работника, но только с его статусом. Товары первой необходимости, такие, как пшеница, периодически приходилось закупать с гарантией качества в таких странах, как США и Канада, — якобы из-за неурожаев, вызванных «погодными трудностями». К середине 70-х годов даже внутри страны (хотя, разумеется, и не публично), правление Брежнева называли «эпохой застоя».

В сравнительных категориях экономики и в представлениях большинства славяноязычного населения СССР прибалтийские республики находились где-то между восточноевропейскими «дружественными странами» и остальными частями Советского Союза, — даже в советских публикациях этот регион часто называли «наш Запад». Представители партийной *номенклатуры* любили отдыхать в Юрмале, где к северо-западу от города было множество небольших поселений вблизи от пляжей на Рижском взморье. Прибалтийские города сохранили атмосферу старых ганзейских городов; при этом русскоговорящее население, не знавшее ника-

ких других языков, быстро усвоило, что для того, чтобы жить там, им и не нужно их учить. Находясь там, они не испытывали неловкости, которую ощущали бы не только на «настоящем» Западе, но даже в таких относительно «вестернизированных» странах, как «братская социалистическая» Чехословакия. Хотя коренное население трех прибалтийских республик и говорило на других языках, большинство было вынуждено учить русский; в любом случае к середине 70-х годов русскоязычное население этих республик настолько выросло, что любой русскоговорящий нашел бы в нем благоприятную среду для общения.

К 1965 г. число русских, проживающих в прибалтийских республиках, достигло миллиона. К середине 70-х годов эстонцы составляли 68% населения Эстонии, латыши — около 54% населения Латвии, однако доля литовцев в Литве продолжала удерживаться на уровне 80%. Города больше всего страдали от этих миграционных тенденций: доля эстонцев в Таллине к 1979 г. упала до 51,3%, латышей в Риге — до 45, а литовцев в Вильнюсе — примерно до 47,3%. В сельской местности всех трех республик сохранилось гораздо больше «коренных жителей» — около 60–70%. Для внешних наблюдателей ситуация выглядела так, как будто вернулось положение вещей середины XIX в., когда основными группами населения, доминирующими в прибалтийских городах, были немцы и поляки. Советские публикации на демографические темы, относящиеся к брежневскому периоду, осторожно обращались с национальной статистикой и периодически фальсифицировали данные, чтобы скрыть истинные размеры «нашествия» русскоязычного населения в прибалтийские республики. Для Москвы динамика населения в этих западных приграничных регионах не была источником беспокойства, пока пятилетние планы выполнялись, новые промышленные предприятия строились вовремя, а их работа согласовывалась с работой других предприятий СССР. Беспокойство по поводу «национальных кадров» в республиканских партиях и рабочей силе пошло на спад, и побережье Балтийского моря стало все чаще называться (и считаться) «Прибалтикой» — то есть неким единым регионом, а не тремя разными республиками, и большинство населения этого региона понимать, что для успеха в жизни необходимо знание «языка интернационального общения», то есть русского. Считалось, что марксистско-ленинская национальная теория поможет ликвидировать все национальные проблемы, — предполагалось, что по ме-

ре экономического развития и в результате сопутствующего ему постоянного перемещения рабочей силы национальные различия будут сглаживаться, межнациональные трения — смягчаться и конечным продуктом станет новый «советский человек», говорящий по-русски и с легкостью перемещающийся с места на место по всему Советскому Союзу.

К середине 70-х годов период национальной независимости стран Балтии (1918 – 1940) остался в памяти лишь представителей старшего поколения населения трех республик; вступающие во взрослую жизнь не имели подобных воспоминаний, а учебники истории рисовали годы независимости в самых мрачных тонах — как время эксплуатации трудящихся масс, от которой народы Прибалтики избавились благодаря братской помощи СССР. Многие из тех, кто любил читать о прошлом, благоразумно миновали самое недавнее прошлое, погружаясь в более отдаленные исторические описания: в Латвии в 1978 г., когда вышло новое трехтомное издание, посвященное истории Риги, первый том, под названием «Феодальная Рига», был немедленно раскуплен, второй — «Рига в 1867 – 1917 гг.» — также продавался успешно, тогда как третий том, «Социалистическая Рига», долго пылился на прилавках книжных магазинов. Такие косвенные свидетельства нелюбви к социалистическому настоящему, разумеется, нельзя было отследить (и наказать виновных), и они оставались скрытыми от руководства коммунистической партии и певцов «триумфа социализма».

Начиная с 60-х и на протяжении 70-х годов в Прибалтике отмечались и более яркие выражения недовольства существующим положением вещей. Возможно, самым распространенным способом стало вдруг притвориться не понимающим по-русски в каких-то обычных обстоятельствах. Среди других мирных способов выразить оппозиционные настроения были возложение цветов на могилы известных деятелей периода независимости или к памятникам этого времени, таким, как монумент Свободы в Риге, «случайное» использование цветов национальных флагов (синего, черного и белого в Эстонии, темно-красного и белого в Латвии и желтого, зеленого и красного в Литве) для разных ежедневных нужд (сувениры для туристов, украшения на тортах и т.п.), тайное поднятие национальных флагов времен независимости в общественных местах, надписи на стенах, призывающие русских убираться вон, активное желание победы любым спортивным командам, играющим против русских. Иногда накал оппозиционных настроений

усиливался: после советского вторжения в Венгрию в 1956 г. и в Чехословакию в 1968 г., а также во время рок-концертов в 70-х наблюдались и активные — главным образом молодежные — выступления, нарушающие общественный порядок. Власти в таких случаях возлагали вину на «чуждых агитаторов», пытаясь связать происходящее с влиянием западных радиопередач и «подлыми происками» западных эмигрантских организаций. Глубокая безысходность выражалась также в насильственных действиях, направленных на саморазрушение: в 1972 г. литовский студент Ромас Каланта погиб, совершив акт саможжения напротив Каунасского музыкального театра.

К 70-м годам официальные запреты все чаще удавалось обходить с помощью так называемого *самиздата* (самостоятельно распространяемых произведений) — запрещенные книги перепечатывались на пишущей машинке и передавались из рук в руки заинтересованными читателями. В Литве наиболее значительным произведением, распространяемым в самиздате, была «Хроника Литовской католической церкви» (созданная по образцу московской «Хроники текущих событий») — этот информационный бюллетень появился в 1972-м и выходил в течение 21 года. Помимо этого, некоторым удавалось тайно высылать в западные периодические издания открытые письма: одним из наиболее известных примеров стало «Письмо семнадцати коммунистов», написанное в Латвии; другое подобное письмо было написано в Эстонии и подписано группой «эстонских патриотов». Все эти письменные выражения инакомыслия обычно концентрировались на систематических, по мнению их авторов, попытках полной русификации Прибалтики, гонениях на сторонников свободы совести и на деструктивных последствиях индустриализации для окружающей среды. В 60-е годы темы экологии и окружающей среды были не столь актуальны, но в 70-е они приобрели гораздо большую значимость.

В этот период было вполне возможно построить удовлетворительную карьеру в профессии, высоко ценимой Советским государством, если в работе — будь то постройка зданий или мостов, экспериментальная наука или что-то подобное — удавалось никоим образом не бросить вызов «линии партии», но даже тогда среди «диссидентов» 60–70-х годов были замечены и некоторые ученые (как, например, эстонский химик Юрий Кулк). Однако для центральных комитетов партий трех республик и партийных ячеек в любых организованных структурах постоянным полем битвы

со времен «оттепели» и далее стала сфера искусства: литература, живопись, скульптура, театр и музыка. Относительно всех этих жанров коммунистическая партия имела собственное определенное видение, зачастую основанное, однако, не столько на марксистско-ленинской теории, сколько на личных предпочтениях высших партийных чиновников. Разумеется, не все художники стремились к экспериментам и не все в руководстве партии отрицали художественные инновации; тем не менее, с одной стороны, наблюдалось значительное количество защитников ортодоксальных представлений, а с другой — «бунтарей», чтобы на протяжении трех десятилетий эти два лагеря продолжали играть друг с другом в «кошки-мышки», и эта игра зачастую приводила к катастрофическим последствиям для «мышек». Партийные чиновники не понимали, почему так называемые «творческие работники» столь ценят свободу самовыражения, тогда как партия мудро предоставляет им все необходимое для творческого вклада в «построение социализма»; однако «творческие работники» почему-то считали, что партийный контроль исходит от русских бюрократов, на непросвещенный взгляд которых политика всегда была и будет важнее искусства. Соответственно, эти деятели искусства видели свое предназначение в том, чтобы найти такие тонкие обходные пути, которые позволили бы им миновать прямые запреты, а думающей и подготовленной аудитории — правильно понять, что они стремились выразить. В таких обстоятельствах были неизбежны противоречия и конфликты, особенно тогда, когда в произведениях искусства стало отражаться то же недовольство существующим положением вещей, что и в других, более прямых выступлениях: негодование, вызванное растущей гегемонией русского языка, централизованным московским контролем, разрушительными последствиями гипериндустриализации, а также страх перед исчезновением эстонско-, латышско- и литовскоязычной культуры. Для приверженцев ортодоксальной партийной доктрины неприемлемыми были все «декадентские» направления искусства: символизм, индивидуализм, импрессионизм, футуризм, экспрессионизм, сюрреализм и экзистенциализм, однако и в Прибалтике, и в других крупных творческих центрах Советского Союза, таких, как Москва и Ленинград, эти консерваторы терпели поражение. Однако цена за признание новых форм в искусстве всегда была высокой: оригинальные рукописи искажались перед публикацией (какая-либо часть прозаического произведения или несколько стихотворений

просто не допускались в печать, как это было с произведениями эстонского поэта Арви Сийга), некоторые произведения осуждались партийной верхушкой, и их публикация надолго откладывалась (как это было с творчеством Висвалдиса Эглонса в Латвии), высказывались обвинения, что то или иное произведение «пропитано негативизмом» и говорит о бессмысленности любых усилий (например, творчество литовца Ромуалдаса Ланкаускаса).

Любые произведения по историческим мотивам тщательно вычитывались, чтобы определить, не стремится ли автор отойти от единственно верной и возможной интерпретации прошлого: российское влияние на Прибалтику, начиная с периода Средневековья и по сей день, должно было изображаться позитивным фактором, а аналогичное немецкое влияние — столь же неизменно негативным; «враг» никогда не должен выглядеть как нормальный, обычный человек, а мотивы всех представителей «эксплуаторских классов»: аристократов, купцов, буржуа XX в. — должны отображаться в самых черных красках. Положительными героями могли быть только члены коммунистической партии, представители низших классов, российские государственные деятели и советские солдаты. Те, кто нарушал эти ограничения, установленные партией, жестоко расплачивались: латышской поэтессе Визме Белшевице в течение трех лет не позволяли опубликовать ни строчки после того, как она написала стихотворение, в котором описывала ордены крестоносцев в Прибалтике XIII в., так что в подтексте они весьма напоминали Советскую армию; молодой литовский поэт Томас Венцлова во время своей поездки в Калифорнийский университет в 1975 г. был лишен советского гражданства за написанное им открытое письмо в ЦК, где он характеризовал коммунистическую идеологию как «ложную».

Коммунистические партии Прибалтики начиная с периода «оттепели» сталкивались с серьезными трудностями, общаясь с эмигрантскими сообществами в западных странах (большинство эмигрантов составляли беженцы послевоенного периода). Эти диаспоры эстонцев, латышей и литовцев существенно отличались друг от друга, но все три были склонны испытывать теплые чувства к довоенным независимым республикам и их политическим лидерам, а также характеризовались усиленным развитием национальной культуры в 60–70-е годы, что защищало их от «поглощения» культурами принимающих стран. Основные центры деятельности таких диаспор располагались в Швеции, Канаде и США — эстон-

ская, самая небольшая эмигрантская диаспора составляла около 27 тыс. человек; в Швеции, Германии и США — наибольшая, латышская диаспора насчитывала около 100 тыс. человек; в Канаде и США после Второй мировой войны число беженцев из Литвы составило около 64 тыс. человек, присоединившихся к иммигрантам более ранних времен, которых в Северной Америке уже было примерно полмиллиона.

После 1945 г. значительное число интеллектуалов (писателей, ученых, деятелей искусства) из числа послевоенных беженцев вели активную культурную жизнь — публиковались, создавали научные школы и произведения искусства даже в лагерях для перемещенных лиц в Германии; а в период рассеяния, после 1951 г., когда лагеря беженцев, организованные ООН, прекратили свое существование или были взяты под контроль вооруженных сил США, Великобритании и Франции, перемещенные лица «рассеялись» по принявшим их странам, сохранив стремление беречь национальные культурные и религиозные традиции на своих родных языках. К середине 60-х и началу 70-х годов коммунистическим партиям Прибалтики стало ясно, что эти эмигрантские сообщества не хотят в полной мере ассимилироваться в англо-, германо- и шведскоговорящее население, среди которого они проживали. Осуждение таких беженцев как «фашистских пособников», «прислужников западных плутократов», «палачей евреев» и «слуг межвоенных фашистских режимов» не решило вопроса окончательно. Эмигранты издавали газеты и журналы, переписывались с родственниками в СССР, с начала 70-х годов начали периодически посещать Советскую Прибалтику и иногда даже принимали приглашения прибалтийских культурных организаций (разумеется, спонсируемых КГБ) посетить историческую родину. В демократических странах, принявших этих беженцев, они поддерживали антикоммунистические организации, стремившиеся не только влиять на внешнюю политику, но также напомнить местным политическим деятелям о существовании «политики непризнания». Стратегия компартий Прибалтики состояла в том, чтобы использовать в своих целях тот факт, что вопросы «культурного обмена» и «культурного контакта» явились причиной раскола в эмигрантских сообществах (главным образом в результате конфликта поколений), и осуждать либо всех участвующих, либо кого-то выборочно. Появлялись англоязычные публикации, где те или иные прибалтийские эмигранты обвинялись в соучастии в Холокосте. Они были

направлены на то, чтобы дискредитировать политические усилия старшего поколения, тогда как «культурный контакт» был нацелен на молодежь, предположительно более заинтересованную в контактах с исторической родиной. Отдельным эмигрантам направлялись газеты, описывающие преимущества проживания на родине и призывающие посетить ее — или вернуться совсем. Западных туристов опрашивали во время поездок в СССР, и их интервью — часто комплиментарные, что объяснялось их статусом гостей страны, — публиковались в местных советских газетах. Известным представителям эмигрантской культурной элиты посылались специальные приглашения дать концерт на родине или опубликовать там свои произведения. Если такие приглашения принимались, за гостями Прибалтики устанавливалось тщательное наблюдение, все их контакты отслеживались, беседы с ними записывались; делегации же прибалтийских деятелей культуры на Западе обычно включали, как минимум, одного информатора КГБ, а всех участников по окончании визита допрашивали о внутренней жизни эмигрантских общин, а также о том, с какими именно эмигрантами они общались и о чем говорили.

Однако разногласия по вопросам «культурного контакта» не сыграли, как на то надеялись в Советском Союзе, решающей роли в разобщении эмигрантских общин; напротив, с конца 60-х и начала многочисленных «бунтов молодежи» в западном мире множество молодых эмигрантов продемонстрировали, что вполне возможно одновременно быть антикоммунистом, противником авторитарного общества и выступать против правил поведения и ограничений, налагаемых «истеблишментом» — родителями и школой дома, партией на исторической родине. Тактика взаимных уступок между относительно небольшими прибалтийскими эмигрантскими общинами и коммунистическими партиями Прибалтики, продолжавшаяся с середины 60-х до середины 80-х годов, однако, никак не влияла на отношения супердержав того периода — СССР и США, развивавшихся по собственной логике. Тем не менее внутренние коммуникации компартий в 80-е годы показывают, что они продолжали беспокоиться из-за наличия за границами СССР эстонских, латышских и литовских общин, которые находились за пределами их контроля и влияния и внутри которых могла продолжать жить идея национальной независимости.

Во второй половине 70-х — первой половине 80-х годов советское общество продолжало страдать, как сказали бы марксисты,

от «внутренних противоречий». Успехи СССР в космосе, казалось, указывали на то, что страна наконец сравнялась с Западом в развитии технологий, однако, если судить по качеству потребительских товаров, производимых для внутреннего рынка (теперь эта тема уже не была полностью запретной для прессы), это равенство являлось иллюзорным. Значительные инвестиции в строительство жилья не могли помешать миграции из деревень в города: многие крупные города были объявлены «закрытыми», что, разумеется, способствовало еще большему притоку в них нелегальных мигрантов из деревень. Тесные квартиры вынуждали молодоженов ограничивать число детей или вовсе их не иметь, и такие решения влияли на количество рабочей силы в регионе в будущем. Хотя статистика детской смертности и продолжительности жизни демонстрировала улучшение по сравнению с 50-ми годами, сейчас оба эти показателя начали ухудшаться (показатели детской смертности пошли вверх, а продолжительности жизни — вниз). Широко распространился алкоголизм, а аборт, из-за недостатка противозачаточных средств, стали широко распространенным средством контроля над рождаемостью. Все указанные социальные дисфункции были характерны для советского общества в целом, и то, что о них знали все вплоть до высших партийных чиновников, усиливало контраст между красочной пропагандой «достижений социализма» и серой (а иногда черной) реальностью будней. Население теперь иронически относилось к претензиям партии на всемогущество, а ее центральный аппарат все больше воспринимался как новый «привилегированный класс», о чем еще в 1956 г. предостерегал Милован Джилас, югославский коммунист-диссидент. Режим Брежнева все более способствовал уничтожению связанных с социализмом иллюзий, поскольку в данный период высшие партийные чиновники не скрывали своих привилегий и распространившейся семейственности.

Те, кто все еще продолжал верить в самопровозглашенные преимущества коммунистического строя, были шокированы, выезжая за границу и обнаруживая, что советская валюта не является конвертируемой (то есть имеет ценность исключительно внутри страны). Даже «могучая Советская армия» (как писали в школьных учебниках), казалось, во многом потеряла свою силу, после того как в самом конце 1979 г. вторглась в Афганистан, где увязла в непрекращающихся столкновениях с местными повстанцами. Судя по переписке партийных лидеров этого периода, аппа-

рат цензуры продолжал работать, но, тем не менее, деятельность партии в глазах населения выглядела все менее эффективной. Методы, продиктованные идеологией: централизованное производство и распределение, долгосрочное планирование и квоты на производство, — почти не работали, и обычным делом стали взятки, чтобы получить дефицитные товары или добиться решения в свою пользу.

Все эти характерные для СССР черты проявлялись в прибалтийских республиках в большей или меньшей степени наряду с процессом, гораздо больше беспокоившим коренное население, чем приезжих и московскую номенклатуру, — уменьшением числа эстонцев, латышей и литовцев. Данная тенденция началась еще несколько десятилетий назад, затем пошла на спад, но к началу 80-х вновь проявилась в полной мере. После Второй мировой войны в Прибалтику прибыло около 3 млн человек славяноязычного населения — они оставались там какое-то время и снова покидали Прибалтику в поисках лучших рабочих мест в других регионах СССР, из-за новых назначений или по семейным причинам. Однако некоторые оставались в этом регионе насовсем, и к середине 80-х годов количество эстонцев в Эстонии снизилось до 62,6% (по сравнению с 64,7% в 1979 г.), латышей в Латвии стало 52,6% (в 1979 г. — 53,7%), а литовцев в Литве — 79,8% (в 1979 г. — 80%). Хотя Литва и сумела избежать демографической денационализации, общая тенденция проявлялась и там. В столице Латвии, Риге, латышское население сократилось до 38,3%, в Вильнюсе проживало 47,3% литовцев, и только в Таллине эстонцев было чуть более половины населения — 51,9% (все данные 1979 г.). Процент русскоязычного населения, бегло говорившего также на национальном языке республики проживания, составлял для Литвы 37,4, для Латвии — 20,1 и для Эстонии — 13 (все данные 1979 г.). Мало кому становились доступны точные сведения, однако воспоминания жителей Прибалтики, обеспокоенных сохранением этнической идентичности Эстонии, Латвии и Литвы, отражают (причем даже в Литве) нарастающий страх за будущее местного языка и культуры. Такие настроения напоминали чувства местного населения в десятилетия, предшествовавшие Первой мировой войне. Однако тогда национальные культуры еще не были вполне уверены в своем будущем и не обрели государств, которые бы их защищали; теперь же защитники национальных культур были настроены более воинственно, несмотря на то что осознавали возможные последствия своих действий и время от времени расплачивались за них.

Авангард в замешательстве

В 1982 г. в возрасте 76 лет умер Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев, и партия (давно провозгласившая себя «авангардом пролетариата»), следуя принципу старшинства, выбрала его преемником 68-летнего Юрия Андропова, с 1967 г. возглавлявшего КГБ. Андропов казался лидером, способным справиться с текущими проблемами: экономической стагнацией, затянувшейся войной в Афганистане и выраженной оппозицией контролю КПСС, возникшей в европейских государствах социалистического содружества, особенно в Польше. Именно в этой стране в 1980 г. на верфях Гданьска рабочие решились на неслыханный шаг, создав собственную, независимую от коммунистов профсоюзную организацию «Солидарность». В 1981 г. она была запрещена в связи с введением военного положения. Однако партийные лидеры Польши и Москвы не верили, что это конец истории, особенно после избрания папой Римским поляка — бескомпромиссного антикоммуниста Иоанна Павла II (в миру Кароль Йозеф Войтыла, 1920 – 2005). Поляк на престоле св. Петра — интеллеktуал, служивший церкви в рамках польской коммунистической системы и знавший, как действует партия, — сулил серьезные проблемы. К тому же в западном мире в этот момент появилось еще два сильных лидера с ярко выраженными антикоммунистическими взглядами — Рональд Рейган (1911 – 2004), республиканец, избранный в 1980 г. президентом США в возрасте 69 лет, и Маргарет Тэтчер (1925 – 2013), лидер Консервативной партии Великобритании, ставшая премьер-министром в 1979 г. Однако Юрий Андропов не долго находился во главе КПСС; после его смерти в 1984 г. преемником стал 73-летний Константин Черненко (1911 – 1985). Последний стал во главе партии больше по критериям старшинства, чем из-за талантов руководителя; спустя год он умер. В этих обстоятельствах верхушка КПСС обратила взоры в сторону нового поколения руководителей, выбрав преемником Михаила Горбачева (р. 1931).

С появлением Горбачева партия наконец выбралась из «кризиса лидерства» — он был настоящим *аппаратчиком*, прошедшим весь путь из низов в номенклатуру, и производил впечатление молодого, энергичного лидера, четко декларирующего свои идеи и находящегося в поиске новых решений. Сам факт его появления

во главе государства показывал, что в стране есть значительное число относительно молодых коммунистов — как технократов, так и несторонников технократических идей, — стремящихся к переменам. Более ярко выраженные позиции лидеров западных стран требовали от СССР внутренних изменений, если страна рассчитывала сохранить свои, кажущиеся пока стабильными позиции в «холодной войне». К 1987 г. Горбачев сосредоточил власть в КПСС в своих руках; множество «старых кадров» были отправлены в «почетную отставку», большинство руководящих постов в партии заняли сторонники нового лидера, и все чаще в Москве звучали такие термины, как «перестройка», «гласность» и «демократизация». Фактически, эти лозунги стали новой «линией партии» на XXVII съезде КПСС, прошедшем в Москве весной 1986 г., даже несмотря на то, что мало кто ясно понимал, что они должны означать в практическом смысле применительно к жесткой партийной структуре в целом и к партийным организациям отдельных республик, включая прибалтийские. В партии росло замешательство, вызванное тем, что осознанная необходимость перемен означала некоторое ослабление контроля, что, в свою очередь, угрожало «руководящей и направляющей» роли партии. Партийные лидеры республик, привыкшие получать из Москвы недвусмысленные указания и директивы, теперь вынуждены были задуматься, что же им теперь разрешено. Привычка придерживаться «линии партии» укоренилась глубоко; новая линия, по всей видимости, утверждала, что фундаментальные основы социалистической/коммунистической системы в целом незыблемы, и что послабления, требуемые в рамках реформ, должны быть в русле все тех же направлений. В прибалтийских республиках партия по-прежнему располагала все теми же инструментами контроля, что и раньше: КГБ, милицией и вооруженными силами; однако теперь вопрос заключался в том, как использовать их выборочно и эффективно. Сторонники «твердой руки» не испытывали беспокойства, но теперь они уже не обладали всей полнотой власти.

Изменения в партийном руководстве прибалтийских республик начались еще до горбачевских реформ и, таким образом, не были напрямую связаны с новым курсом. В 1984 г. Борис Пуго, руководитель КГБ Латвии, стал первым секретарем Компартии Латвии, представляя, таким образом, новое поколение администраторов нелатышского происхождения, осуществлявших руководство местной коммунистической партией уже около тридцати лет. Пуго

немного говорил по-латышски, но предпочитал общаться по-русски; в качестве шефа КГБ он был безжалостным к латышским диссидентам — «буржуазным националистам»; однако вслед за приходом к власти Горбачева стал заменять пожилых представителей партийной верхушки на людей своего возраста и моложе, пообещал экономические реформы и заявил, что теперь продвижение по партийной линии будет основываться на личных заслугах, а не на связях. Пуго занимал свой пост до 1988 г., после чего получил более высокое назначение в Москве; к этому времени темпы *перестройки* в Латвии чрезвычайно возросли. В Литве еще в 1974 г. умер бессменный лидер местной компартии Антанас Снечкус; на смену ему пришел Пятрас Гришкявичюс, верный коммунист-литовец, продолжавший политику Снечкуса, ставившего на высшие партийные посты людей литовского происхождения, что резко контрастировало с ситуацией в Латвии. В Литве около 67% членов партии были литовцами, тогда как в Латвии среди коммунистов было всего 35 – 40% латышей (точные данные неизвестны). К 1987 г., когда Гришкявичюса сменил еще один местный уроженец — Рингаудас Сонгайла, в руководстве Коммунистической партии Литвы так и не отмечалось смены поколений, характерной для Латвии. В Эстонии первым секретарем с 1978 г. был Карл Вайно, назначенный в брежневскую эпоху, — ему удалось сохранить свой пост до 1988 г. После прихода Горбачева к власти в высших партийных кругах Эстонии началось нечто вроде борьбы за власть между эстонцами и русскоязычными коммунистами, что закончилось победой первых.

Однако к 1985 – 1987 гг. горбачевские реформы еще не одержали убедительной победы ни в одной из республик Прибалтики. Подобно тому как население в целом ожидало, что еще нового произойдет в Москве, республиканские партийные лидеры и представители номенклатуры делились на тех, кто приветствовал реформы, тех, кто смотрел на них с трепетом, и тех, кто готов был принять любое развитие событий. Партия оставалась во всех трех республиках значимой силой: к 1986 г. число членов литовской компартии составляло около 197 тыс. человек, эстонской — около 110 тыс. и латвийской — около 172 тысяч. Членство в комсомоле, выдвижение в кандидаты в члены в партии, вступление в партию, включение в номенклатуру — ступени личного продвижения во всех трех республиках все еще оставались теми же, даже несмотря на то, что в первые два года правления Горбачева политика

гласности предполагала, что партия признает и исправляет свои ошибки, особенно применительно к тупиковой ситуации в современной экономике.

Первые систематические и при этом успешные открытые проявления несогласия с политикой партии в Прибалтике имели место в 1986 г. в Латвии, когда молодой журналист Дайнис Иванс и его коллега Артурс Снипс начали кампанию по написанию писем и петиций против постройки еще одной гидроэлектростанции на реке Даугаве. Проект новой ГЭС уже получил одобрение на самом высоком уровне, в Москве, но к концу года под петицией Иванса и Снипса, подвергающей сомнению необходимость ее постройки и возражающей против разрушения природного облика Даугавы, подписалось более 30 тыс. человек. Оппозиция руководствовалась комплексом мотивов: в апреле 1986 г. разразилась Чернобыльская катастрофа на Украине, и, соответственно, все технические решения, связанные с электростанциями, теперь подвергались сомнению. Далее, решение о латвийском проекте принималось без оглядки на общественное мнение, при этом было понятно, что реализация проекта обезобразит облик реки, наиболее любимой латышским народом. Стремление к защите окружающей среды соединялось с возмущением решениями партии, а также с сильным стремлением сохранить естественные ландшафты родины.

Этот комплекс причин стал отличным поводом проверить, что в действительности представляют собой провозглашенные сверху гласность и перестройка, и год спустя (в ноябре 1987-го), Совет министров СССР аннулировал проект. При этом в высших партийных кругах (особенно в Москве, где одновременно обсуждались десятки подобных проектов), возможно, даже не заметили (или, по крайней мере, не упоминали об этом), что в Латвии возмущение было основано на народных чаяниях, которые раньше расценили бы как проявления «буржуазного национализма». Река Даугава стала символом защиты Латвии от партийной и московской гегемонии. Десятилетие спустя Иванс писал, что «долгий, полный борьбы "год Даугавы", закончившийся победой, показал, что все возможно, что все препятствия можно преодолеть, если сотни и тысячи людей объединятся во имя общей цели. В этом году появился новый образ мышления... большинство уже не молчало от страха... Стремительные воды Даугавы воплощали нас самих, наши цели, наши надежды и мечты... одно препятствие мы преодолели, но оставалось другое, более важное».

Однако латыши не единственный народ Прибалтики, демонстрировавший подобное «новое мышление». В Эстонии аналогичные протесты связывались с эксплуатацией нового крупного месторождения фосфоритов на севере республики. В данном случае предметом обсуждения стал потенциальный вред, который могли бы причинить разработки в этом богатом сельскохозяйственном регионе, где находились истоки двух третей эстонских рек; многие высказывали опасения, что радиоактивные отходы могут проникнуть в питьевую воду, а далее в Балтийское море. Более того, проект предполагал привлечение дополнительной рабочей силы (около 30 – 40 тыс. человек), которая должна была быть рекрутирована в Эстонию из других (преимущественно русскоязычных) частей СССР. Оппозиция подчеркивала опасности, связанные с технологиями, студенты Тартуского университета выходили на улицу с демонстрациями, и постоянно подчеркивалось, что вопросы защиты окружающей среды республики должны решаться правительством этой республики, даже если его решения идут вразрез с пожеланиями московских министерств (в данном случае Министерства по производству минеральных удобрений). Даже некоторые значительные лица из числа представителей эстонской номенклатуры последовали за общественным мнением, обещая детально разобраться в данном вопросе. В результате в октябре 1987 г. Совет министров СССР принял решение прекратить разработку новых месторождений фосфоритов в Эстонии. Это стало еще одной победой над московскими бюрократами, в которой ярко звучала тема «защиты родины».

Краткое описание событий двух последующих лет может лишь в незначительной степени отдать должное масштабам распространения нового мышления — как в Прибалтике, так и в других советских республиках. С помощью провозглашенных Горбачевым перестройки и гласности эстонцы, латыши и литовцы, наряду со значительным числом славян, населявших эти три республики, начали предпринимать усилия по расширению свободы в отношениях центр – периферия, а также применительно к значимым в истории датам. Неофициальные массовые мероприятия, сначала небольшие, а впоследствии вовлекавшие десятки и даже сотни тысяч человек, стали играть роль альтернативы официальным праздникам — таким, как годовщины большевистской революции 1917 г., вступления прибалтийских республик в СССР и победы над Германией в так называемой Великой Отечественной (Второй мировой)

войне. Оппозиция противопоставляла указанным датам годовщины провозглашения независимости в 1918 г., подписания пакта Молотова — Риббентропа и депортаций 1941 — 1949 гг. Сначала коммунистические партии пытались пресечь демонстрации, не давая на них разрешения, задерживая организаторов и используя различные бюрократические меры, вплоть до привлечения милиции. Ничто из этого не помогло, и, в конце концов, власти были вынуждены смириться с ними и даже выказывать некую солидарность. По мере того как становилось ясно, что к участникам упомянутых событий не применяются насильственные меры, в следующих мероприятиях принимало участие больше людей. Обычно таких демонстрациях использовались национальные флаги периода независимости, а в некоторых из них эти знамена использовались наряду с официальными советскими флагами. Развернулись серьезные дискуссии на тему возрождения всех государственных символов периода независимости, включая государственные гербы. Если единственные разрешенные ранее государственные символы обозначали принадлежность к СССР, то новые подчеркивали желание дистанцироваться от этого государства. Приверженцам ортодоксальной линии партии пришлось нелегко, когда стало очевидным, что Москва не будет поддерживать подавление мирных демонстраций, даже если на них используются запрещенные ранее флаги и плакаты; если насилие и применялось в таких случаях, данный вопрос оставался на совести республиканских партийных лидеров. К 1988 г. стало ясно, что множество жителей в каждой из прибалтийских республик стремятся воплотить свои чаяния не только в символах, но и в действиях, имеющих политический, экономический или общественный характер.

Трансформация массовых демонстраций в массовые организации произошла в 1988 г. также под знаменем перестройки: первый съезд «Эстонского народного фронта в поддержку перестройки» (*Eestimaa Rahvarinne Peresroika Toetuseks*) прошел 1–2 октября 1988 г.; «Латвийского народного фронта» (*Latvijas Tautas Fronte*) — 10 октября, а «Литовского движения в поддержку перестройки» (*Lietuvos Persitvarkymo Sajudis*) — 22–23 октября. Эти объединения, ставшие, в конце концов, «народными фронтами», появились не в один день; их учредительные съезды прошли после многих недель обсуждений их будущей структуры и длительных переговоров с ЦК компартий республик Прибалтики о возможности регистрации их как «неформальных организаций».

На первых съездах царила эйфория; однако отдельные «холодные головы» предвидели, что впереди — трудный путь. Коммунистическая верхушка трех республик занимала двойственную позицию: с одной стороны, она не хотела демонстративно мириться с народными движениями, а с другой — московское партийное руководство, казалось, поддерживало идею организаций, которые могли способствовать внедрению перестройки — новой линии партии. В целом Москва перестала отвергать «неформальные организации» любого типа, считая их позитивным результатом новой политики перестройки, противоположностью застою. Оставалось неясным, как отделить дозволенное от недозволенного, и часто партийное руководство республик Прибалтики склонялось к тому, чтобы «дозволять».

Партийные стратеги полагали, что если члены компартии станут массово вступать в подобные организации, то и ход событий можно контролировать. И действительно, около 22% делегатов первого Эстонского съезда были членами партии; 17 из 35 членов Совета, избранного на первом съезде литовского «Саюдиса» являлись членами литовской компартии; в Латвии около трети членов Народного фронта имели партийные билеты. Полагая подобное морально неприемлемым, многие активисты во всех трех республиках «склонялись вправо» и основывали собственные неформальные организации (не обязательно покидая при этом Народный фронт): «Движение за национальную независимость Латвии», Эстонскую партию национальной независимости и «Лигу свободы Литвы». Они не хотели видеть в своих рядах коммунистов и независимо действовали на политической арене, которая в этот период быстро становилась необычайно разнообразной. Провозгласив все неформальные организации за пределами партии «экстремистскими» и «националистическими», ортодоксальные группировки внутри компартии, пользуясь, как минимум, молчаливой поддержкой многих представителей руководства партии, «сдвинулись влево» и провозгласили создание собственных аналогов народных фронтов: *Vienybe-Yedinstvo-Jednosc* («Единство») в Литве, интернациональные фронты в Эстонии и Латвии. Эти организации состояли в основном из представителей нетитульных национальностей (русских, поляков и др.): их объединяло желание сохранить статус-кво.

К концу 1988 г. народные фронты в поддержку перестройки стали занимать промежуточную позицию между правыми — сто-

ронниками национальной независимости — и левыми — сторонниками Москвы. Народные фронты стали силой, с которой надо было считаться: по оценкам, в составе «Саюдиса» насчитывалось от 100 тыс. до 300 тыс. членов, в «Латвийском народном фронте» — около 110 тыс. и в Эстонском — около 100 тысяч. Весной 1989 г. выборы на вновь созданный Съезд народных депутатов СССР (инновация, вызванная перестройкой) привели к тому, что делегации трех прибалтийских республик на две трети состояли из членов народных фронтов, тогда как остальные делегаты представляли партию или управляемые партией структуры. Делегаты-реформаторы теперь должны были донести свои взгляды по ряду вопросов гораздо более широкой аудитории — Съезду народных депутатов СССР, все заседания которого транслировались по телевидению в прямом эфире.

Точкой отсчета для активистов из Прибалтики стал межвоенный период национального суверенитета: все три республики тогда являлись полноправными членами Лиги Наций, имели собственную конституцию, дипломатический корпус и другие признаки независимых государств. Но к началу 1989 г. призывы к полной реставрации национальной независимости звучали в основном в выступлениях правых групп, а не народных фронтов. Для последних ключевыми словами были «республиканская автономия», то есть использование Конституции СССР для максимизации свобод, которыми законно располагала каждая республика, и, таким образом, дистанцирование от решений центра. Это определенным образом перекликалось с дискуссиями, проходившими перед Первой мировой войной и в 1918 г.; тогда тоже цель для многих состояла в том, чтобы получить статус автономных провинций в реорганизованной, демократической России. По воспоминаниям деятелей 1988 — 1989 гг. часто видно, что переход в сознании от республиканской автономии к национальной независимости был неизбежен, учитывая общий ход событий и продолжавшуюся непреклонность Москвы и ее сторонников.

На многих мероприятиях в трех республиках — таких, как июньский (1988) Пленум профессиональных союзов Латвии, — был оглашен тот исторический факт, что в 1940 г. страны Прибалтики были «оккупированы»; за этим последовало осознание, что связь между этими республиками и Москвой с самого начала была незаконной и следующим логическим шагом было бы полное отделение в соответствии с Конституцией СССР. Такая точка

зрения казалась очевидной и естественной многим, тогда как другие считали, что в нынешней ситуации возможно надеяться лишь на республиканскую автономию. Для противоположной же стороны — правительства Москвы и его сторонников в республиках — открытое обсуждение подобных вопросов казалось проявлением бунта, угрожающего самой природе Советского государства. Для наиболее экстремистски настроенных из них (таких, как группы Интернационального фронта) сами разговоры о республиканской автономии казались замаскированным стремлением буржуазных националистов к полной независимости, и они часто обращались к центру с просьбами положить этому конец. Советские военные чины (действующие и в отставке) в Прибалтике, представители коммунистической номенклатуры и многие обычные граждане, убежденные, что правление «национальных экстремистов» приведет к депортации из Прибалтики всех славян, не могли представить себе сценария, согласно которому уменьшится партийная монополия власти и контроль Москвы над делами в республиках.

Три коммунистические партии Прибалтики (как руководящие кадры, так и тысячи их членов), совместно действовавшие в 1988 — 1989 гг., столкнулись с необходимостью принятия сложных решений. В Эстонии в июне 1988 г. первым секретарем стал эстонец Вайно Вяльяс. С самого начала он выступал за широкую республиканскую автономию, и на протяжении нескольких месяцев лидирующие позиции в эстонской компартии заняли реформаторы. В Латвии Борис Пуго получил назначение в Москве, и ему на смену пришел латыш Янис Вагрис (довольно бесцветная фигура), а главный реформатор партийной верхушки, Анатолий Горбунов, стал председателем Президиума Верховного Совета (то есть возглавил законодательную власть). В Литве литовец Альгирдас Бразаускас сменил Риндаугаса Сонгайлу на посту первого секретаря Коммунистической партии Литвы в октябре 1988 г. Хотя назначение этих партийных лидеров и было одобрено Москвой, теперь при решениях такого рода необходимо было принимать во внимание и мнение руководства народных фронтов, которые очевидно могли говорить от имени десятков тысяч эстонцев, латышей и литовцев. На политической арене всех трех республик появились признаки «двухпартийной атмосферы», хотя формально страной правили только те и так, как было сказано в советской Конституции: Верховный Совет и его Председатель, Совет министров и его

Председатель и десятки министерств и ведомств. Рядовые коммунисты, вступившие некогда в партию скорее в целях личного продвижения, чем из-за приверженности марксистско-ленинским идеям, начали покидать ее ряды. Иногда подобный шаг сопровождался публичными заявлениями, но чаще такие решения осуществлялись молча. В 1988 г. число коммунистов ощутимо уменьшилось, тогда как число членов «неформальных организаций» (особенно народных фронтов) продолжало расти. В прибалтийских республиках происходила смена элит. Те, кто оставался лояльным коммунистом, были вынуждены униженно наблюдать, что их «всезнающая и всемогущая партия» становится второстепенной организацией и что ее претензии на то, чтобы высказываться от имени «масс», выглядят все более пустыми. Без прямой поддержки милиции, армии и спецслужб партии приходилось трудно, и в конце концов она раскололась на две фракции — консервативную и реформистскую. Первая из них продолжала призывать Москву к насильственным действиям, тогда как последняя искала способы выжить в окружении тысяч политически активных граждан, чьи публично заявленные цели состояли теперь в спасении нации, а не в том, чтобы найти лучшие пути построения социализма.

В восточноевропейских странах социалистического содружества события 1989 г. ознаменовали конец так называемой брежневской доктрины — права СССР «спасать» коммунистические режимы, используя военную силу. Компартии этих стран узнали из Москвы, что теперь они предоставлены сами себе и советские танки не въедут, как в прежние времена, в Варшаву, Прагу или Будапешт, чтобы помочь восстановить однопартийную систему. Таким образом, к концу 1989 г. доминирование компартии в этих странах закончилось, уступив место многопартийной системе (в большинстве случаев бескровно, и только в Румынии такая смена сопровождалась кровопролитием). К началу 1990 г. главный вопрос для республик Прибалтики состоял в том, надо ли следовать указаниям, получаемым из Москвы, или же считаться «мятежными» частями «единой и неделимой» супердержавы. Общественное мнение в Прибалтике находилось в стадии перехода от призывов к республиканской автономии к требованиям восстановления государственной независимости, чего не предвидели сторонники перестройки. В январе 1990 г. Литву посетил Михаил Горбачев и в непринужденной манере попытался убедить литовцев, что им выгоднее (по крайней мере, экономически) оставаться частью

СССР. Этот визит ничего не изменил, а только подчеркнул, насколько глубоко московское партийное руководство не понимало динамики роста прибалтийского национализма.

Весной 1990 г. выборы в Верховные советы всех трех республик показали хотя и незначительное, но явное преимущество сторонников независимости. В Литве вновь избранный Верховный совет потребовал немедленной независимости (11 марта). В Эстонии и Латвии вновь избранные Советы также заявили (Эстония — 30 марта, а Латвия — 8 мая) о стремлении к независимости, но эти страны выступали за продолжительный период, во время которого следовало выработать оптимальную технологию перехода. Со стороны Москвы стали поступать декларации о том, что требовалось с конституционной точки зрения от союзной республики, желающей выйти из состава СССР. Эти «правила» предусматривали серию мер, делающих задачу фактически невыполнимой. Возникший таким образом тупик дал противникам независимости республик Прибалтики возможность заявлять, что новые, законно избранные Верховные советы предлагают теперь незаконные меры. Они утверждали, что присоединение республик Прибалтики в 1940 г. произошло по «воле народа», выраженной в действиях «народных парламентов», избранных в том же году, и, соответственно, нынешние Верховные советы действуют противозаконно. Сторонники независимости возражали, что сами выборы «народных парламентов» 1940 г. (почти полвека назад) были незаконными, поскольку к голосованию был допущен лишь строго определенный список. Дебаты по этому вопросу сосредоточивались на юридических вопросах, как если бы все участвующие были непоколебимо уверены в том, что законность в итоге восторжествует.

Несмотря на то что реальная власть оставалась в руках Москвы, летом и осенью 1990 г. во всех трех республиках росло стремление к независимости. Теперь на правительственные должности назначались люди, лояльные Верховным советам, сменяя поддерживавших партию. Те, кто продолжал оставаться в рядах партии, были вынуждены обозначить свою лояльность либо тому крылу партии, которое теперь ориентировалось на Верховные советы, либо их противникам, по-прежнему придерживающимся «линии Москвы». Подобный раскол уже произошел в литовской партии после декабря 1989 г.; в Эстонии и Латвии это случилось в 1990 г. Последовавшие одно за другим обсуждения (научные или приближенные

к таковым) демонстрировали, что пребывание в составе СССР нанесло вред титульным нациям республик Прибалтики (эстонцам, латышам и литовцам), а также природной среде и экономике этих республик. Контраргументы, указывавшие на выгоды, которые обеспечивала принадлежность к более крупной экономической структуре, снабжавшей Прибалтику энергетическими ресурсами и распределявшей ее продукцию, оставались без внимания.

Во всех трех республиках центром стремления к независимости оставались вновь выбранные Верховные советы; эти органы все больше считались переходными, действующими до того момента, когда в условиях полной независимости пройдут настоящие парламентские выборы. Национальные активисты — избранные в качестве кандидатов от народных фронтов — были разнородной группой, включавшей в том числе множество бывших высокопоставленных партийных чиновников, теперь сделавших ставку на национальные силы. Это вызвало определенные разногласия среди сторонников национальной независимости, не входивших в новую элиту и полагавших, что истинно законное новое правительство должно состоять лишь из тех, кто не запятнал себя членством в коммунистической партии, а также включать пострадавших от репрессий советского периода. Негодование и чувство обиды возросло еще до того, как независимость была достигнута. Были предложены механизмы «чистки», но реализованы только некоторые из них, направленные против КГБ. Крайне правые национальные активисты, оказавшиеся в определенном смысле маргинализованными, продолжали подозрительно относиться к новой элите. Некоторые считали, что все движение народных фронтов в действительности было запланировано Москвой и спонсировалось местными органами государственной безопасности. На другом краю политического спектра находились представители Интернационального фронта, выступавшие за немедленное введение чрезвычайного положения: по их мнению, Горбачев должен был объявить военное положение и арестовать активистов движения за независимость, включая депутатов Верховных советов. Военные же (то есть Прибалтийский военный округ в Риге) молчали, поддерживая контакт с Верховными советами, наблюдая за событиями и ожидая приказов из Москвы.

«Свалка истории»

К началу 1991 г. восточноевропейские страны уверенно освобождались от коммунистических режимов, и одна из них — Югославия оказалась ввергнутой в гражданскую войну. Некоторые из республик СССР последовали примеру Прибалтики и искали способы освободиться от власти Москвы, что часто приводило к жесткой конфронтации между властями и сепаратистами. В январе 1991 г. в Прибалтике также произошло несколько вспышек насилия: в Вильнюсе попытка вооруженных сил захватить центральную телевизионную башню привела к гибели 12 гражданских лиц, а в Риге события в Вильнюсе вызвали массовое стремление гражданского населения защитить свою независимость; сотни людей создали «живые барьеры» вокруг основных правительственных зданий. В конце января в столице Латвии четверо гражданских лиц были убиты в перестрелке с ОМОНОм. Эти инциденты тут же транслировались средствами массовой информации по всему миру, хотя московское правительство отрицало их, демонстрируя плохо налаженные коммуникации и способствуя расколу местных властей. Лояльные Москве группировки в республиках Прибалтики продолжали считать, что текущая ситуация ведет к хаосу (что было существенным преувеличением), и продолжали просить у Москвы введения чрезвычайного положения. На протяжении следующих нескольких месяцев ситуация оставалась напряженной, поскольку так и не наблюдалось сколько-нибудь заметных признаков того, что планирует делать центр (если вообще планирует делать хоть что-нибудь). Московское правительство продолжало настаивать, что стремление прибалтийских республик к независимости является антиконституционным, однако предложенный в качестве альтернативы «конституционный» путь представлялся неприемлемым для народных фронтов. Процессы, запущенные в республиках Прибалтики благодаря развитию общественного мнения, привели к гораздо более серьезным последствиям, чем предполагалась изначально.

Летом 1991 г. многие в Прибалтике еще боялись грядущих репрессивных мер, однако никто не мог сказать, когда будут приняты эти меры и как они будут выглядеть. Девятнадцатого августа в Москве произошли драматические события: представители консервативного крыла руководства партии и военных кругов

предприняли плохо скоординированную и неуверенную попытку переворота, направленного против реформаторов в руководстве партии, воспользовавшись моментом, когда Горбачев находился на отдыхе в Крыму. Через несколько дней эта попытка провалилась: заговорщики не смогли вовремя прибегнуть к насилию, не пользовались полной поддержкой вооруженных сил, к тому же во главе противников заговора быстро встал такой харизматичный лидер, как президент Российской Федерации Борис Ельцин.

Прибалтика быстро отреагировала на события в Москве: после двух дней неопределенности, когда представители интернациональных фронтов взяли на себя ответственность за происходящее и стали угрожать приведением в действие сил ОМОНа, Верховные советы (парламенты) Эстонии, Латвии и Литвы провозгласили полную независимость от СССР. В Таллине, Риге и Вильнюсе лидеры лояльных Москве группировок были арестованы за попытки свержения законно избранных правительств; их ошибка состояла в том, что они преждевременно сочли, будто путч увенчается успехом. Собственность некогда всемогущей коммунистической партии была захвачена полицейскими подразделениями, подчиняющимися Верховным советам, а саму партию объявили вне закона. На протяжении следующих двух недель три прибалтийские республики были признаны в качестве независимых государств правительством Российской Федерации, а также большинством правительств стран Западной Европы и США (2 сентября).

К 18 сентября все три республики были приняты в ООН в качестве полноправных членов; это означало, что любые реваншистские поползновения в их адрес столкнулись бы теперь уже с международным общественным мнением. Однако вероятность таких поползновений становилась все меньше, поскольку правительственные структуры СССР находились в состоянии хаоса и упадка и политическая власть переходила в данный период от СССР к Российской Федерации. Советская армия, по-видимому, подчинялась Горбачеву, а правительство Российской Федерации под руководством Бориса Ельцина декларировало готовность принять на себя всю полноту власти. Покоряясь естественному ходу событий, Михаил Горбачев 25 декабря снял с себя полномочия президента СССР и в той же речи объявил о распаде Союза Советских Социалистических Республик. Вскоре после этого Российская

Федерация провозгласила себя правопреемником всех активов бывшего СССР и почти прекратившей свое существование на тот момент коммунистической партии. К всеобщему удивлению, один из ведущих игроков эры «холодной войны» исчез с политической арены не только без ядерного конфликта, но даже без значительного кровопролития, которое, как ожидалось, не могло не сопровождать столь важное событие. «Свалка истории», на которую, как в течение десятилетий провозглашала советская пропаганда, должны были отправиться капиталистические страны, стала местом упокоения коммунистической партии — «авангарда пролетариата» и воплощения СССР.

Стремление трех прибалтийских республик к независимости увенчалось успехом, но скорость, с которой эта независимость была обретаена, превысила все ожидания. Международное признание Эстонии, Латвии и Литвы как независимых государств еще не означало возникновения в этих странах нового общества. «Строительные леса» в виде независимой государственности воздвигнуты, но под ними находилось лишь слегка обновленное здание советской постройки. И здесь уже не могла помочь идея, что страны Балтии *восстанавливают* государственность после пятидесятилетнего перерыва: события 1940 г. произошли давно и почти исчезли из памяти населения. Новой политической элите (народным фронтам) приходилось работать с тем, что есть.

Следы старой системы были видны повсюду. На многочисленных тщательно охраняемых базах по-прежнему располагалось значительное число советских (то есть теперь российских) военнослужащих, что вызывало зловещие предчувствия. Единственной валютой по-прежнему оставался советский (теперь российский) рубль, так что экономика трех балтийских республик зависела от его курса. Коммунистические партии трех стран владели огромным количеством имущества, конфискованного новым правительством, однако еще предстояло выработать процедуру, в соответствии с которой им можно было бы распорядиться. Многие законы советского периода продолжали действовать (как и в переходный период от царизма к независимости в 1918 г.) и, соответственно, нуждались в пересмотре и корректировке.

Однако окончательный пересмотр законодательной системы не мог произойти до вступления в силу новых конституций трех стран Балтии. В 1990 г. Латвия провозгласила восстановление и обновление Конституции 1922 г., которую необходимо пересматривать

в соответствии с требованиями нового времени; Литва и Эстония, чья конституционная история в период между войнами была более запутанной, решили создать новые документы, требующие созыва конституционных собраний.

Человеческий аспект переходного периода оказался особенно тяжелым. На протяжении пятидесяти лет население трех новых республик привыкло к условиям жизни в Советском государстве с соответствующим, почти бесплатным, социальным обеспечением, где многое, включая пенсии, шло из центрального государственного бюджета. Теперь необходимо было срочно выяснить, какую часть этой социальной инфраструктуры можно сохранить и на каких уровнях, — и получить ответы на эти вопросы оказалось нелегко, поскольку прежняя система распределения из Москвы прекратила свое существование. Старая система порождала зависимость, а теперь каждый гражданин сам отвечал за свой личный доход, карьеру, сбережения, конкурентоспособность и выживание.

Оставался также актуальным потенциально взрывоопасный вопрос этнического состава населения трех стран. Необходимо было вновь пересмотреть вопрос гражданства во всех трех странах, остававшийся крайне сложным (в Эстонии и Латвии — более сложным, чем в Литве). В Литве только 20% населения не принадлежали к титульной нации, тогда как в Эстонии — около 40, а в Латвии — почти 50%. Движение за независимость основывались на защите культуры титульной национальности каждой страны, и поэтому простое решение — дать гражданство всему существующему населению — многим казалось противоречащим борьбе за национальную независимость. Наконец, оставалось неясным, как поступать с бывшими членами ныне нелегальных республиканских коммунистических партий. Рядовых коммунистов вполне можно было простить, однако энергичные и талантливые бывшие представители номенклатуры представляли проблему. Многие из них успешно приспособились к новым обстоятельствам, став активными поборниками независимости. Другие, менее активные, оставались на своих рабочих местах, разумно предполагая, что новые государства будут нуждаться в профессионалах без оглядки на их былое. Однако оставались и те, чье прошлое вызывало слишком большие вопросы, — например, бывшие сотрудники советских спецслужб. Опыт стран Восточной Европы не предполагал ни очевидных, ни оптимальных способов решения этой проблемы. Лег-

кость, с которой многие представители партийной верхушки стали членами новых правительств, расстраивала многих, считавших, что независимость должна принести их стране очищение и новые национальные правительства должны возглавить те, кто больше всего пострадал во время советской власти.



9

НОВОЕ ВХОЖДЕНИЕ В ЕВРОПУ (1991–...)

Хотя три прибалтийские республики и в советские времена территориально находились в Европе, «железный занавес» (по словам Черчилля) на протяжении почти пятидесяти лет отделял коммунистический мир от Западной Европы, а советская цензура усиливала психологический аспект этого разделения. Однако не все части «коммунистического мира» были в равной степени защищены от влияния «капиталистического Запада»; границы восточноевропейских стран социалистического содружества оставались относительно проницаемыми для различного рода влияния Запада, а в Прибалтике к тому же было можно смотреть программы финского телевидения и слушать «Голос Америки» при использовании специального (хотя и нелегального) оборудования, нейтрализующего действие «глушилок». Моряки привозили западные журналы

и кассеты, и даже коммунистическая партия с 70-х годов и позднее в каком-то смысле проявляла толерантность к пристрастию молодежи к западной моде и музыке.

Однако к концу 80-х годов, когда все барьеры стали рушиться, лавина впечатлений, открытий и мнений породила общее чувство осознания собственной социально-экономической и культурной отсталости, что вызывало не только подавленность, но и стремление к развитию. Повторное вхождение в динамичную и преуспевающую Европу, несомненно, ставило страны Балтийского побережья на самые нижние позиции с точки зрения экономического развития; это было унижительно, но давало возможности прогресса, развития в сторону «нормальности» (данный термин стал все чаще употребляться в местной прессе). Считалось, что пятьдесят лет советской власти «деформировали» — еще один часто используемый термин — ход развития республик Прибалтики, и теперь, наконец, в них могли начаться «нормальные процессы развития». Постоянное использование терминов «нормальность» и «деформация», где первый относился к Западу Европы, а второй к прибалтийским советским республикам, было попыткой самоанализа, стремлением тех, кто формировал общественное мнение в странах Балтии, каким-то образом вписать свои страны в более широкий контекст после распада СССР. Даже среди представителей новых политических элит мало кто в полной мере понимал плюсы и минусы экономической системы, основанной на конкуренции и свободном рынке, превосходства закона над личными связями, свободы прессы и часто неприглядных последствий свободы творчества; и еще меньше людей понимало, что даже на Западе все эти признаки «нормальности» далеко не всегда были реализованы в полной мере. Результатом стала временная идеализация Запады и тех, кто там жил; по крайней мере, в тот момент казалось, что западные страны готовы помочь трем странам, вновь оказавшимся среди них, даже поступаясь ради этого собственными экономическими и стратегическими интересами.

Межгосударственные отношения стран Европы казались благоприятными для такого вступления. «Исконные враги» народов побережья занимались собственными внутренними проблемами, и, кроме того, полвека политической эволюции привели к появлению крупных международных организаций, контролирующих поведение своих членов. Русские после распада СССР были слишком озабочены собственными внутренними изменениями, чтобы

предпринимать какие-либо реваншистские поползновения в отношении стран побережья; немцев также занимали проблемы воссоединения, а поляки, угрожавшие литовской государственности в межвоенный период, решали собственные проблемы посткоммунистического общества. Предпочтительными кандидатурами на роль будущих друзей и сторонников были государства, ни разу не предъявлявшие территориальных претензий к странам побережья за весь богатый катаклизмами XX век: Скандинавские страны, Великобритания, Франция и, конечно, сверхдержава, победившая в «холодной войне», — Соединенные Штаты Америки. Вновь появившуюся независимость легко было провозгласить, ее дипломатического признания несложно добиться, тогда как решить действительно серьезные вопросы оказалось намного труднее. Эти вопросы касались таких сфер, как материальная помощь, инвестиции и рекомендации, как именно следует создавать институты, которые бы функционировали столь же эффективно, как и на Западе.

Непосредственно после распада СССР Западная Европа не стремилась к тому, чтобы немедленно начать пользоваться своими очевидными преимуществами по отношению к Российской Федерации, помня о ее ядерном арсенале. В это время суть западноевропейской внешней политики состояла в том, чтобы наблюдать, переживая неизбежный хаос переходного периода. Поскольку страны Балтии были относительно мирным регионом, они стали потенциальными кандидатами на получение всякого рода помощи; кроме того, многие из крупнейших стран Европы теперь с гордостью напоминали, что они никогда не признавали оккупации Прибалтики в 1940—1941 гг. и, соответственно, могут считаться особенно дружественно настроенными к государствам этого региона. В то же время скандинавские, финские, немецкие и польские компании обнаружили огромный спрос на западные товары и продукты в регионе и начали открывать там магазины и рестораны. «Вестернизация» такого рода внедрялась быстрее всего и стала очевидной вскоре после 1991 г., тогда как западный инвестиционный капитал проникал на побережье существенно медленнее и действовал с большей осторожностью. В такой картине трех развивающихся республик, стремящихся к Западу, был один раздражающий элемент: Запад воспринимал эти страны как один регион, Балтию, подобно тому как в Советском Союзе их часто называли просто *Прибалтикой*. Такое невнимание к различиям между Эсто-

нией, Латвией и Литвой было связано с образами, тиражируемыми прессой 1988 – 1991 гг.: совещания представителей трех народных фронтов, десятки тысяч людей, выстроившихся в линию и взявших за руки так, что их цепь протянулась от Финского залива до Южной Литвы, и поддержка, которую оказывали друг другу прибалтийские делегаты на Съезде народных депутатов в Москве. Искусственно привносимая извне региональная идентичность противоречила желанию трех стран продемонстрировать культурную, экономическую и политическую национальную обособленность; иными словами, перемены, происходящие в каждом из них, были направлены против подобной региональной интеграции.

Население в движении

После августа 1991 г. продолжились и стали более выраженными многие перемены, происходившие в течение последних трех лет, что усиливало настроения все большей неопределенности среди населения. Застой сменился непредсказуемостью, крайне высоко ценились всякого рода новшества, старые иерархии разрушились, и повседневная жизнь представляла собой череду постоянных, зачастую случайных изменений. Менялась демографическая картина, поскольку те, кому не нравился новый порядок, начали покидать страны побережья, устремляясь прежде всего в Россию и другие места. В демографической картине Эстонии и Латвии появилась новая тенденция: если в советское время население этих республик увеличивалось год от года, теперь каждый год отмечался спадом (население убывало ежегодно примерно на 0,2%), что было результатом как низкой рождаемости, так и эмиграции. В Литве этой тенденции не наблюдалось, и ее население, хотя и минимально, продолжало расти (примерно на 0,2% ежегодно), частично потому, что в Литве изначально было меньше славянского населения. После 1991 г. ежегодно из Эстонии и Латвии эмигрировало по несколько тысяч человек, и большинство тех, кто действительно хотел уехать, сделали это к 1995 – 1996 гг. В их число, вне всякого сомнения, входили люди, отвергавшие новое положение вещей: многие из них продолжали надеяться на изменение хода событий и возрождение СССР; отдельные активисты считали, что страны Балтии должны, по меньшей мере, войти в состав СНГ (Содружества Независимых Государств) — организации, объединявшей бывшие

советские республики в посткоммунистический период, которую Москва начала создавать с 1992 г. Многие из тех, кто, покорясь судьбе, принял новые правительства, продолжали доказывать, что они недостаточно представлены в новых институтах и что русский язык насильно оттесняется на второстепенные позиции. Поскольку поток желающих уехать уменьшился, а требования оставшихся были отвергнуты, славянское население продолжало высказывать определенное недовольство, ставшее основой для политических партий, сформировавшихся еще до первых выборов в независимые парламенты.

Движение населения побережья носило не только демографический, но и экономический характер, и для многих траектория этого движения шла по нисходящей. Контроль над ценами и заработной платой исчез (хотя и постепенно), и личные доходы и траты стали зависеть только от личной инициативы, спроса и наличия товаров. К середине 90-х годов 40–60% населения всех трех стран Балтии жили на грани официального уровня бедности или даже за ним. Гарантированные государством пенсии уменьшались, личные сбережения сокращались из-за инфляции и перехода к новым национальным валютам в 1993–1995 гг. По мере того как государственные предприятия распадались или превращались в частные, действительный уровень безработицы стал превышать официально заявленный на 6–8%, и многие стремились получать доход из нескольких источников. Те, кто продолжал работать в государственных бюджетных системах, например в медицине и образовании, обнаружили, что их зарплаты оказались минимальными.

Такие изменения организации труда, характера занятости и зарплат были всеобъемлющими и коснулись даже таких защищенных доселе структур, как научно-исследовательские институты Академии наук, которым теперь пришлось сдавать часть помещений в аренду коммерческим фирмам, чтобы прибавить хоть что-то к своему скудному бюджету. Разумеется, государственные доходы упали из-за прекращения финансовых поступлений из бывшего центра (то есть из Москвы); ситуация усугублялась из-за хаотичной налоговой системы, механизмы контроля за работой которой были на тот момент неэффективными. Негативная реакция населения трех стран ясно показала, что множество, если не большинство людей недооценивали ущерб, который мог принести переход от административно-командной системы к рыночной как

лично им, так и экономике стран, в которых они жили. В период 1990 – 1994 гг. показатель валового внутреннего продукта (ВВП) на душу населения во всех трех странах быстро падал. В Эстонии — с 3545 до 2816 долл. США (в текущих ценах), в Латвии — с 3354 до 1945 долл. США и в Литве — с 2802 до 1876 долл. США*. Суда по этим данным, меньше пострадала Эстония, а больше всего Литва**.

Народное недовольство неизбежно выплескивалось на правительства переходного периода и их политических лидеров; эйфория 1988 – 1991 гг. рассеялась, и население теперь ожидало от политиков быстрых экономических реформ. Даже несмотря на то, что опросы общественного мнения показывали, что большинство населения понимало, что их родина переживает переходный период, но судя по тем же опросам, люди надеялись, что период этот будет относительно недолгим. Многие, однако, не смогли вынести стресса: уровень самоубийств в Эстонии вырос с 27 случаев на 100 тыс. человек в 1991 г. до 41,0 в 1994 г., в Латвии за тот же период — с 28,5 до 40,5 и в Литве — с 30,5 до 45,8. Еще один индикатор социальной патологии — количество убийств тоже выросло: в Литве — с 10,8 (на 100 тыс. человек) в 1991 г. до 28,3 в 1994 г., в Латвии за тот же период — от 11,4 до 23,0 и в Литве — от 9,1 до 13,4.

Людям с предпринимательской жилкой относительно бесконтрольный переходный период предоставлял множество возможностей, и в результате во всех трех странах начала формироваться новая экономическая элита. На протяжении 90-х годов денационализация бывших государственных предприятий — от крупных производств до небольших магазинов — привела к тому, что все они были быстро проданы за суммы существенно меньше их реальной стоимости, а правительства переходного периода, осуществлявшие их продажу, не располагали достаточным временем, соответствующим опытом и знаниями, чтобы замедлить этот процесс. Стали появляться новые частные предприятия, многие из которых

* В оригинальном издании автором приводятся данные за 1989 и 1994 гг. Они незначительно отличаются от показателей в настоящем издании. В русском издании все показатели ВВП на душу населения приведены по данным Статистического отдела ООН (<https://data.un.org>) за 1990 и 1994 гг. Данные по трем странам за 1989 г. в базе данных ООН отсутствуют.

** Сопоставление вышеприведенных показателей свидетельствует, что в 1990 – 1994 гг. падение индекса ВВП на душу населения в текущих ценах составило в Эстонии 20,56%, в Литве — 31,12 и в Латвии — 41,67%.

входили в состав столь же недавно созданных управляющих компаний; зарегистрировать и создать новую компанию можно было относительно быстро и легко. Используя быстро растущий капитал (часто загадочного происхождения), такие фирмы становились собственниками денационализированных предприятий и недвижимости — часто для того лишь, чтобы быстро и выгодно перепродать их.

На улицах Таллина, Риги и Вильнюса все чаще стали появляться приметы образа жизни *нуворишей*: большие автомобили западного производства, магазины, торгующие предметами роскоши, личные телохранители, дорогие рестораны. В середине 90-х годов такие демонстративные признаки престижного потребления сыпались как снег на головы тех, динамика доходов которых изменялась в противоположном направлении. Разумеется, возникали разнообразные подозрения по поводу источников стремительного обогащения: одни говорили, что быстро сориентировавшиеся в ситуации бывшие представители коммунистической номенклатуры просто присвоили какую-то часть «средств партии», чтобы с помощью этих ресурсов войти в зарождающийся класс капиталистов»; другие винили во всем «российскую мафию». По сравнению с новой политической элитой, которая была на виду, «новые богатые» были окружены атмосферой секретности, таинственности и несправедливо нажитых денег. Политиков можно было отстранить от власти (с появлением новой системы выборов), тогда как новая экономическая элита оставалась неизменной. Характеристики же принадлежности к «среднему классу» (определяемому в соответствии с доходом) были гораздо менее четкими, но даже в этой ситуации анализ показывает, что к середине 90-х количество населения со средними доходами стали расти, хотя и относительно медленно.

Потеря работы и частичная безработица стала шоком для многих, особенно для тех, кто еще с 1988 г. участвовал в движении за независимость. На демонстрациях провозглашалось, что свобода стоит того, чтобы заплатить за нее любую цену; в действительности же, очевидно, население полагало, что переход от жестко контролируемой плановой экономики к свободному рынку приведет скорее к подъему экономической активности, чем к спаду и убыткам. Западные консультанты также могли принести мало пользы при попытках определить, к каким конкретным результатам может привести переход такого рода, — у них не было надеж-

ных моделей мирного перехода от плановой экономики к свободному рынку, и все их советы сводились к сложноинтерпретируемым метафорам вроде применения «шоковой терапии». Полился поток нескончаемых жалоб, особенно от тех, кто имел раньше работу и высшее образование, а теперь все потерял. В сущности, интеллектуалы всех трех республик весьма пострадали. Если новая политическая элита формировалась из деятелей народных фронтов и правительств, а новая экономическая — из тех, кто сумел воспользоваться ситуацией, то интеллектуалы потеряли последние очаги влияния, которыми располагали в советское время, — так называемые «творческие союзы» (включая всемогущий Союз писателей), академии наук с их многочисленными научно-исследовательскими институтами, университеты, где зарплаты преподавателей быстро снижались, и издательства, которые в прежние времена могли гарантировать публикацию лишь после того, как текст был одобрен партийной цензурой.

Все эти институты, зависевшие от постоянного притока средств из государственного бюджета (республиканского или «центрального»), теперь боролись за выживание, «сокращая кадры» или вынуждая их преждевременно уходить на пенсию. В этих обстоятельствах новой интеллектуальной элите было тяжело зародиться. Публикации стали зависеть от того, удалось ли найти спонсора (унизительное занятие для интеллектуалов); многие научно-исследовательские институты были закрыты или предоставлены сами себе; заказы на исследования от правительства стали распределяться на конкурентной основе, и потому новые правительства часто обвиняли в «разрушении науки». Кроме того, многие интеллектуалы ужасались жестокости новых коммерческих реалий и неоднократно заявляли об этом публично в неподцензурной ныне периодической печати. Постепенно становилось ясно, что новая интеллектуальная элита появится не благодаря членству в созданных и поддерживаемых прежней системой институтах, но благодаря личным достижениям: успешным публикациям, рассчитанным на большую аудиторию, репутации в СМИ и международному признанию. Теперь центр внимания сместился от «коллективных» интеллектуальных усилий к индивидуальным, от публикаций, где вклад каждого конкретного участника принижался, к индивидуальному творчеству, где каждое произведение работало бы на «послужной список» своего творца (само понятие «послужной список», иначе говоря, «резюме» или

curriculum vitae, было новым для этого периода). Все чаще успех для исследователей означал наличие публикаций на «западных» языках (чаще всего на английском), и большинство представителей старшего поколения не были готовы к такому требованию.

На протяжении десятилетия после 1991 г. все три страны Балтии надеялись, что их человеческие ресурсы увеличатся благодаря возвращению эмигрантов, покинувших регион после Второй мировой войны. Литовская диаспора в Северной Америке имела историю длиной почти в столетие. Большинство латышских эмигрантов также проживали в Северной Америке, но также в Германии, Швеции и Австралии. Эстонская же эмигрантская диаспора (количественно самая небольшая) концентрировалась в Северной Америке (главным образом в Канаде) и в Швеции. Это были те самые «буржуазные националисты», против которых десятилетиями выступали коммунистические партии прибалтийских республик; среди них существовали центры активной политической борьбы с коммунизмом, поддерживаемые, в частности, группами, подписавшими «Воззвание народов Прибалтики к ООН» (1965). Хотя на протяжении пятидесяти лет эмигрантские общины испытывали на себе влияние ассимиляции, но усилия первого поколения эмигрантов-беженцев, покинувших родину после Второй мировой войны, сохранить институциональный базис эстонской, латышской и литовской культурной жизни — с помощью церкви, воскресных школ, национальных театров, газет, журналов и издательств — окупилась сполна. К 1991 г. множество эмигрантов (во втором поколении) были лингвистически, культурно и эмоционально связаны с родиной, и соответственно, могли быть полезны возрожденным республикам. Однако после 1991 г. перед этими эмигрантами вставала новая задача, связанная с самоопределением: теперь уже они не могли думать о себе как об изгнанниках, которым не дают вернуться на родину враждебные режимы, захватившие там власть.

В действительности масштаб ожидавшегося возвращения эмигрантов оказался минимальным — по имеющимся оценкам, в каждую страну вернулось по несколько тысяч человек. Те, кто уехал в 1944–1945 гг. детьми или молодыми людьми теперь были слишком стары, чтобы подвергать себя опасностям, связанным с нестабильностью и непредсказуемостью, воцарившимися в их странах; второе же и третье поколения эмигрантов чувствовали себя слишком крепко связанными с теми местами, где они выросли, создали

семьи и воспитывали детей. Тем не менее того, пусть и незначительного числа вернувшихся оказалось достаточно, чтобы сделать «эмигрантов» постоянно действующим фактором событий, происходивших после 1991 г. Некоторые высокомотивированные личности возвратились, чтобы остаться навсегда, другие старались почаще приезжать, а остальные (преимущественно представители университетских кругов) договаривались о работе по совместительству, чтобы жить на родине предков. Эмигрантские общины на протяжении этого десятилетия устанавливали с отечествами все более многогранные связи: ученые-эмигранты работали в Каунасском университете, активисты-эмигранты настояли на создании Музея оккупации в Риге, а еще одна группа ученых помогла создать программы в Тартуском университете, дающие право получения ученой степени. В политической жизни, особенно в первых посткоммунистических парламентских выборах 1993 – 1994 гг., принимало участие довольно значительное число кандидатов из эмигрантов. Однако по истечении десятилетия материальное и символическое значение эмигрантского фактора уменьшилось, поскольку постоянные жители Литвы, Латвии и Эстонии наладили собственные экономические и политические связи с европейскими институтами, что сделало североамериканских «посредников» ненужными. Что же касается эмигрантов, то многие из них обнаружили, что современная жизнь в балтийских республиках радикально отличается от их идеализированных представлений: советский образ мышления не исчез в одночасье, в Эстонии и Латвии русское население продолжало играть исключительно важную роль в повседневной жизни, особенно в лингвистическом отношении и особенно в городской среде. Реформы не удалось осуществить мгновенно. Результатом этого изменившегося отношения стал постепенно понижающийся уровень взаимосвязи, чего в период 1988 – 1991 гг. не ожидала ни одна сторона, ни другая.

Правительство и общественное мнение

Выборы 1990 г. в республиканские Верховные советы, разумеется, проводились по правилам старой системы, и, несмотря на то что во всех трех случаях к власти в результате выборов пришли реформаторы, которые успешно привели республики к независимости, легитимность этих политических институтов оставалась

сомнительной. Они напоминали временные правительства 1918–1919 гг., имевшие определенное право действовать от имени своих избирателей, однако осознававшие, что они не являются парламентами в полном смысле слова, и что их действия не опираются на конституционные законы. Данные органы являлись одновременно законными и временными, действовавшими в качестве своего рода заменителей настоящих правительств. Поэтому они должны были тщательно следить за тем, чтобы их действия не воспринимались как произвол. Участие в народных фронтах стало школой для новой политической элиты; впрочем, некоторые из них поняли, что занятие политикой без четкой и ясной цели им не по вкусу, тогда как другие обнаружили, что могут успешно влиять на ход событий и хотят продолжать это делать. Главные политические лидеры этого периода — Эдгар Сависаар (р. 1950) в Эстонии, Иварс Годманис (р. 1951) в Латвии и Витаутас Ландсбергис (р. 1932) в Литве, — сформировались как эффективные политики в борьбе за независимость; теперь их основной задачей стало не исчезнуть из коридоров власти. Другими важными политическими деятелями разного возраста, происхождения и темперамента были Арнольд Рюйтель (р. 1928) и Марью Лауристин (р. 1940) в Эстонии, Анатолий Горбунов (р. 1942) и Дайнис Иванс (р. 1955) в Латвии, Альгирдас Бразаускас (1932–2010) и Казимера Прунске-не (р. 1943) в Литве. Они понимали, что с распадом Советского Союза наиболее актуальной стала задача управления страной и что энтузиазм «движения» рассеивается; наступило время формирования политических партий, которым предстоит соревноваться за право на власть. Никто из новых претендентов не имел опыта работы в демократических институтах; всему, что знали, они научились в переходный период. Но, так или иначе, ход событий вынес их всех на вершину новой политической элиты. Правительства, которое они возглавляли, пользовались достаточным доверием населения на протяжении переходного периода (1990–1993), чтобы успешно справиться с законодательным оформлением реформ, вести переговоры с бывшим СССР, готовить (или, как в Латвии, обновлять) конституции и разрабатывать систему выборов, которая приведет к власти настоящие парламента. В ситуации продолжающегося экономического хаоса и отчаяния, овладевшего значительной долей населения, временные правительства обеспечивали определенную стабильность; от них ждали, что они разработают процедуры прихода к власти легитимных прави-

тельств, и они оправдали эти ожидания. Многие из тех, кто пришел вслед за этими лидерами в политическую элиту, — министры и их заместители, руководители ведомств и всякого рода технические эксперты — также были новыми людьми в национальной политике, и, как видно из автобиографических записок, во многом им приходилось действовать вслепую.

Разработанные после 1991 г. конституции трех республик — обновленная Конституция 1922 г. в Латвии и совершенно новые основополагающие документы в Эстонии и Литве (принятые в 1992 г.) — декларировали создание демократически избираемых однопалатных парламентов: в Эстонии Рийгикогу (*Riigikogu*), куда входил 101 депутат, в Латвии — Сейм (*Saeima*) из 100 депутатов и в Литве — Сейм (*Seimas*) из 141 депутата. Срок работы парламентария составлял четыре года; эстонский и латвийский парламенты комплектовались на основе пропорционального представительства, тогда как в Литве 71 депутат избирался напрямую, а 70 — на пропорциональной основе по партийным спискам. Ожидалось, что кабинеты министров будут представлять собой коалиции, работающие совместно, и это обеспечит, что предлагаемые меры получат одобрение большинства. Глава государства — президент — должен был избираться парламентами в Эстонии и Латвии и народным голосованием в Литве. В принципе, глава государства должен был стоять над партиями и не ассоциироваться ни с одной из них. Срок правления президента в Эстонии составлял четыре года; в Латвии изначально был принят срок в три года, но в 1997 г. его увеличили до четырех; в Литве срок президентского правления составил пять лет. Выборы в парламент прошли в Литве и Эстонии осенью 1992 г. и в Латвии — в июне 1993-го. Результаты выборов показали, как по-разному развивалась политическая культура трех стран. Отправной пункт у всех этих стран был одинаковым — активное народное движение, направленное против коммунистической партийной диктатуры и внешнего врага, — однако за сообщениями прессы об активности народных фронтов и о периодических консультациях между ними скрывалось то, что в каждой из трех стран складывалась совершенно различная конфигурация политиков и политических групп.

В Эстонии, где новый парламент начал работу в октябре 1992 г., выборы привели к власти коалицию центристских и правых партий; при этом вновь пришедшие к власти политики практически полностью принадлежали к молодому поколению, «не запятнанному»

отношениями с коммунистической партией. Однако, выбирая главу государства (президента), Рийгигогу обратился к опыту поколения, родившегося до 1940 г., — так был избран Леннарт Мери (1929 — 2006), известный ученый, человек прозападной ориентации, из числа когда-то сосланных в Сибирь; формировать кабинет Мери доверил Марту Лаару (р. 1960), историку по образованию, лидеру партии «Союз отечества», получившему на выборах наибольшее количество (22%) голосов. Правительство Лаара оставалось у власти почти два года и смогло существенно продвинуть вперед экономические и институциональные реформы в Эстонии.

В Латвии Народный фронт стал раскалываться на фракции вскоре после 1991 г., и, хотя он затем возродился как политическая партия, ему не удалось получить на выборах 1993 г. даже минимальных 4%, необходимых для присутствия в парламенте. За относительно короткое время — менее чем за два года — единство времен борьбы за независимость было забыто, и перед отдельными политическими деятелями и группами встала задача самоидентификации. Новый парламент — Сейм — начал работу в июне 1993 г., выбрав в качестве президента Гунтиса Ульманиса (внучатого племянника авторитарного президента межвоенного периода Карлиса Ульманиса и тоже бывшего сибирского ссыльного). Он был членом Крестьянского союза Латвии — партии межвоенного периода, возобновленной в предвыборной борьбе 1993 г. Новый президент Ульманис предложил сформировать кабинет партии «Латвийский путь», набравшей на выборах впечатляющие 32% голосов; в результате переговоров образовалась правоцентристское (48 голосов) правительство, при этом Латвийский путь образовал коалицию с «Крестьянским союзом», четвертой по значимости партией. Принимая такое решение, партия «Латвийский путь» подчеркивала свою центристскую ориентацию, хотя в такую коалицию не могла вступить вторая по количеству набранных голосов партия — «Движение за национальную независимость Латвии» (образованная в 1988 г.), так как члены коалиции считали, что национализм этой партии слишком выражен и отдает уклоном вправо, а также третья по количеству набранных голосов партия — «Согласие для Латвии» (полное название «Согласие для Латвии — возрождение народного хозяйства»), которая по время предвыборной кампании, среди прочего, стала выступать в качестве защитницы нелатышских национальных меньшинств. Такая стратегия с течением времени увела «Согласие для Латвии» слишком далеко влево. Депутаты парламен-

та от «Латвийского пути» представляли собой довольно странное сочетание биографий и поколений — в их число входил неизменно популярный Анатолий Горбунов, бывший секретарь по идеологии Коммунистической партии Латвии, ставший спикером парламента, Гунар Мейеровиц (1920 – 2006), один из наиболее известных политических деятелей эмиграции и сын чрезвычайно популярного некогда министра иностранных дел Латвии времен Первой мировой войны — Зигфрида Мейеровица, а также Валдис Биркавс (р. 1942), получивший ученую степень по юриспруденции в Латвийском университете в 1969 г. и впоследствии ставший активистом Народного фронта. Кабинет Биркавса стремился активно использовать ресурсы эмигрантской общины: новый министр обороны приехал из США, министр социального обеспечения — из Австралии, а министр юстиции — из Германии. Однако, будучи кабинетом меньшинства (48 голосов), правительство Биркавса продержалось лишь год.

В Литве, напротив, парламентские выборы 1992 г. обернулись значительным перевесом (42,6%) в пользу Демократической партии труда Литвы, являвшейся, по сути, переименованным крылом коммунистической партии, существовавшей до 1991 г. Чрезвычайно популярный Альгирдас Бразаускас, бывший первый секретарь компартии (1988 – 1990), в нужный момент поддержавший движение за независимость и присоединившийся к «Саюдису» (Народному фронту), в 1992 г. стал избранным президентом Литвы, набрав около 60% голосов. Результаты парламентских и президентских выборов в Литве 1992 г. продемонстрировали различия между литовцами, живущими в Литве, и эмигрантскими сообществами, с одной стороны, и Литвой и двумя другими странами Балтии — с другой.

Существовало множество различий между тремя вновь образованными государствами. Литовские эмигранты в массе голосовали за соперника Бразаускаса — Стасиса Лозорайтиса (американского литовца; 1924 – 1994), тогда как литовские избиратели поддерживали Бразаускаса. В Латвии в избирательном списке «Латвийского пути» присутствовали в основном латыши-эмигранты, тогда как в Эстонии таких кандидатов было немного. Эстонские избиратели выражали желание вернуть страну избирателям нового поколения, тогда как в Литве и Латвии подобное стремление ярко не проявлялось. В сложившихся условиях эстонские избиратели стремились, по крайней мере символически, разорвать связь

с коммунистическим прошлым; в Латвии избиратели были более склонны к тому, чтобы простить бывших коммунистов; литовский же электорат практически не испытывал проблем, связанных с появлением бывших коммунистов на высоких государственных должностях. Таким образом, эстонские избиратели поддерживали правых, в Латвии новое правительство стало центристским, а в Литве склонялось влево. Однако во всех трех странах процент голосовавшего населения был достаточно высоким: 67,8 — в Эстонии, 89,9 — в Латвии и 75,2 — в Литве, — что подтверждало, насколько высоко оценивало население значимость происходящих событий.

С самого начала демократические политические системы всех трех стран были рассчитаны на то, что на национальном уровне может действовать множество партий, как и в других парламентских демократиях Европы. Что касается двухпартийной системы, то никому она не казалась идеальной и тема ее создания напрочь отсутствовала в политическом дискурсе. Законы о формировании партий были сравнительно либеральными: для того чтобы оказаться представленной в парламенте, партия должна была набрать 4–5% голосов; вновь созданные три системы весьма напоминали те, которые существовали в их странах в начале 20-х годов, в период независимости. Подразумевалось, что ни одна из партий не может быть полностью доминирующей и правительства (кабинеты) должны быть коалиционными, что эти коалиции могут разрушаться и формироваться вновь и что в случае, если существующее распределение сил не даст возможности сформировать работающий кабинет, должны состояться новые парламентские выборы.

Выборы 1992–1993 гг. показали, что такая система может существовать и что партии, набравшие большинство голосов, не доминируют в законодательных органах: в Эстонии блок «Отечество» (возглавляемый Мартом Лааром) получил в парламенте только 28%, в Латвии «Латвийский путь» получил только 32% и в Литве Демократическая партия труда получила 48%. Даже невероятно популярная Демократическая партия труда Литвы вынуждена была обращаться к другим парламентским фракциям, чтобы добиться большинства; кабинет «Латвийского пути» предпочел начать с коалиции, обеспечившей ему только 48 из 100 голосов (кабинет меньшинства); и в Эстонии блок «Отечество» вынужден был быстро сформировать трехпартийную коалицию, чтобы иметь возможность распоряжаться 53 голосами. По сравнению со странами, где

на политической арене доминируют две партии (Великобритания, США), многопартийная система была в какой-то степени более демократичной, насколько это позволяла множественность точек зрения, результатом которой становились организованные группировки, стремящиеся к власти. С другой стороны, такая система делала работу законодательства более уязвимой: коалиции распались, если из них выходила хотя бы одна сторона; члены кабинета министров выбирались не только на основе заслуг, но и с тем расчетом, чтобы в них были представлены все члены коалиции; деятельность политиков (компромиссы, маневры и сделки) находилась всегда на виду (у свободной теперь прессы), и в сознании множества граждан складывался имидж политиков как использующих власть в собственных интересах, стремящихся к большим деньгам и преимуществам служебного положения. Преемственность в политике обеспечивалась президентами (чья власть была относительно слабой в Эстонии и Латвии и относительно сильной в Литве) и «постоянным правительством», то есть тысячами постоянно работающих министерских служащих.

Во всех трех странах количество министерств было сокращено посредством ликвидации одних функций и совмещения других. Их сотрудники превращались в «слуг народа», проходя через проверку и пересмотр служебных обязанностей, так что эта часть политической жизни также подвергалась серьезным изменениям. За хаосом длительного переходного периода (1988 – 1993) не последовали мир, стабильность и предсказуемость, однако атмосфера в обществе после выборов предполагала, что «новые правила игры» стали общепринятыми: внешние обозреватели сочли выборы справедливыми, проигравшие планировали свое возвращение на политическую орбиту, Верховные советы были мирно расформированы и символы государственной власти переданы вновь назначенным лицам с соответствующей торжественностью и церемониями.

Вторые парламентские выборы после 1991 г., прошедшие в Эстонии и Латвии в 1995 г. и в Литве в 1996 г., следовали образцу первых: очевидная непопулярность партий, находящихся у власти (во время первых выборов это были народные фронты); расширение круга соперников — существующих и новых партий, коалиций и отдельных группировок; политические платформы, полные обещаний, но не описывающие, как именно данные обещания станут выполняться; доверие к результатам голосований, а также акцентирование

внимания в предвыборной литературе к тем членам партии, кто сохранял высокий рейтинг популярности. В Эстонии за власть боролись 17 партий и коалиций, в Латвии — 19, а в Литве — 27. Результаты показали, что электорат мало разбирался в политической деятельности «наверху» в отличие от тех, кто был вовлечен в нее непосредственно. В Эстонии консервативно-националистический блок «Отечество» потерял около двух третей принадлежавших ему ранее мест в парламенте, в то время как партии с уклоном в популизм добились больших успехов. В Латвии «Латвийский путь» отступил на второе место, количество его депутатов в парламенте упало с 36 до 17. В Литве избиратели отвернулись от Демократической партии труда (ДПТ), созданной Бразаускасом, и начали больше симпатизировать правым партиям; количество мест в парламенте ДПТ упало со 141 до 50.

Вторые парламентские выборы отличались также готовностью избирателей менять свои предпочтения (в том числе весьма радикально), если им казалось, что находящаяся у власти коалиция не решает серьезных проблем, в особенности экономических. Опросы общественного мнения демонстрировали наличие группы электората, одновременно заинтересованной в «новом вхождении в Европу» и в быстрой ликвидации трудностей переходного периода, таких, как снижение доходов граждан, безработица (в том числе частичная), рост цен на продукты и социальные услуги, которые в недалеком прошлом были почти или полностью бесплатными (медицинское обслуживание, образование, общественный транспорт, центральное отопление). Некоторые из этих проблем — такие, как высокая стоимость импортных продуктов, — очевидно, требовали протекционистских мер. Для значительной части населения «новое вхождение в Европу» означало появление в стране западных инвестиций; однако платформы политических партий не акцентировали внимание на том, что подобный процесс может привести к весьма болезненным переменам как для отдельных граждан, так и для общественных институтов, поскольку это вызвало бы негодование избирателей. То, что партии и коалиции, формулируя свои политические платформы, в значительной степени опирались на данные опросов общественного мнения, определенно соответствовало общей демократизации политической жизни, однако подвергало эти партии риску впасть в популизм.

Несмотря на то что партии (особенно их парламентские фракции) могли установить строгую внутреннюю дисциплину и стреми-

лись распространить ее и на коалиции, в которых участвовали, это получалось у них далеко не всегда: часто партнеры по коалициям угрожали друг другу прекращением сотрудничества, в случае если их требования не будут удовлетворены. Отдельные члены партий покидали их ряды и становились беспартийными членами парламента; случалось и так, что группы членов партии выходили из нее, чтобы организовать новую, собственную партию, где занимали лидирующие позиции. Все политические колебания подобного рода добросовестно отражались в прессе, что ухудшало имидж партий и законодательных структур и вызывало у избирателей циничное отношение к намерениям и мотивам политической элиты.

Тем не менее ко времени третьих парламентских выборов (1999 г. — в Эстонии, 1998 г. — в Латвии и 2000 г. — в Литве) активность избирателей не давала оснований полагать, что население полностью разочаровалось в новой политической системе. Несмотря на то что количество принявших участие в голосовании уменьшилось по сравнению с первыми выборами (с 67 до 57% в Эстонии, с 89 до 71 — в Латвии и с 75 до 52% в Литве), процент избирателей в среднем оставался более высоким, чем во многих сложившихся западных демократиях. Не ослабело и желание амбициозных политиков быть услышанными в парламенте: на третьих независимых парламентских выборах в Эстонии за место в парламенте боролись 12 партий, в Латвии — 21 партия и в Литве — 17. К этому времени множество известных людей сменили партийную принадлежность или даже создали собственные партии. За десятилетие, прошедшее с 1991 г., во всех трех странах установились парламентские демократии, фундаментальные принципы которых были в целом приняты населением даже несмотря на то, что политическим деятелям (в парламентах и за его пределами), как правило, приходилось иметь дело с общественным мнением, которое могло быстро меняться от активной поддержки до самого сурового осуждения.

Национальные государства или государства всеобщего благосостояния

В первое десятилетие после обретения независимости во всех трех республиках значительная часть дискуссий велась вокруг вопроса: какое же государство теперь нужно строить? Как показало бурное становление многопартийной системы, в обществе не было

единого мнения по этому вопросу; амбициозные партии и отдельные честолюбивые личности с легкостью разрабатывали платформы, способные привлечь хотя бы частичку общественного внимания, и присовокупляли к ним декларации, что рекомендуемая ими политика соответствует «национальным интересам». Со временем сложились три основные ориентации, позволявшие рассматривать и выявлять большую часть проблем. Какой-либо полной корреляции между этими направлениями и платформами конкретных партий не существовало; население также было склонно менять свое мнение от выборов до выборов; идеологи с четкими и недвусмысленными взглядами в республиках Балтии являлись маргиналами, а сами идеологии отличались изменчивостью, так что было сложно с уверенностью охарактеризовать чью-то позицию в общепринятых терминах «правый», «левый», «центрист». Тем не менее ответы на главные вопросы: что собой представляли возрожденные республики, как определять право на гражданство в них, для чего следует использовать государственную машину, как следует распределять скудный государственный бюджет и какой должна быть внешняя политика — отражали подспудно присутствующее общее мировоззрение (нем. *Weltanschauung*), которое, в свою очередь, складывалось из исторического опыта, чувства этнической идентичности, эгоистических интересов и понимания значения самого «нового вхождения в Европу».

Несмотря на то что народные фронты раскололись и перегруппировались в политические партии (одни более, другие менее преуспевшие на парламентской арене), значительная часть того духа, что вызвал эти фронты к жизни, сохранилась и по прошествии десятилетия. Люди, сожалевшие об утере «национального единства», преобладавшего в эру 1988 — 1991 гг., и подходившие ко всему именно с такой ориентацией, были по-прежнему настроены резко антисоветски, утверждая, что 1940 — 1941 и 1945 — 1991 годы были периодом долгой, кошмарной и незаконной оккупации Эстонии, Латвии и Литвы хищным соседом. Для них «советская эра» была современным продолжением политики российского империализма, начало которой положил еще Петр I в XVIII в., и которая использовала марксистско-ленинскую идеологию в качестве прикрытия российской территориальной экспансии на Запад. Соответственно, нынешний процесс «нового вхождения в Европу» изображался как возвращение к собственному наследию, к изначальной «европей-

скости» Балтийского побережья. Все институты, нормы и модели поведения (включая административно-командный стиль экономики) советских времен следовало уничтожить; российские войска (присутствовавшие в Прибалтике до 1994 г.) должны были быть выведены, а большинство русскоязычных жителей побережья следовало убедить вернуться на их «этническую родину». Дискурс в рамках такой ориентации предполагал наличие прав собственности на географическое пространство; считалось, что часть побережья, где некогда жили древние литовцы, латыши и эстонцы, теперь «принадлежала» их современным потомкам; в данном контексте крайне широко использовалось притяжательное местоимение «наше». Главной (хотя и не единственной) целью деятельности государственного аппарата считалась защита всех форм культуры «основных наций» (эстонцев, латышей и литовцев) и особенно их языка. Такой протекционизм был необходим, поскольку число носителей этих национальных культур было небольшим, и, соответственно, они были весьма уязвимы для всеохватного влияния «внешнего» мира.

«Государство» и «национальная культура» представляли собой отдельные концепции: национальная культура имела долгую историю, тогда как государство, как показали относительно недавние исторические события, могло быть утрачено и вновь обретено, а государственный аппарат может быть захвачен людьми, враждебно настроенными по отношению к национальной культуре. Постоянно проживающие в трех странах представители других национальностей (и носители других языков) могли получить гражданство этих государств, если сдадут экзамены, подтверждающие их лояльность; в противном случае они получали статус «постоянно проживающих в стране иностранцев». Языки титульных (основных) наций являлись государственными; дать равный или сходный статус любому другому языку было бы отказом от возложенной на государство протекционистской миссии. С данной точки зрения континент Европа представлял собой конгломерат различных национальных культур (примерное об этом писал Иоганн Готтфрид Гердер в конце XVIII в.), и при этом каждое из государств в составе Европейского сообщества имело в основе культуру одной нации — и Балтийские республики тоже не могут быть чем-либо иным. И в дополнение ко всему, если западная цивилизация действительно заботится о культурном и лингвистическом разнообразии, она должна согласиться именно с таким взглядом

на континент. В конце концов, лишь в государствах, «принадлежащих» эстонцам, латышам и литовцам, дети могут по-настоящему сформироваться как личности, относящиеся именно к этим национальностям, и говорить на эстонском, латышском и литовском языках. Только в таких государствах художники слова могут проявлять свой талант на эстонском, латышском и литовском, обогащая таким образом культурное наследие всего континента. Однако выживание трех национальных культур нельзя было пустить на самотек; его должны обеспечивать и защищать государственная политика и государственный же надзор. В Эстонии во время парламентских выборов 1992 г. подобные взгляды выражала победившая партия «Отечество»; в Латвии они легли в основу платформы партии «Отечеству и свободе» в 1993 г., а в Литве — партии «Союз Отечества» (преемницы «Саюдиса»), где их высказывал лидер партии Витаутас Ландсбергис — политик, популярный по сей день. Закономерно, что правые партии конкурировали за голоса консервативно настроенного населения с «отколовшимися» партиями, декларировавшими подобные взгляды еще более бескомпромиссно.

В противовес этой общей позиции второе распространенное мировоззрение в качестве отправной точки для рассмотрения природы трех обществ Балтийского побережья использовало то состояние, в котором они находились сразу после распада СССР. С этой точки зрения тот факт, что три страны Балтии были оккупированы и аннексированы могущественными соседями-хищниками во время Второй мировой войны, может быть, и является истинным и достойным сожаления, однако прошлое изменить нельзя, и столетия существования в составе СССР нельзя расценивать как один сплошной период ничем не смягченного зла. Пережив тяжелые времена, три национальные культуры (и языки, на которых они самовыражались) все еще были вполне живы, что показало, что им ничуть не угрожала опасность исчезновения, как заявляли некоторые. Опасения отдельных писателей на этот счет были скорее выражением личных мнений, чем справедливой оценкой ситуации. В рамках суровых ограничений командной экономики талантливые люди все же имели возможности для самовыражения; специалисты в различных сферах получали соответствующее образование, модернизация хотя и значительно медленнее, чем в странах Запада, но происходила (особенно в таких сферах, как тяжелая промышленность, развитие технологии, урбанизация);

разумеется, личной свободы в данной ситуации было меньше. Коммунистические партии, хотя и присвоившие себе незаслуженные права, умели ценить таланты, и коммунизм, невзирая на претензии на всезнание, в действительности был всего лишь альтернативным способом осуществления модернизации. Такие ужасы советского периода, как ликвидации, тюремные заключения и переселение целых групп невинных людей, явились результатом неправильной политики, но не неизбежным следствием системы. Помимо этого, этнические русские так же страдали от тоталитарного режима, как и население стран Балтии; поводы для печали были у всех республик бывшего СССР.

Учитывая эти факторы, каждое из правительств стран Балтии в эпоху после обретения независимости в 1991 г. должно было признать, что все три республики нуждались в выработке собственных политических стратегий, соответствующих новой международной ситуации. Европейские страны теперь стали мультикультурными, полиэтничными и многонациональными — некоторые из-за притока иммигрантов из бывших колоний, некоторые вследствие длившейся десятилетиями политики, поощрявшей въезд «гастарбайтеров», а некоторые из-за естественной и свободной трансграничной миграции рабочей силы на континенте, столь восприимчивом к подобному либерализму. Национальные государства Европы, ни одному из которых никоим образом не угрожало исчезновение, шаг за шагом уточняли концепцию национального суверенитета, чтобы воспользоваться выгодами наступающей интернационализации. Протекционистские установки, касающиеся «национальной культуры», постепенно отступали перед лицом широко распространяющейся по всему свету международной поп-культуры.

С точки зрения подобного развития государственная политика по предоставлению гражданства в зависимости от языковых способностей выглядела крайне недемократичной; требования, чтобы школьники помимо языка, на котором говорят у них в семье, обязательно изучали государственный язык страны, представлялись этноимпериалистическими, а невозможность занимать высокие должности для лиц нетитульной национальности казалась следствием этнических предрассудков. Политика, направленная на достижение целей этнического и языкового доминирования одной национальной группы, стала напрасной тратой времени и ресурсов в тот период, когда национальные правительства должны были

сосредоточить усилия на экономическом росте и сокращении хронической бедности. Государственную политику следовало нацелить на создание государств всеобщего благосостояния по образцу Скандинавских стран, которые явились наглядным свидетельством того, что маленькие страны могут, если для них это важно, сохранить свою национальную уникальность, одновременно с этим обеспечив своих жителей — как граждан, так и неграждан — достойным вознаграждением за их труд, медицинским обслуживанием, государственными пенсиями и соответствующими образовательными услугами. Ресурсы, необходимые для создания таких государств всеобщего благосостояния, должны были поступать благодаря реформированной налоговой системе, нацеленной на новый класс богатых — то есть на тех, кто воспользовался плодами «шоковой терапии», «дикого рыночного капитализма», — поскольку неравенство в доходах достигло немыслимых пределов. Для балтийских республик имело огромный экономический смысл ориентироваться как на Запад, так и на Россию, поскольку оба направления представляли собой рынки сбыта для их товаров и услуг; и кроме того, множество жителей стран Балтии сохраняли лингвистические, культурные и исторические связи с Россией. Во время парламентских выборов 1992 г. эту ориентацию наиболее ясно выражала Объединенная народная партия Эстонии, стремившаяся получить голоса этнических русских; элементы такой ориентации присутствовали и в платформе Партии сельчан, которую возглавил бывший последний руководитель страны советского периода Арнольд Рюитель. В Латвии эта ориентация проявилась в платформах таких партий, как Партия народного согласия и «Равноправие», — обе они призывали к интеграции этнических русских в латышское общество, — а также в действиях Социалистической партии, претендовавшей на преемственность по отношению к социал-демократическому движению Латвии в межвоенный период. Неудивительно, что обещания социального благополучия подобного рода присутствовали в программе «Народного движения Латвии» — крайне популистской партии, выступавшей «против элит» и довольно успешно выступившей на вторых парламентских выборах 1995 г. В Литве, где право избирать в соответствии с конституцией 1992 г. было предоставлено всем постоянным жителям республики, включая этнических русских и поляков, левые были наиболее явно представлены Демократической партией труда (победившей на парламентских выборах

1992 г.). Ее более слабая соперница, Литовская социал-демократическая партия, была против приватизации и весьма скептически относилась к ориентации Литвы на Запад.

Эти две точки зрения можно охарактеризовать как правую и левую в рамках политического мышления в трех республиках после 1991 г. Однако ни один политик и ни одна политическая партия не поддерживали все их элементы с равной силой, и многие выбирали третий — средний путь, пытаясь представить себя прагматиками, центристами и в большей мере людьми, способными решать проблемы, чем истинными приверженцами ценностей того или иного направления. Реформы для таких политиков означали прежде всего переход от нынешних «посткоммунистических» реалий к «нормальному» состоянию европейских стран. В подобном стиле мышления «новое вхождение в Европу» должно было предполагать пристальное внимание к правилам, установлениям и предложениям европейских международных организаций, в которые хотели бы вступить три новые республики, приняв все соответствующие ограничения на абсолютную свободу национальных действий. Это выражалось в поддержке мер, направленных на продвижение к свободному рынку, а также в мерах по защите тех, кто по разным причинам не был конкурентоспособным. Соответственно, меры по внедрению государственных языков и защите национальной культуры не могли осуществляться без одновременных мер по защите языков и культур национальных меньшинств. Во внутренней политике необходимо было также избегать действий, продиктованных желанием отомстить русским за их гегемонию в политической и культурной жизни в советский период, а также любых других мер, за которыми стояло желание рассчитаться за еще более давние исторические обиды. Все чувствительные меры должны опираться на современную европейскую систему ценностей. Все споры, связанные с границами, следовало быстро и мирно урегулировать, основываясь на компромиссах, даже если в результате приходилось уступить часть территории.

Национальный суверенитет в этом контексте не мог стать оправданием для поведения, опорой которого служит представление о собственной автохтонности, для автаркических действий в экономике и совершенно независимого начертания курса национального будущего. Если три республики хотели воспользоваться всеми выгодами помощи своему развитию со стороны Европы — финансовой

и всякой другой, — они должны были во всем действовать в согласии с той системой ценностей, которую Европа внедряла в международные организации на протяжении той половины столетия, когда она изменялась сама. Перенесенные в прошлом страдания сами по себе не давали балтийским республикам особого статуса — многие народы Европы так или иначе пострадали в прошлом. Гораздо больший интерес вызывало то, как три республики планируют решать свои проблемы в будущем, невзирая на то что их мечты об исправлении ошибок прошлого так в полной мере и не осуществились. Им следовало неутомимо стремиться к тому, чтобы и в этих странах существовал широкий спектр различных представлений о политическом и экономическом развитии и чтобы в идеале он был примерно таким же, как в европейских странах. Их девизом должны были стать умеренность, компромисс, прагматизм, переговоры, рационализм, центризм и исключение всех крайних идеологических позиций. По определению, партии, пытавшиеся вести компромиссную политику, надеялись привлечь голоса с помощью имиджа умеренности, компетентности и уважения к признанным лидерам. На выборах 1992 г. в Эстонии эта стратегия в исполнении центристов (главным образом Центристской партии, возглавляемой Эдгаром Сависааром, основателем Эстонского народного фронта), но она оказалась эффективной в 1995-м и особенно в 1999 г., когда Центристская партия получила больше всего голосов (а на втором месте была партия «Отечество»). В Латвии центристская партия «Латвийский путь» триумфально победила на выборах 1993 г., однако в 1995 г. избиратели разочаровались в центризме и склонялись либо в сторону новой, левоцентристской Демократической партии Саймниекс («партии хозяев»), либо голосовали за популистское, протекционистское и оппортунистическое «Народное движение Латвии». В Литве популярность левых упала к выборам 1996 г.: социал-демократов вытеснили формально более умеренный, но по-прежнему националистический «Союз Отечества» и союзная ему небольшая Партия христианских демократов, а на выборах 2000 г. потерпел поражение и «Союз Отечества». Даже несмотря на то, что социал-демократы теперь получили больше парламентских мест, чем другие партии, правительство было сформировано наскоро созданной коалицией центристских партий, при этом некоторые из них возникли совсем недавно. Ландсбергис, лидер потерпевшего поражение «Союза Отечества», назвал это центристское правительство «супом, в котором можно найти все что угодно».

За первое десятилетие после 1991 г. новые политические элиты осознали, что, какой бы из философских ориентаций они ни симпатизировали, ни одна из них не обещает быстрого решения актуальных проблем, связанных с обеспечением экономического роста. Какая бы партия ни выиграла выборы, она неизменно сталкивалась с нехваткой бюджетных средств, и предвыборные обещания оставались невыполненными, к разочарованию как самих партий, так и их электората. Эти проблемы было несложно идентифицировать, но они были связаны друг с другом, и, таким образом, откладывание реформ (или частичные реформы) в одной сфере тормозили прогресс во всех остальных. Расширение свободного рынка (что, в принципе, хорошо), казалось, не влечет за собой иных последствий, кроме как появление класса «новых богатых», доходы которого намного превосходят уровень доходов и заработной платы всего остального населения. Доходы многих из этих «новых богатых» к тому же не облагались налогами — из-за несовершенства налоговой системы и законодательства, а также из-за страха подорвать «дух предпринимательства». Приватизация недвижимого имущества, земли и промышленных предприятий, начавшаяся еще до 1991 г. и продолжавшаяся во всех трех республиках на протяжении 90-х, недостаточно эффективно контролировалась правительством и, по-видимому, пошла на пользу лишь тем, кто быстро овладел технологией финансовых манипуляций. Множество нормальных граждан по-прежнему испытывали двойственные чувства по отношению ко всему, что отдавало «спекуляцией», так осуждавшейся в годы прежней, командной экономики.

Не желая подавлять рискованные настроения, столь необходимые для свободного предпринимательства, правительства трех республик медлили с регулированием бизнеса, что открывало путь для всякого рода шарлатанства и «финансовых пирамид». Новые банки обещали огромные проценты, чтобы привлечь вкладчиков, разбогатевших на более ранних стадиях, — эти проценты предполагалось выплачивать из поступлений от новых вкладчиков, но вся схема рухнула, когда все вкладчики одновременно начинали требовать свои деньги с обещанными гигантскими процентами. Подобные махинации вызвали «банковский кризис» 1995 — 1996 гг. в Латвии, когда целая группа крупнейших банков либо рухнула, либо обратилась за помощью к Банку Латвии. Бизнесы и синдикаты возникали в один день, обещали неслыханные инвестиционные возможности,

привлекали таким образом нескольких инвесторов и исчезали вместе с их деньгами. Реформаторски настроенные кабинеты министров неизменно на шаг отставали от быстро меняющегося рынка, осознавая потребность в его регулировании лишь после того, как ущерб уже нанесен. Часто реформы тормозились из-за министерств, сотрудники которых, воспитанные долгими годами работы при советском режиме, не были уверены в том, как именно следует внедрять новые законы; реформы гражданской службы на тот момент еще не вступили в силу или в лучшем случае лишь начинали медленно развиваться. Турбулентная экономическая ситуация развивалась в условиях настоящей криминальной угрозы со стороны предположительно местных или российских «мафий», воспользовавшихся плохо прописанными правилами экспортно-импортных операций, коррупцией, поразившей таможенные службы, и слабостью плохо оснащенных полицейских сил. Сами политические лидеры часто обнаруживали плохое понимание этических норм, например когда награждали сами себя и друг друга различными наградами и премиями, принимали «гранты на обучение» из рук крупных промышленников, за счет парламентских фондов арендовали жилье для родственников или включали членов своих семей в государственные платежные ведомости. Идеализированное «государство всеобщего благосостояния» скандинавского образца оставалось отдаленной целью, и даже политические партии, полностью разделявшие этот идеал, — такие, как литовская Демократическая партия труда, — казались неспособными предпринять решительные шаги для его достижения. Для большинства населения было слабым утешением, что ВВП на душу населения начал наконец расти после пережитого периода падения в Эстонии и Латвии в 1994 — 1995 гг. и чуть позже, в 1997 г., в Литве. Сухие статистические данные не воплощались немедленно в улучшение стандартов жизни большинства населения. По этому критерию в 1995 г. Эстония ушла далеко вперед от других двух стран Балтии, Латвия занимала второе место, а Литва — третье. Однако все три страны существенно обгоняли по данному показателю Российскую Федерацию, что объясняет, почему ко второй половине 90-х годов практически прекратилась эмиграция русскоговорящего населения из Эстонии и Латвии.

Экономический спад, сопровождавший обретение независимости, не дал населению возможности в полной мере ощутить удовлетворение происходящим; те, кто хотел, чтобы независимость

стала необратимой, были вынуждены радоваться символическому признанию самого этого факта. Принятие в число государств — членов международных организаций (включая ООН) было одним из важнейших символов независимости, как и окончательный вывод российских войск из стран Балтии в 1993 — 1994 гг. Значительным поводом для гордости стало и то, что к концу 90-х во всех трех государствах парламентские и президентские выборы прошли в «нормальной» манере, присущей демократическим странам: проигравшие не устраивали массовых демонстраций и почти никто не утверждал, что результаты выборов подтасованы. Не менее важным символом стало исчезновение из ежедневной жизни признаков того, что когда-то эти три страны были частями более крупного русскоязычного государственного образования. С улиц исчезли статуи Ленина и другие памятники советской эпохи, а сами улицы и площади начали переименовывать еще до 1991 г., в основном возвращая названия, существовавшие до 1940 г. Кириллица исчезла со всех вывесок, и законы о языке (хотя и воплощаемые в жизнь далеко не лучшим образом) заставляли всех, в чьи профессиональные обязанности входит обслуживание населения, — включая служащих, кондукторов в общественном транспорте, официантов и чиновников, — по меньшей мере, пытаться говорить с посетителями и клиентами на государственном языке.

Все эти перемены свидетельствовали о том, что литовцы, латыши и эстонцы вновь являются «собственниками» своих стран. Более того, возвращающееся чувство «собственности» означало, что ревнители национальной культуры (главным образом художники и литераторы) могли начать работать над возвращением национальной культурной целостности, интегрируя в национальную культуру пережитый опыт эмигрантов 1944 — 1945 гг., срывая покров тайны с депортаций 1841 и 1948 — 1949 гг., осмысливая опыт депортированных как ценный для национальной истории и, наоборот, исключая из нее элементы, привнесенные партийным диктатором в советскую эру. Эмигрантов больше не считали «буржуазными националистами» или «фашистами», а сосланных в сибирскую ссылку — «врагами народа». «Героев» советской эпохи теперь воспринимали как виновников жестокой оккупации, длившейся полвека. Внедрение этой исторической парадигмы в школьные учебники символизировало возвращение прав собственности на «национальное прошлое», спасенное от служения философии истории марксизма-ленинизма и русского шовинизма.

Важную символическую роль играли также президенты трех стран, к 2000 г. представлявшие их во внешнем мире. Избранный в Эстонии в 1992 г. и переизбранный в 1996-м Леннарт Мери (1929 — 2006), ученый и писатель, переживший сибирскую ссылку, был бескомпромиссным «европейцем». В 1998 г. французская газета *La Vie* даже назвала его «европейцем года». В Латвии Вайра Вике-Фрейберга (р. 1937), избранная в 1999 г. и переизбранная в 2003-м, была эмигранткой, родившейся в Латвии, но выросшей в Германии, Марокко и Канаде. Она была профессором психологии в Монреальском университете и, хотя не говорила по-русски, общалась на международных мероприятиях на прекрасном английском и французском. В Литве в 1998 г. избиратели отдали голоса Валдасу Адамкусу (р. 1926), некогда эмигрировавшему в США и до того, как он стал активно принимать участие в политической жизни Литвы (после 1991 г.), на протяжении долгих лет возглавлявшему в Агентстве по охране окружающей среды Управление региона Великих Озер (США). Каждый из этих президентов по-своему представлял процесс «национального исцеления», когда «нация» принимала обратно тех, кого отторгли от нее принудительно или вследствие тяжелых обстоятельств. И все они были несомненно ориентированы на Запад.

Налаживание новых связей и его последствия

Турбулентная внутренняя политическая жизнь возрожденных балтийских республик после 1991 г. разворачивалась на фоне постоянно расширявшихся связей этих стран с международными организациями, особенно теми, что базировались в Европе. Некоторые международные организации (такие, как ООН) сразу приняли упомянутые страны в свои ряды в качестве полноправных членов, тогда как многие другие сначала предложили им статус кандидатов — до тех пор, пока все полноправные члены не примут решение, что новые страны соответствуют всем критериям членства в организации. Это был «интернационализм» совсем другого рода, чем принятый в СССР; там данный термин использовался лишь применительно к социалистическим государствам и организациям, контролировавшимся и направлявшимся Советским Союзом. Теперь дверь во внешний мир была широко открыта, и для

большинства жителей Балтийского побережья интернационализация, в принципе, означала вестернизацию. Разумеется, новые страны установили дипломатические отношения со всеми другими посткоммунистическими государствами, включая Российскую Федерацию, но ни одна из балтийских республик не вступила в основанное в 1992 г. Содружество Независимых Государств, опасаясь новой зависимости от России. Подобные же опасения присутствовали в некоторой степени и при установлении формальных и неформальных отношений и с Западом, когда в эти страны пришло понимание, что членство в западных организациях также означает самоограничение абсолютной свободы действий. Только что закончился пятидесятилетний период жизни в составе «союза», в котором доминировал один из его членов, и поэтому население стран Балтии сомневалось в разумности немедленного вступления в новые союзы — не важно, насколько демократические, — где ключевые роли играла горстка благополучных стран, обладающих большими экономическими возможностями. В начале 90-х годов обсуждение этих вопросов приобрело характер диалога между политическим руководством страны и скептически настроенным населением. Большинство ведущих политических партий во всех трех балтийских республиках поддерживало движение в сторону Запада; однако русскоязычное население и партии, отражавшие его интересы, колебались, сомневались, а иногда и открыто выступали против. Некоторые сомнения высказывали и партии правого крыла, хотя в их случае это был скорее страх перед неизвестностью, смешанный с романтическими представлениями о национальном суверенитете.

Однако желание заново войти в Европу оставалось чрезвычайно сильным, и к середине 90-х годов общество восприняло саму эту фразу как обозначение того, что страны Балтии должны вступить во все международные организации, в которых состоят остальные «нормальные» европейские государства. Западные же государства, со своей стороны, поощряли интеграционные процессы; больше всего неформально поддерживали вступление стран Балтии европейские страны, имевшие с ними глубокие исторические связи — Германия, Швеция и Финляндия, а также североамериканские страны — США и Канада, где существовали активные балтийские эмигрантские сообщества. Конечно, интерес западных стран к побережью имел и экономический аспект: три новых страны могли стать рынком для потребительских товаров, а также предоставляли

потенциальные инвестиционные возможности. Существовали и геополитические мотивы, все еще осознаваемые в терминах закончившейся «холодной войны», — исключить балтийские республики из российской «сферы интересов» и присоединить их к «свободному Западу». Все эти смешанные мотивы и колебания с обеих сторон так и не исчезли окончательно, однако со стороны населения они были недостаточно сильными, чтобы оно попыталось мешать правительствам реализовать решения о вступлении в такие организации.

На данной стадии важную роль играл Совет государств Балтийского моря, основанный в 1992 г.; эта организация просвещала представителей трех новых республик, объясняя им, что сотрудничество, координация политических мер, компромиссы и переговоры не мешают национальному суверенитету. Когда в 1992 г. Европейское сообщество (ныне Европейский союз, ЕС) включило в свою программу помощи странам, переживающим переходный период, государства Балтии, это стало дополнительным подтверждением того факта, что координация и согласование планов развития стран не являются вредными. Такое взаимодействие требовало постоянного диалога и компромисса, но никак не предательства национальных интересов. Представители стран Балтии, на протяжении десятилетий привыкшие повиноваться указаниям из «центра», поняли, что не все централизованные организации одинаковы. В 1995 г. Эстония, Латвия и Литва заявили о желании вступить в Евросоюз и получили статус кандидатов. Одним из побочных результатов этого стала переориентация торговли с восточных рынков на западные и, соответственно, увеличение числа западных фирм, вступивших на «балтийский рынок». Были созданы комиссии Евросоюза, целью которых было подготовить страны Балтии к полноправному членству в ЕС, разъясняя политическому руководству этих государств, как необходимо работать над продвижением к свободному рынку, избегать протекционистского законодательства и продолжать необходимые внутренние реформы.

Совместные действия по обеспечению безопасности были столь же важны, как и экономические связи, и почти немедленно после событий 1991 г. три новые страны стали стремиться к вступлению в НАТО. Это являлось гораздо более сложной задачей, чем вступление в ЕС, поскольку касалось не только интересов европейских государств, но и США, и, разумеется, России, с которой страны НАТО стремились построить отношения с учетом оконча-

ния «холодной войны». Правительства балтийских республик полагали, что только НАТО может защитить их от реваншистских поползновений России; однако, с точки зрения Организации Североатлантического договора, принятие бывших советских республик представляло собой рискованный шаг, который Россия с высокой вероятностью могла воспринять как угрозу собственной безопасности. Кроме того, НАТО создавалась как оборонный альянс, каждый член которого должен быть в состоянии внести значительный вклад в защиту других государств в составе блока.

В начале 90-х годов страны Балтии не располагали значительными вооруженными силами; советские (то есть теперь российские) войска еще присутствовали на их территориях, и в интересах российской государственной безопасности было предполагать, что балтийские республики станут частью «ближнего зарубежья» России — то есть останутся в сфере ее интересов. Не было единодушным и общественное мнение в самих странах побережья: население, скептически относившееся к установлению тесных экономических связей с Западной Европой, резко возражало против вступления в военный блок, который оставался символом противодействия СССР на протяжении десятилетий «холодной войны». Те, кто во всех сомнительных вопросах был склонен принимать российскую сторону, в отношении вступления в НАТО объединялись с теми, кто считал, что в балтийских республиках вообще не должно быть каких-либо вооруженных сил, а также с теми, кто полагал, что страны Балтийского пояса должны быть безъядерной зоной, а также с поклонниками идеи нейтралитета. Однако все правительства балтийских республик после 1991 г., тем не менее, быстро взяли курс на то, чтобы в конечном счете вступить в НАТО, видя в этом цель своей внешней политики. К 1998 г. вопрос о членстве был временно отложен, потому что США разработали Хартию партнерства, где провозглашалось, что Соединенные Штаты одобряют интеграцию балтийских республик в такие европейские и трансатлантические организации, как Евросоюз, ОБСЕ (Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе), ВТО, и, наконец, в саму НАТО. Партнерство с последней могло смениться на статус полноправного члена Организации в том случае, если новые члены продемонстрируют готовность взять на себя все соответствующие обязанности — то есть увеличат оборонные бюджеты и создадут полноценные национальные вооруженные силы. В то же время члены НАТО, особенно США, прикладывали

значительные усилия по вовлечению России в различные мероприятия Организации, чтобы продемонстрировать, что последняя не имеет агрессивных намерений.

Европейская организация, в которую балтийские республики вступили сразу же после обретения независимости, в 1991 г. называлась тогда Советом по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ). В 1995 г. она стала Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Созданная в 1975 г. для того, чтобы разрешать споры, прежде чем они перерастут в конфликты, Организация включала более 50 участников и распространяла свой контроль на такие сферы, как вооружения, соблюдение прав человека, защита национальных меньшинств, демократизация, охрана порядка, и различные действия в сфере экономики и охраны окружающей среды. Программы ОБСЕ задумывались как система, предупреждающая государства о том, что те или иные меры могут ввергнуть их в кризис, способный потребовать предотвращения конфликта и кризисного управления. Хотя вступление в СБСЕ/ОБСЕ было логичным шагом, общественное мнение на протяжении последующих десяти лет часто подвергалось сомнениям намерения этой организации, когда ее Верховный комиссар по делам национальных меньшинств, Макс ван дер Штул (находился в должности в 1992—2001 гг.), часто посещал страны Балтии и во время этих визитов стремился побудить правительства трех стран к справедливому, с точки зрения ОБСЕ, обращению с русскоязычными меньшинствами в Эстонии и Латвии и более малочисленными меньшинствами в Литве. Особенно негодовали по этому поводу те, кто считал, что национальные правительства должны быть инструментом защиты национальной, то есть эстонской, латышской и литовской, культуры и закрепленных в конституции государственных языков упомянутых стран. Для этих групп населения оскорбительным явился сам факт, что политику их страны по вопросам языка и отношения к меньшинствам могут отслеживать «посторонние». Разумеется, ОБСЕ не могла диктовать внутреннюю политику, однако могла напомнить балтийским республикам, что членство в европейских организациях с соответствующей возможностью получать как консультации, так и экономическую помощь влечет за собой необходимость подчиняться существующим международным нормам и что отчеты ОБСЕ неизбежно будут изучаться другими организациями, не занимающимися напрямую вопросами защиты меньшинств.

«Европа» ожидает, что государства в ее составе имплементируют законодательство, отражающее всеобъемлющую и развивающуюся концепцию «прав человека», и попытки свести счеты с меньшинствами, занимавшими ранее доминирующее положение, не являются прочным базисом для создания полноценного европейского государства.

Избранные правительства трех балтийских республик быстро поняли, что новое вхождение в Европу будет длительным, многогранным процессом, для которого недостаточно лишь получить «членские билеты» различных организаций. Общественному же мнению понадобилось гораздо больше времени, чтобы принять данный факт; оценки от «посторонних» часто воспринимались как критика или приказы, а это порождало популистские заявления о том, что «Европа никогда не поймет нас», и различные «теории заговора». Но даже в таких условиях три страны Балтии, вступив в 90-х годов в какую-либо международную организацию, никогда не выходили из нее. Международные нормы были шаг за шагом успешно включены в законы каждой из стран посредством нормальных политических процедур. Новый закон, предложенный правительством, обычно направлялся для проверки группе специалистов соответствующего министерства; эти люди, знакомые с международными нормами, пользовались консультациями международных советников, предлагали те или иные изменения; затем предлагаемый закон вновь направлялся в кабинет для обсуждения и затем — в парламент для обсуждения и голосования. Поправки, предложенные в парламенте, могли быть приняты или отклонены, и затем закон, получивший парламентское одобрение, направлялся президенту, который также мог вернуть его в парламент для доработки. Такой процесс, практически незаметный для большинства населения, предоставлял многочисленные возможности для правительства подвергнуть испытанию государственный «суверенитет» в процессе создания новых законов или нормативных актов, в которых были заинтересованы международные организации — такие, как ОБСЕ. Большинство новых законов и нормативных актов, разумеется, почти не вызывали разногласий и не давали поводов для вмешательства международных наблюдателей.

По мере того как балтийские республики все больше участвовали в работе международных организаций и во всемирной системе дипломатического представительства, для них становилась все

более актуальной проблема наличия квалифицированного персонала. В последние годы советского периода повсеместно значительно увеличилось количество министерств и ведомств, занимавшихся внутренними делами: экономикой, культурой, социальным обеспечением, транспортом, финансами, коммунальными услугами и другими внутренними вопросами; все они казались необходимыми в том случае, если три республики получат определенную автономию в реформированном Советском Союзе. Министерства иностранных дел в этой ситуации не требовалось, поскольку вопросы внешних сношений относились к компетенции московского правительства. Однако после обретения независимости появились новые приоритеты — стало совершенно обязательным не только наличие министерства иностранных дел, но, в условиях уменьшившегося национального бюджета, необходимо было найти способ сократить общее количество министерств и ведомств, а также количество персонала в оставшихся. Даже министерства, не занимавшиеся напрямую международными связями, нуждались в сотrudниках, ориентированных на общение с «внешним миром» и имевших соответствующую языковую подготовку — особенно знавших английский язык. Легче всего было найти таковых в университетах и научно-исследовательских институтах, и с начала 90-х годов стал отмечаться отток людей из академической науки (особенно гуманитарных и социальных дисциплин) в правительственные структуры. Другие кадры, обладавшие технической подготовкой, но не знавшие второго языка, кроме русского, а также владевшие только русским, в большинстве своем заменялись.

Общая переориентация на Запад затронула, фактически, все работающее население, особенно в сфере обслуживания. На балтийском рынке появились сети предприятий быстрого питания, которые стали конкурировать с местными предпринимателями, занятыми в той же сфере. Крупные коммерческие предприятия из Скандинавских стран и Германии стали искать возможности для инвестирования, и в Таллине, Риге и Вильнюсе появились торговые центры и отели с хорошо известными по всему миру названиями. Безразличное и невнимательное отношение к клиентам обслуживающего персонала советских времен хорошо известно, и от подобного поведения необходимо было быстро избавляться. Тут же кстати пришелся и языковой вопрос: законы о языке требовали, чтобы персонал, обслуживающий население, был в состоянии

при необходимости общаться с ним на государственном языке независимо от того, какие другие языки требовались для оптимального исполнения своей работы. Знание иностранных языков (кроме русского) стало частью требований к сотрудникам на различных позициях; помимо этого, обслуживающий персонал был вынужден выучить и применять в работе такие западные кредо, как «покупатель всегда прав», а также осознать, что наличие рабочего места зависит от качества работы, — это было неактуально в советское время, когда предполагалось, что каждому гражданину необходимо предоставить работу, приносящую доход, независимо от качества его работы. Эти изменения были особенно трудны для старшего поколения; новые требования казались «нормальными» младшему поколению, выходящему на рынок труда. Помимо этого, «западные» способы работы несли на себе некий флер привлекательности.

Необходимость управлять предприятиями, принадлежавшими собственникам с Запада, породила в балтийских республиках потребность в обучении управляющего персонала на Западе — это могли быть различные внутренние программы, летние университетские курсы, созданные специально для подобных целей, а также краткосрочные стажировки в западных компаниях, чтобы научить «секретам торговли». Личные и дружеские связи, возникшие вследствие этого, породили в определенном смысле долгосрочную «систему наставничества», которая легко реализовывалась благодаря более быстрым современным средствам связи, таким, как факс и электронная почта, а также все более широкому использованию английского как международного языка мира бизнеса. Вестернизация, однажды начавшись, произвела эффект большого валуна, рухнувшего в маленький пруд, — круги начали распространяться и заняли всю поверхность. Количественные характеристики экономики трех республик вошли в международную систему рейтингов в целях информирования потенциальных инвесторов о возможных выгодах и степени безопасности инвестиций. Внутренние публикации национальной статистики должны были соответствовать установленным международным нормам и рассчитываться в соответствии с ними. Те, кто жертвовал средства на гуманитарную помощь, ожидали отчетов о том, как тратятся деньги и какой процент из них выплачивается в качестве зарплаты администраторам. Чтобы иметь возможность принимать студентов из балтийских республик, западные образовательные учреждения

стремились узнать, что именно входит в компетенцию выпускников тех или иных учебных заведений стран Балтии. Новое вхождение в Европу означало необходимость соблюдения множества «переходных обрядов», в которых чрезвычайно ценилась транспарентность, — и это часто вступало в противоречие с секретностью, принятой в советское время как в общественных делах, так и в частных взаимоотношениях. Для многих стресс от необходимости приспособляться к новому оказался невыносим, и количество людей старшего поколения, добровольно оставивших работу, было значительным, что увеличивало в государствах Балтии число «экономически неактивного населения». Например, в Латвии эта категория, в которую не входили безработные, находившиеся в поисках работы, возросла с 8600 человек в 1991 г. до 22 500 в 1992-м, 75 800 в 1993-м и 95 500 человек в 1994 г.

В течение некоторого времени после 1991 г. различные европейские сети, все сильнее опутывавшие балтийские республики, смотрели на последних, как и на все другие бывшие советские республики, сквозь призму «посткоммунизма», проявляя к ним такую же снисходительность, какой отличаются родители по отношению к детям-подросткам. Ожидалось, что данные страны, пройдя трудный период «взросления», будут способны взять на себя «взрослую» ответственность в соответствии с их размером и экономическими возможностями. При этом не существовало никаких точных моделей такого посткоммунистического «переходного периода», позволяющих сколько-нибудь точно определить, когда же пора перестать проявлять снисходительность. Длительные процессы, включавшие постоянную оценку относительно готовности к вступлению в ту или иную организацию, продолжались и в первые годы нового тысячелетия. В 2004 г. балтийские республики были сочтены достаточно «зрелыми», чтобы принять их в ЕС и НАТО в качестве полноправных членов. Положительные решения в обоих случаях означали, что национальная независимость этих стран получает еще одно подтверждение со стороны обширной системы существующих государств. Для большинства населения стран Балтии такое дополнительное подтверждение было желательным, однако, как показывают опросы общественного мнения, значительная часть людей во всех трех странах продолжала выказывать сомнения относительно этих шагов. Некоторые сомневались в разумности увеличения символической дистанции между балтийскими республиками и Россией, другие опасались трудностей, связанных

с уменьшением национальной свободы действий, а некоторых раздражал бесконечный поток поступающих извне «стандартов», соблюдения которых требовали от своих членов западные организации. Тем не менее основные вехи на пути к членству в ЕС и НАТО были пройдены всеми тремя странами благодаря деятельности избранных правительств и общественной поддержке их решений — хотя и не повсеместной, но все же выказываемой большинством населения.

Открытие прошлого

Вступление в качестве полноправных членов в наиболее важные западные экономические и военные организации означало, что посткоммунистическая фаза осталась для балтийских республик позади. Эти геополитические процессы происходили одновременно с попытками склонных к историческому мышлению интеллектуалов трех стран объяснить происшедшее и все еще происходящее. Любой прибалт-долгожитель, родившийся, скажем, в 1910 г., пережил две мировые войны, принятие двух деклараций независимости, оккупацию нацистской Германией и СССР, массовые депортации и эмиграции, значительные потери населения и его прирост, а теперь — беспрецедентную переориентацию в сторону Запада. Эту фрагментированную историю предстояло сделать единым целым, хотя бы для того, чтобы преподавать школьникам целостную, легко воспринимаемую историю родной страны. Данную задачу было существенно труднее решить, чем поставить, поскольку история всех трех стран Балтии в XX в. не имела сколько-нибудь выстроенной концепции, в отношении которой взрослые хотя бы пришли к согласию.

Но даже и отдаленное прошлое — за столетия до XX в. — также не имело общепринятого объяснения, основанного на единой концепции, не предполагающей двойных толкований. Исследователям оставалось только бросать завистливые взгляды на такие национальные государства, как Франция, Великобритания, США, Скандинавские страны, история которых, хотя и перемежавшаяся гражданскими войнами и всякого рода раздорами, все же имела давно устоявшуюся структуру и границы, внутри которых размещались все события. История же стран Балтии не имела подобной долговременной структуры. Эти государства были продуктом Первой

мировой войны, и их недавнее возрождение как суверенных государств стало результатом неожиданного завершения «холодной войны» между глобальными сверхдержавами. Однако при этом было важно показать, что три балтийские республики как политические образования представляли нечто большее, чем просто побочный продукт мировых исторических процессов, в которых латыши, эстонцы и литовцы не были главной движущей силой. Напротив, требовалось доказать, что три народа являлись «деятелями», то есть, фактически, сами творили свою историю, пусть и в рамках, налагаемых внешними обстоятельствами.

Уже в третий раз на протяжении XX в. историописание на Балтийском побережье меняло свой курс. В первый раз это произошло после 1918 г., когда историки поставили под сомнение триумфалистскую историографию, созданную балтийскими немцами и поляками, в которой именно данные национальные меньшинства рассматривались как движущие силы на побережье, в то время как эстонским, латышским и литовским «крестьянам» отводилась роль пассивных наблюдателей. Второй раз это случилось после 1945 г., когда коммунистическая партия создала жесткую схему, в рамках которой русские и Российская империя изображались в качестве источников благодетелей для народов побережья начиная со времен Средневековья. Согласно этой схеме, в XX в., с его классовыми конфликтами, Советский Союз после 1940 г. помог «пролетариату» трех народов осуществить свою историческую миссию. Теперь, в 90-е годы, эти интерпретации оказались не востребованными, и десятки учебников, монографий и статей, вышедших из-под пера историков советского периода в соответствующих университетах и исследовательских институтах, утратили доверие. Столь необходимая переориентация была психологически сложной по нескольким причинам. Посткоммунистическая эпоха наступила крайне быстро, и многие историки и писавшие на исторические темы оказались перед лицом задачи создать «новую» историю, в то время как еще совсем недавно они профессионально активно работали в советское время, писали в принятых тогда рамках, с той или иной степенью энтузиазма. Теперь коллеги принялись осуждать друг друга, решая, кто насколько «грешен» и кто может продолжать работать. Кто-то ушел на пенсию. Некоторые сменили профессию, другие стали создавать «новую» историю даже с большим рвением, чем «прежнюю», тогда как остальные продолжали работать, надеясь, что их «грехи» будут поняты и прощены обществом. Суще-

вал и определенный разрыв поколений; молодым ученым, начавшим учиться в середине 80-х и кому только предстояло публиковаться, не приходилось извиняться за свои прежние работы. Более того, тем, кто взялся за разработку «новой истории», пришлось осознать, что «национальная история», которую они теперь пишут, не может сводиться к тому, чтобы просто вернуться к межвоенному периоду и затем продолжить описание в том же стиле, что был прерван в 1940 г. Прославляющие национальную историю труды не выдерживали критики иностранных коллег, поскольку историки западных стран также существенно изменили свои подходы с середины XX столетия. Нет какого-то одного европейского пути в написании истории; существует легион всевозможных конкурирующих интерпретаций прошлого. С 60-х годов XX в. историки Запада стали обращать внимание не только на богатых, успешных и могущественных, но и на маргинализованные слои населения, особенно на всякого рода меньшинства. Требовалось, чтобы «национальные истории» повествовали о женщинах, заключенных, сексуальных меньшинствах и нуждающихся. Интеллектуальная свобода, появившаяся после 1991 г., пришла одновременно с западными представлениями о том, как должна выглядеть «национальная история», и это теперь нужно было включать в исторические труды. Многим сказанное казалось крайне несправедливым, однако, поскольку вестернизация оказала с 1991 г. колоссальное влияние и на профессию историка, оказалось невозможно игнорировать новые, европейские способы писать историю — даже если некоторые и называли это «модой». Эстонские, латышские и литовские историки, планируя свою работу, должны были рассчитывать, как минимум, на две аудитории — читателей в собственных странах, которые последние полвека могли знакомиться только с крайне идеологизированными историческими трудами и теперь действительно хотели знать, что же на самом деле происходило в прошлом, и представителей мировой исторической науки, согласно которой национальные истории любых государств (которые продолжали писать в основном в виде учебников), в целом не рассматривались как серьезный вклад в багаж знаний человечества. К тому же в интеллектуальном пространстве Запада прошлое в целом затенялось более современной, актуальной и привлекательной популярной культурой, обращенной в основном к молодежи. Привычка к пассивному чтению, по всей видимости, проигрывала в битве с интерактивной культурой киберпространства.

Новые «национальные истории», которые начали появляться в 90-е годы, отличались и от того, что написано в советское время, и от исторических трудов периода «первой независимости», поскольку и те и другие несли в себе некое «представление о неизбежности», — что бы ни происходило на протяжении столетий вплоть до XX в., любые изменения должны были приближать либо появление независимых государств Балтии в 1918 г., либо «триумф пролетариата» в 1940 г. Теперь эти исторические события рассматривались, как любые другие, а не как некий закономерный результат исторического развития. Представление о том, что исторические изменения происходят благодаря «движущим силам» — землевладельческой аристократии в далеком прошлом, великим князьям и царям, «трудящимся массам», коммунистической партии, «прогрессивным силам», — сменилось гораздо более всеобъемлющим представлением о том, как происходит исторический процесс. Все население территорий современных Литвы, Латвии и Эстонии участвовало в событиях, заслуживающих упоминания; все жители этих земель были действующими лицами исторической драмы, разворачивающейся на протяжении столетий, независимо от того, какое общественное положение они занимали, на каких языках говорили и каких культурных норм придерживались. Такой более инклюзивный подход к истории смещал акценты с деятельности отдельных групп населения побережья на их взаимодействие между собой. Историческое описание стало в большей степени представлять собой историю территорий Балтийского побережья и населяющих его людей, чем историю какой-то из групп. В принципе, работа историка заключалась в том, чтобы описать все, что происходило в прошлом, — взаимодействие различных групп населения, а также населения и различных факторов, например технологических инноваций, и взаимодействие народов побережья с народами, живущими по соседству. Такой подход к прошлому был призван сгладить границы, разделявшие в прошлом различные группы населения побережья, а также положить конец представлениям о том, что прошлое являлось для местных жителей бесконечной историей эксплуатации, угнетения и жертвенности. Все это было частью истории, но не составляло всего ее содержания.

Появление, исчезновение и повторное появление на карте мира в XX в. суверенных государств Эстонии, Латвии и Литвы, однако, гарантировало, что вопросы образования стран даже при более инклюзивном подходе к прошлому все равно будут вызывать пер-

востепенный интерес. Работая над этим вопросом, историки сталкивались с другими, еще более сложными: например, означало ли длительное использование литовского языка на литовских землях такое же длительное присутствие, хотя бы на каком-то уровне, литовского национального самосознания? Формировалось ли этданное самосознание вокруг исторической памяти о существовании независимого Великого княжества Литовского? Было ли это средневековое государство «прямым предком» независимой Литвы, образовавшейся в XX столетии? А поскольку у эстонцы и латыши в отдаленном прошлом не имели государственных образований, то тогда к каким событиям недавнего прошлого следует приурочить формирование их национального самосознания — к «национальному пробуждению» XIX в., событиям революции 1905 г., к хаосу Первой мировой войны? На подобные вопросы не было простых ответов, однако новые исторические труды создавали очевидное впечатление, что в дискуссиях о формировании национально-государственного самосознания предпочтение отдавалось концепциям, предусматривающим долговременную преемственность. Если не существовало прямых свидетельств того, что эстонцы и латыши когда-либо до XX в. мыслили в категориях собственных государственных образований, то подобное их желание все равно могло отражаться в постоянном использовании местных языков, в устной традиции, в социальных конфликтах между крестьянами (эстонско- и латышскоязычными) и землевладельческой аристократией (немецкоговорящей), городским патрициатом (немецкоговорящим) и российской администрацией (русскоговорящей). Эту преемственность еще легче было отследить в литовской истории из-за участия литовцев в так называемых польских восстаниях против русского владычества в 1830 и 1863 гг.

Историческая инклюзивность вновь вызвала интерес к вопросам, ранее отодвигавшимся на задний план и в значительной степени связанным с периодом Второй мировой войны. Их выдвинули на передний план общественного внимания столкновения различных точек зрения: большинство эстонских, латышских и литовских историков настаивали, что периоды 1940–1941 и 1945–1991 гг. следует считать временем оккупации, тогда как политические лидеры русскоговорящих меньшинств столь же уверенно утверждали, что в 1944–1945 гг. произошло «освобождение» побережья от фашизма Красной армией; в обществе присутствовало вполне понятное желание в полной мере задокументировать депортации 1941 и

1949 г. и одновременно — столь же объяснимое желание оправдать участие местного населения в уничтожении евреев побережья в период немецкой оккупации 1941 — 1945 гг.; правительства же республик при этом стремились изменить календарь национальных праздников, отменив памятные даты советского периода и заменив их датами, эмоционально значимыми для титульных национальностей.

К концу 90-х годов XX в. все подобные фундаментальные исторические вопросы были тесно связаны друг с другом, порождая взаимные обвинения в «попытках переписать историю», «желании скрыть преступления советской власти против человечества», а также споры о том, в какой степени термин «геноцид» можно отнести к событиям Второй мировой войны и последующих десятилетий. Российская пресса и некоторые российские законодатели выступали на стороне тех, кто считал, что эстонцы, латыши и литовцы хотят «переписать историю». В ответ балтийские авторы обвиняли Россию в том, что она суется не в свое дело и стремится стать преемницей СССР, однако при этом не берет на себя ответственности за злодеяния не существующего более государства. Чтобы уменьшить взаимные обвинения, президенты трех республик (Леннарт Мери в Эстонии, Гунтис Ульманис в Латвии и Валдас Адамкус в Литве) согласились в 1998 г. создать в каждой стране специальные президентские комиссии, поставив перед ними задачи беспристрастно задокументировать события 1940 — 1945 гг. и последующих десятилетий. Комиссии должны были состоять из балтийских историков и компетентных специалистов из других стран, периодически проводить конференции и публиковать результаты своих исследований. Им предлагалось уделить особое внимание судьбе еврейского населения побережья, роли местного населения в убийствах евреев и подумать над правомерностью использования столь эмоционально окрашенного термина, как «геноцид». Работа этих комиссий должна продолжаться до тех пор, пока их члены не придут к выводу, что они использовали весь доступный им материал архивных источников. Эстонская комиссия представила результаты своих исследований на рассмотрение в 2006 г., тогда как в Латвии и Литве, где во время Холокоста были убиты десятки и сотни тысячи евреев, продолжали свои изыскания и после этого.

Однако споры и разногласия, связанные с пониманием событий Второй мировой войны и последующих пятидесяти лет, невозмож-

но было таким способом утихомирить: они периодически вспыхивали, затихали и снова возникали, особенно когда политики балтийских республик и Российской Федерации манипулировали данной темой в своих интересах. И как будто этого было недостаточно, периодически открывались новые грани прошлого: например, публицисты балтийских республик и Российской Федерации представляли калькуляции, сколько именно одна сторона «должна» другой за «вред», причиненный в советское время; а правительства балтийских республик искали способы, для того чтобы как-то компенсировать своим гражданам несправедливости и страдания Второй мировой войны. Однако подобное постоянное проникновение прошлого в настоящее раздражало тех представителей общественности государств Балтии, которые хотели, чтобы их страны ориентировались на будущее и имели соответствующий имидж, — но, однако, эта коллизия еще некоторое время будет порождать беспокойство.

Трудности «нормальной жизни»

Вступление Эстонии, Латвии и Литвы в 2004 г. в Евросоюз и НАТО означало, что описательная категория «посткоммунистические» становится все менее подходящей для этих стран. Добившись соответствия множеству жестких критериев, необходимых для вступления, три республики Балтии теперь могли считать себя «нормальными» европейскими государствами. Им предстояло и дальше бороться с социально-экономическими проблемами, часть которых восходила еще к советскому периоду, но, в конце концов, ни одна из стран — участниц Евросоюза тоже не свободна от различных проблем. Сравнительные международные рейтинги могли классифицировать государства Евросоюза как более или менее богатые, сильнее или слабее пораженные коррупцией в частном и государственном секторах и как в большей или в меньшей степени соблюдающие права своих граждан. Но подобные рейтинги слишком поверхностный критерий, чтобы судить о фундаментальных характеристиках страны: необходимо принимать во внимание все свидетельства, и теперь балтийские республики могли с удовлетворением ощущать, что сдали все многочисленные тесты на «нормальность». Остаточные ощущения несоответствия, более низкого статуса и положения «бедных родственников» все еще

сохранялись у населения, но теперь это были «внутренние проблемы», никак не меняющие статус балтийских государств.

Полноправное членство в ЕС и НАТО означало, что эти организации считают политической систему трех стран Балтии достаточно стабильной, чтобы они могли выполнить все обязательства, налагаемые членством. Парламентские выборы во всех трех государствах проходили регулярно (в Эстонии в 1999, 2003, 2007 гг., в Латвии в 1998, 2002, 2006 гг., в Литве в 1996, 2000, 2004, 2008 гг.*). Победители формировали коалиционные правительства, проигравшим приходилось ждать следующих выборов. В каждой из стран коалиционные правительства приходилось регулярно распускать и формировать заново, но при этом удавалось обходиться без повторных парламентских выборов**. Многопартийная система гарантировала, что даже партия, набравшая наибольшее число голосов, не имела абсолютного большинства мест в парламенте. Президентские выборы (всенародные в Литве, парламентские — в Эстонии и Латвии) в целом обеспечивали, что во главе каждой из стран Балтии оказывались вполне заслуживающие доверия люди, — некоторые из них были политическими лидерами до избрания, другие осваивало ремесло политика, уже находясь в должности. В Эстонии пользующийся популярностью у населения Леннарт Мери, впервые избранный президентом в 1992 г., оставался на этом посту до ухода на пенсию в 2001 г., когда на смену ему пришел Арнольд Рюйтель, агроном по образованию, с 70-х годов занимавший высокие посты в Коммунистической партии Эстонии, но выступивший за независимость страны и являвшийся главой государства в переходный период. Однако в 2006 г. эстонский парламент выбрал президентом бывшего эмигранта, вернувшегося в Эстонию из Америки, — Тоомаса Ильвеса (р. 1953), в 1990 — 2000-х гг. зарекомендовавшего себя эффективно работающим дипломатом на посту министра иностранных дел Эстонии, где демонстрировал свою прозападную ориентацию. В Латвии в 1999 г. на смену Гунтису Ульманису пришла бывшая эмигрантка, недавно вернувшаяся на родину из Канады, — Вайра Вике-Фрейберга, психолог, фольклорист

* Со времени написания книги парламентские выборы состоялись в Эстонии в 2011 г., в Латвии — в 2010 г. и внеочередные в 2011-м, в Литве — в 2012 г.

** В Латвии в 2011 г. Сейм был распущен по инициативе президента Валдиса Затлерса, обвинившего депутатов в коррупции. После того как большинство граждан на референдуме поддержали решение президента о роспуске парламента, в октябре того же года были проведены новые выборы.

и профессор Монреальского университета, не принадлежавшая ни к одной из политических партий Латвии. В 2007 г. ее сменил Валдис Затлерс, известный рижский врач-ортопед, до того момента не проявлявший заметной политической активности*. Только литовцы сделали неверный шаг, выбирая главу государства. В 1998 г. они выбрали на эту должность эмигранта из Америки, Валдаса Адамкуса, а следующие выборы 2003 г. привели в президентское кресло гораздо более молодого Роландаса Паксаса (р. 1955), популярного бывшего мэра Вильнюса. Однако после года у власти Паксас был отстранен посредством импичмента за теневые экономические махинации, и в 2004 г. страна вновь вернулась к Адамкусу**. Оценивая руководство страны, общественное мнение быстро менялось от энтузиазма сразу после выборов до негативного отношения вскоре после этого. Даже популярные президенты находились под огнем критически настроенной прессы, обвинявшей их в «превышении полномочий» — то есть в выходе за конституционные рамки. Однако никакие негативные моменты политической жизни стран Балтии не носили экстраординарного характера: недолгая жизнь межпартийных коалиций была характерна и для стран — старейших членов ЕС. США в 1998 г. тоже прошли через импичмент президента, и низкая оценка избирателями работы политических лидеров, по-видимому, становилась типичной для политической культуры множества западноевропейских демократических обществ.

Относительная политическая стабильность в трех балтийских республиках после 2003 г. сопровождалась статистически заметным экономическим ростом, если судить по ежегодному росту валового внутреннего продукта (ВВП) примерно на 6 – 7% (в Эстонии данный показатель в некоторые годы взлетал до 10%). Поэтому в 2004 г. Евросоюз признал, что новые его члены не являются бедными странами, поскольку ценность производимых ими товаров и услуг продолжала расти, и некоторые энтузиасты присутствия этих государств в ЕС даже стали говорить о «трех балтийских тиграх». Агрегированные экономические измерения, разумеется,

* Переизбран на второй срок в 2011 г. Президент В. Затлерс находился на своем посту до 2011 г. После окончания президентских полномочий основал и возглавил Партию реформ Затлерса. После него на пост президента был избран Андрис Берзиньш (Союз «зеленых» и крестьян).

** В 2009 г. президентом Литвы была избрана Даля Грибаускайте, переизбранная на второй срок в 2014 г.

могли завуалировать хронические проблемы. Около 50–60% роста ВВП обеспечивала во всех трех республиках расширяющаяся сфера обслуживания, что не только отражало «современную» модель роста, но и указывало на то, что страны Балтии находятся в поиске своей ниши в общеевропейской экономике. Ни одна из них еще не ассоциировалась с каким-то конкретным сектором экономики (или группой связанных между собой секторов), где бы демонстрировала действительно выдающуюся производительность и результаты. Кроме того, различные меры, связанные с «развитием человеческого потенциала», показывали значительные различия в экономическом развитии различных регионов каждой из стран: положение в городах было намного лучше, чем в сельских областях, некоторые регионы (например, Латгалия в Латвии) оставались «бедными» по сравнению с остальной страной, и даже в городах между различными слоями населения отмечалось существенное неравенство, судя по национальному доходу. Демонстративное потребление «новых богатых», получивших такую возможность благодаря рыночной экономике, напоминало остальному населению (особенно занятому в государственном секторе), что его доходы увеличиваются лишь незначительно. К счастью, уровень инфляции оставался относительно низким (4–5%), и крупнейшие национальные банки демонстрировали возрастающую осведомленность об опасностях высокой инфляции и действовали соответственно. Однако ни одна из этих экономических характеристик не делала балтийские республики чем-то необычным на пространстве ЕС; выраженное экономическое неравенство и неравномерное развитие регионов были характерны для множества стран — членов ЕС, особенно на юге континента.

После 2004 г. беспокойство тех, кто заботился о национальной репутации и об уверенности в себе, стал вызывать еще один момент, связанный с неравноправием, а именно несоответствие относительно стабильных зарплат в трех странах Балтии и уровня зарплат в других странах, давно ставших членами Евросоюза. После 2004 г. препятствий на пути движения рабочей силы за пределы границ национальных государств стало меньше, и в результате сложился незначительный, но стабильный отток людей трудоспособного возраста (особенно молодежи) в Европу в поисках заработка. Статистика по этому вопросу никогда не была точной, но расчетные оценки на 2007 г. показывают, что общее количество эмигрировавших эстонцев (в возрастной группе 15–64 лет) составило около 20–30 тыс.

человек (в Финляндию, Великобританию, Ирландию), латышей — около 80–100 тыс. (в Швецию, Великобританию и Ирландию) и литовцев — около 200 тыс. человек (в Польшу, Германию, Великобританию и США)*. В отличие от «гастарбайтеров», приехавших из Южной Европы в Западную Германию в 50–60-е годы эти мигранты из стран Балтии были в том числе образованными людьми, часто имевшими дипломы о высшем образовании и тем не менее предпочитавшими лучше оплачиваемый физический труд за границей низкооплачиваемому интеллектуальному труду по специальности на родине. Их долгосрочные планы оставались неясными: некоторые хотели быстро заработать значительную сумму и вернуться домой, другие, очевидно, планировали надолго сменить место проживания. Интервью с такими уехавшими в поисках работы демонстрируют их не только неудовлетворенность низким уровнем доходов, но и ощущение невостребованности или недооцененности в родной стране. Хотя национальные правительства и выражали обеспокоенность эмиграцией (по масштабам самой значительной со времен Второй мировой войны), они мало что могли сделать, чтобы уменьшить ее, поскольку свободное передвижение рабочей силы являлось одним из требований Европейского союза.

Другим источником беспокойства, особенно в Эстонии и Латвии, были возможные негативные последствия для «нормального» государства от наличия значительного числа постоянно проживающих в государстве неграждан (которых во всех других странах называют иностранцами, постоянно проживающими в стране), большинство которых составляли этнические русские. Процесс натурализации был запущен после 1991 г. и получил одобрение ОБСЕ и других международных структур, но в последующие годы он давал слишком незначительный результат — несколько тысяч натурализаций ежегодно. К концу первого десятилетия после обретения независимости, невзирая на идущий процесс натурализации, около

* Численность населения Латвии на 1 января 2011 г. составила 2,07 млн человек. Это на 13% меньше, чем в 2000 г., и примерно столько же, сколько в 1959 г. Численность населения Литвы на 1 января 2013 г. составила 2,972 млн человек, что примерно равно численности населения в 1941 г. Численность населения Эстонии на 1 января 2013 г. составила 1,28 млн человек, что находится на уровне 1965 г. См. сведения национальных статистических служб: Латвии — Centrbūvls statistikas puvvaldes (CSP) (<http://www.csb.gov.lv/statistikas-temas/ieprieksejas-tautas-skaitisanas-33597.html>); Литвы — Lietuvos statistikas departamentas (<http://osp.stat.gov.lt/documents/10180/601214>); Эстонии — Eesti statistika (<http://www.stat.ee/public/rahvastikupyramiid/>).

278 тыс. русских и русскоговорящих жителей Латвии оставались без латвийского гражданства (тогда как 363 тыс. человек из этой категории населения были гражданами Латвии), а в Эстонии без гражданства оставалось 100 тыс. человек (около 150 тыс. представителей данной категории населения имели гражданство). Эта проблема, как и несколько других, привлекала внимание различных активистов, охотно эксплуатирующих разногласия в обществе; обсуждение подобных вопросов, каким бы рациональным ни выглядело вначале, неизменно переходило на глубокий эмоциональный уровень, что логично вытекало из весьма различного отношения к последним пятидесяти годам истории Прибалтики. Многие этнические русские чувствовали себя дискриминированными из-за чрезмерно, по их мнению, жестких законов о гражданстве; эстонская и латвийская стороны, напротив, считали, что вынуждены модифицировать натурализационную политику исключительно ради того, чтобы улучшить имидж своих стран в глазах Европы. В этих обсуждениях постоянно звучали такие обвинения, как «этнократ» и «оккупант», а европейские комментаторы периодически вмешивались, характеризуя ситуацию как «тревожную».

Опросы общественного мнения показывали, что события Второй мировой войны и последующих десятилетий советской власти также очень по-разному воспринимались латышами и эстонцами — с одной стороны, и русскоговорящим населением — с другой. Существующие противоречия периодически подпитывались заявлениями российских политиков о том, что Россия должна «защищать» своих соотечественников, где бы они ни жили. Эксперты по вопросам гражданства не могли предложить простых решений данной дилеммы: «нормальные» государства не должны иметь на своей территории значительного количества населения «без гражданства», но при этом государства имеют право сами определять условия получения гражданства. Хотя никакого решения не было предложено, оставалась возможность, что с течением времени проблема решится сама собой. В обеих странах происходили микропроцессы, снижающие эмоциональный накал восприятия острых вопросов. Многие русскоговорящие родители не возражали, чтобы их дети обучались в школах на эстонском или латышском; необходимость изучения государственного языка уже не воспринималась как нечто нежелательное. Спустя пятнадцать лет после обретения независимости большинство русскоговорящего населения, чья работа требовала общения с людьми, по-видимому, научилась, как

минимум, понимать государственный язык и обмениваться на нем необходимой информацией. Относительно большое количество межнациональных браков (особенно в Латвии) способствовали формированию родственных связей между латышами, эстонцами и русскими. Для тех представителей старшего и среднего поколения, кто не захотел учить государственный язык из принципа или по сохранившейся от прошлого привычке считать русский язык «главнее» латышского или эстонского, отсутствие гражданства, хоть и продолжало быть раздражающим фактором, не помешало экономическому выживанию. Например, в Латвии стала популярной броская фраза-преувеличение: «Латышам принадлежит политическая система, а русским — экономика». Участие этнических русских граждан в политической жизни привело к тому, что на каждых парламентских выборах значительную поддержку получали партии, защищающие русскоговорящее население. Такие партии никогда не приглашались в коалиционные правительства, но и не отгеснялись на задний план; латыши, руководящие такими партиями, и этнические русские, выучившие государственный язык, вполне преуспели в том, чтобы сделать такие партии политически жизнеспособной альтернативой для избирателей*.

Проблема интеграции этнических меньшинств продолжала серьезно рассматриваться правительствами двух балтийских государств: в 2000 г. Эстония начала программу «Интеграция в эстонское общество, 2000 — 2007» и продлила срок ее действия в 2008 г.**; Латвия в 2004 г. создала в Министерстве иностранных дел отдельное подразделение социальной интеграции. При этом предполагалось, что проблема не только в *социальной* интеграции; необходимо было поощрять экономические, образовательные и социальные процессы, которые бы разрушали географически замкнутые *анклавы* русскоговорящего населения (в Эстонии — в Таллине и на северо-востоке Нарвского района; в Латвии — в Риге, других крупных городах, в Латгалии). В Латвии серьезно обсуждался вопрос, следует ли предоставить негражданам право голоса на местных (городских и окружных) выборах***.

* По итогам выборов в Сейм Латвии в 2014 г., объединение политических партий «Центр согласия» сохранило положение самой крупной фракцией в парламенте, получив 24 места из ста.

** В настоящее время действует «Программа интеграции и сплочения общества Эстонии 2020».

*** Такое право есть у неграждан Эстонии.

К 2001 г. три республики Балтии, как и другие посткоммунистические государства Восточной Европы, были успешно интегрированы в большинство значительных европейских международных организаций, и население этих стран уже могло в полной мере чувствовать себя европейцами. Активно продолжалась «интернационализация» географического и культурного пространства побережья. «Самореклама» правительств государств Балтии в европейской прессе способствовала росту туризма, и из Таллина, Риги и Вильнюса предлагались полеты в другие европейские города по крайне низким ценам, как и полеты на восток, в города Российской Федерации. Для людей со средствами стали обычными отпуска в Европе, а одним из самых развивающихся секторов экономики стал туристический бизнес. Средства массовой информации трех стран Балтии уделяли зарубежным новостям столько же внимания, сколько и внутренним, укрепляя в читателях и слушателях ощущение принадлежности к более широкому миру. Восприятие «западной» популярной культуры и подражание ей стали стремительно развивающейся тенденцией, в результате чего быстро исчезла разница между эстонским, литовским и латвийским вариантами поп-культуры и популярной культурой «остального мира». Государственные и частные предприятия и учреждения — от министерств и академий наук до небольших частных фирм — обозначали свое присутствие в интернет-пространстве, что делало информацию о них доступной по всему миру. Растущая популярность блоггерства также способствовала тому, что все точки зрения стали равными. Однако появление этого нового «компьютерного мира» означало и определенный разрыв поколений между теми, кто мог позволить себе стать его частью и чувствовать себя свободно в его многоязычной, интернациональной, мультикультурной, быстро меняющейся реальности, и теми, для кого эта территория была чуждой. Национальная идентичность переосмыслилась заново, на этот раз не из-за захватнически настроенных соседних государств, но из-за обезличенной культуры, и в данной ситуации идентифицировать «врага» было намного труднее.

Интернационализация популярной культуры и членство в международных организациях, способствующие росту стандартизации и гомогенизации, а также значительное влияние так называемой информационной революции продолжали вызывать во всех трех государствах Балтии дискуссии среди интеллигенции о национальной уникальности. Возможно ли для небольших стран сохранить

свой узнаваемый облик в мире, где глобализация обеспечивает повсеместное свободное проникновение всех и всего: людей, информации, товаров — сквозь национальные границы, и, судя по всему, в будущем эти границы станут не очень актуальны? Насколько вероятно, что старая привычка «внешнего мира» говорить о трех государствах как о некоей единой Балтии окажется непреднамеренным предсказанием будущего этого региона? Национальный суверенитет, обретенный после 1991 г., вновь дал эстонцам, латышам и литовцам шанс трансформировать культурный протекционизм, столь актуальный для их национальной идентичности на протяжении столетия, в четкие правила. Законы о языке и другие обозначения принадлежности, четкое отделение этнической принадлежности от «политической национальности» и сомнения по поводу наступающего мультикультурализма показывают, что желание сохранить национальную уникальность остается актуальным, — и хотелось бы, чтобы самобытность отражалась в глазах посторонних наблюдателей. Ее культивирование во многом обусловлено исторически, и оно сейчас проявляется в самых разных сферах. Холм Крестов в Литве, например, является примером мистической католической религиозности, незнакомой Эстонии и Латвии с их лютеранскими традициями. Культурная ориентация Эстонии на Скандинавию и Финляндию, а Литвы — на Польшу не имеют эквивалента в Латвии. Выделение Риги как европейской столицы с многовековой историей стало составной частью национального имиджа Латвии — но ни Литва, ни Эстония не могут претендовать ни на что подобное, потому что в этих странах традиционно существовало по два наиболее важных города (Вильнюс — Каунас, Таллин — Тарту). В исторической памяти литовцев живет — ни больше ни меньше — Великое княжество Литовское, тогда как латыши и эстонцы не могут похвастаться в данном отношении ничем, кроме семисот лет жизни в качестве зависимых крестьян под чужой властью. Только в состав Латвии входит большой регион — Латгалия, где разговорный вариант национального языка всегда был чем-то гораздо большим, чем просто диалектом. Эстонцы, по-видимому, более всего преуспели в интернационализации своей литературы с помощью переводов на другие языки — примером могут послужить романы Яана Красса, тогда как латвийские и литовские писатели продолжают считать, что их творения читают только соотечественники. Решение вопроса, как относиться к «русскоговорящим», стало разным для Эстонии и Латвии, с одной стороны, где

продолжает жить большое количество населения без гражданства, и Литвой — с другой, где гражданство было дано в начале 90-х годов всем проживающим в республике. Социополитическая интеграция, судя по всему, успешнее проходит в Литве, чем в двух других странах, но все три государства продолжают разрабатывать для достижения этой цели конкурентоспособные меры. Однако даже через двадцать лет после возвращения независимости чрезвычайно сложно предсказать, к чему приведет сочетание европеизации и глобализации с попытками сохранить национально-культурную самобытность.

Послесловие издателя

Общая история трех балтийских стран, написанная профессором Андреем Плакансом, является органичной частью серии «Национальная история», которую издательство «Весь Мир» выпускает начиная с 2002 года. И хотя эта книга имеет два существенных отличия от других изданий серии, мы считаем, что в проекте она занимает свое место по праву. О каких отличиях идет речь? Во-первых, эта первая книга в рамках серии, которая посвящена не какой-либо одной стране, а сразу трем. Во-вторых, автор книги — этнический латыш, родившийся в Латвии, но с раннего детства живущий в США, и как ученый-историк, он принадлежит к американской исторической школе и пишет по-английски. Авторы других книг, опубликованных нами ранее в рамках серии, были «местными» историками, живущими и работающими в той стране, историю которой они написали. Конечно, мы могли опубликовать эту книгу отдельно, вне проекта «Национальная история», и тогда никакие объяснения не понадобилось бы. И все же мы поступили иначе.

Напомним нашим читателям, в чем состоит замысел серии «Национальная история». Он прост и заключается в том, чтобы представить российскому читателю «отечественные» истории разных стран мира, написанные теми авторами, для кого прошлое той

или иной страны — не просто объект для изучения, но часть собственного жизненного опыта и элемент национального исторического самосознания, в той или иной мере определяющего мировосприятие историка. Понятно, что аргентинец историю своей страны напишет иначе, чем сосед-бразилец. Но нам важно знать, как воспринимают свою историю именно аргентинцы и бразильцы, поэтому мы опубликовали в нашей серии, и «Краткую историю аргентинцев» типичного *портеньо* Феликса Луны, и «Краткую историю Бразилии» Бориса Фаусто из Сан-Пауло. Точно по таким же причинам нам необходимо знать историю не только удаленных от нас океанских стран, но и наших ближайших соседей, чье прошлое — не только их собственное достояние, но и наше тоже, в силу соседства и общего исторического бытия.

Мы решили перевести и издать книгу Андреяса Плаканса прежде всего потому, что автору удалось решить сложную задачу создания общего исторического повествования о трех балтийских странах, которые при всей их похожести в разные исторические периоды очень отличались друг от друга — по наличию и отсутствию собственной государственности, религиозной принадлежности населения, языку и культуре. При этом автор никогда не упускает из своего внимания более широкий европейский и мировой контекст исторического развития стран региона. И, наконец, А. Плакансу удается сохранять и собственное, сугубо личное восприятие стран Балтии (прежде всего, конечно, Латвии) как земли своих родителей и предков, и в этом смысле он пишет «отечественную» историю, но в то же время сохраняет столь важную для ученого доброжелательную отстраненность, позволяющую судить обо всем с определенной дистанции, стремится к объективности изложения. При этом автор не обходит острых вопросов, обсуждаемых историками, но показывает разные точки зрения, присутствующие в историографии, и выступает против политизации различных интерпретаций прошлого*.

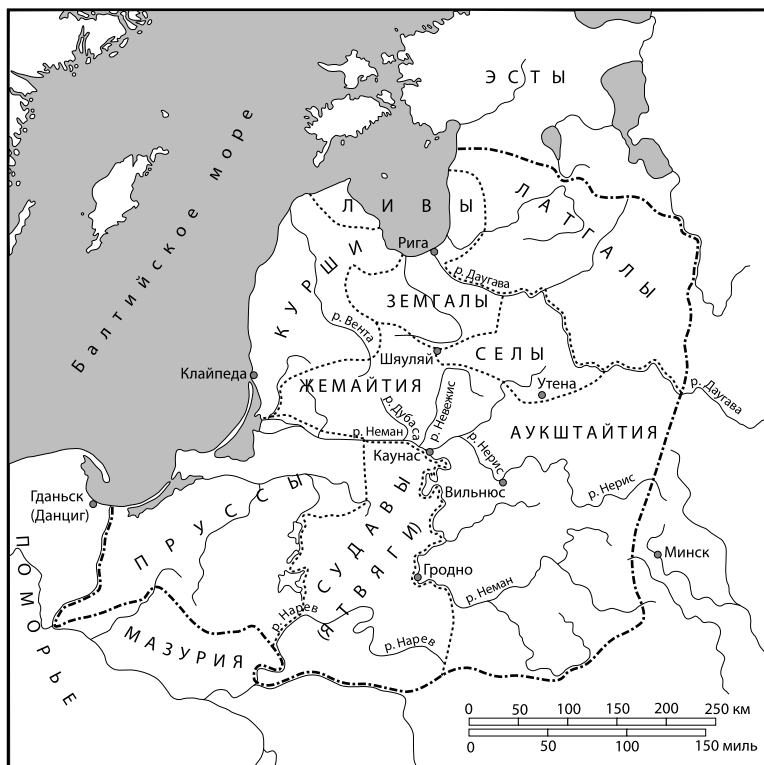
В заключение несколько необходимых редакционных пояснений. Оригинальное издание книги А. Плаканса не содержит ссылок на литературу, а список рекомендованных публикаций в нем предназначен, как оговаривается автор, для англоязычного читателя.

* Об этом см. подробнее: *Зимарин О.А.* История стран Балтии в очерках Андреаса Казекампа и Андреяса Плаканса // Россия и Балтия. Выпуск 7. Памятные даты и историческая память / Отв. ред. А.О. Чубарьян. М: Наука, 2015. С. 198 — 218.

Поэтому мы сочли возможным опустить его в издании на русском языке. Карты-схемы, размещенные в конце данного издания, составлены самим автором и носят сугубо вспомогательный характер. Начертание границ расселения племен, а также исторические административные и межгосударственные границы на картах-схемах имеют иллюстративный характер, поясняющий авторское изложение. Географические наименования, используемые в тексте книги и в картах-схемах, примерно соответствуют доминирующему употреблению в тот период, о котором идет речь.

Следует также учитывать, что издание книги на английском языке увидело свет в конце 2011 года. Некоторые, самые необходимые, с нашей точки зрения, уточнения статистических данных приведены в редакционных постраничных примечаниях к настоящему изданию с указанием источников. Мы уверены, что небольшая временная дистанция между написанием книги автором и ее появлением на русском языке не помешает заинтересованному и вдумчивому восприятию читателями.

О.А. Зимарин
Главный редактор издательства «Весь Мир»



Карта 1. Племенные общества Балтийского побережья в XII–XIII вв.

Названия племен заимствованы из хроник того времени, но межплеменные границы указаны лишь предположительно.



Карта 2. Средневековая Ливонская конфедерация: достойное внимания, но хрупкое средневековое образование



Карта 3. Великое княжество Литовское в XIII–XIV вв.

В то время как в северной части побережья коренные народы оказались в угнетенном положении, на юге в период Позднего Средневековья они создали могущественное и обширное государство.



Карта 4. Западные приграничные земли России в XIX в.

В течение XIX в. земли побережья стали совокупностью примыкающих друг другу провинций, границы которых не соответствовали этническому расселению коренного населения.



Карта 5. Побережье перед Первой мировой войной

Казавшиеся нерушимыми границы провинций входили в противоречие с серьезными изменениями в национальном самосознании коренного населения побережья.



Карта 6. Побережье после Первой мировой войны

Национализм в среде эстонцев, латышей и литовцев привел к образованию трех новых стран после 1918 г.

Примеч. ред.: С 1924 года и до марта 1939 года г. Клайпеда (нем. Мемель) с прилегающей областью входил в состав Литвы.



Карта 7. Страны Балтии после Второй мировой войны

Вошедшие в состав СССР в 1940 г., три балтийских государства обрели независимый статус в 1991 г.

Примеч. ред.: Границы между Россией, Латвией, Литвой и Эстонией проходят по прежним административным границам СССР и закреплены в межгосударственных договорах о границе, зафиксировавших отсутствие взаимных территориальных претензий.

Именной указатель

- Август II Сильный, король
129 – 132, 139, 146
- Август III, король 146, 147
- Адамкус Валдас 438, 452, 455
- Александр I, российский
император 181, 184, 192 – 194,
199, 200, 209, 211, 212, 214, 217,
218
- Александр II, российский
император 200, 209, 223, 227,
230, 231, 242, 263
- Александр III, российский
император 263
- Алексей Михайлович, русский
царь 129
- Алунанс Юрис 233, 239
- Альберт, прусский герцог 124
- Альфред Великий, король Англии
62
- Андропов Ю.В. 393
- Анна Иоанновна, русская царица,
императрица 150
- Апситис Якобс 254
- Арайс Виктор 359
- Арвелиус Фридрих Густав 177
- Армистед Георг 273
- Банасевичяус Ионас 279**
- Баронс Кришьянис 233, 237, 265
- Басанавичюс Йонас 245, 246, 293
- Белшевице Визма 388
- Берия Л.П. 376
- Берклавс Эдуардс 378
- Бермонт-Авалов Павел 310, 312
- Бертольд, цистерцианец 51
- Биленштейн Август 236, 238
- Билюнас Йонас 245
- Биркавс Валдис 423
- Бирон (Бюрен) Эрнст, герцог 150,
152
- Бирон Петр, герцог курляндский
165
- Бироны, династия 151
- Битнер Самуил 125
- Блауманис Рудольф 289
- Бразаускас Альгирдас 401, 410, 423
- Браун Георг 144, 155, 174
- Брежнев Л.И. 379, 381 – 383, 391, 393

- Бреткунас Йонас 125
 Бржостовский Павел 155
 Бривземниекс Фрицис 239
 Броз Тито Иосип 377
 Буксгевден Альберт фон, епископ
 Ливонский 51 – 53, 67, 272
 Бурбоны, династия 212
 Бьененштамм Х. фон 184
- Вагрис Янис 401**
 Ваза, династия 100, 109, 128
 Вайно Карл 395
 Валанчюс Мотеюс 220
 Вальдемарс Кришьянис 233,
 237 – 239, 254, 264, 265
 Варес Йоханнес 349
 Варидотс, латгальский вождь
 из Аутине 60
 Ватсон К.Ф. 217
 Вацетис Оярс 380
 Вейнбергс Фридрих 289
 Венцлов Томас 388
 Виестартс, земгал 60
 Виесцекис, латгальский лидер из
 Кокнесе 60
 Вике-Фрейберг Вайра 438, 454
 Вилкен Карл Рейнгольд, барон
 155
 Вилкен Кристиан Николай, барон
 155
 Виргиниус Андреас 126
 Висвалдис, латгальский вождь из
 Ерсики 60
 Витамес из Сакалы 60
 Витовт Великий, великий князь 81,
 166
 Виттенгофы, династия 151
 Владимир, князь 46
 Войтыла Кароль Йозеф, см. Иоанн
 Павел II, римский папа
 Войшелк, сын Миндовга 64
 Волончевский, см. Валанчюс
 Мотеюс
 Вольдемарас Аугустинас 311, 329,
 330
 Вольтер 137, 154, 155, 158
- Вышинский А.Я. 349
 Вальяс Вайно 401
- Габсбурги, династия 136, 146, 154,
 164, 211, 234, 244, 274
 Галеви Ури Бен Аарон 172
 Гален Генрих фон, магистр
 Ливонского ордена 98
 Ганы, династия 151
 Гедимин, литовский великий князь
 64, 74, 79, 93, 106, 113, 114
 Гедиминовичи, династия 64, 74, 75,
 79, 81, 92
 Генрих IV, король Франции 103
 Генрих VIII, король Англии 97
 Генрих Латвийский 50, 59, 60
 Гердер Иоганн Готфрид 159 – 161,
 170, 176, 185, 216, 235, 272, 273,
 425
 Геринг Герман 358
 Гиммлер Генрих 358, 361
 Гитлер Адольф 326, 342 – 345, 353,
 357
 Глюк Эрнст 126, 133
 Гогенцоллерны, династия 274, 307
 Годманис Иварс 420
 Гольц Рюдигер фон дер 310
 Горбачев М.С. 393 – 395, 397, 402,
 404, 406
 Горбунов Анатолий 401, 420, 423
 Григорий XVI, римский папа 215
 Гришкявичюс Пятрас 395
 Грунау Симон 124
 Гус Ян 91
 Гусовианас Миколоюс 123
 Густав II Адольф, король Швеции
 109, 124
 Гуттенберг 121
- Дабрел, ливский лидер 60**
 Данкерс Оскарс 361
 Дарвин Чарльз 268
 Даукантас Симонас 184, 210
 Деканозов В.Г. 349
 Дершау Эрнст фон 184
 Джилас Милован 391

- Дидро Денни 137, 154
 Динсбергис Эрнестис 218
 Домасевичюс Андриус 268
 Донелайтис Кристионас 161, 170, 221
 Дрехслер Отто Генрих 361
- Егер Карл** 359
 Екатерина II, российская императрица 136, 147, 149, 151, 152, 154, 162–165, 167–169, 173, 181, 183
 Елизавета I, королева Англии 130
 Елизавета Петровна, российская императрица 173
 Ельцин Б.Н. 406
- Жданов А.А.** 349, 372
 Желиговский Люциан 313
- Залман Элияху бен Шломо 292
 Замоиские, династия 117
 Зариньш Карлис 349
 Затлерс Валдис 455
- Иван III**, русский царь 96
Иван IV Грозный, русский царь 99
 Иванс Дайнис 396, 420
 Ильвес Тоомас 454
 Иннокентий III, римский папа 51, 53
 Иннокентий IV, римский папа 63
 Иоанн Павел II, римский папа 393
 Иордан 23
- Казимир**, великий князь 104
 Кайзерлинг Петер Эрнст фон 184
 Калнберзиньш Янис 368, 378, 379
 Кальвин Жан 97
 Карл IX, король Швеции 100
 Карл V, император Священной Римской империи 97
 Карл XI, король 118
 Карл XII, король Швеции 130–132
 Карл X Густав, король Швеции 129
 Каротамм Николай 368
- Кассиодор 23
 Каудзите Матисс 239
 Каупо, вождь ливов из Турайды 60
 Квиесис Альбертс 332
 Кёлер Иоганн 237, 239
 Кемпс Францис 283, 310, 339
 Кеттлер Готхард, магистр Ливонского ордена 100, 107, 150
 Кеттлер Якоб 111, 112
 Кеттлеры, династия 111, 117, 150
 Кирхенштейн Август 349
 Климент IV, римский папа 174
 Кляйн Даниэль 125
 Кнут II Великий 43
 Койдула Лидия 237, 239
 Костюшко Тадеуш 162
 Кофы, династия 151
 Козль Йохан 124
 Красткалнс Андреис 305
 Крейцвальд Фридрих Рейнгольд 219, 222, 233, 237, 239
 Кроземс Микус (псевдоним Аусеклис) 237
 Кронвальдс Атис 237, 238
 Кросс Яан 380, 461
 Кубилонас Пятрас 361
 Кудирка Винцас 245
 Кукк Юрий 386
 Курелис Янис 366
 Кэбин Иван (или Йоханнес) 378
- Лаара Март** 422, 424
 Лайдонер Йохан 308, 334
 Ламекин 60
 Ландсбергис Витаутас 420, 430
 Ланкаускас Ромуалдас 388
 Ларка Андрес 334
 Лауристин Марью 420
 Лейтанс Анзис 218
 Лелевель Иоахим 184
 Лембит, латгальский вождь 60, 76
 Ленин В.И. 308, 372, 427
 Ливентальс Анзис 218
 Лиив Юхан 239
 Литвин Михалон 123
 Литцман Карл 361

- Лозорайтис Стасис 348, 423
 Луи Филипп, король французов 212
 Людовик, польский король 78
 Людовик XIV, король Франции 103
 Людовик XV, король Франции 146
 Лютер Мартин 95–97, 99, 121, 124, 126
- Мажвидас Мартинас** 124
 Мазинг Отто Вильгельм 177
 Манасеин Н.А. 264
 Маннергейм Карл Густав 326
 Манцелий Георгий 125, 127, 128
 Мария Терезия, императрица Австро-Венгрии 154, 162
 Марк Карл 269
 Масарик Томаш 326
 Мачюлис Йонас (псевдоним Майронис) 245
 Медемы, династия 151
 Мейеровиц Гунар 423
 Мейеровиц Зигфрид 423
 Мейнард, августинец 51
 Мери Леннарт 422, 438, 452, 454
 Меркель Гарлиб 158, 159, 170, 183, 186, 216, 235
 Меркис Антанас 350
 Метгерних Клеменс фон 211
 Микалаускас Леонас 268
 Милке Кристиан Готлиб 178
 Миңдовг, аукштайтский вождь 62–64, 75, 76, 81
 Мицкевич Адам 211
 Молотов В.М. 345, 398
 Монтескьё Шарль 155
 Моравкис Альфонсас 268, 270
 Муравьев Михаил 243
 Муссолини Бенито 326
 Мяз Хяльмар 361
- Намейсис, земгал** 60
 Наполеон Бонапарт, император 180, 199, 200, 210, 211
 Нарбут Теодор 184
 Ниедра Андриевс 310
- Николай I, российский император 181, 209, 212–215, 219, 220, 224, 230., 242
 Николай II, российский император 266, 274, 278, 282, 300–302
 Нольде, династия 151
- Олав II Святой** 43
 Олег, князь 46
- Паап Таллима** 174
 Павел I, российский император 168
 Паксас Роландас 455
 Палецкис Юстас 349
 Парротт Георг Фридрих 218
 Пельше Арвид Янович 379
 Петр I, русский царь, император 130–133, 136–140, 146, 151, 167, 169, 186, 272, 428
 Пилсудский Юзеф 312, 328, 329
 Платон 328
 Плейкшанс Янис, см. Райнис Ян
 Плеттенберг Вальтер фон, магистр Ливонского ордена 95, 96, 98
 Порук Янис 289
 Поску Яан 303
 Потоцкие, династия 148
 Пошка Дионизас 220
 Прунскене Казимера 420
 Путо Б.К. 394, 395, 401
 Пумпурс Андреис 239
 Пярн Якоб 239
 Пясты, династия 77
 Пятс Константин 281, 304, 327, 333–335, 344, 349, 350
- Радзивиллы, династия** 148
 Райнис Ян 269, 289
 Рейган Рональд 393
 Рейнис братья 239
 Рейтерс Янис 125
 Рентельн Адриан фон 361
 Риббентроп Иоахим фон 345, 398
 Розен О.-Ф. 141, 186
 Розенберг Альфред 357, 358, 362

- Розенберга Эльза
 (псевдоним — Аспазия) 289
 Романовы, династия 128, 129, 136,
 274, 300
 Рота Михаил 178
 Русиньш, латгальский вождь
 из Сатекле 60
 Руссо Жан-Жак 153
 Руссов Балтазар 123
 Рыдз-Смигла Эдуард 311
 Рюгенс Янис 218
 Рюйтель Арнольд 432, 454
 Рюрик, князь 46
 Рюриковичи, династия 46
- Сависаар Эдгар 420, 434
 Самсон Герман 123
 Свен I Вилобородый 43
 Святослав, князь 46
 Сигизмунд II Август, король 100, 107
 Сигизмунд III, король 100
 Сийга Арви 388
 Сирвидас Константинас 125
 Сирк Артур 333
 Слежявичюс Миколас 311
 Слепой Индрикис,
 см. Хартманис Индрикис
 Слуцкис Миколас 380
 Смелтерис Петерис 283
 Сметона Антанас, президент
 Эстонии 311, 318, 327—333, 335,
 344, 349, 350
 Смит Адам 204
 Снечкус Антанас 368, 378, 395
 Снийс Артурс 396
 Солженицын А.И. 377
 Сонгайла Рингаудас 395, 401
 Спonti Евгений 268
 Сталин И.В. 343, 350, 351, 353, 354,
 370—373, 375, 376, 378, 380
 Станислав II Август (Понятовский),
 король 147, 162
 Станислав Лещинский, король 130,
 146
 Стендер Александр Иоганн 178
 Стендер Готхард Фридрих 176, 178
- Стефан Батория, король Польши
 124
 Страндман Отто 317
 Стульгинскис Александр 318
 Стучка Петерис 310
 Суйтс Густав 286
- Таливалдис, латгальский вождь
 из области Талава 60
 Тацит 23
 Теодорих, брат Альберта 52
 Тизенгаузены, династия 151
 Толгсдорф Эртман 124
 Трасунс Францис 283, 339
 Тройнат, предводитель
 жемайтов 64
 Тубелис Юозас 330
 Тыниссон Ян 285
 Тэтчер Маргарет 393
- Уиклиф Джон 91
 Улов Скётконунг 43
 Ульманис Гунтис, президент
 Латвии 422, 452, 454
 Ульманис Карлис, президент
 Латвии 281, 306, 310, 311, 320,
 327, 331—335, 344, 348—350,
 422
 Ульрика Элеонора, королева
 Швеции 132
 Уннепеве 60
 Урбанавичюс Бронисловас 268
- Ф**елькерзам Гамилькар фон 226
 Фельман Фридрих Роберт 219
 Фердинанд, герцог 150
 Фирксы, династия 151
 Фихте Иоганн Готлиб 185, 235
 Фома Кемпийский 220
 Форселиус 174, 256
 Фридрих I, король Швеции 132
 Фридрих II Великий, король
 Пруссии 154, 162
 Фридрих II, датский король 100
 Фюрекер Кристофор 125

- Харальд II Синезубый 43
Харт Якоб 237, 239
Хартманис Индрикис (Слепой Индрикис) 221, 222
Хилинский Самуил 125
Хорнунг Йохан 125
Хрущев Н.С. 376, 379
Хупель Август Вильгельм 142, 177, 183
- Цимзе Янис** 217
Цинцендорф Николай Людвиг фон, граф 172
- Чаксте Янис**, президент 318
Чартгорьские, династия 148
Черненко К.У. 393
Черчилль Уинстон 410
- Шереметев Борис Петрович** 133
Шиммельпфенниг Адам Фридрих 178
Шталекер Вальтер 359
Шталь Генрих 125
- Штул Макс ван дер 442
Шульц Карл Фридрих, барон 155
- Эглос Висвалдис 388
Эйзен Иоганн Георг 155
Эйнхард 23
Эйнгорн Пауль 123, 127
Элверфельд Карл Готхард 178
Эрик XVI, шведский король 100
- Юхан**, король Швеции 100
- Яан с хутора Озолинь** 120
Ягайло (по-польски Ягелло), князь, король 75, 78, 79, 104
Ягеллоны, династия 75, 79, 82
Ядвига, королева 76
Якобсон Карл Роберт 237, 239
Ян Казимир, король Польши 129
Янкус Мартинас 293
Яннау Генрих 156 – 158, 186
Янсен Иоганн Вольдемар 237, 239
Ярослав, князь 46

Андрейс Плаканс

П 37 Краткая история стран Балтии / Пер. с англ. — М.: Издательство «Весь Мир», 2016. — 480 с. + карты. — (Национальная история)
ISBN 978-5-7777-0645-4

Впервые в серии «Национальная история» выходит книга, посвященная не одной какой-либо стране, а сразу трем — Латвии, Литве и Эстонии. Американскому профессору, родившемуся в Латвии, А. Плакансу удалось написать очень добротный и взвешенный очерк истории этих трех стран. В книге, охватывающей хронологически огромный период — со времени первого появления человека на восточном побережье Балтики и до современного этапа в развитии Латвии, Литвы и Эстонии, — автору удалось показать как общие черты, присущие истории народов и государств побережья, так и их отличия. Автор придерживается той точки зрения, что все народы, когда-либо жившие и живущие на побережье Балтики, внесли свой вклад в развитие региона и что, внимательно изучая прошлое, необходимо думать не о взаимных претензиях, а о мирном, гармоничном будущем для всех. Наряду с политической историей региона, А. Плаканс внимательно рассматривает и ключевые аспекты развития социальных отношений на разных этапах развития трех стран.

Книга предназначена для специалистов, занимающихся историей стран региона.

УДК 94(474.3)+94(474.5)+94(472.2)
ББК 63.3(4Лат)+63.3(4Лит)+63.3(4Эст)

Национальная история

Андрейс Плаканс

Краткая история стран Балтии

Перевод с англ.: *О.В. Когтева*
Редакторы: *О.А. Зимарин, Ю.А. Михайлова*
Художник: *Е.А. Ильин*
Верстка: *Е.А. Поташевская*
Корректор: *И.В. Леонтьева*

Подписано в печать 12.10.2015. Формат 60 x 90 ¹/₁₆
Печать офсетная. Печ. л. 30,0. Тираж 1500 экз.
Зак. №

ООО Издательство «Весь Мир»
Адрес: 125009, Москва,
ул. Моховая, д. 11, стр. 3в
Тел./факс: (495) 276-02-92
E-mail: info@vesmirbooks.ru
<http://www.vesmirbooks.ru>

Отпечатано в ОАО «Первая Образцовая типография»
Филиал «Чеховский Печатный Двор»
142300, Московская область, г. Чехов, ул. Полиграфистов, д. 1
Сайт: www.chpk.ru. E-mail: marketing@chpk.ru
факс 8 (496) 726-54-10, тел. 8 (495) 988-63-87

ISBN 978-5-7777-0645-4



9 785777 706454



Краткая ИСТОРИЯ СТРАН БАЛТИИ

*Основные факты
(данные ЕС и национальных
стат. служб на 2014 г.)*



Латвия. Столица — Рига. Площадь (кв. км) — 64 573
Население (чел.) — 2 001 468 в т.ч. неграждане — 12,7%
Этнический состав: латыши (61,4%), русские (26%), белорусы (3,4%), украинцы (2,3%), поляки (2,2%) и др.
Ожидаемая продолжительность жизни (лет) — 68,9 (муж.), 78,9 (жен.)
Официальный язык — латышский. Денежная единица — евро
Валовый национальный доход (ВНД) на душу нас., долл. США — 15,660



Литва. Столица — Вильнюс. Площадь (кв. км) — 65 300
Население (чел.) — 2 943 472, в т.ч. иностр. гражд. — 1,37%
Этнический состав: литовцы (83,5%), поляки (6,7%), русские (6,3%), белорусы (1,2%) и др.
Ожидаемая продолжительность жизни (лет) — 68,4 (муж.), 79,6 (жен.)
Официальный язык — литовский. Денежная единица — евро
Валовый национальный доход (ВНД) на душу нас., долл. США — 15,380



Эстония. Столица — Таллин. Площадь (кв. км) — 45 227
Население (чел.) — 1 315 819, в т.ч. иностр. гражд. — 9,4%, а также лица с неопредел. гражданством — 6,3%
Этнический состав: эстонцы (69%), русские (26%), украинцы (2%) белорусы (1%), финны (1%), и др.
Ожидаемая продолжительность жизни (лет) — 71,4 (муж.), 81,5 (жен.)
Официальный язык — эстонский. Денежная единица — евро
Валовый национальный доход (ВНД) на душу нас., долл. США — 18,530